И(Фр)
Б21

БАЛЬЗАК

ОНОРЕ БАЛЬЗАК

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
В 24 ТОМАХ

ТОМ 15

ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ КОМЕДИЯ

БИБЛИОТЕКА «ОГОНЕК»
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРАВДА»
МОСКВА • 1960

СЦЕНЫ ПАРИЖСКОЙ ЖИЗНИ

МЕЛКИЕ БУРЖУА

Посвящается Констанс-Виктуар

Вот, сударыня, одно из тех творений, которые неведомым образом зарождаются в уме писателя и покоряют его уже тогда, когда он еще не знает, будет ли принято или отвергнуто его детище публикой, верховным судией нашего времени. Заранее уверенный, что Вы проявите снисходительность к моему неизменному пристрастию, я посвящаю Вам эту книгу: разве не должна она принадлежать Вам по праву, как некогда десятина принадлежала церкви, в ознаменование того, что по воле господа бога все расцветает и зреет — и в полях и в умах человеческих?

Комья глины, оставленной Мольером у подножия колоссальной статуи Тартюфа, оказались ныне достоянием руки скорее дерзостной, нежели умелой; но, сознавая, насколько я далек от величайшего из комедиографов, я тем не менее испытываю радость, что употребил крохи, подобранные на авансцене его театра, дабы показать современного лицемера в действии. Приступая к этому нелегкому начинанию, я черпал бодрость в том, что мое будущее произведение не касается вопросов религии: ведь в противном случае оно было бы отвергнуто Вами, чье благочестие общеизвестно; к тому же некий выдающийся писатель говорил о «безразличии в вопросах веры».

Да послужит двойное значение Вашего имени пророчеством для судьбы книги! Соблаговолите усмотреть в этом посвящении выражение почтительной признательности со стороны того, кто осмеливается именовать себя самым преданным вашим слугой.

Оноре де Бальзак.

Турникет на улице Сен-Жан, описание которого, приведенное в начале повести «Побочная семья» (смотри «Сцены частной жизни»), казалось в свое время скучным,— эта наивная деталь старого Парижа сохранилась ныне лишь на страницах книги. Перестройка городской ратуши привела к сносу целого квартала.

В 1830 году прохожие еще могли видеть изображение турникета на вывеске владельца винного погребка, но затем дом этот также пошел на слом. Воспоминание о нем рождает в памяти цепь воспоминаний такого же рода. Увы! Старый Париж исчезает с ужасающей быстротой. То тут, то там в нашем произведении промелькнет описание какого-нибудь средневекового строения, подобного тому, которое читатель найдет на первых страницах повести «Дом кошки, играющей в мяч». Один или два таких дома можно и поныне встретить в Париже; к их числу нужно отнести и находившийся на улице Фуар дом, где обитал судья Попино — образцовый представитель старой буржуазии. Здесь — развалины дома Фюльбера; там — набережная Сены во времена Карла IX. Разве не должен историк французского общества, этот новый Old mortality, спасать от забвения столь любопытные свидетельства прошлого, уподобляясь тем самым описанному Вальтером Скоттом старику, подновлявшему могильные памятники? Поистине нельзя назвать преувеличенными вопли, вот уже десять лет несущиеся со страниц нашей литературы: искусство начинает прикрывать своими цветами отвратительные фасады зданий, именуемых в Па-

риже «доходными домами»; Виктор Гюго насмешливо сравнивает их с комодами.

Заметим кстати, что в Милане создание муниципальной комиссии del ornamento [1], в чьи задачи входит наблюдение за архитектурой уличных фасадов и обязательное рассмотрение плана каждого домовладения, относится к двенадцатому веку. И вот всякий, кто побывал в этом красивом городе, не мог не воздать должное патриотизму миланских буржуа и дворян, любуясь колоритными и своеобразными зданиями, украшающими его... Гнусная, безудержная спекуляция, уменьшающая из года в год высоту этажей, выкраивающая целую квартиру из площади, какую раньше занимала одна гостиная, уничтожающая сады, несомненно, окажет влияние на нравы Парижа. Людям вскоре придется проводить больше времени вне дома, нежели дома. Священная частная жизнь, когда каждый сам себе хозяин, где ты? Она доступна сейчас лишь тем, у кого не меньше пятидесяти тысяч франков годового дохода. Да и не многие миллионеры позволяют себе в наши дни роскошь владеть небольшим особняком, отделенным от улицы двором и защищенным от любопытных взоров прохожих тенистым садом.

Уравнивая состояния, параграф Кодекса, толкующий вопросы наследства, создал эти фаланстеры из известняка; в них ютятся по тридцать семейств, но зато они приносят домовладельцу сто тысяч франков годового дохода. Вот почему трудно сказать, сохранятся ли в Париже лет через пятьдесят дома, подобные тому, в котором проживала ко времени, когда начинается наше повествование, семья Тюилье; дом этот и впрямь любопытен, он заслуживает самого точного описания хотя бы для того, чтобы сравнить буржуазию былых времен с буржуазией наших дней.

Местоположение и внешний вид этого дома, служащего рамой для настоящей картины нравов, насквозь пропитаны духом мелкой буржуазии, что может привлечь или отвратить внимание каждого, в зависимости от его вкусов и склонностей.

Следует прежде всего заметить, что дом не принадле-

---

[1] По украшению *(итал.)*.

жит ни г-ну, ни г-же Тюилье; он принадлежит мадемуазель Тюилье, старшей сестре г-на Тюилье.

Означенный дом, приобретенный в первые месяцы после революции 1830 года мадемуазель Мари-Жанной-Бригиттой Тюилье, старшей в роду, расположен в самой середине улицы Сен-Доминик-д'Анфер, по правой ее стороне; особняк, в котором обитают Тюилье, смотрит своими окнами на юг.

Упорное стремление жителей Парижа расселяться на возвышенных местах правого берега Сены привело к запустению левого берега и уже много лет препятствовало продаже домовладений, расположенных в квартале, именуемом Латинским; и вот тогда-то некоторые причины, о которых мы скажем позднее, описывая характер и привычки г-на Тюилье, побудили его сестру приобрести недвижимое имущество. Она сделалась владелицей дома, уплатив за него весьма скромную сумму в сорок шесть тысяч франков, пристройки пошли за шесть тысяч; таким образом, общий размер купчей составил пятьдесят две тысячи франков. Подробное описание домовладения, сделанное в духе рекламной афиши, а также рассказ о результатах, достигнутых стараниями г-на Тюилье, объяснят читателю, каким образом многие состояния умножились после июля 1830 года, в то время как другие состояния пошли прахом.

Выходящий на улицу фасад дома сложен из оштукатуренного известняка, скребок каменщика провел на нем продольные и поперечные полосы, а время избороздило его волнистыми линиями, так что известняк стал походить на дорогой строительный камень. Такие уродливые фасады столь обычны для Парижа, что городу следовало бы выдавать награды домовладельцам, возводящим дома из настоящего камня и украшающим фасады резьбой. Серое здание в семь окон состояло из трех этажей и заканчивалось мансардами, крытыми черепицей. Большие, массивные ворота всем своим видом и стилем свидетельствовали, что дом построен во времена Империи — с целью найти полезное применение для части двора просторного старинного владения, воздвигнутого в эпоху, когда квартал Анфер был еще в известной чести у парижан.

Во дворе с одной стороны помещалось жилище привратника, с другой — виднелась лестница дома, выходящего на улицу. Два флигеля, вплотную примыкавшие к соседним домам, некогда служили каретными сараями, конюшнями, кухнями и другими подсобными помещениями для особняка, расположенного в глубине; однако после 1830 года они были превращены в склады.

Правый флигель арендовал оптовый торговец бумагой, которого именовали «господин Метивье-племянник», левый флигель — книгопродавец по имени Барбе, конторы этих негоциантов помещались над их складами. Книгопродавец занимал первый этаж, а торговец бумагой — второй этаж дома, выходившего на улицу. Метивье-племянник был скорее комиссионер, нежели торговец, а Барбе — скорее дисконтер, нежели книгопродавец; тот и другой нуждались в обширных складских помещениях, чтобы хранить в них либо партии бумаги, закупленные у впавших в нужду фабрикантов, либо многие тысячи отпечатанных книг, принятых в обеспечение ссуды.

Акула книготорговли и щука бумажной торговли жили в полном согласии, их коммерческие дела были свободны от лихорадочной суеты, этого неизменного спутника розничных операций; вот почему телеги и экипажи не часто нарушали дремотный покой двора, и привратнику приходилось время от времени выдергивать траву, пробивавшуюся между камнями. Господа Барбе и Метивье, играющие в нашем повествовании роль статистов, лишь изредка посещали своих домовладельцев; они с безупречной точностью вносили квартирную плату и потому слыли безукоризненными жильцами; в кругу Тюилье их считали людьми весьма почтенными.

Третий этаж дома, выходившего на улицу, состоял из двух квартир: одну занимал г-н Дюток, письмоводитель мирового судьи, чиновник в отставке и завсегдатай гостиной Тюилье, в другой жил герой настоящей Сцены; пока что мы ограничимся только упоминанием о том, что он платил квартирную плату в размере семисот франков, и сообщим, что появился он в доме Тюилье за три года до того, как поднялся занавес описываемой нами домашней драмы.

Письмоводитель, пятидесятилетний холостяк, зани-

мал лучшую и бóльшую из двух квартир третьего этажа; квартирная плата за нее достигала тысячи франков; кроме того, он держал кухарку.

Через два года после того, как мадемуазель Тюилье приобрела дом, который прежний владелец украсил снаружи ставнями, а изнутри заново отремонтировал и уставил зеркалами, но, несмотря на это, не сумел ни продать, ни сдать внаем, она уже умудрилась извлечь из него семь тысяч двести франков дохода; помимо этого, Тюилье, жившие на широкую ногу, как вскоре увидит читатель, наслаждались едва ли не лучшим садом в квартале, деревья которого отбрасывали тень на маленькую пустынную улочку Нэв-Сент-Катерин.

Их особнячок, расположенный между двором и садом, походит одновременно на прихотливое жилище какого-нибудь разбогатевшего буржуа времен Людовика XIV или председателя парламента либо на приют ушедшего в свою науку ученого. Его источенный временем, некогда красивый строительный камень до сих пор хранит своеобразное величие эпохи четырнадцатого Людовика (да простит нам читатель сей варваризм!); фасад выложен каменной кладкой, выступы из красного кирпича напоминают те, что можно видеть на стенах конюшен Версаля, сводчатые окна украшены женскими головками, венчающими арки и подпирающими подоконники. Наконец, дверь, ведущая в сад, верхняя часть которой вся в мелких застекленных переплетах, а нижняя сплошная, выполнена в скромном и благопристойном стиле, нередко отличавшем павильоны привратников в королевских замках.

Особнячок этот с пятью окнами в ряд — трехэтажный. Особенно примечательна в нем кровля с четырьмя скатами, ее венчает флюгер и украшают великолепные дымовые трубы и слуховые окна. Возможно, дом — лишь обломок какого-нибудь огромного особняка, но автор, не поленившийся изучить старые планы Парижа, не обнаружил в них ничего, что подтверждало бы это предположение; надо сказать, и купчая, хранящаяся у мадемуазель Тюилье, свидетельствует, что во времена Людовика XIV жилище это принадлежало знаменитому художнику по эмали Петито, к которому оно перешло от председателя парламента Лекамю. Вполне вероятно, что

Лекамю жил здесь в то время, пока он возводил свой знаменитый особняк на улицеТориньи.

Таким образом, здесь обитали и Мантия и Искусство. И надо признать, что внутреннее устройство свидетельствует о необыкновенно удачном сочетании комфорта и красоты! Направо от входа в квадратную залу, служащую передней, виднеется каменная лестница, а под ней — дверь, ведущая в подвал; налево расположены двери в гостиную, два окна которой выходят в сад, и в столовую, смотрящую окнами во двор. Столовая эта примыкает к кухне, а та, в свою очередь, служит продолжением складов Барбе. За лестницей, со стороны сада, находится роскошный удлиненный кабинет с двумя окнами. На втором и третьем этажах помещаются две просторные квартиры, а комнаты слуг приютились под самой крышей — их нетрудно угадать по слуховым окнам. Великолепный очаг украшает четырехугольную прихожую, свет в нее проникает сквозь две стеклянные двери, устроенные одна против другой. Эта комната, выложенная белым и черным мрамором, приковывает внимание каждого своим потолком, пересеченным выступающими балками, некогда покрытыми позолотой; однако позднее, должно быть, в годы Империи, они были выкрашены белилами. Напротив очага возвышается фонтан красного мрамора с мраморным же бассейном. Все три двери — из кабинета, гостиной и столовой — снабжены овальными наличниками, краска на них облупилась и требует срочного обновления. Работа столяра, мастерившего двери, отличается некоторой топорностью, но украшения не лишены мастерства. В гостиной, стены которой обшиты деревянной панелью, все напоминает о великом веке: и камин из лангедокского мрамора, и потолок с лепными украшениями по углам, и форма окон в мелких переплетах. Столовая, куда можно попасть из гостиной через двустворчатую дверь, выложена каменными плитами, по ее стенам идет дубовая некрашеная панель; стены над панелью вместо старинной обивки оклеены ужасающими современными обоями. Потолок здесь из каштана, излюбленного в прошлом строительного материала. Кабинет, перестроенный Тюилье, являет собою полную мешанину стилей. Золото и белила лепного орнамента гостиной настолько истерлись, что глаз за-

мечает на месте золота лишь красные полосы, а пожелтевшие и потрескавшиеся белила шелушатся, как чешуя. Никогда еще латинское изречение «otium cum dignitate» [1] не могло найти себе лучшего комментария в глазах поэта, нежели это благородное жилище. Резные чугунные перила на лестницах достойны высокого судебного чиновника и прославленного художника; но лишь наблюдатель, наделенный поэтическим воображением, сумеет отыскать следы безукоризненного вкуса былых владельцев дома в узорчатых балконах второго этажа и в некоторых других приметах величавой старины. И сами Тюилье и их предшественники немало потрудились над тем, чтобы обезобразить эту жемчужину высокопоставленных буржуа с помощью привычек и устремлений мелких буржуа. Судите сами, как должны выглядеть стулья из темного ореха с сиденьями, набитыми конским волосом, столик красного дерева, покрытый клеенкой, такого же дерева буфеты, лампы с колпаками из гофрированной жести, обои с красным бордюром, отвратительные гравюры, выдержанные в черных тонах, коленкоровые занавески, обшитые красными басонами, в столовой, где пировали друзья Петито!.. Представьте себе, какое впечатление производят висящие в гостиной портреты самого г-на Тюилье, его супруги и его сестры, мадемуазель Тюилье, написанные Пьером Грассу — художником, которого так ценят буржуа; карточные столики, которые служат уже двадцать лет; консоли времен Империи, чайный столик с основанием в виде большой лиры; гнутая мебель красного дерева, обитая бархатом с цветами по шоколадному фону; стоящие на камине часы, изображающие богиню Беллону; канделябры с витыми колонками; занавеси из шерстяной камки или из вышитого муслина с подхватами из штампованной меди!.. На паркете разостлан купленный по случаю ковер. В великолепной продолговатой прихожей стоят обитые бархатом скамеечки, а стены со скульптурными украшениями скрыты разнокалиберными шкафами, которые перекочевали сюда из всех квартир, где в разное время проживало семейство Тюилье. Фонтан укрыт дощатым настилом, на нем коптит лампа образ-

---

[1] «Досуг и достоинство» *(лат.)*.

ца 1815 года. И, наконец, страх — это отвратительное божество — заставил нынешних владельцев дома приладить со стороны сада и со стороны двора двойные, обитые железом двери, которые открываются утром и запираются на ночь.

Нетрудно объяснить эту достойную сожаления профанацию памятника частной жизни семнадцатого века влиянием частной жизни девятнадцатого века. Должно быть, в начале Консульства какой-нибудь разбогатевший каменщик, владелец этого маленького особняка, возымел мысль извлечь пользу из участка земли, выходившего на улицу: он-то, видимо, и разрушил красивые ворота между маленькими флигельками, составлявшими неотъемлемую часть этого милого глазу *обиталища*, если нам будет позволено употребить сие старинное слово; поистине предприимчивость парижского домовладельца накладывает свое клеймо на чело изящных строений с той же неумолимостью, с какой газета и ее типографские машины, фабрика и ее склады, коммерция и ее конторы вытесняют аристократию, старинную буржуазию, людей фиска и мантии отовсюду, где те прежде блистали. Может ли быть более любопытное занятие, нежели изучение документов, относящихся к домовладениям города Парижа! В доме, некогда принадлежавшем шевалье Пьеру Байарду дю Террайлю, на улице Батай, ныне разместилась частная лечебница; на том месте, где в свое время был расположен особняк Неккера, представители третьего сословия выстроили длинную вереницу домов. Вслед за ушедшими королями уходит и старый Париж. И если некая польская княгиня спасает один шедевр архитектуры, то множество маленьких дворцов, подобных жилищу Петито, попадают в руки всякого рода Тюилье! Вот почему мадемуазель Тюилье и сделалась владелицей этого дома.

Когда пало министерство Виллеля, г-н Луи-Жером Тюилье, прослуживший к тому времени двадцать шесть лет в финансовом ведомстве, сделался помощником правителя канцелярии; но не успел он вволю насладиться этой не бог весть какой должностью, впрочем, некогда казавшейся ему недосягаемой, как события июля 1830 года вынудили его подать в отставку. Он весьма тонко рассчитал, что вновь пришедшие к власти люди

будут рады получить в свои руки еще одну вакансию и в знак признательности проявят великодушие и щедрость при назначении ему пенсии; расчет Тюилье оказался верным: ему была установлена пенсия в тысячу семьсот франков.

Едва только осмотрительный помощник правителя канцелярии заговорил о своем намерении уйти от дел, как его сестра, которая с бóльшим правом могла именоваться подругой жизни Тюилье, чем его жена, исполнилась тревоги за будущее старого служаки.

«Что станется с Тюилье?..» — этот вопрос задавали друг другу в равной мере напуганные мадам и мадемуазель Тюилье, обитавшие в ту пору в небольшой квартирке на четвертом этаже дома на улице Аржантей.

— Хлопоты, связанные с пенсией, займут его на некоторое время,— заявила в конце концов мадемуазель Тюилье,— кроме того, я подумываю о том, как выгоднее поместить свои сбережения. И тут для него будет широкое поле деятельности... Да, да, забот у домовладельца не меньше, чем у чиновника.

— О, милая сестра, вы спасаете ему жизнь! — воскликнула г-жа Тюилье.

— Но я всегда думала об этом неминуемом кризисе в жизни Жерома! — ответила старая дева с покровительственным видом.

Мадемуазель Тюилье слишком часто слышала, как сослуживцы брата говорили ему: «Такой-то умер! Он и двух лет не прожил после выхода в отставку!» Она слишком часто слышала, как Кольвиль, закадычный друг Тюилье, такой же чиновник, как и он, подшучивал над этим климактерическим периодом бюрократов, приговаривая: «И нас с тобой не минует чаша сия!..» Поэтому старуха отчетливо представляла себе размеры опасности, угрожавшей ее брату. Переход от деятельности к полному безделью — и впрямь критический возраст для любого чиновника! Те из них, кто не умеет или не может придумать себе после ухода на пенсию какое-либо дело, неузнаваемо меняются: одни медленно умирают, другие страстно увлекаются рыбной ловлей, ибо это пустое занятие во многом напоминает их прежний труд в канцеляриях; наиболее хитроумные становятся акционерами, теряют все свои сбережения и чувствуют себя

счастливыми, если им удается получить какое-нибудь местечко в предприятии, которое после первого краха и первой ликвидации дел попадает в руки более ловких людей, уже давно на него зарившихся; и тогда наш отставной чиновник довольно потирает себе руки, уже не отягощенные деньгами, и говорит: «А все же я угадал, что у этого дела большое будущее...» Но почти все без исключения отставные чиновники тщетно пытаются избавиться от своих прежних привычек.

— Я знаю таких,— говорил Кольвиль,— которых снедает *спленн*, этот бич отставных чиновников.

Кольвиль произносил так слово «сплин»!

— Они,— продолжал он,— страдают от своего постоянно возвращающегося недуга, их мучит не ленточный глист, а картонная папка с ленточками. Коротышка-Пуаре не мог спокойно смотреть на белую картонную папку в синей окантовке: при виде этого любезного его сердцу предмета он менялся в лице, его зеленоватые щеки становились желтыми, как воск.

Мадемуазель Тюильe слыла добрым гением в доме брата; ознакомившись ближе с ее историей, читатель и сам увидит, что старая дева обладала достаточной силой и достаточной решимостью. Она была на голову выше окружающих, и это позволяло ей иметь верное суждение о Жероме, которого она тем не менее обожала. Мало-помалу надежды, возлагаемые ею на своего кумира, рассеялись, как дым; ее чувство к брату было столь сходно с материнским, что она отнюдь не заблуждалась на его счет и отлично сознавала, какая роль уготована в обществе для помощника правителя канцелярии. Тюильe и его сестра были детьми старшего привратника министерства финансов. Близорукость Жерома помогла ему избежать многочисленных рекрутских наборов и призывов в армию. Отец полагал свою славу в том, чтобы сделать из сына чиновника. В начале нашего века армия требовала столько людей, что в канцеляриях оставалось много свободных вакансий, и нехватка младших чиновников позволила толстому папаше Тюильe облегчить своему сыну восхождение по первым ступеням бюрократической лестницы. Привратник умер в 1814 году, когда Жером ожидал места помощника правителя канцелярии. Этой надеждой ограничивалось все состояние молодого

чиновника. Толстяк Тюилье и его жена, скончавшаяся в 1810 году, ушли на пенсию в 1806 году; кроме этой пенсии, у них не было средств к существованию: все сбережения они употребили на то, чтобы дать сыну приличное образование и поддерживать на первых порах его и дочь. Широко известно, какое влияние оказала Реставрация на положение канцелярских служащих. После упразднения сорока одного департамента освободилось огромное число достойных чиновников, которые соглашались занять более скромные места, чем те, что они занимали прежде. К сим благоприобретенным правам присоединялись права, так сказать, врожденные — права семейств, разоренных и изгнанных революцией. Страшась мощного напора двух этих потоков, Жером в душе радовался уже тому, что его не отрешили от должности, воспользовавшись первым же предлогом. Так он дрожал до того самого дня, когда по воле случая сделался наконец помощником правителя канцелярии и тем самым приобрел уверенность, что если и будет уволен в отставку, то не иначе, как с внушительной пенсией. Беглый обзор объяснит читателю, сколь скудны были способности и познания г-на Тюильe: он знал латынь, математику, историю и географию в тех пределах, в каких эти предметы преподают в пансионе, но дальше второго класса не пошел, ибо его отец поспешил воспользоваться подходящим случаем и, расхвалив *великолепный почерк* сына, пристроил юношу в министерство. Таким образом, Тюильe-младший начал вносить записи в книгу государственных доходов, вместо того, чтобы изучать основы риторики и философии. Сделавшись винтиком министерской машины, он мало интересовался изящной словесностью и того меньше — изящными искусствами; с годами он понаторел в своем деле, и когда во времена Империи случай помог ему проникнуть в сферу старших служащих, он приобрел там внешний лоск; но ума этот сын привратника так и не набрался. Сознавая собственное невежество, он научился молчать, и это пошло ему на пользу; императорский режим приучил Жерома Тюильe к беспрекословному повиновению, которое так нравится старшим начальникам; именно эта черта и принесла ему впоследствии должность помощника правителя канцелярии. Мало-помалу

привычные навыки превратились в опыт, обходительные манеры и умение молчать возместили недостаток образования. Посредственность Тюилье обернулась достоинством в пору, когда возникла потребность в человеке посредственном. В правительственных кругах опасались вызвать недовольство среди обеих партий Палаты, каждая из которых покровительствовала собственному кандидату на освободившуюся вакансию, и в министерстве вышли из затруднения, сославшись на законные права многоопытного чиновника. Вот каким образом Тюилье сделался помощником правителя канцелярии... Мадемуазель Тюилье, зная, что ее брат ненавидит чтение и не способен заменить канцелярскую возню никаким другим занятием, приняла мудрое решение возложить на него заботы по управлению домом, уходу за садом, заставить его окунуться с головой в мелкие житейские интересы буржуазного существования, в котором интриги соседей — уже событие.

Хлопоты, связанные с переездом семьи Тюилье с улицы Аржантей на улицу Сен-Доминик-д'Анфер и с приобретением собственного дома, поиски подходящего привратника и хороших жильцов занимали Тюилье на протяжении 1831 и 1832 года. Когда все это было осуществлено и сестра убедилась, что Жером успешно справляется со своими новыми обязанностями, она подыскала ему другие занятия, о которых речь пойдет впереди; их характер неотделим от характера самого Тюилье, на котором поэтому небесполезно остановиться.

Сын министерского привратника Тюилье был, что называется, красавец-мужчина: выше среднего роста, стройный, он был наделен от природы довольно приятным лицом; но как только он снимал очки, впечатление менялось, и его физиономия, как это бывает со многими близорукими людьми, приобретала отталкивающее выражение, ибо из-за привычки смотреть на мир сквозь стекла его зрачки подернулись какой-то мутной пленкой.

В возрасте от восемнадцати до тридцати лет Тюилье-младший пользовался успехом у женщин определенного круга, начиная с жен мелких буржуа и кончая супругами начальников отделений; как известно, в годы Империи война, можно сказать, обездолила парижское общество, призвав людей энергических на поля сражений;

быть может, именно этим, как заметил некий выдающийся медик, и объясняется та дряблость, что присуща поколению наших современников, людей первой половины девятнадцатого века.

Тюилье, вынужденный за отсутствием ума искать иных средств, чтобы привлечь к себе внимание, выучился вальсу и другим танцам, достигнув в этом известной степени совершенства; *красавец-Тюилье*, как его называли в те годы, великолепно играл на бильярде, умел вырезать силуэты из бумаги; его друг Кольвиль обучил Тюилье пению, и тот вполне сносно исполнял модные романсы. Все эти маленькие таланты принесли ему ту видимость успеха, которая обманывает молодежь и внушает ей необоснованные надежды на будущее. С 1806 по 1814 год мадемуазель Тюилье верила в своего брата так, как принцесса Орлеанская верит в Луи-Филиппа; она гордилась Жеромом; ей казалось, что он движется прямехонько к посту директора департамента, опираясь на успех, который в то время открыл перед ним двери некоторых салонов, куда бы ему не попасть вовеки, если бы не превратности истории, превратившие парижское общество времен Империи в невероятную мешанину.

Однако победы красавца-Тюилье длились обычно недолго, женщины старались удержать его не больше, чем он сам — сохранить их; его судьба могла бы послужить отличным сюжетом для комедии под названием «Дон-Жуан поневоле». Репутация *красавца-мужчины* утомляла Тюилье, старила его; при взгляде на его лицо, покрытое морщинами, как лицо старой кокетки, ему можно было дать на двенадцать лет больше, чем значилось в его метрике. От былых успехов у Жерома осталась привычка глядеться в зеркало, изящно изгибать стан и принимать позы танцора — он все еще сохранял уже ненужные манеры обольстителя, которые в свое время принесли ему прозвище красавца-Тюилье!

То, что было уместно в 1806 году, в 1826-м выглядело смешным. Жером сохранил отдельные детали костюма щеголя Империи; впрочем, они вполне приличествуют внушительной осанке бывшего помощника правителя канцелярии. Он носит белый шарф в многочисленных складках, закрывающий подбородок; концы это-

го шарфа так топорщатся, что, кажется, угрожают прохожим и позволяют им любоваться весьма кокетливым узлом, который во время оно завязывали на шее Тюилье ручки прелестниц. Умеренно следуя моде, он приспосабливает ее к своей фигуре, нахлобучивает шляпу на затылок, надевает летом тонкие чулки и башмаки; его удлиненные сюртуки походят на длинные сюртуки времен Империи; он до сих пор не отказался от накрахмаленных жабо и белых жилетов, неизменно вертит в руках тросточку образца 1810 года и никогда не горбится на ходу. Никому из тех, кто встречает Тюилье, когда тот прогуливается по бульварам, не приходит в голову, что перед ним сын человека, готовившего завтраки чиновникам министерства финансов и носившего ливрею государственных служащих времен Людовика XVI: Жером Тюилье походит на императорского дипломата или на старого префекта.

Надо сказать, что мадемуазель Тюилье не только в простоте душевной потворствовала слабостям своего брата, поддерживая в нем всепоглощающее стремление заботиться о собственной персоне, что было для нее естественным продолжением культа, которым она окружала свое божество, но она еще и даровала брату все семейные радости, поселив рядом с ним чету, которая вела такой же образ жизни, какой вели и сами Тюилье.

Речь идет здесь о г-не Кольвиле, ближайшем друге Тюилье; но, прежде чем живописать Пилада, тем более необходимо покончить с портретом Ореста и объяснить, почему Тюилье, красавец-Тюилье, не имел семьи, ибо не может быть подлинной семьи без детей. Нам предстоит коснуться тут одной из тех глубоких тайн, которые остаются погребенными в недрах частной жизни и чьи отдельные черточки всплывают на поверхность лишь тогда, когда горестные, тщательно скрываемые стороны семейных отношений становятся особенно болезненными; мы хотим рассказать о жизни мадам и мадемуазель Тюилье, ибо до сих пор мы говорили главным образом лишь о служебной карьере Жерома Тюилье.

Мари-Жанна-Бригитта Тюилье была четырьмя годами старше брата, которому она посвятила всю свою жизнь; родителям легче было добиться положения для сына, нежели скопить приданое дочери. Для некоторых

натур невзгоды, подобно маяку, освещают темные и низменные стороны социальной жизни. Бригитта обладала несравненно большей энергией и умом, чем ее брат, она принадлежала к числу тех характеров, которые под молотом нужды закаляются, мужают и становятся стойкими, можно сказать, несгибаемыми. Стремясь к независимому положению, она решила вырваться из привратницкой и стать полной хозяйкой собственной судьбы.

В возрасте четырнадцати лет Бригитта поселилась в небольшой мансарде, в нескольких шагах от казначейства, помещавшегося на улице Вивьен, и неподалеку от улицы Врильер, где находился банк. Она мужественно принялась за малоизвестное, но выгодное ремесло — изготовление мешков для банка, казначейства и других крупных финансовых учреждений; благодаря некоторым покровителям отца дело у нее пошло успешно. Через два года девушка наняла двух работниц. Вкладывая свои сбережения в государственные бумаги, она к 1814 году, то есть через пятнадцать лет, располагала уже тремя тысячами шестьюстами франков годового дохода. Бригитта тратила мало; пока был жив отец, она почти ежедневно обедала у него; кроме того, государственная рента во время последних конвульсий Империи, как известно, обесценилась и упала до сорока с чем-то франков при номинальной цене в сто франков: вот почему на первый взгляд чрезмерная цифра доходов мадемуазель Тюилье на самом деле вполне объяснима.

После смерти бывшего привратника двадцатисемилетняя Бригитта и двадцатитрехлетний Жером решили поселиться вместе. Брат и сестра были необыкновенно привязаны друг к другу. Если Жером, пользовавшийся в ту пору наибольшим успехом, испытывал нужду в деньгах, его сестра, носившая платья из грубой шерстяной материи и постоянно ходившая с исколотыми иглою пальцами, неизменно давала брату несколько луидоров. В глазах Бригитты Жером был самым красивым и очаровательным мужчиной Французской империи. Она мечтала о том, чтобы вести хозяйство брата, быть причастной секретам этого Линдора и Дон-Жуана, прислуживать ему с собачьей преданностью; с чувством, напоминавшим влюбленность, она решила принести себя

в жертву кумиру, чей эгоизм не только поддерживала, но даже возводила на пьедестал; она продала мастерскую своей старшей помощнице и поселилась на улице Аржантей вместе с Жеромом, сделавшись, таким образом, сразу и матерью, и защитницей, и служанкой этого *баловня женщин*. Тем не менее Бригитта, следуя естественной осторожности старой девы, обязанной всем лишь собственному благоразумию и усердию, утаила от брата истинный размер своего состояния: она, без сомнения, опасалась, как бы он, проведав о ее капитальце, не предался мотовству; вот почему она ограничилась тем, что вносила в дом по шестьсот франков ежегодно,— эти деньги вместе с тысячью восемьюстами франков жалованья Жерома позволяли брату и сестре сводить концы с концами.

С первых же дней этого своеобразного союза Тюильэ прислушивался к мнению сестры, как к словам оракула, он во всем советовался с нею, посвящал ее в свои тайны, позволяя старой деве вкушать плоды того стремления к владычеству, которым грешила почтенная особа. Но разве сестра не пожертвовала всем ради брата, разве не была она ему предана всей душой, разве не жила она только им одним? Влияние Бригитты на Жерома удивительным образом возросло благодаря браку, в который он вступил по ее настоянию в 1814 году.

Когда люди, выдвинутые на передний план Реставрацией, начали упорно завоевывать себе позиции в канцеляриях, а представители старого общества стали оттеснять буржуазию, Бригитта из разговоров с братом поняла, что социальный кризис безвозвратно разрушил их общие упования. Отныне красавец-Тюильэ уже не мог рассчитывать на успех в салонах знати, которая пришла на смену разночинному обществу Империи.

Тюильэ не чувствовал в себе сил окунуться в политику; как и сестра, он понял, что необходимо воспользоваться уходящей молодостью и упрочить свое положение. При таких обстоятельствах ревнивая Бригитта пожелала устроить женитьбу брата столько же в его интересах, сколько и в своих собственных, ибо лишь она одна могла составить его счастье, а будущей г-же Тюильэ отводилась второстепенная роль существа, годного лишь на то, чтобы родить ребенка, а еще лучше двух.

Если Бригитта и не обладала умом, который был бы под стать ее воле, то, во всяком случае, отчетливо сознавала меру своего честолюбия: ведь старая дева не могла похвастаться образованием, она просто шла вперед напролом, с упорством человека, привыкшего к тому, что ему все удается. Она была превосходной хозяйкой, обладала духом бережливости, умением жить и любовью к труду. Бригитте легко было понять, что ей вовек не найти жену для Жерома среди семейств, стоящих ступенькой выше на общественной лестнице, ибо люди этого круга обязательно заинтересуются домашним укладом жениха и исполнятся тревогой, узнав, что в доме уже есть хозяйка; и она решила искать невесту в социальных слоях рангом пониже, среди людей, которых можно ослепить положением Тюилье; довольно скоро ей представилась подходящая партия для брата.

У некоего Ланпрэна, мелкого служащего банка, проработавшего там много лет, была единственная дочь по имени Селеста. Мадемуазель Селеста Ланпрэн должна была унаследовать состояние матери, также единственной дочери одного землевладельца; состояние это заключалось в нескольких арпанах земли в окрестностях Парижа, которые старик все еще обрабатывал; вторую часть приданого Селесты составляло состояние добряка Ланпрэна, бывшего служащего банкирских домов Телюссона и Келлера, перешедшего во Французский банк с первых дней его основания. Ланпрэн дослужился до должности старшего кассира и пользовался уважением и доверием управляющего банком и ревизоров.

Поэтому совет банка, прослышав, что речь идет о браке Селесты с почтенным чиновником министерства финансов, пообещал в качестве свадебного подарка шесть тысяч франков. Эта сумма, прибавленная к двенадцати тысячам франков, которые давал папаша Ланпрэн, и двенадцати тысячам франков, которые обещал господин Галар, огородник из Отейля, увеличивала размер приданого Селесты до тридцати тысяч франков. Старик Галар, господин и госпожа Ланпрэн были в восторге от этого брачного союза; старший кассир знал мадемуазель Тюилье и считал ее одной из наиболее достойных и наиболее честных девиц Парижа. К тому же

Бригитта ослепила его своими облигациями государственного займа, не преминув сообщить при этом, что она никогда не выйдет замуж; ни старший кассир, ни его супруга, истинные люди золотого века, никогда бы не позволили себе судить Бригитту: они были просто ошеломлены блестящим положением красавца-Тюилье, и свадьба состоялась, как принято выражаться, ко всеобщему удовольствию.

Управляющий банком и секретарь правления были свидетелями со стороны невесты, а г-н де ла Биллардиер, начальник отделения, и г-н Рабурден, правитель канцелярии,— свидетелями со стороны Тюилье. Через шесть дней после свадьбы старик Ланпрэн стал жертвой дерзкой кражи, о которой немало писали газеты того времени, но под влиянием событий 1815 года она довольно скоро была забыта. Ворам удалось скрыться, Ланпрэн пожелал возместить недостачу, и, хотя банк отнес украденную сумму на счет убытков, несчастный старик умер от горя, не вынеся позора: семидесятилетний служака рассматривал этот налет как посягательство на его незапятнанную репутацию.

Госпожа Ланпрэн предоставила все наследство своей дочери, г-же Тюилье, а сама переехала жить к отцу в Отейль. В 1817 году старик внезапно умер; необходимость обрабатывать или сдавать в аренду огороды и поля пугала г-жу Ланпрэн, и она попросила Бригитту, чьи способности и честность всегда восхищали ее, обратить в деньги земельные владения покойного Галара и устроить все таким образом, чтобы состояние перешло к ее дочери, г-же Тюилье, ей же была бы оставлена лишь рента в полторы тысячи франков и дом в Отейле. Распроданные по частям земли старого огородника принесли тридцать тысяч франков. Наследство, завещанное Ланпрэном, достигало такой же суммы, и оба эти состояния вместе с приданым Селесты составили в 1818 году девяносто тысяч франков.

Приданое молодой женщины было обращено в акции Французского банка, когда они стоили по девятьсот франков каждая. На остальные шестьдесят тысяч франков Бригитта приобрела государственную ренту, приносившую годовой доход в размере пяти тысяч франков (в ту пору курс ее был именно таким), из них полторы

тысячи франков были предоставлены в пожизненное пользование вдове Ланпрэн. Таким образом, к началу 1818 года семейство Тюилье располагало годовым доходом в одиннадцать тысяч франков, причем ими бесконтрольно распоряжалась Бригитта; доход этот складывался из шестисот франков, которые вносила в дом она сама, из тысячи восьмисот франков должностного оклада Тюилье, из трех с половиной тысяч франков ренты Селесты и из дивидендов от тридцати четырех акций Французского банка. Теперь ей следовало прежде всего определить размер расходов каждого не только для того, чтобы пресечь какие бы то ни было возражения, но и для того, чтобы не возникало никаких споров.

Прежде всего Бригитта предоставила пятьсот франков в месяц брату и повела дело так, чтобы расходы по дому не превышали пяти тысяч франков в год; она положила по пятьдесят франков в месяц своей невестке, заявив, что сама удовольствуется сорока франками. Чтобы подкрепить свое владычество денежным могуществом, Бригитта накапливала доходы от принадлежавшей лично ей ренты; в канцеляриях поговаривали, будто она при посредничестве брата, служившего ей дисконтером, давала деньги в рост. За пятнадцать лет— с 1815 по 1830 год — капитал Бригитты вырос до шестидесяти тысяч франков; столь внушительную сумму можно, однако, объяснить финансовыми операциями с государственной рентой (которую порою можно было приобрести за сорок процентов номинальной стоимости), оставив без внимания более или менее обоснованные обвинения в ростовщичестве, ибо они не играют существенной роли для нашей истории.

С первых же дней Бригитта полностью подчинила себе злополучную г-жу Тюилье. Для этого оказалось достаточно несколько раз пришпорить бедняжку и покрепче натянуть узду,— к тирании прибегать даже не пришлось, ибо жертва быстро покорилась. Селеста, как это в свое время предугадала Бригитта, была лишена ума и образованности, она привыкла к сидячему образу жизни, к спокойному, размеренному существованию и обладала удивительно мягким нравом; она была благочестива в самом глубоком смысле этого слова и охотно искупила бы самым строгим покаянием ущерб, который ей

довелось бы невольно причинить своему ближнему. Мать Селесты сама вела хозяйство, все подавала дочери, и молодая женщина совсем не знала жизни; анемичная от природы, она мало двигалась и быстро уставала; Селеста была типичной дочерью парижского народа, который не может похвалиться красивыми детьми, ибо они вырастают в бедности, в обстановке непосильного труда, в душных помещениях, лишенных самых необходимых удобств и простора.

Ко времени своего замужества Селеста была невысокой женщиной с неприятного оттенка белесыми волосами, рыхлой, медлительной, неуклюжей, не умевшей себя держать. Ее слишком широкий и выпуклый лоб походил на лоб человека, больного водянкой мозга; этот восковой купол нависал над маленьким остроконечным личиком, напоминавшим мордочку мыши: немногие гости, присутствовавшие на свадьбе, невольно подумали при взгляде на нее, что эту женщину раньше или позже ждет безумие. Ее светло-голубые глаза и губы, на которых застыла неподвижная улыбка, еще больше укрепляли в такой мысли. В тот торжественный день она своим видом, поведением и манерами напоминала приговоренного к смерти, который мечтает лишь о том, чтобы все поскорее закончилось.

— Она малость тронута!..—сказал Кольвиль Тюилье.

Бригитта была призвана сыграть роль ножа, которому предстояло безжалостно вонзиться в это беззащитное существо. Старая дева была полным контрастом молодой женщине. Она отличалась строгой красотою, у нее были правильные черты лица, теперь уже увядшего от трудов, ибо ей с детства приходилось выполнять тяжелые и неблагодарные работы, и от тайных лишений, которым она подвергала себя, чтобы прикопить деньжат. Краски на ее лице рано поблекли, и оно приобрело сероватый оттенок. Под карими глазами залегли темные круги, отливавшие синевой; верхняя губа была украшена черным пушком, точно вымазана сажей. Тонкие, вечно сжатые губы и надменный лоб, увенчанный некогда черными, а теперь посеребренными сединой волосами, дополняли ее портрет. У нее была осанка красивой женщины, и все в ней выдавало тот опыт, какой приобретается к тридцати годам, когда страсти угасают и, как говорят привират-

ники, на лице человека *проступает печать его похождений.*

Для Бригитты Селеста была счастливой находкой— человеком, которого надо обтесать, новым подданным, которого надо поработить. Она не упускала случая уколоть невестку ее *вялостью* — то было любимое словечко старой девы — и испытывала жестокую радость, подстегивая энергию этого слабого создания, хотя, надо заметить, пришла бы в полное отчаяние, окажись ее невестка человеком деятельным. Селеста испытывала чувство неловкости, видя, что Бригитта с утра до вечера неутомимо хлопочет по хозяйству, и всячески старалась ей помочь. Кончилось это тем, что г-жа Тюилье вскоре заболела, и Бригитта окружила ее заботами, как любимую сестру, но не упускала случая сказать в присутствии Тюилье: «Ведь у вас так мало сил, милочка! Не утруждайте же себя!..» Она выставляла напоказ нерасторопность Селесты и утешала ее так, как умеют делать лишь старые девы,— выпячивая тем самым собственные достоинства.

При этом, как все люди с деспотической натурой, которые любят подчинять окружающих своей власти и вместе с тем испытывают почти нежное сочувствие к физическим страданиям, Бригитта ухаживала за невесткой настолько внимательно, что даже поразила мать Селесты, приехавшую навестить дочь.

Когда г-жа Тюилье оправилась, Бригитта, не стесняясь присутствием молодой женщины, называла ее «тряпкой», «ничтожеством» и другими не менее изысканными эпитетами. Селеста уходила плакать к себе в комнату, и, когда Тюилье заставал ее там в слезах, он старался оправдать сестру, говоря:

— Она отличная женщина, только резковата; она вас по-своему любит, как и я, разумеется.

Селеста, помня о том, как трогательно невестка заботилась о ней во время болезни, прощала ей мелкие придирки. Надо сказать, что Бригитта смотрела на брата, как на самодержавного властителя: она не уставала прославлять его в присутствии Селесты, и сама относилась к нему, как к неограниченному монарху, к новому Ладиславу, как к непогрешимому папе. Г-же Тюилье, потерявшей отца, а затем и деда, почти покинутой ма-

терью, которая навещала ее по четвергам и которую семейство Тюилье, в свою очередь, навещало по воскресеньям в хорошую погоду, некого было любить за исключением мужа: ведь, во-первых, он был ее мужем, а во-вторых, оставался в ее глазах красавцем-Тюилье. К тому же он изредка обращался с ней, как с женою, и все это вместе взятое заставляло Селесту обожать его. Он представлялся бедняжке тем более совершенным, что порой принимал ее сторону и бранил сестру: не потому, конечно, что жалел жену, а потому, что был эгоистом, и хотел, чтобы в те редкие минуты, когда он бывал дома, там царили мир и спокойствие.

И действительно, красавец-Тюилье после обеда вновь уходил и возвращался далеко за полночь: он неизменно являлся на балы или в гости к людям своего круга один, словно все еще пребывал холостым. Поэтому обе женщины почти целые дни проводили вдвоем. Мало-помалу Селеста, становившаяся все более покорной, превратилась в бессловесную рабыню. Бригитте же того и надо было, и эта королева домашнего очага, дотоле безжалостно помыкавшая своей безответной жертвой, теперь ощутила к ней некоторое сочувствие. В конце концов она перестала относиться к невестке свысока, прекратила говорить колкости и отказалась от презрительного тона: все это было уже излишне, ибо Селеста сдалась на милость победителя.

Заметив на шее своей жертвы ссадины от ошейника, Бригитта почувствовала жалость к рабыне, и Селеста узнала лучшие времена. Сравнивая свою нынешнюю жизнь с былым существованием, она прониклась некоторой привязанностью к палачу. По воле судьбы у несчастной была отнята последняя возможность выказать энергию, защитить себя, занять достойное место в доме, поддерживавшемся на ее средства, хотя она об этом и не подозревала, и потребовать себе иной доли, вместо того чтобы довольствоваться уделом приживалки, на который ее обрекли.

Прошло уже шесть лет после замужества Селесты, а у нее все еще не было ребенка. Это бесплодие, заставлявшее бедную женщину проливать каждый месяц потоки слез, долгое время подогревало презрение Бригитты, которая упрекала невестку в том, что та ни на что не

годна, не способна даже рожать детей. Только к 1820 году старая дева, мечтавшая лелеять сына своего брата как собственного, перестала оплакивать будущую судьбу семейного состояния, которое, по ее словам, должно было впоследствии перейти в руки правительства.

К тому времени, когда начинается наша история — а именно в 1839 году,— Селесте исполнилось сорок шесть лет, и она перестала оплакивать свое бесплодие, ибо прониклась печальной уверенностью в том, что уже никогда не станет матерью. И странная вещь! За двадцать пять лет совместной жизни жертва умудрилась в конце концов обезоружить Бригитту, выбить нож из ее рук, и теперь Бригитта любила Селесту не меньше, чем Селеста любила Бригитту. Время, достаток, каждодневное общение, общий дом, покорность и ангельская кротость Селесты — все это, вместе взятое, без сомнения, стерло острые углы, сгладило шероховатости и привело к наступлению ясной осени. К тому же обеих женщин объединяло общее чувство, переполнявшее их души: они обожали счастливого эгоиста Тюилье.

В конце концов Бригитта и Селеста, у которых не было детей, пришли к тому, к чему приходят все женщины, безуспешно мечтавшие о ребенке,— они прониклись любовью к чужому ребенку. Это мнимое материнство, не уступающее по силе чувства материнству подлинному, требует от автора особого объяснения, которое поможет многое понять в этой Сцене и, в частности, прольет свет на то, почему мадемуазель Тюилье так старалась приискать новое занятие для брата.

Тюилье начал свою карьеру как сверхштатный чиновник одновременно с Кольвилем — самым близким его другом. Словно для контраста, неведомые силы, управляющие жизнью общества, поместили рядом с мрачной и печальной семьей Тюилье семью Кольвиля; на первый взгляд трудно не прийти к выводу, что этот случайный контраст мало поучителен, однако прежде чем утвердиться в этом выводе, читателю следует дойти до конца настоящей драмы, к несчастью, совершенно правдивой; но тут уж, как говорится, писатель ни при чем.

Кольвиль был единственным сыном одаренного музыканта, который во времена Франкера и Ребеля был первым скрипачом Оперы. Отец Кольвиля под старость

каждые несколько дней рассказывал анекдоты о том, как проходили репетиции «Деревенского колдуна»: он с удивительной точностью описывал Жан Жака Руссо и неподражаемо имитировал его; Кольвиль и Тюилье были закадычными друзьями; у них не было секретов друг от друга, и дружба их, начавшаяся в пятнадцатилетнем возрасте, оставалась безоблачной вплоть до 1839 года— того времени, когда начинается наш рассказ.

Кольвиль принадлежал к разряду тех чиновников, которых в канцелярии насмешливо именуют «мастерами на все руки». Этим прозвищем они обязаны своей ловкости и расторопности. Кольвиль был отличный музыкант, имя и влияние отца доставили ему место первого кларнетиста в Комической опере; до своей женитьбы Кольвиль был богаче Тюилье и нередко делился деньгами с другом. В противоположность Тюилье Кольвиль женился по любви: его избранницей была некая мадемуазель Флавия, незаконнорожденная дочь знаменитой танцовщицы Оперы; отцом Флавии называли дю Бургье, одного из самых богатых поставщиков времен Директории; разорившись в 1800 году, человек этот перестал уделять какое бы то ни было внимание маленькой дочери, тем более что у него имелись кое-какие сомнения насчет добродетельности прославленной балерины.

Хорошенькую девушку, которая не могла назвать имя своего отца, ожидало грустное будущее, если бы Кольвиль, часто бывавший в роскошном доме примы-балерины Оперы, не влюбился во Флавию и не женился бы на ней. Князь Галатион, который покровительствовал в сентябре 1815 года выдающейся танцовщице, чья карьера в то время уже подходила к концу, дал Флавии двадцать тысяч франков в приданое, мать присоединила к ним пышные туалеты. Завсегдатаи дома и артисты Оперы подарили молодоженам драгоценности и посуду, так что у Кольвилей оказалось больше предметов роскоши, нежели денег. Привыкшая к богатству, Флавия с помощью мебельщика матери обставила себе прелестное гнездышко, и в нем эта молодая женщина, любившая все изящное, все артистичное да и самих артистов, чувствовала себя полновластной королевой.

Госпожа Кольвиль была одновременно красива и пи-

кантна, остроумна и весела, грациозна — короче говоря, приятна во всех отношениях. Когда ее матери исполнилось сорок три года, та покинула сцену и отправилась жить в деревню, лишив тем самым свою дочь дополнительного источника к существованию, ибо Флавии кое-что перепадало от щедрот танцовщицы, жившей на широкую ногу. Друзья г-жи Кольвиль охотно посещали ее дом, зачастую даже не догадываясь, сколько усилий прилагает хозяйка, чтобы принимать гостей. С 1816 по 1826 год она родила пятерых детей. По вечерам Кольвиль становился музыкантом, а с семи до девяти утра вел счетные книги у какого-то негоцианта. В десять утра он уже сидел за столом в канцелярии. Итак, по вечерам он дул в деревянную трубу, а по утрам писал гусиным пером счета, и это позволяло ему выколачивать от семи до восьми тысяч франков в год.

Госпожа Кольвиль разыгрывала из себя светскую женщину: по пятницам она устраивала приемы, раз в две недели давала званый обед, а раз в месяц в ее доме происходили концерты. С Кольвилем они виделись лишь за обедом да по вечерам: он возвращался домой почти в полночь. Нередко и в этот поздний час г-жи Кольвиль еще не было дома. Она посещала спектакли, ибо знакомые часто оставляли ей ложу, и молодая женщина односложно просила мужа заехать за нею в тот или иной дом, где она танцевала или ужинала. Кормили у г-жи Кольвиль отменно, и хотя общество у нее собиралось пестрое, зато всегда забавное: тут бывали знаменитые актрисы, художники, писатели, здесь можно было встретить и нескольких богачей. Элегантностью г-жа Кольвиль могла поспорить с Туллией, примой-балериной Оперы, с которой она дружила. Надо сказать, что хотя Кольвили проедали свой капитал и обычно в конце месяца сидели без проша, Флавия никогда не делала долгов.

Кольвиль был неизменно счастлив, он все так же любил свою жену и был ей лучшим другом. Она всегда встречала его приветливой улыбкой, лицо ее при появлении мужа озарялось радостью, и он каждый раз уступал ее чарам, ее неотразимым манерам. Бешеная энергия, которую требовали от него три должности, отвечала, впрочем, нраву и темпераменту Кольвиля. То был доб-

родушный, толстый человек, краснощекий, веселый, щедрый, полный фантазии. За десять лет супруги ни разу не поссорились. В канцеляриях его считали *сумасбродом*, как всех людей с артистической натурой, но такое мнение свидетельствовало о поверхностности умов тех, кто его высказывал, ибо они принимали постоянную озабоченность и спешку труженика за суетливость бездельника.

У Кольвиля хватило ума прикинуться человеком недалеким; он расхваливал каждому свое семейное счастье, подчеркивал свое увлечение анаграммами, и всем окружающим казалось, будто он всецело поглощен этой страстью. Чиновники, служившие с ним в одном отделении министерства, правители канцелярий и даже начальники отделений посещали его концерты; время от времени он весьма кстати доставал им билеты на спектакли, ибо нуждался в том, чтобы они смотрели сквозь пальцы на его постоянные отлучки. Ведь репетиции отнимали у Кольвиля добрую половину того времени, какое он должен был проводить в канцелярии; правда, полученное им благодаря отцу музыкальное образование было настолько глубоко и солидно, что позволяло ему ходить лишь на генеральные репетиции. Связи г-жи Кольвиль играли немалую роль в том, что и театр и министерство считались с трудным положением этого достойного «мастера на все руки», который, впрочем, заботливо пестовал некоего молодого человека, горячо рекомендованного ему женой: он надеялся воспитать из него в будущем великого музыканта, а пока что подающий надежды юноша время от времени заменял Кольвиля в оркестре и должен был впоследствии унаследовать его место первого кларнетиста.

И действительно, в 1827 году, когда Кольвиль вышел в отставку, молодой человек сделался первым кларнетистом.

Все критические высказывания по адресу Флавии можно свести к следующей фразе: «Она *чуть-чуть* кокетка, эта госпожа Кольвиль!» Старший из детей Кольвиля, появившийся на свет в 1816 году, был живым портретом своего добродушного папаши. В 1818 году г-жа Кольвиль превыше всего — даже превыше искусства — ценила кавалерию, она отличала тогда младшего лей-

тенанта драгун Сен-Шамана, молодого и богатого Шарля Гондревиля, который впоследствии умер во время Испанской кампании; именно в ту пору у нее и родился второй сын, которого она решила посвятить военной карьере. В 1820 году молодая женщина смотрела на банк как на нерв промышленности, как на опору сословий, и ее кумиром был тогда великий Келлер, прославленный оратор; у нее родился сын, которого назвали Франсуа, и Флавия решила сделать из него позднее коммерсанта, зная, что Келлер никогда не откажет молодому человеку в покровительстве. В конце 1820 года Тюилье, близкий друг г-на и г-жи Кольвиль, верный поклонник Флавии, испытал острую необходимость излить на груди этой великолепной женщины свои огорчения и поведать ей о своих семейных невзгодах: оказывается, он, Тюилье, уже шесть лет жаждал ребенка, но господь бог не даровал благословения всем его усилиям, и несчастная г-жа Тюилье тщетно возносила к небу молитвенные обеты по девять дней подряд, она даже совершила паломничество в храм богоматери в город Льес! Он так подробно описал собеседнице Селесту, что с ее уст слетели слова: «Бедняжка Тюилье!»; надо сказать, что г-жа Кольвиль также пребывала в печали, в ту пору у нее не было никакого определенного пристрастия, и она, в свою очередь, поведала Тюилье о собственных горестях. Великий Келлер, этот герой «левой», на самом деле оказался человеком мелочным; прелестная Флавия познала оборотную сторону славы, глупость банкира, сухую душу трибуна. Оратор, произносивший блестящие речи в палате депутатов, весьма дурно обошелся с нею. Тюилье был возмущен. «Только глупцы умеют по-настоящему любить,— сказал он,— остановите свой выбор на мне!» И красавец-Тюилье принялся усиленно ухаживать за г-жой Кольвиль, он стал ее присяжным *воздыхателем*, как выражались во времена Империи.

— А ты заглядываешься на мою жену! — как-то сказал ему, смеясь, Кольвиль.— Будь осторожен, она прикует тебя к себе цепью, как и всех остальных.

Такого рода милыми шутками Кольвилю удалось охранять достоинство супруга перед товарищами по канцелярии. В 1820—1821 году Тюилье, ссылаясь на права друга дома, захотел помочь Кольвилю, который в про-

шлом не раз помогал ему, и за полтора года он одолжил семейству своих друзей десять тысяч франков с тем, чтобы никогда больше не заикаться об этих деньгах. Весной 1821 года г-жа Кольвиль родила прелестную девочку, ее крестным отцом стал Тюилье, а крестной матерью — его жена; девочку назвали Селеста-Луиза-Каролина-Бригитта. Мадемуазель Тюилье также захотела дать одно из своих имен новорожденной.

Имя Каролины девочке дали, чтобы проявить внимание к самому Кольвилю. Старуха Ланпрэн решила взять малышку к себе в Отейль и нашла ей хорошую кормилицу. Селеста и ее невестка ездили туда два раза в неделю, чтобы проведать крошку. Когда г-жа Кольвиль оправилась после родов, она сказала Тюилье серьезным и искренним тоном:

— Мой дорогой, если вы хотите, чтобы мы остались добрыми друзьями, будьте отныне лишь другом нашей семьи; Кольвиль вас любит, ну и, по совести говоря, в семье достаточно одного мужа.

— Объясните мне, пожалуйста,— спросил красавец Тюилье у танцовщицы Туллии, которая в это время была в гостях у г-жи Кольвиль,— почему женщины не испытывают ко мне прочной привязанности? Я не Аполлон Бельведерский, но я ведь также и не Вулкан; по-моему, меня вполне можно терпеть, я не лишен остроумия, я способен сохранять верность...

— Хотите услышать правду? — спросила Туллия.

— Конечно,— вымолвил красавец Тюилье.

— Так вот, иногда мы еще можем любить животное, но глупца — никогда.

Этот ответ сразил Тюилье, он так и не оправился; с тех пор он неизменно пребывал в меланхолии и обвинял всех женщин в причудах.

— Я же тебя предупреждал! — сказал ему Кольвиль.— Конечно, я не Наполеон и, скажу откровенно, дружище, не хотел бы им быть, но у меня есть своя Жозефина... Истинная жемчужина!

Секретарь министра г-н де Люпо, которому г-жа Кольвиль приписывала больше влияния, чем то, каким он на самом деле пользовался, так что ей приходилось позднее, говоря о нем, признавать: «Де Люпо — одна из моих ошибок...»,— в ту пору был некоторое время са-

мой важной персоной в салоне Кольвиля; однако когда Флавия убедилась, что де Люпо не может получить для Кольвиля место в отделении Буа-Левана, у нее достало здравого смысла обидеться на то, что секретарь министра уделяет слишком много внимания г-же Рабурден, жене правителя одной из канцелярий, этой кривляке, которая не только ни разу не пригласила к себе г-жу Кольвиль, но даже имела наглость дважды отказаться от посещения концерта в доме Флавии.

Госпожа Кольвиль была сильно удручена смертью молодого Гондревиля; она долго оставалась безутешна, по ее собственным словам, она усмотрела в этом несчастье перст божий. В 1824 году она неожиданно остепенилась, заговорила о бережливости, отменила приемы, стала уделять все свое внимание детям — словом, сделалась добродетельной матерью семейства; теперь у нее не было никакого фаворита, она усердно посещала церковь, одевалась скромно, главным образом в серые цвета, без умолку говорила о католицизме и о приличиях; в результате этого увлечения мистицизмом в 1825 году на свет появился очаровательный младенец, которого мать назвала Теодор, что означает *богоданный*.

В 1826 году, в пору расцвета Конгрегации, Кольвиля назначили помощником правителя канцелярии в отделении Клержо, а в 1828 году он сделался сборщиком налогов в одном из округов города Парижа. Кольвиль был награжден орденом Почетного легиона, что давало ему право поместить свою дочь в пансион Сен-Дени. В 1823 году половинная стипендия, которую Келлер выхлопотал Шарлю, старшему из сыновей Кольвиля, перешла ко второму сыну; Шарль поступил в коллеж святого Людовика с полной стипендией, а третий сын Кольвиля, которому покровительствовала жена дофина, был принят в коллеж Генриха IV, где также получал стипендию, правда, в неполном размере.

В 1830 году Кольвилю, счастливому отцу многочисленного семейства, пришлось подать в отставку: его приверженность к старшей ветви Бурбонов была слишком широко известна; однако он проявил редкую изворотливость и покинул свой пост с пенсией в две тысячи четыреста франков, назначенной ему во внимание к многолетней службе; кроме того, он получил в возмещение за

оставляемую должность десять тысяч франков, уплаченных его преемником; одновременно Кольвиль был произведен в офицеры ордена Почетного легиона. Несмотря на все это, он оказался в стесненных обстоятельствах, и в 1832 году мадемуазель Тюилье посоветовала Кольвилю поселиться по соседству с ними, намекнув ему на возможность получить место в мэрии, которого он и в самом деле добился через две недели; новая должность приносила ему тысячу экю в год.

Шарль Кольвиль поступил к этому времени в Морское училище. Коллежи, где учились два его младших брата, помещались поблизости от их дома. Семинария Сен-Сюльпис, куда в один прекрасный день предстояло поступить младшему сыну Кольвиля, находилась в двух шагах от Люксембургского сада. Закадычные друзья, Тюилье и Кольвиль могли бы вместе коротать дни. В 1833 году г-жа Кольвиль, которой было в то время тридцать пять лет, поселилась на улице д'Анфер, на углу улицы Дез-Эглиз, вместе с Селестой и маленьким Теодором. Таким образом, Кольвиль проживал теперь на одинаковом расстоянии от своей мэрии и от улицы Сен-Доминик. Семейство Кольвилей, которое не раз меняло образ жизни и знавало разные времена — Кольвили живали и на широкую ногу, принимая гостей и давая праздничные обеды, живали и замкнуто, почти ни с кем не встречаясь,— было теперь обречено на безвестное прозябание мелких буржуа, чей годовой доход ограничивается пятью тысячами четырьмястами франков.

Селесте исполнилось в то время двенадцать лет; красивой девочке нужны были учителя, ее воспитание должно было стоить не меньше двух тысяч франков в год. Мать поняла, что необходимо прибегнуть к помощи крестного отца и крестной матери Селесты. Вот почему она приняла разумное предложение мадемуазель Тюилье, которая, не беря на себя никаких обязательств, тем не менее ясно дала понять г-же Кольвиль, что состояние самого Тюилье, его жены и ее собственное предназначены для Селесты. Девочка оставалась в Отейле до семи лет; старуха Ланпрэн обожала ее и баловала; в 1829 году г-жа Ланпрэн умерла, оставив двадцать тысяч франков и дом, который был продан необыкновенно удачно за двадцать восемь тысяч франков. Все эти годы

маленькая проказница почти не видала матери, но зато постоянно видела жену г-на Тюилье и его сестру. В 1829 году Селесту водворили в отчий дом, и она прожила там до 1833 года под неусыпным попечением матери, которая старалась как можно лучше исполнять свои материнские обязанности и, как все женщины, терзаемые угрызениями совести, порою даже чересчур усердствовала. Флавия не была дурной матерью, но она слишком сурово обращалась с девочкой; вспоминая собственное воспитание, она дала себе тайный обет вырастить из Селесты порядочную женщину, а не женщину легкого поведения. Она водила дочь к обедне, Селеста готовилась к первому причастию под эгидой некоего парижского священника, позднее сделавшегося епископом. Девочка была особенно благочестива потому, что ее крестная, г-жа Тюилье, по праву слыла святой женщиной; Селеста обожала крестную, она чувствовала, что эта несчастная, всеми покинутая женщина любит ее больше, чем родная мать.

С 1833 по 1839 год Селеста Кольвиль получила самое блестящее воспитание, как его понимают буржуа. С ней занимались лучшие учителя музыки, и она сносно играла на фортепьяно, умела рисовать акварели, отлично танцевала, хорошо знала французскую грамматику, историю, географию, английский и итальянский языки — словом, все, что полагается знать барышне из общества. Селеста была среднего роста, чуть полная, близорукая, никто не назвал бы ее ни дурнушкой, ни красавицей, она не могла пожаловаться на плохой цвет лица, но ей недоставало изящества. Внешне сдержанная, девушка обладала повышенной чувствительностью; все — крестный, крестная, мадемуазель Тюилье и отец Селесты — единодушно сходились на том, что она очень привязчива. Впрочем, какие родители не думают этого о своей дочери! Самым привлекательным во внешности Селесты были великолепные шелковистые волосы пепельного цвета, но ее руки и ноги выдавали девушку из буржуазной семьи.

Селеста обладала многими бесценными добродетелями: она была добра, простодушна, приветлива, любила отца и мать и готова была пожертвовать для них жизнью. Воспитанная в глубоком преклонении перед

крестным и Бригиттой, которую Селеста называла *тетя Бригитта*, г-жой Тюильe и собственной матерью, все более сближавшейся с красавцем времен Империи, девочка была необыкновенно высокого мнения об отставном помощнике правителя канцелярии. Особняк Тюильe на улице Сен-Доминик казался ей тем же, чем кажется дворец Тюильри молодому придворному, приверженцу новой королевской династии.

Тюильe не мог не поддаться воздействию бюрократической машины, которая давит на человека и обезличивает его. Успех у женщин выхолостил в нем мужчину, монотонная канцелярская работа выхолостила в нем чиновника, и к тому времени, когда бывший помощник правителя канцелярии поселился на улице Сен-Доминик, он уже растерял все свои способности; однако его утомленное лицо, хранившее надменное выражение, в соединении с некоторым самодовольством, напоминавшим самомнение высокопоставленного чиновника, производило сильное впечатление на Селесту. Девушка страстно обожала это мертвенно бледное лицо. Она сумела стать истинной радостью дома Тюильe.

Кольвили и их дети как-то естественно сделались ядром общества, которое мадемуазель Тюильe из своеобразного честолюбия собирала у себя ради брата. На первом же параде национальной гвардии бывший сборщик налогов и бывший помощник правителя канцелярии встретились с одним из бывших чиновников отделения ла Биллардиера, г-ном Фельоном, который уже тридцать лет обитал в квартале Сен-Жак и занимал пост командира батальона национальной гвардии. То был один из наиболее уважаемых людей своего округа. Дочь его, в прошлом младшая учительница в пансионате Лагрева, в свое время вышла замуж за преподавателя начальной школы на улице Сен-Гиацинт г-на Барниоля.

Старший сын Фельона преподавал математику в королевском коллеже; он давал уроки, занимался репетиторством и, по выражению отца, страстно увлекался чистой математикой. Второй сын Фельона проходил курс в Училище путей сообщения. Фельон вышел в отставку с девятьюстами франками пенсиона, он обладал рентой в девять с лишним тысяч франков — плодом сбережений, которые его жене и ему удалось скопить за три-

дцать лет труда и лишений. Кроме того, он владел маленьким домиком с садом, расположенным в тупике Фейантин (за тридцать лет Фельон ни разу не употребил старинное слово *закоулок*).

Дюток, письмоводитель мирового судьи, в прошлом был министерским чиновником; однажды, когда возникло малоприятное положение, в каком порой оказываются представительные правительства, Дюток в самую критическую минуту согласился взять на себя роль козла отпущения, за что и был тайно вознагражден некоей суммой, позволившей ему впоследствии купить себе место письмоводителя. Человек этот, кстати сказать, малопочтенный, шпионивший за своими товарищами по канцелярии, встретил в доме Тюилье более прохладный прием, нежели тот, на который рассчитывал; однако именно холодное отношение домовладельцев и побуждало Дютока с упорством являться к ним в гости.

Письмоводитель, оставшийся старым холостяком, не был чужд пороков; он тщательно скрывал интимные стороны своей жизни и, как никто, умел льстить людям, занимавшим более высокое положение, чем он. Мировой судья души в нем не чаял. Хотя Дюток не вызывал уважения, в семье Тюилье его терпели, ибо он не останавливался перед самой низкопробной и грубой лестью, которая всегда дает желаемый эффект. Дюток знал подспудную жизнь Тюилье, он был отлично осведомлен о его отношениях с Кольвилем и, в частности, о его отношениях с г-жой Кольвиль; Тюилье опасался острого языка письмоводителя, и поэтому Дютока хотя и принимали не особенно радушно, но все же терпели. Однако истинным украшением салона Тюилье была семья некоего в прошлом мелкого и незаметного чиновника, вызывавшего жалость всех канцеляристов: он настолько бедствовал, что в 1827 году был вынужден оставить службу и заняться торговлей, благо ему пришла в голову смелая мысль.

Минар угадал способ составить себе состояние посредством одного из тех малопочтенных методов, которые опозорили французскую торговлю, но в то время — речь идет о 1827 годе — еще не стали достоянием гласности. Он купил партию чая, смешал его с чаем, уже бывшим в употреблении и затем высушенным; вторую опе-

рацию он проделал с шоколадом,— она немногим отличалась от его проделки с чаем и также позволила предприимчивому дельцу продать свой товар с барышом. Торговля колониальными товарами, начатая Минаром в квартале Сен-Марсель, вскоре превратила его в известного негоцианта, он стал владельцем предприятия и благодаря связям, возникшим у него в деловых кругах, сумел получить доступ к источникам сырья; с той поры Минар, уже не прибегая к плутовству, занялся оптовой торговлей теми же колониальными товарами, которые он вначале продавал, пользуясь не вполне честными приемами. Отныне Минар имел дело с огромными партиями продовольствия, прослыл знатоком в этой области и в 1835 году уже считался самым богатым негоциантом в квартале Мобер. Он купил один из наиболее красивых домов на улице Масон-Сорбон; Минар несколько лет подряд занимал пост помощника мэра, а в 1839 году сделался мэром округа и судьей Коммерческого суда. У него был своей выезд, и он владел участком земли возле Ланьи; отправляясь на придворные балы, его жена надевала бриллианты, а сам он с гордостью поглядывал на розетку офицера ордена Почетного легиона, красовавшуюся в его петлице.

Супруги Минар широко занимались благотворительностью. Возможно, они хотели частично вернуть беднякам то, что в свое время отняли у покупателей. Фельон, Кольвиль и Тюилье встретились с Минаром на выборах, и отсюда возникли дружеские связи, тем более тесные, что г-жа Зели Минар была в восторге оттого, что ее *барышня* познакомилась с Селестой Кольвиль. На всю жизнь в памяти Селесты сохранился большой бал у Минаров — то был ее первый выезд в свет; девушке недавно исполнилось шестнадцать лет, и она была одета в небесно-голубые тона, как того требовало ее имя [1], которое обещало стать пророческим для всей ее жизни. Селеста жаждала подружиться с мадемуазель Минар, в то время уже двадцатилетней девушкой, вот почему она без устали просила отца и крестного ездить с нею в дом Минара, поражавший воображение золочеными салонами и роскошной мебелью. Здесь собира-

[1] Селеста (céleste) — небесная *(франц.)*.

лись политические знаменитости тех кругов общества, которые получили название «золотой середины»: например, г-н Попино, ставший впоследствии министром торговли, и Кошен, сделавшийся бароном Кошеном,— бывший чиновник отделения Клержо в министерстве финансов; Кошен, тесно связанный с делами фирмы москательных товаров, был, как и г-н Ансельм Попино, истинным оракулом квартала Ломбар и Бурдоннэ. Кумиром в доме Минара был его старший сын, адвокат, намеревавшийся прийти на смену тем адвокатам, которые после 1830 года покинули Дворец Правосудия, чтобы с головой окунуться в политику; супруги день и ночь думали о том, как бы удачнее женить сына. Зели Минар, в прошлом мастерица цветочной мастерской, испытывала страстное преклонение перед высшими сферами общества, куда она мечтала проникнуть благодаря браку дочери и сына; между тем Минар, куда более благоразумный, чем его жена, и, можно сказать, пропитанный ощущением силы среднего класса, который после Июльской революции приобщился к различным формам власти, больше интересовался состоянием.

Он часто появлялся в гостиной Тюилье, ибо хотел собрать побольше сведений о наследстве, ожидавшем Селесту. Подобно Дютоку и Фельону, Минар не был чужд некогда ходившим слухам о связи Тюилье и Флавии Кольвиль, и теперь с первого взгляда заметил обожание, которым все члены семьи Тюилье окружали крестницу Жерома. Дюток, надеявшийся быть принятым у Минаров, беспардонно льстил мэру и угодничал перед ним. Когда Минар, этот Ротшильд своего округа, появился в доме Тюилье, Дюток весьма тонко сравнил его с Наполеоном: он знавал Минара, когда тот служил в канцелярии и был худым, бледным и тщедушным, а теперь превратился в цветущего, крупного и толстого мужчину. «В отделении ла Биллардиера вы походили на Бонапарта до восемнадцатого брюмера,— сказал Дюток,— а ныне я вижу перед собой Наполеона времен Империи!» Минар холодно выслушал комплимент письмоводителя и даже не пригласил его к себе; этим он приобрел смертельного врага в лице злопамятного Дютока.

Господин и госпожа Фельон, люди весьма достойные, не могли тем не менее удержаться от расчетов и тай-

ных надежд; они полагали, что Селесте сам бог велел выйти замуж за их сына-математика; вот почему, желая укрепить позиции в салоне Тюилье, они ввели туда своего зятя, г-на Барниоля, человека весьма уважаемого в предместье Сен-Жак, и старого чиновника мэрии, их близкого друга, г-на Лодижуа, которому Кольвиль в некотором роде перебежал дорогу: дело в том, что Лодижуа уже двадцать лет просидел в мэрии и рассчитывал, что во внимание к его долголетней службе ему будет предоставлена должность секретаря; однако ее получил Кольвиль. Таким образом, Фельоны составляли внушительную фалангу из семи человек, всецело преданных друг другу; семья Кольвилей не уступала им в численности, так что в иные воскресенья в гостиной Тюилье собиралось до тридцати человек. Хозяин дома возобновил знакомство с Сайарами, Бодуайе, Фалейксами — то были люди, пользовавшиеся почетом в квартале Плас-Руайяль, и они часто обедали у Тюилье.

Госпожа Кольвиль блистала среди женщин этого общества, а Минар-младший и математик Фельон были самыми выдающимися из мужчин; что же касается остальных посетителей салона Тюилье, людей без мысли и образования, вышедших из низов, то они являли собою самые нелепые типы мелкой буржуазии. Принято считать, будто каждый выскочка обладает хоть каким-нибудь достоинством, однако Минар был поистине мыльным пузырем. Обожая длинные и путаные фразы, принимая угодливость за учтивость, а готовые формулы — за признак ума, он изрекал пошлые истины с таким апломбом и легкостью, что это можно было счесть за красноречие. С его языка то и дело слетали такие ничего не значащие, но многозначительные слова, как «прогресс», «пар», «асфальт», «национальная гвардия», «порядок», «демократический элемент», «дух ассоциаций», «легальность», «движение и сопротивление», «устрашение», и окружающим казалось, что при каждом новом повороте в политике Минар сам придумывает все это, тогда как на самом деле он лишь пересказывал мысли, вычитанные им в газете. Жюльен Минар, молодой адвокат, страдал, слушая речи отца, не меньше, чем отец его страдал, слушая речи своей супруги. И в самом деле, разбогатев, Зели с каждым днем высказывала все

больше претензий, но так и не научилась правильно говорить по-французски; к старости она растолстела и походила на кухарку, вышедшую замуж за своего хозяина.

Фельон — образцовый мелкий буржуа — обладал множеством добродетелей и смешных черт. Всю свою жизнь он проработал в канцеляриях и, как человек подчиненный, уважал людей вышестоящих. Поэтому в присутствии Минара он и рта не раскрывал. Фельон великолепно перенес трудности критического возраста чиновника, отставка не повлияла на него, и вот почему. Дело в том, что этот достойный и превосходный человек никогда не мог себе позволить жить по своему вкусу. Он искренне любил Париж и с большим интересом наблюдал, как выпрямляются и украшаются улицы города, старик был способен часами смотреть, как сносят дом. Нередко можно было встретить его на улице, он стоял как вкопанный, задрав голову и наблюдая, как каменщик ломом расшатывает камень на верхушке стены; Фельон не трогался с места до тех пор, пока камень не падал, когда же камень, наконец, оказывался на земле, он удалялся, не менее счастливый, чем академик, ставший свидетелем падения романтической драмы. Истинные статисты великой социальной комедии, Фельон, Лодижуа и им подобные исполняют в ней функции античного хора. Они плачут, когда надо плакать, смеются, когда надо смеяться, и без устали откликаются на невзгоды и радости общественной жизни: в своем углу они торжественно отмечают победы, одержанные в Алжире, Константине, Лиссабоне, Уллоа, одинаково горько оплакивают смерть Наполеона, зловещие катастрофы у стен монастыря Сен-Мерри и на улице Транснонен, сожалеют о смерти великих людей, им совершенно неизвестных. Для Фельона характерно своеобразное двуличие: он умудряется разделять и точку зрения оппозиции и точку зрения правительства. Когда на улицах Парижа завязывались схватки, у Фельона хватало мужества открыто высказывать перед соседями свою точку зрения; он отправлялся на площадь Сен-Мишель и, жалея правительство, исполнял свой долг. Все время, пока продолжалось брожение, он поддерживал династию, которую привел к власти Июль; но как только начинались политические процессы, Фельон вставал на сторону об-

виняемых. Кое-кто, пожалуй, назовет Фельона *флюгером*, но присущая ему изменчивость мнений весьма невинна и определяется его политическими взглядами; огромную роль в его воззрениях играет северный колосс, это воплощение английского материализма. Как и для старой газеты «Конститюсьонель», Англия для Фельона — нечто двойственное: она поочередно выступает то в качестве коварного Альбиона, то в качестве образцовой страны. Англия коварна, когда дело идет об интересах обиженной Франции и о Наполеоне; она становится образцовой страной, едва речь заходит об ошибках французского правительства. Как и его газета, Фельон принимает демократический элемент и отказывается, едва об этом заходит речь, от какого бы то ни было соглашения с республиканским духом. Республиканский дух для него — это 1793 год, мятеж, террор, аграрный закон. Демократический элемент — это развитие мелкой буржуазии, это царство самого Фельона.

Сей уважаемый старец — человек вполне почтенный, добропорядочность определяет всю его жизнь. Он достойно воспитал своих детей и остался прекрасным отцом в их глазах, он добивается того, чтобы дома его уважали так, как он сам уважает власть и вышестоящих. Он никогда не делал долгов. Заседая в суде присяжных, он, не жалея сил, следит за ходом процесса, не позволяя себе улыбнуться даже тогда, когда смеются и судья, и публика, и даже представитель государственного обвинения. Он необыкновенно услужлив и готов посвятить вам и свои заботы и время — все, за исключением денег. Фельон боготворил своего сына Феликса — преподавателя математики, он полагал, что молодой человек способен когда-нибудь стать членом Академии наук.

Тюилье занимал промежуточное положение между самоуверенным ничтожеством Минаром и бесхитростным глупцом Фельоном, однако он походил на них обоих в силу своего унылого жизненного опыта. Он скрывал пустоту ума под банальными фразами, подобно тому как прикрывал желтую кожу черепа жидкими прядями седых волос, в чем, безусловно, сказывалось удивительное искусство его парикмахера.

— Избери я любую другую карьеру,— любил говорить Тюилье,— я бы, конечно, добился большего.

По его словам, возможные в теории благодетельные реформы оказывались невозможными на практике, все начинания приводили к противоположным результатам; он не уставал рассказывать о различных несправедливостях, об интригах, о пресловутом деле Рабурдена.

— После этого,— прибавлял Тюилье,— можно с одинаковым успехом верить во все и не верить ни во что. Ах, правительственные учреждения — нелепая вещь, и я счастлив, что у меня нет сына. Вдруг бы он вздумал избрать себе карьеру чиновника!

Кольвиль, как всегда, сохранял веселое расположение духа, то был кругленький, добродушный мужчина, постоянно шутивший, с неизменным интересом составлявший анаграммы, вечно чем-то занятый — словом, типичный буржуа, довольный самим собой, человек не без способностей, но так и не добившийся успеха, упорный труженик, так, собственно, ничего и не достигший, но умеющий принимать судьбу с веселой шуткой на устах, неглупый, но недалекий, одаренный, но не даровитый, ибо, будучи прекрасным музыкантом, он теперь играл только для дочери.

Салон Тюилье походил на любой провинциальный салон, но только он был озарен отблесками немеркнущего парижского зарева: заурядные плоские разговоры, которые велись в нем, все же носили на себе печать века. Слова и вещи, входившие в моду, ибо в Париже слово и вещь неотделимы друг от друга, как лошадь и всадник, попадали сюда, словно рикошетом. Гости неизменно ожидали появления господина Минара для того, чтобы узнать правду о важнейших событиях. Дамы держали сторону иезуитов, мужчины защищали Университет; впрочем, женщины большей частью молчали. Человек умный, если бы он, победив скуку, провел тут несколько вечеров, хохотал бы во все горло, как во время представления комедии Мольера, ибо в результате нескончаемых споров он узнал бы приблизительно следующее:

«Можно ли было бы избежать революции 1789 года? Займы Людовика Четырнадцатого положили ей начало. Людовик Пятнадцатый, эгоист, человек церемонный, который сказал: «Будь я начальником полиции, я бы запретил кабриолеты», распутный король — ведь

вы, конечно, слыхали о его Оленьем парке! — во многом способствовал ее возникновению. Господин де Неккер, злонамеренный женевец, дал ей последний толчок. Иностранцы всегда питали неприязнь к Франции. Ну, мы еще увидим войну против вельмож... Максимум принес большой вред революции. С юридической точки зрения Людовика Шестнадцатого не следовало осуждать, суд присяжных оправдал бы его. Бонапарт позволил себе стрелять в парижан, и эта дерзость сошла ему с рук. Луи-Филипп опирался на его пример. В чем причина падения Карла Десятого? Наполеон — великий человек, некоторые подробности из жизни императора, свидетельствующие о его гениальности, напоминают анекдоты: он брал по пять понюшек табаку в минуту, а табак держал в кожаных карманах, пришитых к жилету. Он сам проверял счета поставщиков и отправлялся на улицу Сен-Дени, чтобы узнать цены на товары. Тальма был ему другом, этот великий артист обучал Наполеона царственным жестам, и тем не менее император всю жизнь отказывался даровать Тальма орден. Наполеон заменил на посту уснувшего часового, чтобы спасти беднягу от расстрела. Вот почему солдаты обожали его. Людовик Восемнадцатый, человек, не лишенный ума, несправедливо судил о нем и упорно именовал его господином де Буонапарте. Главный недостаток нынешнего правительства состоит в том, что оно позволяет другим вести себя, между тем оно должно само вести других за собой. Правительство слишком мало себя ценит! Он, Минар, боится людей энергических; следовало бы разорвать договоры тысяча восемьсот пятнадцатого года и потребовать у Европы возвращения Рейна. Когда, наконец, прекратится министерская игра, во время которой одни и те же люди образуют новые правительства?»

— Ну, довольно шевелить мозгами,— обычно обрывала мадемуазель Тюилье спорщиков.— Алтарь воздвигнут, пора садиться за игру.

Этой фразой старая дева разом прекращала дискуссию, изрядно надоедавшую дамам.

Если все эти предварительные факты, все эти общие положения не показались читателю достаточно убедительными и не помогли ему мысленно нарисовать раму для настоящей Сцены, не помогли составить пред-

ставление об описанном нами обществе, этому, пожалуй, поможет сама драма. Заметим только, что сделанный нами набросок отличается воистину исторической точностью и рисует нравы важнейшего социального слоя, особенно если не упускать из виду, что вся политическая система младшей королевской ветви Бурбонов опирается на него.

Зима 1839 года была в некоторых отношениях тем периодом, когда салон Тюилье находился в зените славы. Минары бывали здесь каждое воскресенье, а в другие дни, даже будучи приглашены куда-нибудь, заезжали сюда на часок; чаще всего Минар, отправляясь в гости с дочерью и старшим сыном-адвокатом, оставлял у Тюилье свою жену. Подобная настойчивость объяснялась несколько запоздалым свиданием между господами Метивье, Барбе и Минаром; встреча эта произошла однажды вечером, когда два самых солидных жильца Тюилье задержались дольше обычного, чтобы побеседовать с мадемуазель Тюилье. Минар узнал от Барбе, что старая дева принимает от него приблизительно на тридцать тысяч франков векселей сроком на пять-шесть месяцев из расчета семь с половиной процентов годовых и что она берет векселя на такую же сумму у Метивье; отсюда, по его словам, следовало, что почтенная особа владеет состоянием по меньшей мере в сто восемьдесят тысяч франков.

— Я учитываю векселя книгопродавцев из двенадцати процентов годовых и принимаю только те, которые имеют надежное обеспечение. И для меня это очень удобно,— закончил Барбе.— Я утверждаю, что у нее не меньше ста восьмидесяти тысяч франков, ибо она выдает векселя от своего имени на Французский банк сроком на три месяца.

— Стало быть, у нее есть счет в банке? — осведомился Минар.

— Еще бы! — воскликнул Барбе.

Благодаря своим связям с управляющим Французским банком Минар узнал, что у мадемуазель Тюилье действительно имелся текущий счет приблизительно на двести тысяч франков, гарантированный сорока акциями этого банка. Но эта гарантия, прибавил управляющий, была излишней, ибо банк с полным уважением и дове-

рием относится к особе, ведающей делами Селесты Ланпрэн, дочери одного из бывших служащих банка, который проработал в нем ровно столько лет, сколько существовал сам банк. К тому же мадемуазель Тюилье за двадцать лет ни разу не превысила размер кредита, которым она пользовалась. Каждый месяц она неизменно присылала векселя на шестьдесят тысяч франков, обычно сроком на три месяца, что требовало обеспечения приблизительно в сто шестьдесят тысяч франков. Ее акции, лежавшие в банке, составляли сумму в сто двадцать тысяч франков, и, таким образом, банк ничем не рисковал, ибо векселя в любую минуту можно было реализовать за шестьдесят тысяч франков.

— Так что,— закончил управляющий банком,— если бы она прислала нам когда-нибудь векселя сразу на сумму сто тысяч франков, мы бы их приняли. Ведь ей принадлежит также дом, он нигде не заложен и сто́ит больше ста тысяч франков. К тому же все эти векселя попадают к ней от Барбе и Метивье, а банк получает их за четырьмя подписями, включая подпись самой мадемуазель Тюилье.

— Для чего мадемуазель Тюилье проделывает все эти операции? — спросил Минар у Метивье.

— О, без сомнения, для того, чтобы увеличить состояние Селесты.

— Но в таком случае Селеста — выгодная партия для вас,— обронил Минар.

— О, нет! — возразил Метивье.— Уж лучше я женюсь на одной из кузин, мой дядюшка посвятил меня в свои дела, у него сто тысяч франков ренты и всего две дочери.

Как ни была скрытна мадемуазель Тюилье, никому, даже брату, не говорившая о том, куда она помещает деньги, как ни трудно было определить размер ее личного капитала, ибо она присоединила к нему некоторые сбережения, сделанные за счет состояния г-жи Тюилье, все же кое-какие лучи света проникли сквозь густой мрак, окутывавший ее сокровище.

Дюток, часто видевшийся с Барбе, на которого он походил и характером и лицом, более точно, чем Минар, определил размер сбережений семьи Тюилье: по его мнению, они составляли в 1838 году полтораста тысяч

франков, и писец тайно следил за ростом этого состояния, подсчитывая барыши старой девы с помощью столь сведущего дисконтера, каким был Барбе.

— Селеста получит от нас двести тысяч франков наличными,— доверительно сообщила старая дева Барбе,— а госпожа Тюилье намерена при подписании брачного контракта ввести ее во владение своим имуществом. Что до меня, то мое завещание сделано. Брат будет пользоваться при жизни всем состоянием, но в конечном счете его унаследует Селеста. Своим душеприказчиком я избрала моего нотариуса господина Кардо.

Мадемуазель Тюилье к этому времени побудила брата возобновить его старинные связи с Сайарами, Бодуайе, Фалейксами — людьми, занимавшими в квартале Сент-Антуан, где господин Сайар был мэром, приблизительно такое же положение, какое занимали в своем квартале Тюилье и Минары. Нотариус Кардо также ввел в дом Тюилье жениха для Селесты в лице мэтра Годешаля, поверенного, купившего у Дервиля его контору, способного человека лет тридцати шести; Годешаль заплатил сто тысяч франков за дело, и двести тысяч франков приданого помогли бы ему разделаться с долгами. Минар ловким ходом устранил Годешаля, шепнув мадемуазель Тюилье, что если Селеста выйдет замуж за этого стряпчего, то ее невесткой окажется знаменитая актриса оперы Мариетта.

— Она сама вышла из актерской семьи,— вставил Кольвиль, намекая на происхождение своей жены,— и вовсе не для того, чтобы вновь оказаться в среде актеров.

— К тому же господин Годешаль слишком стар для Селесты,— заметила Бригитта.

— Помимо всего прочего,— робко вставила г-жа Тюилье,— почему бы не дать девочке возможность выбрать себе мужа по душе, чтобы она была с ним счастлива?

Бедная женщина заметила в сердце Феликса Фельона истинную любовь к Селесте, такую любовь, о какой женщина, раздавленная Бригиттой и глубоко оскорбленная безразличием Тюилье, уделявшего супруге меньше внимания, чем служанке, могла только мечтать. То была любовь пылкая, но не решавшаяся заявить о себе открыто, любовь стойкая и вместе с тем боязливая,

скрытая от всех, но распускающаяся пышным цветом в глубине человеческого сердца. Феликсу Фельону исполнилось двадцать три года, это был мягкий и чистый юноша, именно такой, какими бывают ученые, посвятившие себя занятиям чистой наукой. Его заботливо воспитал отец, который все принимал всерьез и старался подавать сыну хороший пример, сопровождая его избитыми рассуждениями. Феликс был среднего роста; светло-каштановые волосы, серые глаза, прелестный голос, спокойные манеры — все производило приятное впечатление, которого не портила даже веснушчатая кожа; вид у него был мечтательный, разговаривая, он не жестикулировал, тщательно взвешивал слова, никому не противоречил, и сразу становилось понятно, что человек этот не способен ни на корыстную мысль, ни на низкий расчет.

«— Именно таким я хотела бы видеть своего мужа!» — часто говорила себе г-жа Тюилье.

В середине зимы 1839—1840 года, в феврале месяце, в гостиной Тюилье находились различные люди, чьи беглые портреты мы только что набросали. Приближался конец месяца, Барбе и Метивье, рассчитывавшие попросить по тридцать тысяч франков у мадемуазель Бригитты, играли в вист с господами Минаром и Фельоном. За соседним столом устроились Жюльен-адвокат (так прозвал молодого Минара Кольвиль), г-жа Кольвиль, г-н Барниоль и г-жа Фельон. За игрой в бульот, в которой фишка стоила одно су, сидели г-жа Минар, не умевшая играть ни во что другое, отец и сын Кольвили, старик Сайар и его зять Бодуайе; запасными игроками были Лодижуа и Дюток. Жены Бодуайе, Лодижуа и Барниоля составили вместе с мадемуазель Минар партию в бостон, Селеста сидела рядом со своей подружкой — Прюданcой Минар, Феликс Фельсн беседовал с г-жой Тюилье, не сводя глаз с Селесты.

По другую сторону камина восседала в глубоком кресле королева Елизавета этого семейного очага — мадемуазель Бригитта, одетая так же просто, как и тридцать лет назад, ибо благоденствие не могло заставить эту женщину расстаться со своими привычками. На ее тронутых сединой волосах красовался чепец из черного газа, увенчанный букетиками герани сорта «Карл X»;

платье с шемизеткой цвета коринки стоило пятнадцать франков, вышитый воротник был куплен за шесть франков: он едва прикрывал глубокую борозду, образованную шейными мускулами, соединявшими голову с позвоночником. Даже у Монвеля, игравшего старика Августа, профиль был не столь суров, как у этой самодержавной властительницы, собственноручно вязавшей носки для брата. Перед камином стоял сам Тюилье, готовый, в случае надобности, встретить запоздавшего гостя; рядом с ним находился молодой человек, чье появление произвело огромный эффект: несколько минут назад привратник, надевавший по воскресеньям великолепную ливрею, объявил о приходе г-на Оливье Винэ.

Причиной этого неожиданного визита была доверительная беседа между нотариусом Кардо и прославленным генеральным прокурором, отцом молодого судейского чиновника. Оливье Винэ только недавно был переведен из суда города Арси в суд департамента Сены на должность помощника королевского прокурора. Нотариус Кардо пригласил к себе на обед Тюилье, на этом обеде в качестве почетного гостя присутствовал со своим сыном генеральный прокурор, которому, по всей видимости, предстояло сделаться министром юстиции. По мнению Кардо, общий размер состояния, которое должна была унаследовать Селеста Кольвиль, составлял к тому времени по меньшей мере семьсот тысяч франков. Винэ-сын, казалось, был очарован разрешением приходить каждое воскресенье к Тюилье. Большое приданое служит в наши дни источником больших глупостей, которые люди совершают без всякого стыда.

Прошло минут десять, и другой молодой человек, беседовавший с Тюилье перед приходом помощника прокурора, возвысил голос и завязал бурный политический спор, заставив юного представителя судебного ведомства последовать его примеру и принять оживленное участие в дискуссии. Речь шла о голосовании, в результате которого палата депутатов добилась отставки правительства 12 мая, отказавшись утвердить дотацию для герцога Немурского.

— Конечно же, я далек от того, чтобы поддерживать правительственную политику,— говорил молодой человек,— я далек от того, чтобы одобрять приход буржуа-

зии к власти. У буржуазии не больше прав представлять все государство, чем было в свое время у аристократии. Но, так или иначе, французская буржуазия взяла на себя обязанность основать новую династию, новую королевскую власть для самой себя,— и вот как ныне она с нею обращается! Когда народ позволил Наполеону возвыситься, то сотворил из него нечто великолепное, монументальное, он гордился величием Наполеона и великодушно отдавал свою кровь и свои силы, чтобы воздвигнуть здание Империи. В сравнении с великолепием аристократического трона и пурпурной императорской мантии, в сравнении с грандами и народом буржуазия выглядит особенно мелкой; она низводит власть до своего уровня, вместо того, чтобы попытаться самой возвыситься до уровня этой власти. Привыкнув к грошовой экономии в своих лавках, она предписывает ее своим королям и властителям. Но ведь то, что может почитаться добродетелью в торговле, оборачивается ошибкой и даже преступлением в высшей политике. Я бы очень многого хотел для народа, но не стал бы урезáть на десять миллионов цивильный лист. Буржуазия, которая стала ныне во Франции почти всем, обязана даровать счастье народу, окружить короля блеском, пусть даже без излишней роскоши, уничтожить привилегии, не унижая величия страны.

Отец Оливье Винэ был одним из руководящих деятелей правительственной коалиции: однако мантия хранителя печати, о которой он давно мечтал, все еще оказывалась для него недостижимой. Вот почему молодой помощник прокурора не знал, что ответить; в конце концов он решил в какой-то мере согласиться с собеседником.

— Вы правы, сударь,— заявил Винэ.— Однако, прежде чем щеголять, буржуазия должна выполнить свои обязанности перед Францией. Да, сначала обязанности, а уж затем роскошь, о которой вы толкуете. То, что вам кажется столь достойным упрека, в настоящее время просто необходимо. Палата депутатов не играет должной роли в делах, министры служат не столько Франции, сколько короне, и парламент пожелал, чтобы французское правительство, по примеру Англии, стало его орудием на деле, а не на словах. В тот день, когда прави-

тельство станет действовать самостоятельно и будет представлять в качестве исполнительной власти Палату депутатов, подобно тому, как сама Палата представляет страну, парламент начнет весьма либерально относиться к короне. В этом суть вопроса, я просто излагаю ее, не высказывая собственного мнения, ибо занимаемый мною пост обязывает меня сохранять в области политики полную верность короне.

— Речь идет не только о политике,— возразил молодой человек, чье произношение выдавало уроженца Прованса,— надо сказать, что буржуазия вообще дурно поняла свою миссию: мы нередко встречаем генеральных прокуроров, председателей суда, пэров Франции в омнибусах, судьи живут на свое жалованье, префекты не имеют состояний, министры погрязли в долгах. Между тем, получая все эти места, буржуазия должна была бы окружать их почетом, подобно тому, как это некогда делала аристократия; должностным лицам следовало бы не сколачивать себе состояния, как это выявилось во время недавних скандальных процессов, а тратить собственные доходы ради лучшего отправления обязанностей...

«Кто этот молодой человек? — спрашивал себя Оливье Винэ,— может быть, родственник хозяина дома? Кардо следовало бы прийти сюда в первый раз вместе со мною».

— Кто этот юноша? — в свою очередь, спросил Минар у господина Барбе.—Я уже не в первый раз вижу его здесь.

— Жилец,— ответил Метивье, сдавая карты.

— Адвокат,— прибавил вполголоса Барбе.— Он занимает небольшую квартирку на четвертом этаже, с окнами на улицу... О, человек малозначительный и совершенно без средств.

— Как зовут этого молодого человека? — осведомился Оливье Винэ у г-на Тюилье.

— Теодоз де ла Перад, он не так давно стал адвокатом,— прошептал Тюилье на ухо помощнику прокурора.

В эту минуту женщины, которые, как и мужчины, внимательно смотрели на молодых людей, переглянулись, и г-жа Минар, не удержавшись, сказала Кольвилю:

— Как он хорош собой, этот юноша.

— Я составил анаграмму,— ответил отец Селесты.— Его имя и фамилия — ведь полностью его зовут Шарль-Мари-Теодоз де ла Перад — предрекают следующее: «*Ишь, мародер! Зол и делает парад!*» Так что, милая моя госпожа Минар, остерегитесь выдавать за него свою дочь.

— Вот молодой человек, которого находят более красивым, чем мой сын,— сказала г-жа Фельон г-же Кольвиль.— Что вы по этому поводу думаете?

— О, что касается внешности двух этих молодых людей, то тут женщина заколебалась бы, прежде чем сделать выбор,— ответила г-жа Кольвиль.

В эту минуту молодой Винэ, окинув взглядом гостиную, в которой собралось столько мелких буржуа, счел, что поступит очень тонко, если начнет превозносить буржуазию; он подхватил слова молодого адвоката из Прованса и принялся утверждать, будто люди, облеченные доверием правительства, должны подражать королю, чья роскошь оставила далеко позади роскошь прежних монархов; не удовольствовавшись этим, Винэ заявил, что делать сбережения из получаемого жалованья просто глупо, к тому же это даже невозможно, особенно в Париже, где жизнь вздорожала чуть ли не в три раза, где судейскому чиновнику, к примеру, приходится платить за свою квартиру тысячу экю!..

— Отец,— сказал он в заключение,— дает мне ежегодно тысячу экю, и этих денег вместе с моим жалованьем едва хватает на то, чтобы жить сообразно занимаемому мною положению.

Когда помощник прокурора вступил на зыбкую стезю, к которой его так ловко подвел собеседник, коварный провансалец незаметно обменялся взглядом с Дютоком, дожидавшимся своей очереди войти в карточную игру.

— В Париже отмечается такая острая нужда в должностях,— заметил письмоводитель,— что поговаривают о создании двух мировых судов в каждом округе с тем, чтобы открыть еще двенадцать канцелярий... Как будто можно посягнуть на наши права, на эти места, за которые платят поистине бешеные деньги!

— Я еще не имел удовольствия слышать ваши речи

во Дворце Правосудия,— обратился помощник прокурора к г-ну де ла Пераду.

— Я адвокат бедняков и выступаю лишь в мировом суде,— ответил провансалец.

Слушая рассуждения молодого судейского чиновника о том, что должностным лицам следует проживать свои доходы, мадемуазель Тюилье приняла чопорный вид, значение которого было хорошо известно и молодому провансальцу и Дютоку. Винэ-младший покинул салон вместе с Минаром и Жюльеном-адвокатом; таким образом, поле битвы возле камина осталось за молодым де ла Перадом и Дютоком.

— Чиновная буржуазия,— заявил Дюток, обращаясь к Тюилье,— начинает вести себя так, как некогда вела себя аристократия. Дворяне норовили жениться на дочерях из богатых семейств, чтобы таким способом унаваживать свои земли, нынешние выскочки охотятся за приданым, чтобы подправить свои дела.

— Именно это господин Тюилье говорил мне нынче утром,— дерзко заявил провансалец.

— Винэ-старший женился на некоей барышне де Шаржбеф,— продолжал Дюток,— от нее-то он и набрался дворянских привычек. Ему во что бы то ни стало нужно состояние, жена его живет на княжескую ногу.

— Ну, лишите этих людей должностей,— сказал Тюилье, который, как истый буржуа, завидовал своим ближним,— и они быстро окажутся на мели...

Мадемуазель Тюилье вязала с такой молниеносной быстротой, что казалось, будто работает паровая машина.

— Ваш черед, господин Дюток,— заявила г-жа Минар, вставая.— У меня ноги застыли,— прибавила она, направляясь к камину.

При этом золотые побрякушки на ее тюрбане засверкали, как бенгальские огни при бликах свечей «звезда», которыми тщетно пытались осветить огромную гостиную.

— Этому помощнику прокурора впору проповедовать в храме святого Луи! — заметила г-жа Минар, бросив взгляд на мадемуазель Тюилье.

— Вы хотите сказать — в храме святого Луидора! —

подхватил провансалец.— Как это остроумно, сударыня...

— Госпожа Минар уже давно приучила нас к своим метким замечаниям,— вставил красавец Тюилье.

Госпожа Кольвиль внимательно смотрела на провансальца и невольно сравнивала его с молодым Фельоном: тот беседовал с Селестой, не обращая никакого внимания на все происходившее вокруг. Пожалуй, теперь самое время описать своеобразного человека, который был призван сыграть столь важную роль в жизни семьи Тюилье и который, конечно же, заслуживает имени великого артиста.

В Провансе, особенно в окрестностях Авиньона, встречается порода людей, далеко отстоящих от привычного типа южанина: обычно это блондины или шатены, с нежным цветом лица и кроткими глазами, чей взор покоен, безразличен или томен, в то время как у большинства южан взор, как правило, живой, пламенный и глубокий. Заметим, кстати, что на Корсике люди, подверженные бурным порывам, опаснейшим вспышкам гнева, чаще всего блондины, с виду совершенно спокойные. Самыми грозными в Провансе оказываются бледные, довольно полные мужчины с тусклыми светло-голубыми или светло-зелеными глазами. Шарль-Мари-Теодоз де ла Перад был великолепным образчиком этой породы людей, чья конституция заслуживает внимательнейшего изучения со стороны медицинской науки, философии и физиологии. Дело в том, что в них иногда происходит внезапное разлитие желчи, и отравленная горечью кровь кидается им в голову, подталкивая их на свирепые деяния, которые они на первый взгляд холодно обдумывают; на самом же деле их поступки — следствие внутреннего опьянения, хоть в это и не легко поверить, глядя на их флегматическую внешность, встречаясь с их спокойным, благодушным взором.

Молодой провансалец, родившийся неподалеку от Авиньона, был человек среднего роста, хорошо сложенный, довольно полный; трудно определить оттенок его кожи: ее нельзя назвать ни мертвенно бледной, ни матовой, ни розовой, своим цветом она напоминала желатин, и этот образ один только в силах дать представление об аморфной, бесцветной оболочке, под которой

скрывались нервы, не столько крепкие, сколько способные при определенных обстоятельствах выдержать чудовищное напряжение. Взгляд его бледно-голубых холодных глаз обычно выражал обманчивую меланхолию, необыкновенно привлекающую женщин. Красивый лоб, казалось, дышал благородством и отлично гармонировал с тонкими, редкими светло-каштановыми волосами, которые от природы слегка завивались на концах. У него был нос охотничьей собаки: приплюснутый, раздвоенный на конце, любопытный, какой-то осмысленный и ищущий, вечно что-то вынюхивающий; нет, то не был добродушный нос, то был нос иронический и насмешливый. Но черты характера Теодоза были глубоко запрятаны, только тогда, когда молодой человек переставал наблюдать за собою и приходил в ярость, становились явными свойственный ему сарказм и ум, которыми были пронизаны его дьявольские шуточки. У него был приятно изогнутый рот, губы цвета граната, голос на среднем регистре звучал необыкновенно пленительно; Теодоз обычно старательно сдерживал раскаты своего голоса, который, если хозяин давал ему волю, звенел в ушах слушателей, как гонг. Впрочем, адвокат переходил на фальцет лишь в тех случаях, когда не помнил себя от гнева и нервы его не выдерживали. Его овальной формы лицо обычно ничего не выражало — так хорошо он умел им управлять. С этим истинно жреческим выражением лица находились в полном согласии сдержанные, благовоспитанные манеры, но в его обхождении было что-то уж слишком приветливое и навязчивое, чуть ли не льстивое, и такая манера вести себя невольно покоряла человека, особенно пока он находился в обществе Теодоза. Обаяние, имеющее своим источником человеческое сердце, оставляет в другом человеке глубокие следы, но обаяние, являющееся лишь следствием искусного умения вести себя, равно как и следствием красноречия, одерживает только преходящие победы: чтобы добиться цели, оно не гнушается никакими средствами. Но много ли встречается в частной жизни людей с философским складом ума, способных сравнивать и разбираться в таких тонкостях? Почти всегда, по народному выражению, люди заурядные разгадывают хитреца лишь тогда, когда он уже успел обвести их вокруг пальца!

Все в этом двадцатисемилетнем человеке находилось в соответствии с его истинным характером; следуя своему призванию, он занимался филантропией, то есть тем, чем может заниматься человек, считающий себя филантропом. Теодоз любил народ, ибо любить все человечество он был не в состоянии. Подобно садовникам, которые отдают свое сердце розам, георгинам, макам или пеларгонии и не уделяют никакого внимания остальным цветам, оставляющим их холодными, сей юный Ларошфуко-Лианкур всей душой сочувствовал работникам, пролетариям, беднякам предместий Сен-Жак и Сен-Марсо. Человек сильный, гений, попавший в безвыходное положение, стыдящийся своего разорения буржуа — все они с точки зрения Теодоза не могли претендовать на милосердие. Сердце всякого маньяка напоминает ящик с несколькими отделениями, в каждом из которых лежат различные сорта пилюль; девиз такого маньяка — suum cuique tribuere [1], он строго дозирует свои обязанности. Встречаются филантропы, чье сердце трогают лишь заблуждения осужденных. Нет сомнения, что в основе филантропии лежит тщеславие, но у нашего молодого провансальца в основе всего лежал расчет, лицемерие, тщательно продуманная роль либерала и демократа, которую он играл с таким совершенством, что это вряд ли было бы по плечу даже великолепному артисту. Теодоз не обрушивался на богачей, он лишь отказывался их понимать, он видел себя вынужденным считаться с тем, что они существуют. По его мнению, каждому следовало пользоваться лишь плодами своих деяний; Теодоз некогда был, по его словам, пламенным учеником Сен-Симона, но теперь относил это увлечение к ошибкам юности, ибо современное общество не могло зиждиться ни на чем ином, кроме права наследования. Убежденный католик, как и все уроженцы провинции Конта́, он на заре отправлялся к обедне и тщательно скрывал от всех свое благочестие. Подобно всем филантропам, он отличался бережливостью, доходившей до скупости, и охотно отдавал беднякам свое время, советы, красноречие и даже деньги... но только те, которые ему удалось вырвать для них у богачей. Он носил сапоги до тех пор, пока под-

---

[1] Здесь: «Каждому по его заслугам» *(лат.)*.

метки на них не стирались вконец, и не снимал своего костюма из черного сукна до тех пор, пока тот не начинал белеть на швах. Природа щедро одарила Теодоза: она не наградила его той тонкой и мужественной красотой южанина, которая глубоко задевает воображение других и порою требует от человека даже того, чего в нем нет; между тем Теодозу не стоило большого труда понравиться: он мог по собственному желанию показаться либо красавцем, либо человеком с весьма заурядной внешностью. Еще ни разу после своего водворения в доме Тюилье он не решался, как в тот вечер, поднять голос и держать себя с таким блеском, с каким он держал себя с Оливье Винэ; но, быть может, Теодоз де ла Перад счел, что ему пора уже попытаться выйти из безвестности, в которой он дотоле пребывал; кроме того, он полагал необходимым отделаться от молодого судейского чиновника, подобно тому, как Минары отделались до этого от Годешаля. Как и все возвышенные натуры, помощник прокурора, которому нельзя было отказать в возвышенном уме, был чужд низменных помыслов, свойственных миру буржуа. Поэтому он очертя голову устремился в невидимую ловушку, расставленную Теодозом с такой хитростью, что в нее попались бы люди даже более ловкие, чем Оливье Винэ, запутавшийся в ней, как муха в паутине.

Чтобы докончить портрет адвоката бедняков, будет небесполезно описать его первые шаги в доме Тюилье.

Теодоз обосновался там в конце 1837 года; к тому времени он уже пять лет изучал право, был лиценциатом и проходил стажировку в Париже, желая стать адвокатом; однако неизвестные обстоятельства, о которых он упорно молчал, помешали ему попасть в список адвокатов города Парижа, и Теодоз все еще оставался адвокатом-стажером. Поселившись в небольшой квартирке на четвертом этаже и обзаведясь мебелью, необходимой для его благородной профессии, ибо устав корпорации адвокатов не допускает приема нового сочлена, если тот не располагает должным образом обставленным кабинетом и юридической библиотекой (причем представители корпорации все проверяют на месте), Теодоз де ла Перад сделался адвокатом при Королевском суде в Париже.

Весь 1838 год ушел на хлопоты, связанные с переменой в его положении; молодой человек вел в высшей степени размеренный образ жизни. С утра и до обеда он работал дома и только иногда отправлялся во Дворец Правосудия, когда там слушались важные процессы. В ту пору он, по словам Дютока, упорно искал с ним сближения и в конце концов добился этого; Дюток направил к нему нескольких бедняков, живших в предместье Сен-Жак, и Теодоз из чистого милосердия защищал их в суде; согласно уставу корпорации поверенных, они обязаны поочередно вести тяжбы неимущих; поверенные передавали такого рода дела Теодозу, и он неизменно их выигрывал, так как брался лишь за те, которые сулили верный успех. Знакомство с поверенными помогло молодому человеку приобрести связи в среде адвокатов, где ценили его похвальное усердие, и в конце концов Теодоз был принят сначала в число адвокатов-стажеров, а затем — и в состав корпорации адвокатов. Произошло это в 1839 году; с тех пор он сделался адвокатом бедняков при мировом суде и неизменно оказывал покровительство людям из народа. Люди, облагодетельствованные им, не уставали выражать свою признательность и свое восхищение в присутствии привратников, а те, в свою очередь, рассказывали об этом домовладельцам. Вот почему члены семьи Тюилье, которым льстило, что у них в доме проживает человек столь сострадательный и пользующийся таким уважением, захотели залучить его в свой салон и принялись расспрашивать о нем Дютока. Письмоводитель отвечал так, как отвечают завистники. Воздавая должное молодому человеку, он заявил, что тот отличается необычайной скупостью.

— Однако скупость эта, быть может,— следствие бедности,— прибавил Дюток.— Впрочем, мне немало о нем известно. Он принадлежит к роду де ла Перадов, старинному роду из провинции Конта́-Авиньон; в Париж он приехал, чтобы проведать дядю, который, по слухам, обладал значительным состоянием, в конце концов он разыскал квартиру своего дядюшки, но узнал, что тот умер за три дня до этого, а все имущество пошло на уплату долгов и погашение расходов по похоронам. Один из друзей покойного дал сто луидоров бедному молодо-

му человеку, обязав его изучать право и сделаться юристом. Эти сто луидоров позволили Теодозу просуществовать три года в Париже, причем он вел истинно монашеский образ жизни; однако бедный студент, которому так и не удалось больше встретиться со своим загадочным покровителем, впал к 1833 году в жестокую нужду — ведь шел уже четвертый год его пребывания в Париже.

Подобно всем прочим лиценциатам, он окунулся в политическую и литературную деятельность; это помогло ему некоторое время продержаться на поверхности, борясь с нищетой, ибо на помощь семьи бедняга не мог рассчитывать: его отец — младший брат дяди, скончавшегося в Париже, на улице Муано, с трудом кормил семейство, в котором было одиннадцать детей; родные Теодоза жили в крохотном поместье под названием «Канкоэль».

В конце концов он поступил в одну правительственную газету, редактором которой был знаменитый Серизе, снискавший себе славу преследованиями, выпавшими на его долю в годы Реставрации из-за его приверженности либералам; люди, представляющие ныне «новое левое крыло», не могут простить ему, что он примкнул к правительству, а так как в наши дни власти очень плохо защищают самых преданных своих сторонников, лучший пример чему — дело Жиске, то республиканцы в конечном счете разорили Серизе. Я говорю вам это для того, чтобы объяснить, каким образом он оказался на должности экспедитора в моей канцелярии.

Так вот, в те времена, когда Серизе еще процветал в качестве редактора газеты, которой министерство Перье пользовалось как орудием против различного рода поджигательских листков, вроде «Ла Трибюн» и тому подобных, он, будучи в конечном счете славным малым, хотя и слишком любившим женщин, хороший стол и удовольствия, оказался весьма полезен Теодозу, ведавшему в его газете отделом политики; так что, если бы не смерть Казимира Перье, наш молодой человек был бы, конечно, назначен помощником прокурора в Париже. В 1834—1835 годах Теодоз, несмотря на свои таланты, влачил довольно жалкое существование, ибо сотрудниче-

ство в правительственном органе сильно ему повредило. «Если бы не мои религиозные убеждения,— признался он мне однажды,— я бы бросился в Сену». В конце концов друг его дядюшки, как видно, проведал о горе молодого человека, и Теодоз снова получил малую толику денег, позволившую ему сделаться адвокатом; но он по-прежнему не знает ни имени, ни места жительства своего таинственного покровителя. Таким образом, принимая во внимание все эти обстоятельства, следует признать, что его бережливость вполне простительна, и Теодозу нельзя отказать в твердости характера, ибо он неизменно отказывается от тех приношений, которые пытаются ему делать бедняки, понимающие, что они выигрывают тяжбы только благодаря его бескорыстной преданности. Трудно без возмущения смотреть, как иные люди спекулируют на том, что обездоленные не в силах оплатить издержки по процессу, которые с них несправедливо взыскивают. О! Теодоз, конечно, добьется успеха, и я не удивлюсь, если этот молодой человек займет поистине блестящее положение. Ему присущи упорство, честность, мужество! Он неутомимо трудится, он работает, не разгибая спины.

Несмотря на то, что г-н де ла Перад был желанным гостем в салоне Тюилье, он поначалу редко появлялся там. Хозяева выговаривали ему, сетовали на его ненужную скромность, и он мало-помалу стал приходить чаще, а затем уже не пропускал ни одного воскресенья; его приглашали на все званые обеды, и он вскоре сделался чуть ли не домочадцем, так что, если Теодоз заходил на минутку побеседовать с Тюилье в четыре часа дня, его насильно усаживали за стол и требовали, чтобы он, отбросив церемонии, подкрепился *чем бог послал*. При этом мадемуазель Тюилье говорила себе:

«Так, по крайней мере, мы будем уверены, что бедный юноша не останется сегодня без обеда!»

Существует некое социальное явление, конечно же, не оставшееся незамеченным, но никем еще не сформулированное и, если угодно, не обнародованное, хотя оно и заслуживает всяческого внимания: мы имеем в виду то тяготение, которое испытывают люди, вышедшие из низов и достигшие определенного положения в обществе, к своим давним привычкам, шуточкам и манерам.

Тюилье так же не остался чужд этому и под старость как бы вновь превратился в сына привратника; он охотно повторял излюбленные прибаутки своего отца, они поднимались из глубин его сознания, подобно тому, как тина поднимается со дна на поверхность водоема.

Раз пять или шесть в месяц, когда жирный суп был особенно вкусен, Тюилье, кладя ложку в опустевшую тарелку, произносил с таким видом, словно изрекал нечто новое, старую прибаутку своего отца: «Нет, это куда приятнее, чем пинок в зад!..» Когда Теодоз впервые услышал незнакомую ему шуточку, он утратил серьезность и от всего сердца расхохотался; искренняя веселость молодого человека чрезвычайно польстила самолюбию красавца Тюилье. В дальнейшем, всякий раз когда Тюилье повторял эту фразу, Теодоз неизменно встречал ее понимающей улыбкой. Мы упомянули об этой детали, чтобы читателю было понятнее, почему утром того самого дня, когда Теодоз схватился с молодым помощником прокурора, адвокат позволил себе сказать Тюилье, с которым он вышел в сад, чтобы посмотреть, не нанесли ли заморозки ущерб фруктовым деревьям:

— Сударь, вы куда более умны, чем полагаете!

На это последовал ответ:

— Избери я любую другую карьеру, мой милый Теодоз, я бы далеко пошел, но падение императора подкосило меня.

— Время еще не упущено,— возразил начинающий адвокат.— Кстати, за какие такие заслуги этот скоморох Кольвиль получил крест?

Де ла Перад, словно невзначай, прикоснулся к ране, которую Тюилье столь старательно скрывал, что даже его сестра ни о чем не подозревала; однако проницательный молодой человек, тщательно изучавший всех этих буржуа, угадал тайную зависть, точившую сердце бывшего помощника правителя канцелярии.

— Если вы, человек столь многоопытный, окажете мне честь и согласитесь руководствоваться моими советами, а главное, никогда и никому не говорить о нашем соглашении, даже вашей превосходной сестре, разве только я сам вам это разрешу, то я берусь добиться того, чтобы вас наградили орденом под приветственные возгласы всех обитателей квартала.

— О, если бы это только осуществилось! — воскликнул Тюилье.— Вы даже не подозреваете, до какой степени я был бы вам обязан...

Эта беседа объясняет, почему Тюилье принял в тот вечер столь чванный вид, когда Теодоз, не моргнув глазом, приписал ему собственные мысли.

В области искусства — а Мольер, пожалуй, возвысил лицемерие до уровня искусства, навсегда закрепив за Тартюфом славу неподражаемого актера,— существует степень совершенства, которую следует поставить выше таланта: с ней может сравниться лишь гениальность. Надо заметить, что между творением гениальным и творением просто талантливым существует сравнительно небольшая разница и одни только люди гениальные могут определить дистанцию, отделяющую Рафаэля от Корреджо или Тициана от Рубенса. Больше того, гению присуща черта, часто обманывающая толпу: творения, отмеченные печатью гения, на первый взгляд кажутся созданными без труда. Словом, гениальное произведение представляется неискушенному глазу почти обыденным — до такой степени оно естественно, даже если в нем толкуются наиболее возвышенные сюжеты. Сколько крестьянок держат своих младенцев точно так, как держит младенца знаменитая дрезденская мадонна!

И вот, высшая степень искусства для такого человека, как Теодоз, состоит в том, чтобы заставить людей позднее говорить: «Никто не мог бы против него устоять!» Бывая в салоне Тюилье, молодой адвокат улавливал малейшие проявления противоречий, он угадывал в Кольвиле человека проницательного — этот артист-неудачник обладал критическим складом ума. Теодоз знал, что не нравится Кольвилю: тот в силу обстоятельств, о которых здесь незачем упоминать, проникся в конце концов верой в пророческую силу своих анаграмм. Дело в том, что все они сбывались. Чиновники канцелярий немало потешались над Кольвилем, когда он, составив по их просьбе анаграмму на незадачливого Огюста-Жана-Франсуа Минара, получил следующую фразу: «*С нас — жир, нам — фортуна с юга!*» Но прошло десять лет, и пророчество осуществилось! Анаграмма, составленная Кольвилем на Теодоза, была полна рокового значения. Ана-

грамма на его собственную жену заставляла Кольвиля внутренне содрогаться, он никогда не оглашал ее, ибо из имен «Флавия Миноре Кольвиль» образовалась фраза: «*Коль я — лев, ее вина — миф и роль!*» Увы, бедняга отлично понимал, что он вовсе не похож на льва...

Теодоз несколько раз пытался расположить к себе жизнерадостного секретаря мэрии, но столкнулся с холодностью, неожиданной в этом, обыкновенно столь общительном человеке. Когда партия в бульот окончилась, Кольвиль увлек Тюилье в оконную нишу и сказал:

— Ты слишком много позволяешь этому адвокатишке, нынче вечером он направлял все разговоры в гостиной.

— Спасибо, друг мой, береженого и бог бережет,— ответил Тюилье, смеясь в душе над Кольвилем.

Теодоз разговаривал в это время с г-жой Кольвиль, не упуская из виду двух друзей; интуиция, которой чаще всего обладают женщины, безошибочно знающие, когда и что именно говорят о них в другом конце гостиной, помогла молодому человеку угадать, что Кольвиль пытается повредить ему, заронив семена сомнения в слабую голову недалекого Тюилье.

— Сударыня,— шепнул Теодоз на ухо прелестной святоше,— поверьте, что если здесь кто-нибудь способен оценить вас, то это я. Вы подобны жемчужине, упавшей в болото, вам всего сорок два года, ибо женщине столько лет, на сколько она выглядит, и много тридцатилетних женщин в сравнении с вами — ничто, они были бы счастливы обладать такой талией и таким величественным лицом, на котором внимательный взгляд может, однако, различить следы любви, так и не принесшей вам полного удовлетворения. Вы посвятили себя богу, я это знаю, и я слишком благочестив, а потому мечтаю стать лишь вашим другом и никем больше. Но вы посвятили себя господу именно потому, что так и не нашли человека, достойного вас. Словом, вас многие любили, но никогда еще вы не были предметом обожания, я это сразу угадал... Вон стоит ваш муж; он так и не сумел доставить вам положение, какого вы заслуживаете, он ненавидит меня, словно догадывается о моей любви к вам, и одним своим видом мешает мне сказать, что я, думает-

ся, нашел средство помочь вам проникнуть в те сферы, вращаться в которых вам назначено судьбой... Нет, сударыня,— сказал он громким голосом, вставая со своего места,— аббат Гондрен не будет служить в этом году на великий пост в нашей скромной церкви Сен-Жак дю О-Па, службу станет отправлять господин д'Эстиваль, мой земляк, посвящающий свои проповеди защите интересов бедных классов, и вам предстоит услышать одного из самых проникновенных проповедников, каких я только знаю. Если этот священник и не может похвалиться представительной внешностью, зато он обладает несравненной душой!..

— Стало быть, мои желания наконец-то исполнятся,— заметила несчастная г-жа Тюилье,— я никогда не понимала прославленных проповедников!

На сухих губах мадемуазель Тюилье появилась улыбка, улыбнулись и многие из гостей.

— Они слишком много времени уделяют теологическим доказательствам, я уже давно придерживаюсь этого мнения,— сказал Теодоз.— Впрочем, я никогда не говорю о религии, и если бы не госпожа де Кольвиль...

— Значит, существуют теологические доказательства? — простодушно и, можно сказать, в упор спросил преподаватель математики.

— Я не думаю, сударь, что вы серьезно задали этот вопрос! — воскликнул Теодоз, смерив взглядом Феликса Фельона.

— Мой сын,— вмешался старик Фельон, неуклюже спеша прийти на помощь Феликсу, ибо он уловил горестное выражение на бледном лице г-жи Тюилье,— мой сын рассматривает религию с двух точек зрения: с человеческой и с божественной, он различает то, что в ней от откровения, и то, что от разума.

— Какая ересь, милостивый государь! — вскричал Теодоз.— Религия едина и прежде всего требует от нас безотчетной веры.

Старик Фельон, словно пригвожденный этой фразой к стене, посмотрел на жену:

— Мой друг, нам пора...— И он указал на стенные часы.

— О господин Феликс,— прошептала Селеста на ухо простодушному математику,— разве нельзя быть, подоб-

но Паскалю и Боссюэ, одновременно и ученым и благочестивым?..

Фельоны вышли гурьбой, уведя с собой и Кольвилей; вскоре в гостиной остались лишь Дюток, Теодоз и члены семьи Тюилье.

Льстивые речи, которые Теодоз обращал к Флавии, отличались тривиальностью; в интересах нашего повествования уместно заметить, что адвокат сознательно старался примениться к уровню окружавших его обывателей с недалеким умом; он придерживался известной поговорки: «С волками жить — по-волчьи выть». Вот почему его излюбленным художником был не Жозеф Бридо, а Пьер Грассу, а настольной книгой ему служила повесть «Павел и Виргиния». Самым великим поэтом современности он признавал Казимира Делавиня, в его глазах предназначение искусства заключалось прежде всего в полезности. Теодоз утверждал, что Пармантье, *творец картофеля*, стоит тридцати Рафаэлей, человек в коротком синем плаще представлялся ему *истинной сестрой милосердия*. Все это были выражения красавца Тюилье, и лукавый адвокат при случае повторял их.

— Этот юноша, Феликс Фельон,— подлинный представитель университетского образования нашего времени, характерное порождение науки, которая устранила бога. Господи! Куда мы идем? Только религия может спасти Францию, ибо лишь страх перед адом предохраняет нас от домашних краж, совершающихся чуть ли не каждый час в недрах семьи и разрушающих самые солидные состояния. В наши дни трудно встретить семью, где не велась бы междоусобная война.

Произнеся эту ловкую тираду, которая произвела сильное впечатление на Бригитту, Теодоз пожелал доброй ночи хозяевам и вышел в сопровождении Дютока.

— Вот молодой человек, полный достоинств! — наставительно заметил Тюилье.

— О, да! — подхватила Бригитта, гася лампы.

— К тому же он религиозен,— прибавила г-жа Тюилье, уходя к себе в комнату.

— Сударь,— говорил в это время Фельон Кольвилю, когда они подошли к Горному училищу и добряк убедился, что вокруг нет посторонних,— не в моих привычках навязывать свои мнения другим, но я не могу удержаться

и не сказать вам, что этот молодой адвокат ведет себя все более развязно в доме наших друзей Тюилье.

— А я вам прямо скажу,— взорвался Кольвиль, шагавший рядом с Фельоном позади своей жены, Селесты и г-жи Фельон, которые шли, тесно прижавшись друг к другу,— он иезуит, а я не выношу людей такого сорта... Лучший среди них гроша ломаного не стоит. В моих глазах иезуит — это плут, причем плут, плутующий из любви к плутовству, чтобы, как говорится, набить себе руку в плутнях. Вот мое мнение, и я не намерен его скрывать...

— О, я вас отлично понимаю, сударь,— ответил Фельон, пожимая руку Кольвилю.

— Нет, господин Фельон,— вмешалась Флавия, обернувшись к мужчинам,— вы не понимаете Кольвиля, но я-то хорошо знаю, что он собирается сказать, и лучше будет, если он воздержится... Такого рода темы не обсуждают на улице, в одиннадцать часов вечера, да еще в присутствии молодой девушки.

— Ты права, женушка,— ответил Кольвиль.

Достигнув улицы Дез-Эглиз, где семейство Фельон должно было разойтись с Кольвилями, все принялись прощаться, и Феликс Фельон сказал Кольвилю:

— Сударь, ваш сын Франсуа, хорошенько подготовившись, мог бы поступить в Политехническую школу; если хотите, я охотно займусь с ним и подготовлю его к экзаменам еще в этом году.

— От такого рода предложений не отказываются! Благодарю, друг мой,— сказал Кольвиль.— Мы еще поговорим.

— Превосходно! — похвалил Фельон сына.

— Да, то был ловкий ход! — воскликнула мамаша Фельон.

— Что вы хотите сказать? — удивился Феликс.

— Только то, что ты обхаживаешь родителей Селесты.

— Пусть мне никогда не решить занимающей меня научной проблемы, если я думал об этом! — возмутился юный педагог.— Беседуя с сыновьями Кольвиля, я обнаружил у Франсуа склонность к математике и счел себя обязанным сказать его отцу...

— Превосходно, сын мой,—повторил Фельон,—имен-

но таким я и мечтал тебя видеть. Мои желания сбылись, я нахожу в своем сыне воплощенную порядочность, честность, гражданские и человеческие добродетели и могу громогласно заявить: я доволен...

Когда Селеста ушла спать, г-жа Кольвиль сказала мужу:

— Кольвиль, никогда не осуждай так резко людей, которых недостаточно знаешь. Когда ты произносишь слово «иезуит», я понимаю, что ты думаешь о священниках. Так вот, будь любезен, храни при себе свои взгляды на религию всякий раз, когда рядом с тобою находится дочь. Мы вольны подвергать опасности собственные души, но не души наших детей. Неужели ты хотел бы, чтобы твоя дочь походила на какую-нибудь девицу без твердой веры?.. Не забывай, мой котик, что теперь мы зависим от каждого встречного и поперечного, мы должны заботиться о воспитании четверых детей, и можешь ли ты утверждать, что раньше или позже у тебя не возникнет необходимость в помощи того или иного человека? Поэтому не наживай себе врагов, ведь у тебя их нет, ты славный малый, и именно благодаря твоему покладистому характеру, который мне всегда так нравился и составляет твое очарование, мы до сих пор с успехом выходили из жизненных затруднений!..

— Довольно! Довольно! — взмолился Кольвиль, бросая фрак на спинку стула и развязывая галстук.— Я виноват, ты права, прелестная моя Флавия.

— При первом же удобном случае, мой ягненочек,— продолжала хитрая матрона, потрепав мужа по щеке,— ты постараешься самым учтивым образом побеседовать с нашим юным адвокатом. Это, несомненно, хитрец, и надобно привлечь его на свою сторону. Он ломает комедию?.. Ну, что ж, и ты ломай комедию: сделай вид, будто не замечаешь, как он тебя дурачит. А убедившись, что он человек талантливый и с будущим, постарайся сделать его своим другом. Не думаешь же ты, что я соглашусь на то, чтобы ты еще долго корпел в мэрии?

— Идите сюда, милостивая госпожа Кольвиль,— воскликнул, смеясь, бывший первый кларнет Комической оперы, похлопывая себя по колену и жестом приглашая жену,— давайте согреем ваши ножки и побеседуем... Нет, чем больше я на тебя гляжу, тем больше убеждаюсь

в правоте людей, утверждающих, что молодость женщины определяется линией ее стана...

— И пылкостью ее сердца...

— И тем и другим,— подхватил Кольвиль.— Талия должна быть тонкой, а сердце — полным...

— Ты хочешь сказать: полным чувств, дуралей!..

— Но главное твое достоинство в том, что ты сумела сохранить белизну кожи и при этом даже не растолстела!.. Постой, постой... я прощупываю твои косточки... Знаешь, Флавия, если бы мне предстояло заново начать жизнь, я бы не пожелал иной жены, чем ты.

— Ты отлично знаешь, что и я всегда предпочитала тебя всем другим... Какая жалость, что это высокопреосвященство скончался! Знаешь, чего бы я хотела?

— Нет.

— Места для тебя в магистратуре Парижа, с жалованьем в двенадцать тысяч франков. Скажем, должность казначея в муниципальной кассе города или в Пуасси. Можно еще стать комиссионером.

— Все это мне подходит.

— Так вот, если этот чудище-адвокат окажется на что-нибудь способен... Он, должно быть, мастер плести интриги, надо держать его про запас... Я его прощупаю... Предоставь это мне, а главное, не мешай ему добиваться своих целей в доме Тюилье...

Теодоз затронул больное место в душе Флавии Кольвиль, и это обстоятельство заслуживает специального объяснения: оно, пожалуй, позволит многое понять в жизни женщин вообще.

К сорока годам всякая женщина, особенно та, что отведала от запретного плода страстей, испытывает священный ужас; она обнаруживает, что ей грозит двойная смерть: смерть тела и смерть души. Если принять широко бытующее в обществе разделение всех женщин на две большие категории — на добродетельных и порочных,— то позволено сказать, что и те и другие, достигнув этого рокового возраста, испытывают горестное, болезненное чувство. Женщины добродетельные, всю жизнь подавлявшие зов плоти, либо безропотно покоряясь судьбе, либо обуздывая мятежную страсть и скрывая ее в глубине сердца или у подножия алтаря, со страхом говорят себе, что для них все кончено. И

мысль эта оказывает столь странное, воистину дьявольское влияние, что именно в нем лежат причины необъяснимых перемен в поведении некоторых женщин, перемен, поражающих родных и знакомых, приводящих их в ужас. Женщины порочные приходят в состояние, близкое к умоисступлению, которое, увы, нередко приводит их к помешательству, а порою и к смерти; иногда они становятся жертвой и впрямь демонических страстей.

Вот два возможных объяснения такого кризиса. Либо они познали счастье, привыкли к жизни, исполненной сладострастия, и не могут существовать, не дыша воздухом, напоенным лестью, не вращаясь в атмосфере, благоухающей фимиамом поклонения, не слыша комплиментов, ласкающих слух. Они не в силах от всего этого отказаться! Или же — что встречается куда реже, но тем более поражает — они всю жизнь искали убегавшее от них счастье, но обретали лишь утомительные удовольствия; в этой яростной погоне их поддерживало щекочущее нервы чувство удовлетворенного тщеславия, и они не могут бросить любовную игру, как игрок не может бросить колоду карт, ибо для таких женщин уходящая красота — последняя ставка в игре, где проигрыш влечет за собой безысходное отчаяние.

«Вас любили многие, но никогда еще вы не были предметом обожания!»

Эти слова Теодоза, сопровождавшиеся красноречивым взглядом, который читал не столько в ее сердце, сколько в ее прошлом, были ключом к загадке, и Флавия поняла, что молодой человек постиг ее тайные муки.

Между тем адвокат лишь повторял некоторые мысли, которые литература сделала банальными; однако имеет ли значение, кем и из какого материала изготовлен хлыст, коль скоро он больно хлещет породистую лошадь? Грохот, сопровождающий горный обвал, сам по себе не опасен, он лишь возвещает о нем, подобно этому опасна была не льстивая ода, обращенная к Флавии, а душевное состояние самой Флавии.

Молодой офицер, два фата, банкир, угловатый юноша и бедняга Кольвиль — вот и все, что знала в своей жизни эта женщина. Лишь однажды счастье было где-то рядом, но она не испытала его, ибо смерть поторопилась разрушить единственную страсть, которая таила

очарование для Флавии. Вот уже два года, как она внимала голосу религии, и он внушал ей, что ни церковь, ни общество не сулят ни счастья, ни любви, но тем не менее требуют от людей исполнения долга и покорности; для двух этих могучих властителей счастье человека заключается в чувстве удовлетворения, которое приносит сознание исполненного долга, потребовавшего от него многих трудных усилий, а награда ожидает его лишь в ином мире. Но в глубине души Флавия слышала иной, требовательный голос;. религия была для нее не следствием внутреннего обращения к богу, а лишь маской, которую она считала нужным носить и которую не снимала, видя в ней некое прибежище, ее набожность — истинная или притворная — была средством приобщиться к ожидавшему ее будущему; вот потому-то она не покидала церкви, уподобляясь путнику, который сидит на скамье у скрещения лесных тропинок и в ожидании ночи внимательно читает дорожный указатель, уповая, что случай пошлет ему проводника.

Вот почему ее любопытство было живо задето, когда Теодоз так верно определил ее внутреннее состояние, когда он заговорил о самых сокровенных ее чувствах и не для того, чтобы этим походя воспользоваться, а для того, чтобы пообещать ей воздвигнуть воздушный замок, который она уже семь или восемь раз безуспешно пыталась создать.

С начала зимы Теодоз тайком внимательно приглядывался к Флавии, изучал ее, проникал в душу этой женщины. Не раз она надевала в те месяцы платье из серого муара, отделанное черными кружевами, и шляпку с цветами, переплетенными кружевными лентами. Этот наряд был ей особенно к лицу, а мужчины отлично понимают, когда женщина наряжается ради них. Красавец времен Империи, несносный Тюилье осыпал ее льстивыми комплиментами, по его словам, она была подлинной королевой салона, но выразительный взгляд молодого провансальца говорил ей в тысячу раз больше.

Флавия каждое воскресенье ждала признания с его стороны, она твердила себе:

«Ведь он знает, что я обездолена, и продолжает хранить молчание! Неужели он и в самом деле благочестив?»

Теодоз не желал торопить событий; как опытный му-

зыкант, он заранее наметил время, когда в исполняемой им симфонии должны зазвучать ударные инструменты. Увидев, что Кольвиль старается повредить ему во мнении Тюилье, адвокат дал залп из всех орудий, осмотрительно приготовленных им в те три или четыре месяца, которые он употребил на изучение характера Флавии. И полностью преуспел, подобно тому, как преуспел в то утро, беседуя с Тюилье.

Ложась в постель, Теодоз говорил себе:

«Супруга на моей стороне, муж с трудом меня терпит; в этот час они препираются, и я одержу верх, ибо она вертит им, как хочет».

Провансалец ошибся только в одном: никакого препирательства не было, Кольвиль сладко похрапывал рядом со своей дорогой крошкой Флавией, а она беззвучно шептала:

— Теодоз — необыкновенный человек.

Многие люди, подобно ла Пераду, слывут необыкновенными вследствие той дерзости или тех усилий, какие они вкладывают в задуманное ими дело; энергия, которую они выказывают, умножает их возможности, они поражают своей настойчивостью; позднее, когда такие люди добиваются успеха или терпят неудачу, окружающие с удивлением обнаруживают, что эти необыкновенные герои на поверку довольно мелки, ничтожны и немощны.

Заронив в умы двух людей, от которых зависела судьба Селесты, семена лихорадочного любопытства, Теодоз принялся разыгрывать роль весьма занятого человека. Пять или шесть дней подряд он с утра до вечера где-то пропадал; хитрец решил: он позволит Флавии увидеться с ним лишь тогда, когда желание достигнет в ней такой силы, что она уже перестанет считаться с приличиями; что касается старого красавца, то Теодоз хотел вынудить его прийти к нему.

Наступило воскресенье. Отправляясь в церковь, адвокат был почти уверен, что найдет там г-жу Кольвиль, и действительно, они одновременно вышли оттуда и встретились на углу улицы Дез-Эглиз; молодой человек предложил Флавии руку, она оперлась на нее, пропустив вперед дочь и Теодора. Младший сын Кольвилей, которому исполнилось двенадцать лет, должен был

впоследствии поступить в семинарию, а пока что находился на половинном пансионе в учебном заведении Барниоля, где получал начальное образование; нечего и говорить, что зять Фельона взимал с него пониженную плату в предвидении брачного союза между математиком Фельоном и Селестой.

— Могу я льстить себя надеждой, что вы соблаговолили подумать о том, что́ я так неуклюже высказал вам в прошлое воскресенье? — вкрадчиво спросил адвокат у хорошенькой святоши, прижимая ее ручку к своей груди движением одновременно нежным и властным.

Всем своим видом Теодоз показывал, будто он скрепя сердце сдерживает порыв страсти, стремясь любой ценой сохранить почтение.

— Поймите правильно мои намерения,— продолжал он, встретив взгляд г-жи Кольвиль, свойственный лишь женщинам, привыкшим к любовной игре; такой взгляд может одинаково означать и глубокую досаду и скрытый призыв.— Я люблю вас, как любят всякое прекрасное существо, борющееся с несчастьем, ибо христианское милосердие простирает свою власть и на сильных и на слабых, его сокровище принадлежит всем. Вы так утонченны, изящны, элегантны, вы рождены, чтобы служить украшением высшего общества! Какой мужчина не испытает в душе глубочайшего сожаления, видя, что вам приходится вращаться в среде этих отвратительных буржуа, которые ничего в вас не понимают? Ведь они не способны даже оценить аристократизм ваших манер, величие вашего царственного взора, прелесть модуляций вашего голоса! Ах!.. Будь я богат! Обладай я властью, и ваш муж, этот славный малый, уже завтра получил бы пост генерального сборщика податей, а вы добились бы его избрания депутатом! Но я бедный честолюбец, обязанный скрывать свое честолюбие, ибо я нахожусь на нижней ступени общественной лестницы и пребываю в безвестности, подобно тому номеру лото, который так и остается на дне мешочка неназванным. Я могу предложить вам лишь руку вместо того, чтобы предложить сердце. Мне остается надеяться лишь на выгодную партию, и, поверьте, я не только сделаю свою жену счастливой, я помогу ей стать одной из первых дам Франции, ибо приданое поможет мне сделать карьеру...

Какая чудесная погода, не хотите ли пройтись по Люксембургскому саду? — сказал он совсем другим тоном, когда они достигли улицы д'Анфер и поравнялись с домом г-жи Кольвиль, против которого возвышался небольшой особняк, последний обломок знаменитого монастыря картезианцев; пройдя двором этого домика, можно было по каменной лестнице спуститься прямо в сад.

Легкое пожатие нежной ручки послужило молчаливым ответом, но Теодоз понял, что Флавии будет приятно, если он сделает вид, будто применяет силу, и он быстро увлек ее за собой, проговорив:

— Пойдемте! Нам не скоро представится такой подходящий случай. Боже мой! — тут же воскликнул он.— Ваш муж смотрит на нас, он стоит у окна, замедлим шаги...

— Вам незачем бояться господина Кольвиля,— с улыбкой ответила Флавия,— он предоставляет мне полную свободу.

— О, вы действительно женщина, о которой я мечтаю! — вскричал провансалец в неистовом восторге, какой умеют выказывать одни только южане с их цветистым красноречием.— Простите, сударыня,— проговорил он, словно спохватываясь и возвращаясь из неземного мира страстей, и благоговейно посмотрел при этом на падшего ангела,— простите, я хочу продолжить прерванную мысль... Как может человек равнодушно взирать на горести, которые ему знакомы по собственному опыту, если эти горести являются уделом существа, чья жизнь должна быть сплошным радостным праздником!.. Ваши страдания — мои страдания, я так же обижен судьбою, как и вы, одинаковое горе нас роднит, делает братом и сестрой. Ах, драгоценная Флавия! Впервые мне дано было увидеть вас в последнее воскресенье сентября тысяча восемьсот тридцать восьмого года... Как вы были прекрасны! Я не раз вспоминал вас потом в этом миленьком платье из шерстяного муслина, напоминавшего своей расцветкой рисунок национального костюма уже не знаю какого шотландского клана!.. В тот день я сказал себе: «Почему эта женщина бывает в доме Тюилье и, главное, почему она находилась в близких отношениях с самим Тюилье?..»

— Однако, милостивый государь! — воскликнула Флавия, испуганная оборотом, какой провансалец быстро придал разговору.

— О, я все знаю! — воскликнул он, многозначительно пожимая при этом плечами.— Мне уже давно все понятно... И я уважаю вас ничуть не меньше. Полноте! Будь вы какой-нибудь дурнушкой или горбуньей и соверши при этом грех... Но теперь вы должны извлечь плоды из своей мимолетной ошибки, и я вам в том помогу! Селеста будет очень богата, отныне в ней заключено все ваше будущее, у вас может быть лишь один зять, значит, самое главное — сделать верный выбор. Честолюбец станет министром, глупец заставит краснеть за него, будет вам без конца надоедать, сделает вашу дочь несчастной, если он утратит состояние, то уже никогда не приобретет его вновь. Так вот, я вас люблю,— заключил он,— моя любовь, моя привязанность не имеет границ, вы способны подняться выше тех мелочных соображений, в которых запутываются глупцы. Мы должны понять друг друга...

Флавия была ошеломлена; тем не менее она не могла не воздать должное бесстрашной откровенности своего собеседника и невольно подумала: «Ну, уж этого-то человека скрытным не назовешь!..» В душе она отметила, что никто еще до такой степени не волновал ее и не задевал за живое, как молодой адвокат.

— Сударь, не знаю, кто создал у вас столь ложное представление о моей жизни и по какому праву вы...

— Ах, простите, сударыня,— ответил Теодоз холодным, исполненным презрения тоном,— а я-то мечтал... Я говорил себе: «В ней все это есть!» Оказывается, то было лишь внешнее впечатление. Отныне я знаю, почему вам суждено всю жизнь ютиться на пятом этаже в доме на улице д'Анфер.

И он сопроводил свою фразу энергическим жестом руки, указав на окна квартиры Кольвилей, которые были видны из широкой аллеи Люксембургского сада, где Флавия и Теодоз прогуливались в одиночестве, попирая ногами необозримое поле, где прогуливалось до них и впредь будет прогуливаться великое множество юных честолюбцев.

— Я был с вами откровенен и ожидал того же. Мне,

сударыня, доводилось сидеть целые дни без куска хлеба. Я умудрился не только не умереть с голоду, но еще и изучить право, получить степень лиценциата в Париже, хотя весь мой капитал сводился к двум тысячам франков. Я приехал в столицу от самых границ Италии с пятьюстами франков в кармане, поклявшись, по примеру одного из моих земляков, стать в один прекрасный день знаменитым человеком, известным всей стране... Человек, нередко находивший себе пищу в корзинах, куда рестораторы выбрасывают объедки и которые они в шесть часов утра опорожняют у своих дверей после того, как мусорщики выберут оттуда лучшие куски... такой человек не отступит ни перед какими средствами... разумеется, дозволенными. Вы считаете меня другом народа?..— спросил он, улыбаясь.— Надо же как-то добиваться известности, необходимо, чтобы о тебе говорили... Ведь талант без репутации — ничто! В свое время адвокат бедняков станет адвокатом богачей... Можно ли быть более откровенным? Откройте же и вы мне свое сердце... Скажите: «Будем друзьями»,— и в один прекрасный день всем нам улыбнется счастье...

— Господи! Зачем я сюда пришла? Зачем я приняла вашу руку?..— воскликнула Флавия.

— Да потому, что это было написано вам на роду!— ответил Теодоз.—О драгоценная и горячо любимая Флавия,— прибавил он, вновь прижимая ее ручку к своей груди,— неужели вы хотите, чтобы я говорил вам пошлые комплименты?.. Мы с вами брат и сестра... Вот и все.

И он повел ее к выходу из сада, откуда можно было попасть на улицу д'Анфер.

Флавия испытывала удовольствие, которое приносят женщинам сильные переживания, но к этому чувству примешивался страх, и она приняла его за тот внутренний трепет, какой рождает возникающая страсть; ей казалось, будто ее заворожили, и она шла в полном молчании.

— О чем вы думаете?..— спросил Теодоз, когда они подходили к садовой ограде.

— О том, что вы мне только что сказали,— пролепетала она.

— Мне кажется, в нашем возрасте,— заметил он,—

можно обойтись без пышных фраз, ведь мы не дети, и оба принадлежим к тому кругу, где люди хорошо понимают друг друга. Я хочу лишь одного,— прибавил он, когда они подошли к улице д'Анфер,— чтобы вы знали: я весь к вашим услугам...

И Теодоз изогнулся в глубоком поклоне.

«Ну, дело, видно, на мази!» — сказал он себе, провожая взглядом вконец растерявшуюся Флавию.

Возвратившись домой, Теодоз встретил на пороге человека, играющего в нашей истории роль глубоко скрытой пружины; его можно уподобить также погребенным под землей развалинам храма, на которых покоится фундамент дворца. Этот субъект, без сомнения, позвонил сначала у дверей ла Перада и, не дождавшись ответа, звонил теперь в квартиру Дютока; при взгляде на него адвокат вздрогнул, но тут же подавил дрожь, и по его внешнему виду нельзя было догадаться, как сильно он взволнован. Перед Теодозом стоял Серизе, о котором Дюток упомянул в разговоре с Тюилье, сказав, что тот служит экспедитором в канцелярии мирового судьи.

Серизе было всего тридцать девять лет, но на вид ему можно было дать все пятьдесят — так состарили этого человека жизненные передряги и пороки. На голове у него не сохранилось ни единого волоска, и сквозь неряшливый парик просвечивала желтоватая кожа черепа; впрочем, она сливалась с выцветшим от времени париком; бледное, обрюзгшее, изрезанное бесчисленными морщинами лицо казалось тем более отвратительным, что нос был глубоко разъеден, однако не настолько, чтобы его можно было заменить искусственным; от переносицы и до ноздрей нос Серизе оставался таким, каким его создала природа, болезнь, разрушив крылья носа, превратила ноздри в огромные дыры причудливой формы, и это делало речь Серизе гнусавой и неразборчивой. Глаза его, некогда голубые, выцвели затем вследствие всякого рода невзгод и в результате бессонных ночей, веки покраснели, взгляд был беспокойный, возбужденный, а порою в его взоре отражалась столь злобная душа, что он мог бы испугать даже судей и преступников, то есть людей, не знающих страха.

Беззубый рот, в котором торчало лишь несколько почерневших корней, производил устрашающее впечатле-

ние; на тонких, бескровных губах порою пенилась слюна. Серизе был небольшого роста, не столько сухощавый, сколько высохший, свое уродство он пытался сгладить костюмом, который, если и не был щегольским, то по крайней мере всегда находился в опрятном состоянии, хотя и свидетельствовал о бедности хозяина. Все в этом человеке было каким-то сомнительным — начиная от возраста и носа и кончая взглядом: ему можно было дать и сорок лет и шестьдесят; никто бы не решился определить, только ли входили в моду его синие полинялые, но хорошо сидевшие панталоны или их перестали носить еще в 1835 году. Изношенные сапоги, которые он чинил уже по меньшей мере три раза, были, однако, старательно начищены; сшитые из тонкой кожи, сапоги эти, быть может, некогда топтали министерские ковры. Побывавший во многих переделках сюртук со шнурами и с изрядно облупившимися металлическими пуговицами своим покроем напоминал о былой элегантности. Атласный воротник с галстуком весьма удачно скрывал белье, но сзади, в том месте, где виднелась металлическая застежка, он был порван, и атлас потускнел от помады, которой Серизе смазывал свой парик, пока тот был новым; жилет еще сохранил свежесть, но принадлежал он к числу тех жилетов, что подолгу лежат на полках торговца готовым платьем и идут по четыре франка за штуку. Костюм Серизе был тщательно вычищен, его чуть измятая шелковая шляпа блестела. Со всем нарядом вполне гармонировали черные перчатки, красовавшиеся на руках этого мелкого чиновника, чью прошлую жизнь мы перескажем в нескольких словах.

То был истинный гений зла; в ранней молодости дурные поступки неизменно сходили ему с рук, и, опьяненный первыми успехами, он и дальше продолжал плести низкие интриги, не выходя из рамок законности. Предав своего хозяина, он сделался владельцем типографии, затем подвергся осуждению в качестве редактора либеральной газеты; в годы Реставрации, живя в провинции, он сделался одним из жупелов королевского правительства, его именовали «злосчастным Серизе», подобно тому, как Шове именовали «злосчастным Шове», а Мерсье — «героическим Мерсье». Своей репутации патриота Серизе был обязан местом супрефекта, которое он получил

в 1830 году; полгода спустя он был смещен; Серизе столько кричал на всех перекрестках, будто его осудили, даже не выслушав, что, когда к власти пришло правительство Казимира Перье, несчастный поборник истины был назначен редактором газеты, выходившей на деньги правительства и боровшейся против республиканцев. Серизе ушел из газеты, чтобы заняться коммерцией, в числе его многочисленных афер было получившее печальную известность коммандитное товарищество, участники которого в конце концов предстали перед исправительным судом; Серизе высокомерно выслушал обвинительный приговор, заявив, что его осуждение — результат происков республиканцев, не захотевших простить ему жестокого урона, понесенного ими от его газеты, ибо на один их удар он отвечал десятью ударами. Заключение Серизе отбывал в тюремной больнице. Власти стыдились человека, вышедшего из приюта для подкидышей; отвратительные привычки и позорные делишки, которые он обделывал в компании с бывшим банкиром по имени Клапарон, по заслугам лишили его всякого уважения. Таким образом, Серизе падал все ниже и ниже и, очутившись на последней ступеньке социальной лестницы, долго обивал пороги, пока из милости не получил место экспедитора канцелярии, где служил Дюток. Впав в ничтожество, человек этот мечтал о реванше и, поскольку ему нечего было терять, не гнушался никакими средствами. Его и Дютока связывали порочные наклонности. Серизе служил Дютоку тем же, чем служит гончая охотнику. Будучи хорошо осведомлен о нуждах обездоленных своего квартала, Серизе занимался мелким ростовщичеством: он принадлежал к числу тех, кого в народе именуют процентщиками; Серизе делился с Дютоком, он мало-помалу превратился в банкира лоточников, разносчиков и зеленщиков. Бывший парижский мальчишка стал в конце концов пиявкой, высасывавшей соки из бедняков двух предместий.

— Послушай,— сказал Серизе открывшему дверь Дютоку,— коль скоро Теодоз вернулся, пойдем к нему...

И адвокат бедняков вынужден был пропустить двух мужчин в свою квартиру.

Все трое вошли в небольшую переднюю, выложенную плитками; свет, проникавший сюда сквозь перкале-

вые занавески, играл на покрытом толстым слоем красного воска полу и позволял разглядеть скромный круглый стол из ореха, ореховые же стулья и ореховый буфет, на котором стояла лампа. Дверь из передней вела в небольшую гостиную с красными занавесями и мебелью красного дерева, обитой красным утрехтским бархатом, у стены напротив окон стоял книжный шкаф, наполненный трудами по юриспруденции. На камине виднелся мещанский набор вещей: настольные часы с четырьмя колонками красного дерева и канделябры под стеклянными колпаками. Приятели прошли в кабинет и уселись перед камином, где горел каменный уголь; то был обычный кабинет начинающего адвоката: письменный стол, кресла с подлокотниками, на окнах — занавеси из зеленого шелка, на полу — зеленый ковер, этажерки для папок с бумагами и кушетка, над которой виднелось распятие из слоновой кости на бархате. Спальня и кухня, должно быть, выходили окнами во двор.

— Ну как? — осведомился Серизе.— Все хорошо? Мы преуспеваем?

— Конечно,— ответил Теодоз.

— Признайте, что мне пришла в голову знаменитая мысль! — воскликнул Дюток.— Ведь это я придумал, как нам прибрать к рукам болвана Тюилье...

— Да, но и я тоже не зевал,— заявил Серизе.— Я пришел сегодня, чтобы научить вас, как связать по рукам и ногам старую деву и принудить ее покорно следовать за нами... Не забывайте: она всему делу голова! Если мы ее привлечем на свою сторону, считайте, что крепость завоевана... Скажу коротко, без лишних слов, как и подобает деловому человеку. Мой бывший компаньон Клапарон, как вам известно,— набитый дурак, всю свою жизнь он был и останется всеобщим посмешищем. В настоящее время он служит подставным лицом для некоего парижского нотариуса, вошедшего в сговор с подрядчиками; они — и нотариус и подрядчики — вылетели в трубу! А в ответе Клапарон, который еще ни разу не был в положении банкрота. Но в жизни все раньше или позже случается, и сейчас он прячется в моей берлоге на улице Пуль, там его вовек не сыщут. Бедняга в ярости, у него нет ни гроша. Так вот, среди пяти или шести домов, которые пойдут с молотка, есть

один — не дом, а просто жемчужина: он великолепно построен из тесаного камня, находится неподалеку от церкви Мадлен, фасад у него украшен очаровательными скульптурами, прямо не фасад, а щегольская шляпа. Но так как дом не закончен, то пойдет сегодня за сто тысяч франков, потратив еще тысяч двадцать пять, можно добиться того, что года через два он будет приносить сорок тысяч франков дохода. Если мы окажем такого рода услугу мадемуазель Тюилье, она нам будет благодарна по гроб жизни, особенно если намекнуть ей, что это выгодное дельце не последнее. Людей тщеславных можно покорить, либо льстя их самолюбию, либо угрожая им, подобно этому скупцов можно подчинить себе, либо покушаясь на их кошелек, либо наполняя его. А так как действовать в интересах Тюилье — все равно, что действовать в наших собственных интересах, надо сосватать старухе дом.

— Но разве нотариус на это пойдет? — спросил Дюток.

— Дружище Дюток, именно нотариус нам и поможет! Он вконец разорился и даже вынужден был продать свою контору, но у него хватило ума сохранить для себя этот лакомый кусочек. Уверенный в честности Клапарона, он поручил нашему простофиле подыскать человека, который согласился бы стать номинальным владельцем дома: сами понимаете, ведь нотариус должен действовать осмотрительно и наверняка. Что ж, никто не мешает ему верить, что мадемуазель Тюилье, сия достопочтенная старая дева, согласится на предложение Клапарона, и тогда в дураках окажутся оба — и нотариус и его доверенное лицо. Я с удовольствием сыграю эту штуку с Клапароном, ведь он заставил меня одного отдуваться за дела коммандитного товарищества, когда нас обвел вокруг пальца этот плут Кутюр, в чьей шкуре я никому не пожелал бы оказаться! — воскликнул Серизе, и в его выцветших глазах засверкала адская злоба.— Я кончил, милостивые государи! — продолжал он, повышая голос, с шумом пропуская воздух сквозь свои уродливые ноздри и становясь в трагическую позу, что ему удалось довольно ловко проделать, ибо в пору жестокой нужды Серизе некоторое время был актером.

После речи Серизе в комнате воцарилось глубокое

молчание; это позволило Теодозу услышать звон дверного колокольчика. Адвокат поспешил в переднюю.

— Вы по-прежнему довольны им? — спросил Серизе у Дютока.— По-моему, у него какой-то странный вид... У меня особый нюх на измену.

— Он до такой степени в нашей власти,— ответил Дюток,— что я даже не даю себе труда наблюдать за ним. Но, должен признаться, этот человек сильнее, чем я думал... Мы-то полагали, что помогли сесть в седло увальню, в жизни не сидевшему на лошади, а шельмец-то оказался опытным наездником. Так-то...

— Ну, пусть он побережется! — глухо сказал Серизе.— Я могу в один миг разрушить все его замыслы, как карточный домик. Вы, папаша Дюток, видите его в деле и можете все время следить за ним, не спускайте же с него глаз! Впрочем, у меня есть великолепный способ хорошенько его прощупать: надо будет, чтобы Клапарон предложил ему избавиться от нас, и тогда мы проникнем в его тайные помыслы...

— Ну что ж, способ недурен,— ответил Дюток,— ты всегда любил крайние меры.

— Просто я знаю, как обращаться с такими молодчиками, вот и все! — воскликнул Серизе.

Весь этот разговор велся вполголоса, пока Теодоз шел к входной двери и возвращался обратно. Когда адвокат показался на пороге кабинета, Серизе внимательнейшим образом разглядывал мебель.

— Это Тюильe, я ждал его прихода, он в гостиной,— негромко сказал Теодоз.— Пожалуй, ему не стоит видеть Серизе,— прибавил он с улыбкой,— этот сюртук со шнурами, чего доброго, наполнит его тревогой.

— Ба! Ты принимаешь горемык, ведь это твоя профессия... Тебе нужны деньги? — прибавил Серизе, вытаскивая из кармана панталон сто франков.— Бери, бери, они не повредят.

И он положил деньги на камин.

— О чем ты беспокоишься? — произнес Дюток.— Ведь мы можем уйти через спальню.

— В таком случае прощайте,— сказал провансалец, открывая искусно замаскированную дверь, которая вела из кабинета в спальню.— Входите, дорогой господин Тюильe! — крикнул он красавцу времен Империи.

Увидя домовладельца в дверях кабинета, адвокат последовал за двумя своими приятелями и провел их через спальню и умывальную комнату в кухню, выходившую на лестничную площадку.

— Через полгода ты должен стать мужем Селесты и занять прочное положение... Ты счастливчик, мой милый, тебе не пришлось дважды сидеть на скамье подсудимых в исправительном суде... как мне! В первый раз это произошло в двадцать четвертом году, когда против меня возбудили преследование... из-за серии статей, хотя я не имел к ним никакого касательства, а во второй раз — из-за барышей некоего коммандитного товарищества, которые уплыли у меня из-под самого носа! Поторапливайся, милейший! Помни, что Дюток и я, мы оба крайне нуждаемся в своих тридцати тысячах франков каждый. Ну, с богом, дружище! — прибавил он, протягивая руку Теодозу и вкладывая в это рукопожатие какой-то скрытый смысл.

Провансалец, в свою очередь, протянул руку Серизе и крепко сжал его пальцы:

— Друг мой, будь уверен, никогда в жизни я не забуду, из какой бездны ты меня вытащил и всего того, что ты для меня сделал... Ведь я только орудие в ваших руках, а между тем вы уделяете мне львиную долю, и, поведи я нечестную игру с вами, я окажусь подлее каторжника, ставшего доносчиком.

Как только захлопнулась дверь, Серизе прильнул к замочной скважине, чтобы разглядеть выражение лица Теодоза; однако провансалец повернулся спиной к дверям и направился в кабинет, так что экспедитору не удалось увидеть физиономию своего подопечного.

А между тем на лице Теодоза было написано не отвращение и не печаль, а откровенная радость. Он уже видел впереди прямой путь к успеху и льстил себя надеждой, что ему удастся освободиться от своих гнусных дружков, которым он, впрочем, был всем обязан. Нищета повсюду, особенно в Париже, вынуждает людей опускаться на самое дно, покрытое вязким илом, и когда, едва не утонув, человек чудом всплывает на поверхность, его тело и одежда непременно вымазаны тиной. Серизе, в прошлом щедрый друг и покровитель Теодо-

за, ныне олицетворял для провансальца липкую грязь, и проницательный делец догадывался, что, очутившись в буржуазном кругу, где люди необыкновенно придирчивы к репутации, молодой адвокат жаждет очиститься от этой грязи.

— Что случилось, любезный Теодоз? — спросил Тюилье.— Каждый день мы надеялись вас увидеть, и каждый вечер обманывал наши надежды... Но нынче воскресенье, у нас званый обед, моя сестра и жена поручили мне просить вас непременно прийти...

— Всю неделю я был по горло занят,— отвечал Теодоз,— я не мог уделить и двух минут никому, даже вам, которого считаю своим другом и с кем мне надобно поговорить...

— Как? Стало быть, вы всерьез помышляете о том, о чем беседовали со мной в прошлое воскресенье? — воскликнул Тюилье, перебивая Теодоза.

— Если вы пришли не за тем, чтобы потолковать об этом предмете, я стану вас уважать меньше, чем уважал,— продолжал ла Перад с улыбкой.— Ведь вы были помощником правителя канцелярии, стало быть, в вас должно сохраниться немного честолюбия; в таком человеке, как вы, оно чертовски уместно! Между нами говоря, меня глубоко возмущает, когда какой-то Минар, этот разбогатевший олух, приносит поздравления королю и, пыжась, разгуливает в Тюильри, когда какой-то Попино вот-вот станет министром, между тем как вы, человек, понаторевший в делах управления, имеющий тридцатилетний опыт, видевший смену шести правительств, заняты тем, что пересаживаете бальзамины... Куда это годится!.. Я с вами откровенен, мой дорогой Тюилье, я хочу добиться вашего возвышения, ибо вы затем потянете меня за собой... Так вот, выслушайте мой план. Мы добьемся вашего избрания в члены генерального совета округа. Именно вы должны занять этот пост!.. И вы его займете,— проговорил он, выделяя последнее слово.— А в один прекрасный день, когда будут происходить новые выборы в Палату депутатов, и этот день не за горами, вы сделаетесь депутатом от нашего округа... Голоса людей, которые изберут вас в муниципальный совет, останутся за вами, когда речь пойдет об избрании депутата, можете мне поверить...

— Но как вы предполагаете действовать?..— воскликнул завороженный Тюилье.

— В свое время узнаете, но только не мешайте мне исподволь подготовить это нелегкое предприятие, требующее выдержки и терпения. Если вы не сумеете сохранить в строжайшей тайне все, о чем мы будем с вами говорить и замышлять, все, о чем мы будем уславливаться, я от вас отступлюсь, и — мое почтение!

— О, вы можете рассчитывать на мою абсолютную сдержанность, ведь я был помощником правителя канцелярии и знаю, что такое секреты...

— Отлично! Но ведь нам многое придется держать в секрете и от вашей жены, и от вашей сестры, и от господина и госпожи Кольвиль.

— Ни один мускул в моем лице не дрогнет,— заявил Тюилье, удобнее устраиваясь в кресле.

— Отлично! — повторил ла Перад.— Я вас сейчас испытаю. Для того, чтобы быть избранным, человек должен уплачивать ценз, а вы его не платите.

— Это верно!..

— Так вот, моя преданность столь велика, что я хочу посвятить вас в секрет одной деловой операции, которая обеспечит вам годовой доход в тридцать, а то и в сорок тысяч франков на капитал самое большее в полтораста тысяч франков. В вашем доме с давних пор всеми финансовыми делами ведает ваша уважаемая сестра, это совершенно разумно: ведь она, как говорят, может дать любому дельцу сто очков вперед. Вот почему вы должны помочь мне завоевать расположение и дружбу мадемуазель Бригитты, а для этого я хочу предложить ей выгодно поместить капитал. Если мадемуазель Тюилье не уверует в мои способности, у вас с ней могут возникнуть разногласия, к тому же вам неудобно предлагать сестре, чтобы она приобрела недвижимость на ваше имя! Лучше, если эту мысль ей подскажу я. Впрочем, вы оба будете судить о том, выгодно ли предлагаемое мною дело. Что же касается того, каким способом я намерен добиться цели, то, извольте, вот он. Фельон располагает голосами четверти избирателей квартала; он и Лодижуа живут здесь тридцать лет, к ним прислушиваются, как к оракулам. Один из моих друзей располагает голосами другой четверти избирателей. Священ-

ник церкви Сен-Жак, которому добродетели помогли приобрести влияние на своих прихожан, также может доставить нам малую толику голосов. Дюток и его мировой судья могут повлиять на многих обитателей округа, Дюток окажет эту услугу, тем более что речь идет не обо мне. Наконец, Кольвиль в качестве секретаря мэрии также завоюет нам большое количество сторонников.

— Вы правы, я уже избран! — вскричал Тюильe.

— Вы полагаете? — спросил ла Перад, и в его голосе прозвучала уничтожающая ирония.— Ну, что ж, попробуйте обратиться с просьбой об услуге к своему другу Кольвилю, и вы услышите, что он вам на это ответит... Когда речь заходит о том, чтобы избрать человека на какую-нибудь должность, сам он никогда не добьется успеха, за него должны хлопотать друзья. Кандидат ни в коем случае не должен просить за себя, он должен прослыть человеком, лишенным честолюбия; даже когда его станут уговаривать, ему следует для вида отказываться.

— Ла Перад! — воскликнул Тюильe, вставая с места и протягивая руку молодому адвокату.— Вы необыкновенный человек...

— Ну, не в такой степени, как вы,— ответил, улыбнувшись, провансалец,— но, как говорится, у каждого свои достоинства.

— Но как я смогу вас отблагодарить, если ваши хлопоты увенчаются успехом?

— О, пусть вас это не заботит... Боюсь, вы сочтете меня дерзким, но дело в том, что мною владеет чувство, которое вам все объяснит, оно-то и побудило меня начать эти хлопоты! Я влюблен и хочу излить вам свою душу.

— Кого же вы любите? — спросил Тюильe.

— Вашу очаровательную крошку Селесту,— отвечал ла Перад,— и эта любовь — надежный залог моей преданности. В самом деле, чего не сделаешь ради будущего тестя! Мною движет эгоизм, ведь я, собственно, стараюсь ради самого себя...

— Т-с-с! — прошипел Тюильe.

— О друг мой,— успокоительно проговорил Теодоз, обнимая его за талию,— не будь Флавия на моей стороне и не знай я всего из первых рук, разве я заго-

ворил бы с вами об этом? Но только вы ей — ни словечка, слушайте, что она вам станет говорить, и молчите. Скажу откровенно: я из того материала, из которого делают министров, и я не хочу получить Селесту, пока не заслужу этого! Так что вы отдадите мне ее руку в канун того дня, когда произойдет голосование, в результате которого вы соберете число бюллетеней, достаточное для того, чтобы стать депутатом от Парижа. Но чтобы сделаться депутатом от Парижа, надо одержать верх над Минаром, стало быть, надо обезвредить Минара и прочих, а для этого вам следует сохранить все средства влияния; если хотите добиться желанного результата, не лишайте их надежды на получение руки Селесты, и мы их всех ловко проведем... Госпожа Кольвиль, вы и я в один прекрасный день станем людьми заметными. Не подумайте, ради бога, что я льщусь на интересы: мне не нужно никакое приданое за Селестой, с меня достаточно уверенности, что она в будущем получит наследство... Жить одной семьей с вами, оставить свою жену в кругу близких ей людей — вот моя мечта... Как видите, я от вас ничего не скрываю, задних мыслей у меня нет. Но вернемся к вашим делам: через полгода после того, как вы станете генеральным советником, вы получите орден Почетного легиона, а сделавшись депутатом, найдете средство добиться и офицерского креста... Что касается ваших речей для выступлений в Палате, ну, что ж, мы будем их писать вместе! Вам неплохо было бы, пожалуй, сделаться автором какого-нибудь серьезного труда, наполовину нравственного, наполовину политического. Это могло быть, скажем, исследование о благотворительных учреждениях с точки зрения их возвышающей душу деятельности или, допустим, опыт об изменении порядков в городском ломбарде, где, как известно, совершаются ужасные злоупотребления. Такого рода сочинение послужило бы во славу вашего имени... А это очень важно, особенно в нашем округе. Я вам уже сказал: «Вы можете получить орден и стать членом генерального совета департамента Сены». Так вот, верьте мне, вы только тогда дадите согласие на то, чтобы я вошел в вашу семью, когда в вашей петлице засияет орденская ленточка и на следующий день после того, как вы вернетесь домой с заседания из городской ратуши.

Я сделаю еще больше: я добьюсь для вас верного дохода в сорок тысяч франков...

— Если вы исполните хотя бы одно из своих обещаний, то Селеста будет принадлежать вам!

— Вы и сами не знаете, какое это сокровище! — пылко произнес ла Перад, возводя очи горé.— Я каждый день молю бога ниспослать ей счастье... Она прелестна, впрочем, ведь она походит на вас... Кстати, я ведь тут ни при чем! Право же, обо всем мне рассказал Дюток. Я прощаюсь с вами до вечера. А сейчас направлюсь к Фельонам хлопотать о вашем деле. Ах, да, нечего и говорить, что вам и в голову не приходило видеть во мне возможного жениха Селесты... Если об этом кто-нибудь проведает, я окажусь связанным по рукам и ногам. Так что молчок, никому ни слова, даже Флавии! Пусть она заговорит с вами первая. Нынче вечером Фельон будет настойчиво добиваться вашего согласия на то, чтобы выдвинуть вас кандидатом в советники.

— Нынче вечером? — изумился Тюильe.

— Нынче вечером,— ответил ла Перад,— разве только я не застану его дома.

Тюильe вышел, говоря себе:

«Вот необыкновенный человек! Мы всегда отлично будем понимать друг друга, и, право же, нам трудно найти лучшего мужа для Селесты; они станут жить у нас в доме, одной семьей, и это немало. Он славный малый, добряк, каких не часто встретишь...»

Для людей такого склада, как Тюильe, второстепенные соображения зачастую выступают на первое место. Он убедил себя, что Теодоз — добрейший человек.

Через несколько минут молодой адвокат показался на улице; дом, куда он направлялся, уже лет двадцать был *hoc erat in votis* [1] Фельона, и он был в такой же мере неотъемлемой принадлежностью Фельонов, в какой шнуры на сюртуке Серизе были неотъемлемой принадлежностью экспедитора.

Дом этот прилепился к какому-то огромному зданию; расстояние между его фасадом и задней стеной не превышало двадцати футов, по бокам к нему примыкали две небольшие пристройки с одним окном каж-

---

[1] Здесь: «заветная мечта» *(лат.)*.

дая. Главным украшением дома был сад шириной приблизительно в тридцать туазов; сад был длиннее фасада как раз на величину двора, выходившего на улицу; вдоль одной из пристроек шла коротенькая аллея, усаженная липами. Со стороны улицы двор был огражден двумя решетками, между ними находились небольшие ворота с двумя створками.

Это трехэтажное строение из оштукатуренного известняка было выкрашено в желтый цвет, жалюзи на окнах верхних этажей, как и ставни в нижнем этаже, были зелеными. Кухня помещалась в первом этаже одного из флигельков, выходившего окнами во двор; кухарка — толстая и здоровая девица — выполняла также функции привратника, в чем ей помогали два огромных пса. Фасад дома с пятью окнами, обрамленный двумя флигельками, выступавшими вперед на туаз, был построен в стиле Фельона. Над подъездом блестела белая мраморная табличка, по которой шла золотая надпись: «*Aurea mediocritas*» [1]. Посреди фасада виднелся небольшой выступ, под которым было начертано нижеследующее мудрое изречение: «Umbra mea vita sit» [2].

Наружные подоконники были недавно заменены новыми, из красного лангедокского мрамора, купленными по сходной цене у какого-то каменотеса. В глубине сада возвышалась раскрашенная статуя: издали она напоминала кормилицу, держащую у груди младенца. Фельон сам ухаживал за садом. В первом этаже помещались только гостиная и столовая, разделенные лестничной клеткой, переходившей в переднюю. К гостиной примыкала небольшая комната, служившая кабинетом Фельону.

На втором этаже находились комнаты супругов и их старшего сына, на третьем этаже были расположены комнаты младших детей и слуг, ибо Фельон, считая, что он и его жена уже достигли преклонного возраста, взял в услужение мальчишку лет пятнадцати; старик окончательно пришел к этому решению, когда его старший сын с головой окунулся в педагогическую деятельность. В левой стороне двора приютились службы, сюда складывали дрова, а при прежнем домовладельце здесь жил при-

---

[1] «Золотая середина» *(лат)*.

[2] «Да будет мне жизнь покоем» *(лат.)*.

вратник. Старики Фельоны, без сомнения, ожидали только женитьбы старшего сына, чтобы позволить и себе такую же роскошь.

Фельон долгое время приглядывался к этому владению и наконец в 1831 году приобрел его за восемнадцать тысяч франков. Дом был отделен от двора балюстрадой, сложенной из тесаных камней, поверх которых шла черепица. Вдоль этой нарядной ограды тянулась живая изгородь из кустов бенгальской розы: посреди ограды виднелась решетчатая дверь, она была расположена прямо против ворот, ведущих на улицу.

Те, кому знаком тупик Фейантин, легко представят себе, что дом Фельона, стоявший под прямым углом к дороге, был весь день залит солнцем и защищен от северного ветра высокой стеной соседнего строения, к которому он примыкал. Купол Пантеона и купол Валь-де-Грас, походившие на двух исполинов, настолько загромождали окружающее пространство, что человеку, прогуливавшемуся по садику, казалось, будто перед ним открывается узкий коридор. Трудно найти место более тихое и молчаливое, чем тупик Фейантин. Таким было убежище великого безвестного гражданина, который вкушал радость отдыха, заплатив сполна свой долг родине, ибо он много лет прослужил на поприще министерства финансов: Фельон вышел в отставку с орденом, пробыв чиновником тридцать шесть лет.

В 1832 году он повел свой батальон национальной гвардии в атаку на монастырь Сен-Мерри, но соседи видели, что в глазах у него стояли слезы, ибо ему приходилось стрелять в заблуждающихся французов. Исход боя был решен, когда батальон совершал перебежку через мост Нотр-Дам, предварительно прорвавшись на набережную Флёр. Такая чувствительность завоевала Фельону уважение жителей квартала, но зато лишила его ордена Почетного легиона; полковник во всеуслышание заявил, что человек, носящий оружие, не должен рассуждать: он в точности повторил слова, с которыми Луи-Филипп обратился к национальной гвардии в Меце. Тем не менее жалостливая натура буржуа Фельона и глубокое почтение, которым он был окружен в своем квартале, сохраняли за ним пост командира батальона на протяжении восьми лет. Ему уже было около шестидесяти лет, и

в предвидении того дня, когда ему придется расстаться со шпагой и мундиром национального гвардейца, он не переставал надеяться, что король (Фельон произносил «куроль») все же окажет ему милость и во внимание к его заслугам наградит орденом Почетного легиона; верность истине заставляет нас отметить (хотя такого рода мелочность и накладывает пятно на столь славного человека), что, бывая на приемах в Тюильри, командир батальона Фельон поднимался на цыпочки, настойчиво пробивался в первый ряд и украдкой поглядывал на короля-гражданина, обедавшего за столом; словом, Фельон лез из кожи вон, но так и не добился, чтобы *его* король бросил взгляд на своего верноподданного. Достопочтенный буржуа никак не мог собраться с духом и попросить Минара походатайствовать за него.

Фельон, человек пассивный и покорный, становился необыкновенно стойким, едва речь заходила о долге; в вопросах, где требовалось проявить щепетильную честность и добросовестность, человек этот был подобен бронзе. Дополним портрет Фельона описанием его наружности: к шестидесяти годам он, употребляя словечко буржуазного жаргона, *раздобрел;* его добродушное лицо, отмеченное оспой, напоминало полную луну, так что толстые губы стали под старость казаться обыкновенными. Близорукие бледно-голубые глаза, защищенные толстыми очками, с возрастом потеряли присущее им простодушное выражение, вызывавшее улыбку; седые волосы придавали теперь лицу серьезность, а ведь еще каких-нибудь двенадцать лет назад оно казалось необыкновенно глупым и смешным. Время, которое так жестоко обращается с тонкими, нежными чертами, изменяет к лучшему физиономии, отличавшиеся в молодости чертами массивными и резкими: именно так и произошло с Фельоном. Состарившись, он посвящал свой досуг сочинению краткого очерка истории Франции, ибо уже являлся автором нескольких трудов, одобренных университетом.

Когда ла Перад вошел в дом, вся семья была в сборе; г-жа Барниоль рассказывала матери о самочувствии одного из своих детей, которому в тот день нездоровилось. Сын Фельона — пансионер Училища путей сообщения — проводил этот день в семье. Фельон и его

домочадцы, разодетые по-воскресному, сидели перед камином в обшитой деревянной панелью гостиной, выкрашенной в серые тона; они вздрогнули и невольно привстали в креслах красного дерева, когда Женевьева объявила о приходе человека, о котором недавно шла речь в связи с Селестой, этой прелестной девушкой, внушившей Феликсу Фельону такую любовь, что он готов был ходить к обедне только для того, чтобы видеть ее. Ученый математик как раз в то утро совершил сей подвиг, и родные дружески подшучивали над ним, желая в душе, чтобы Селеста и ее родители поняли наконец, какое сокровище открывается им в лице Феликса.

— Увы! По-моему, Тюилье без ума от этого опасного человека,— заявила г-жа Фельон.— Нынче утром ла Перад подхватил госпожу Кольвиль под руку, и они вдвоем отправились в Люксембургский сад.

— В этом адвокате есть что-то зловещее! — вскричал Феликс.— Если бы обнаружилось, что он совершил преступление, меня бы это не удивило...

— Ну, ты хватил через край,— возразил его отец,— он просто двоюродный брат Тартюфа, чей бессмертный образ словно отлит из бронзы нашим почтенным Мольером, ибо, дети мои, в основе гения Мольера лежат самые почтенные добродетели, в частности патриотизм.

Именно в эту минуту вошла Женевьева и объявила:

— Там пришел господин де ла Перад, он хочет поговорить с барином.

— Со мной? — воскликнул господин Фельон.— Проси! — прибавил он тем торжественным тоном, в какой нередко впадал, говоря о самых обычных вещах, и становился от этого смешным; тон его, однако, импонировал домочадцам, и они смотрели на главу семьи с не меньшим уважением, чем на короля.

Фельон, оба его сына, жена и дочь поднялись со своих мест и молча ответили поклоном на поклон адвоката.

— Чему мы обязаны честью видеть вас, сударь? — сурово спросил Фельон.

— Тому важному положению, какое вы занимаете в нашем квартале, любезный господин Фельон, а также той

роли, какую вы играете в делах, связанных с жизнью общества,— отвечал Теодоз.

— В таком случае пройдемте в мой кабинет,— предложил Фельон.

— Нет, нет, мой друг,— вмешалась сухопарая г-жа Фельон, невысокая женщина, плоская, как доска, с лица которой никогда не сходило строгое выражение, раз и навсегда усвоенное ею в пансионе для благородных девиц, где она преподавала музыку,— лучше уж мы удалимся и оставим вас вдвоем.

Фортепьяно Эрара, стоявшее между двумя окнами против камина, недвусмысленно говорило о претензиях достойной матроны, связанных с ее профессией.

— Я крайне огорчен, что послужил причиной вашего бегства! — проговорил Теодоз, обращаясь с учтивой улыбкой к супруге хозяина дома и его дочери.— Как у вас здесь уютно,— продолжал он,— не хватает только прелестной невестки, и тогда вы сможете спокойно провести остаток дней своих среди семейных радостей, руководствуясь мудрым изречением латинского поэта, мечтавшего об «*aurea mediocritas*». Своей прошлой жизнью вы вполне заслужили сию награду, ибо все, что я слышал о вас, любезный господин Фельон, говорит о том, что в вашем лице сочетаются воедино и отменный гражданин и патриарх...

— Сударь,— пробормотал смущенный Фельон,— сударь, я только *испулнял* свой долг, *вот и вся!*

Госпожа Барниоль, походившая на свою мать, как походят друг на друга две капли воды, услышав слова Теодоза о невестке для Фельона, посмотрела на мать и на своего брата Феликса с таким видом, словно хотела сказать: «Неужели мы так ошибались в нем?»

Желание обсудить все это увлекло мать и ее троих детей в сад, ибо в марте 1840 года погода, во всяком случае в Париже, стояла сухая.

— Господин майор,— начал Теодоз, оставшись наедине с достойным буржуа, которому необыкновенно льстил этот чин,— ведь я — один из ваших солдат... Я пришел к вам по поводу предстоящих выборов...

— Да, да, нам надобно избрать муниципального советника,— прервал его Фельон.

— И вот, чтобы поговорить о кандидате на этот пост,

я и позволил себе нарушить ваш воскресный отдых. Быть может, мы сумеем подобрать его, так сказать, в семейном кругу.

Сам Фельон не мог бы произнести эту фразу с более фельоновской интонацией, чем это сделал Теодоз!

— Я не позволю вам сказать больше ни слова,— ответил Фельон, воспользовавшись паузой, которую Теодоз сделал, чтобы оценить эффект, произведенный его словами.— Дело в том, что мой выбор уже сделан.

— Нам пришла в голову одна и та же мысль! — вскричал ла Перад.— Стало быть, сходятся не только люди умные, но и люди почтенные.

— Я не думаю, что мы сошлись с вами во мнениях,— возразил Фельон.— Наш округ представлял в муниципалитете самый добродетельный из людей, величайший из судейских чиновников, господин Попино, ныне покойный советник королевского суда. Когда зашла речь о том, кем заменить его, то оказалось, что племянник господина Попино, продолжающий благотворительную деятельность своего дяди, не проживает в нашем округе. Однако с тех пор он успел приобрести в собственность дом, где обитал его почтенный дядюшка, дом этот расположен на улице Монтань-Сент-Женевьев. Племянник усопшего — врач Политехнической школы и одной из наших больниц, он служит подлинным украшением квартала. Имея все это в виду, а также желая почтить в особе племянника память его дяди, несколько жителей квартала, и среди них я, решили выдвинуть кандидатуру доктора Ораса Бьяншона, члена Академии наук, как вам, вероятно, известно, и восходящую звезду знаменитой парижской медицинской школы... Правда, с моей точки зрения, человек может быть велик и не будучи знаменитым, я считаю, что ныне покойный советник Попино был почти что святым — под стать Венсану де Полю.

— Врач редко бывает хорошим администратором,— ответил Теодоз,— к тому же я собирался назвать имя человека, которому вы в собственных интересах должны отдать предпочтение, тем более что все, о чем вы только что говорили, не имеет прямого отношения к общественному благу.

— Ах, сударь! — вскричал Фельон, поднимаясь с кресла и становясь в позу Лафона в «Гордеце».— Неуже-

ли вы до такой степени презираете меня, что можете подумать, будто личные интересы способны оказать влияние на мои политические убеждения! Едва речь заходит о вопросах, касающихся жизни общества, я становлюсь только гражданином, и никем больше.

Теодоз улыбнулся при мысли о том поединке, какой должен был вскоре разгореться между Фельоном-отцом и Фельоном-гражданином.

— Не связывайте самого себя такого рода речами, умоляю вас,— проговорил ла Перад,— ибо дело идет о счастье вашего милого Феликса.

— Что вы хотите этим сказать?..— удивился Фельон, останавливаясь посреди гостиной.

Достопочтенный буржуа стоял теперь неподвижно, заложив правую руку за борт жилета, в точности подражая прославленному Одилону Барро.

— Ведь я пришел поговорить с вами о кандидатуре нашего общего друга, достойнейшего и превосходнейшего господина Тюилье, чье влияние на судьбу прелестной Селесты Кольвиль вам отлично известно. И если, как я надеюсь, ваш сын, молодой человек, которым может гордиться любое семейство и чьи качества неоспоримы, ухаживает за Селестой с благородными намерениями, то лучший способ завоевать вечную признательность семьи Тюилье — это выдвинуть кандидатуру самого Тюилье в муниципальный совет от нашего округа... Я в этих местах человек новый, и, хотя благодеяния, оказанные мною большому числу бедняков, и принесли мне некоторое влияние, я все же не могу предпринять такой шаг. Ведь услуги, оказываемые обездоленным, мало чего стоят в глазах власть имущих, к тому же скромная жизнь, которую я веду, плохо сочетается с деятельностью такого рода. Я посвятил себя служению малым сим, сударь, как и покойный советник Попино, человек, по вашим словам, возвышенный, и, если бы моя жизнь и так не была пропитана религией, если бы моя натура не подходила столь мало к узам, еще более прочным, чем узы брака, моим вторым всепоглощающим призванием стало бы служение богу, церкви... В отличие от прочих филантропов я не поднимаю шума, не выставляю напоказ свои деяния, а просто действую, ибо я целиком предан христианскому милосердию. Мне кажется, я угадал честолюбивые устремления

нашего друга Тюилье и захотел содействовать счастью двух существ, созданных друг для друга. Вот почему я и предложил вам способ тронуть несколько холодное сердце Тюилье.

Выслушав эту великолепно произнесенную тираду, Фельон пришел в смятение, он был ослеплен, растроган. Однако старик и тут остался самим собой; направившись прямо к адвокату, он протянул ему руку, а тот протянул свою.

И оба они обменялись рукопожатием, напоминавшим то рукопожатие, каким в августе 1830 года обменялись буржуа и люди, чей день должен был вот-вот наступить.

— Сударь,— проговорил взволнованный командир батальона национальной гвардии,— я дурно судил о вас. То, что вы оказали честь мне доверить, умрет здесь!..— продолжал он, ткнув себя в левую сторону груди.— Таких людей, как вы, не часто увидишь. Но они приносят нам успокоение среди зрелища зол, увы, неотделимых от существующего социального порядка. Добро встречается столь редко, что мы, по слабости душевной, боимся доверять внешности. Вы всегда найдете во мне друга, если только позволите надеяться, что хотите видеть меня в числе своих друзей... Но вы меня плохо знаете, сударь, я перестал бы уважать себя, если бы выдвинул кандидатуру Тюилье. Нет, мой сын никогда не будет обязан счастьем неблаговидному поступку отца... Я не изменю решения, даже в интересах Феликса... И в этой решимости, сударь, я полагаю свою добродетель!

Ла Перад вытащил носовой платок и потер им глаза, чтобы выдавить слезу, и, протянув руку Фельону, проговорил, глядя в сторону:

— Вот, сударь, поистине величественное зрелище столкновения личных интересов с интересами политическими. Если мой визит даже ни к чему не приведет, я все равно не буду считать его бесплодным... Что вам сказать?.. Будь я на вашем месте, я бы действовал таким же образом... Вы принадлежите к числу величайших созданий божьих — вы человек в высшей степени достойный! О, если бы у нас было много граждан, похожих на Жан-Жака Руссо, а вы человек именно такого склада, каких бы вершин ты достигла, о моя великая ро-

дина, Франция!.. Это я, сударь, буду настойчиво добиваться чести быть вашим другом.

— Что там происходит? — воскликнула г-жа Фельон, наблюдавшая за этой сценой из сада, куда выходило окно гостиной.— Ваш отец и это чудовище обнимаются.

Фельон и адвокат вышли из дому и присоединились к членам семьи почтенного буржуа.

— Милый Феликс,— сказал старик, указывая на ла Перада, который в это время приветствовал г-жу Фельон,— ты должен испытывать признательность к сему достойному молодому человеку, он принесет тебе больше пользы, нежели вреда.

Адвокат несколько минут прогуливался в обществе г-жи Барниоль и г-жи Фельон под липами, лишенными в ту пору года листвы; он посвятил их в трудное положение, возникшее в силу упрямства Фельона, вызванного политическими убеждениями, и дал им совет, результаты которого должны были сказаться в тот же вечер: первым следствием этого совета было то, что обе дамы остались в полном восхищении от дарований, искренности и других неоценимых качеств Теодоза. Все семейство в полном составе проводило адвоката до ворот, выходивших на дорогу, и следило за ним глазами до тех пор, пока он не свернул на улицу Фобур-Сен-Жак. Г-жа Фельон, возвращаясь в гостиную, взяла мужа под руку и сказала:

— Неужели, милый друг, ты, такой хороший отец, из-за ложной щепетильности разрушишь возможность самого великолепного брака для нашего Феликса?

— Моя дорогая,— отвечал Фельон,— великие люди античности, такие, как Брут и прочие, забывали о том, что они отцы, когда им следовало выказать себя гражданами... Буржуазия, призванная сменить дворянство, еще больше, чем оно, нуждается в высоких добродетелях. При виде мертвого Тюренна господин де Сент-Илер и думать забыл о своей отрубленной руке... И мы, люди скромные, должны дать доказательства своего благородства, мы обязаны сделать это, на какой бы ступени социальной лестницы ни находились. Для того ли я преподавал уроки возвышенной морали своим детям, чтобы отступиться от нее в тот самый час, когда необходимо руководство-

ваться ею! Нет, моя дорогая, ты можешь сегодня плакать, но завтра ты станешь меня уважать еще больше!..— прибавил он, увидя, что на глазах его сухопарой половины показались слезы.

Эти высокие речи он произнес у порога той самой двери, над которой шла надпись: «*Aurea mediocritas*».

— Мне следовало бы прибавить к этим словам еще два: *et digna!* [1] — прибавил он, указывая перстом на табличку,— но они заключали бы похвалу.

— Отец,— сказал Мари-Теодор Фельон, будущий инженер путей сообщения, когда вся семья вновь собралась в гостиной,— мне думается, нет ничего непорядочного в том, чтобы переменить свой взгляд на вопрос, не имеющий прямого отношения к общественному благу.

— Не имеющий прямого отношения, сын мой! — вспылил Фельон.— В семейном кругу я могу сказать, и Феликс согласен со мной: господин Тюильe абсолютно лишен способностей! Он ничего не знает. Господин Орас Бьяншон — человек одаренный, он многое сможет сделать для нашего округа, а Тюильe не добьется даже пустяка! Запомни, сын мой, что переменить хорошее решение на дурное, руководствуясь личными интересами,— значит совершить низкое деяние. Если оно даже ускользает от глаз человеческих, то за него нас наказывает бог. Я тешу себя надеждой, что за всю свою жизнь не совершил поступка, который бы мучил затем мою совесть, я хочу, чтобы память обо мне ничем не была запятнана. Вот почему мое решение пребудет неизменным.

— О милый папочка! — воскликнула дочь Фельона, кладя подушку на пол, возле ног отца, и устраиваясь на ней,— ты опять становишься на ходули! В муниципальных советах полным-полно тупиц и дураков, а Франция между тем процветает. Он будет голосовать вслед за другими, этот славный Тюильe... Лучше подумай о том, что у Селесты, возможно, будет пятьсот тысяч франков.

— Будь у нее даже миллионы и находись они здесь, передо мной,— вскричал Фельон,— я и тогда не предложу кандидатуру Тюильe, ибо в память самого добродетельного из людей я должен добиться избрания Ора-

---

[1] «И достойная!» *(лат.)*

са Бьяншона! С высоты небес Попино взирает на меня и восхищается мною!..— завопил Фельон в полном самозабвении.— А такие соображения, как те, что ты только что высказала, служат к уничижению Франции и заставляют дурно судить о буржуазии.

— Отец совершенно прав,— заявил Феликс, выходя из глубокой задумчивости,— он вполне заслуживает нашего уважения и любви, ибо теперь, как и всю свою жизнь, ведет себя с истинной скромностью и величайшим благородством. Нет, я не хочу, чтобы мое счастье вызывало в нем угрызения совести, не хочу я добиваться этого счастья и путем интриг, я люблю Селесту так, как люблю вас, мои родные, но превыше всего я ставлю честь своего отца, и коль скоро здесь затронуты его убеждения, не будем об этом больше говорить.

Фельон со слезами на глазах приблизился к старшему сыну и сжал его в объятиях.

— Сын мой! Сын мой!..— выговорил он задыхающимся голосом.

— Все это глупости,— прошептала г-жа Фельон на ухо дочери,— помоги мне одеться, надо положить этому конец, я хорошо знаю твоего отца, если уж он упрется... Чтобы привести в исполнение план, предложенный тем славным и благочестивым юношей, мне понадобится твоя помощь, будь же наготове, Теодор,— вполголоса сказала она младшему сыну.

В эту минуту в гостиную вновь вошла Женевьева и протянула письмо старику Фельону.

— Тюилье приглашают нас на обед,— сказал он жене.

Блестящая и поражающая воображение мысль, пришедшая в голову адвокату бедняков, потрясла семейство Тюилье не меньше, чем семейство Фельонов. Ничего не открыв сестре, Жером, который считал себя обязанным сдержать слово, данное своему Мефистофелю, отправился к Бригитте и в полном смятении сказал:

— Дорогая крошка,— так Тюилье неизменно обращался к сестре, когда хотел ее задобрить,— у нас сегодня важные гости к обеду, я хочу пригласить Минаров, так что позаботься об угощении. Супругам Фельон я направлю письмецо, правда, немного поздновато, но с ними можно особенно не стесняться... Дело в том, что Ми-

нар мне вскоре понадобится, и я хочу пустить ему пыль в глаза.

— Четверо Минаров, трое Фельонов, четверо Кольвилей да нас двое — выходит тринадцать...

— Четырнадцатым будет ла Перад, стоит, пожалуй, пригласить и Дютока, он может быть полезен. Я сейчас поднимусь к нему.

— Что ты затеваешь? — удивилась Бригитта.— Обед на пятнадцать персон! У нас вылетит не меньше сорока франков!

— Не жалей о них, дорогая крошка, а главное, будь полюбезнее с нашим юным другом ла Перадом, ведь он нам так предан... Скоро сама в этом убедишься!.. Если ты меня любишь, береги его как зеницу ока.

С этими словами он вышел, оставив Бригитту в полной растерянности.

— О да, предпочитаю в этом сама убедиться! — пробормотала старуха.— Меня красивыми словами не прельстишь!.. Он славный малый, но прежде чем дать ему место в своем сердце, я должна изучить его лучше, чем до сих пор.

Пригласив к обеду Дютока, Тюилье нарядился в свой лучший костюм и отправился на улицу Масон-Сорбон, в особняк Минара, чтобы очаровать своей любезностью толстуху Зели и сгладить таким образом неприятное впечатление, которое могло возникнуть у Минаров из-за столь позднего приглашения.

Минар приобрел в собственность один из тех больших и роскошных домов, которые старые монашеские ордена построили вокруг Сорбонны. Поднимаясь по широкой каменной лестнице с чугунными перилами, свидетельствовавшими о том, что в царствование Людовика XIII процветало не самое утонченное искусство, Тюилье позавидовал и особняку господина мэра и положению, которое тот занимал в обществе.

Просторный дом, отделенный от улицы двором и садом, отличался красотой и пышностью, характерной для царствования Людовика XIII и занимающей своеобразное промежуточное место между дурным вкусом эпохи упадка Ренессанса и великолепием ранней поры царствования Людовика XIV. Это смешение стилей можно наблюдать во многих архитектурных памятниках. Для

него характерны массивные завитки на фасадах Сорбонны и прямые линии колонн, выдержанных в духе греческой архитектуры.

Бывший бакалейщик, удачливый плут, занял особняк духовного руководителя некоего заведения, именовавшегося в свое время Управлением монастырским имуществом и находившегося в подчинении высших церковных властей Франции; учреждение это было основано благодаря прозорливому уму Ришелье.

Имя «Тюильe» отворило перед посетителем двери салона, где царила среди красного бархата и позолоты, в окружении великолепных китайских безделушек, несчастная женщина, чья тучность привлекала к себе внимание принцев и принцесс на открытых балах в королевском дворце.

— Надо признаться, что «Карикатура» во многом права,— сказала однажды с улыбкой некая разряженная дама некоей герцогине, которая не могла сдержать смех при виде Зели, увешанной бриллиантами, красной, как мак, и напоминавшей в своем расшитом золотом платье бочонок, каких немало было в прошлом в ее лавке...

— Прошу простить меня, прекрасная дама,— проговорил Тюильe, извиваясь всем телом и принимая, наконец, позу номер два из своего репертуара 1807 года,— что я только сейчас вручаю вам приглашение к обеду. Я полагал, оно давно отослано, но внезапно обнаружил его на своем письменном столе... Обед состоится сегодня, быть может, я пришел слишком поздно?..

Зели взглянула на мужа, который шел навстречу Тюильe, чтобы поздороваться с ним, и ответила:

— Мы собирались отправиться за город и пообедать *кое-как*, у ресторатора, но тем охотнее откажемся от своего намерения, что, по-моему, уезжать по воскресеньям из Парижа стало уже унылой модой.

— Молодые люди, если их соберется достаточно, немного потанцуют под звуки фортепьяно, в предвидении этого я послал письмецо Фельону, ведь его жена тесно связана с госпожой Прон, преемником...

— Вы хотите сказать, преёмницей,— поправила госпожа Минар.

— О нет,— возразил Тюильe,— тогда уж следует сказать преемницей, подобно тому, как мы говорим «мэр»

и «мэрша», да, преемницей мадемуазель Лаграв, ведь она из семьи Барниоль.

— Приходить в парадных туалетах? — спросила мадемуазель Минар.

— Ах нет, что вы! — воскликнул Тюилье.— Мне бы крепко досталось от сестры... Нет, нет, мы собираемся запросто, по-семейному! В годы Империи, мадемуазель, люди знакомились во время танцев... В ту великую эпоху хорошего танцора уважали не меньше, чем славного воина... Но в наши дни слишком уж увлекаются всем положительным...

— Не стоит говорить о политике,—с улыбкой промолвил мэр.— Король велик, он умело управляет нами, я испытываю восхищение перед своей эпохой и перед институтами, которые мы создали для самих себя. К тому же король отлично знает, что делает, развивая промышленность: он сражается врукопашную с Англией, и мы причиняем ей бóльший вред в годы этого плодотворного мира, чем во время войн Империи...

— Каким великолепным депутатом будет Минар! — простодушно воскликнула Зели.— Он уже пробует свои силы, произнося речи дома. Вы, конечно, поможете нам добиться его избрания, Тюилье?

— Не стоит говорить о политике,— ответил Тюилье словами Минара.— Приходите же к пяти часам...

— А молодой Винэ тоже будет? — осведомился Минар.— Он является, без сомнения, из-за Селесты.

— Пусть забудет о ней думать,— отрезал Тюилье.— Бригитта и слышать о нем не хочет.

Зели и Минар переглянулись с довольной улыбкой.

— И с кем только не приходится иметь дело ради сына! — воскликнула Зели, когда Тюилье в сопровождении мэра вышел на лестницу.

— А, ты хочешь быть депутатом!— бормотал Тюилье, спускаясь вниз.— Все им мало, этим бакалейщикам! Господи, что сказал бы Наполеон, увидя, что власть перешла в руки таких вот людей!.. Я, по крайней мере, понаторел в делах управления!.. И он собирается тягаться со мною! Любопытно, что скажет ла Перад!..

Честолюбивый помощник правителя канцелярии самолично пригласил на вечер также и все семейство Лодижуа; затем он зашел к Кольвилю и попросил Се-

лесту надеть свое самое нарядное платье. Тюилье застал Флавию в глубокой задумчивости, она не знала, идти ли ей на обед, и Жером помог ей принять решение.

— Моя старая и вечно юная подруга,— сказал он, обнимая г-жу Кольвиль за талию, ибо в комнате никого больше не было,— я не хочу иметь от вас никаких тайн. Речь идет о весьма важном для меня деле... Большего я сказать не могу, но прошу вас быть особенно любезной с одним молодым человеком...

— О ком вы говорите?

— О ла Пераде.

— А почему я должна быть с ним любезна, Жером?

— В его руках мое будущее, а кроме того, это человек необыкновенно одаренный. О, уж я-то в людях толк знаю... У него есть хватка! — сказал Тюилье, подражая жесту дантиста, вырывающего коренной зуб.— Надо сделать его нашим другом, Флавия... Но, главное, пусть он ничего не замечает, не то слишком возомнит о себе... Он из тех людей, которые ничего даром не делают.

— Как? Уж не хотите ли вы, чтобы я с ним кокетничала?..

— Самую малость, мой ангел,— ответил Тюилье фатовским тоном.

И он удалился, даже не заметив, в какой растерянности пребывала г-жа Кольвиль.

«Да, как видно, этот молодой человек — большая сила... Ну, что ж, посмотрим»,— сказала себе Флавия.

Причесываясь, она воткнула в волосы перья марабу; она надела свое серое с розовым платье и накинула черную мантилью, позволявшую видеть ее изящные плечи; на Селесте было миленькое шелковое платье; поверх плиссированного воротника была наброшена косынка, прическа ее напоминала модную в то время прическу — «а-ля Берт».

В половине пятого Теодоз уже был на посту; напустив на себя обычный, чуть придурковатый и подобострастный вид, он прежде всего увлек Тюилье в сад.

— Дорогой друг,— сказал он сладким голосом,— я не сомневаюсь в вашей победе, но считаю необходимым еще раз порекомендовать вам полное молчание. Если вас станут о чем-нибудь спрашивать, особенно о Селесте, давайте уклончивые ответы, которые оставят вопрошающе-

го в недоумении, словом, ведите себя так, как вы некогда вели себя, служа в канцелярии.

— Отлично! — проговорил Тюильe.— Но есть ли у вас уверенность в успехе?

— За обедом вы увидите, какой сюрприз я вам приготовил на десерт. Главное же, будьте скромны. Вот и Минары, я должен окончательно заманить их в сети... Приведите их сюда, а потом удалитесь.

После взаимных приветствий ла Перад ни на шаг не отходил от мэра; улучив подходящую минуту, он отвел его в сторонку и сказал:

— Господин мэр, человек, играющий такую роль в политической жизни, как вы, не стал бы убивать здесь свое время без веских соображений. Я не смею проникать в ваши замыслы, у меня нет на то никакого права, да я и вообще дал себе обет никогда не вмешиваться в дела сильных мира сего. Однако простите мне мою дерзость и соблаговолите выслушать совет, который я осмелюсь вам дать. Если я сегодня оказываю вам услугу, то завтра вы благодаря своему положению сумеете оказать мне две, так что, желая услужить вам, я действую в собственных интересах. Наш друг Тюильe просто в отчаянии, что ничего собою не представляет, вот он и воспылал жаждой стать кем-либо, занять какой-нибудь пост в своем округе...

— Так, так,— пробормотал Минар.

— О, у него весьма скромные мечты, он хотел бы сделаться членом муниципального совета. Мне известно, что Фельон, понимая, сколь важна подобная услуга, предполагает выдвинуть кандидатуру нашего славного хозяина. А посему не сочтете ли вы полезным в ваших собственных видах опередить его в этом? Избрание Тюильe будет для вас весьма полезным и приятным, он отлично справится с обязанностями генерального советника, в муниципалитете встречаются люди еще более недалекие, чем он... К тому же, понимая, что он обязан своим избранием вам, Тюильe, конечно же, на все станет смотреть вашими глазами, тем более, что он считает вас одним из столпов нашего города...

— Любезный друг, я вам весьма благодарен,—отвечал Минар.— Вы оказываете мне услугу, за которую я бесконечно признателен, и она доказывает...

— Что я не выношу этих Фельонов,—быстро подхватил ла Перад, заметив нерешительность мэра, который боялся закончить свою мысль из опасения, как бы она не показалась адвокату обидной.— Терпеть не могу людей, кичащихся своей необыкновенной честностью и склонных превращать возвышенные чувства в звонкую монету.

— Вы, как видно, их до конца раскусили,— заметил Минар,— ведь это ужасные лицемеры! Вся жизнь Фельона за последние десять лет подчинена одному желанию — получить красную ленточку,— прибавил мэр, показывая на свою петлицу.

— Берегитесь! — воскликнул адвокат.— Его сын любит Селесту, он старается проникнуть в цитадель.

— Ну что ж, зато у моего сына двенадцать тысяч годового дохода...

— О, мадемуазель Бригитта на днях заявила, что у жениха Селесты должен быть, по крайней мере, такой доход,— сказал адвокат, сделав неуловимое движение плечами.— Кроме того, сообщу вам по секрету, не пройдет нескольких месяцев, и вы узнаете, что Тюилье владеет недвижимостью, приносящей сорок тысяч франков дохода.

— Ах, черт побери, я это подозревал,— вырвалось у мэра,— ну что ж, он будет членом генерального совета.

— Я прошу вас лишь об одном: ничего не говорите ему обо мне,— сказал адвокат бедняков и, быстро отойдя от мэра, направился навстречу г-же Фельон.— Ну как, удалось вам добиться успеха, прелестная дама?

— Я ждала до четырех часов, но этот достойный и прекрасный человек не дал мне даже закончить свою речь: он слишком занят и не может принять подобный пост, так что господин Фельон уже прочел принесенное мною письмо, в котором доктор Бьяншон благодарит его за любезность, но сообщает, что он, со своей стороны, рекомендует кандидатуру господина Тюилье. Он, мол, употребит свое влияние в его пользу и просит моего мужа поступить так же.

— Что же сказал ваш несравненный супруг?

— Он сказал: «Я выполнил свой долг, я не поступился своими убеждениями, а теперь я — целиком за Тюилье».

— Стало быть, все устроилось,— сказал ла Перад.— Забудьте о моем визите, считайте, что эта ценная мысль пришла в голову вам самой.

Затем, приняв самый почтительный вид, он направился к г-же Кольвиль.

— Сударыня, соблаговолите привести сюда нашего славного папашу Кольвиля,— сказал он,— речь идет об одном сюрпризе для Тюилье, и его надо сохранить в тайне.

Пока ла Перад артистически беседовал с Кольвилем, поражая его воображение целым каскадом блестящих шуток, относящихся к кандидатуре Тюилье, и убеждая Кольвиля поддержать эту кандидатуру, хотя бы из семейных соображений, Флавия в каком-то оцепенении сидела в гостиной, слушая нижеследующий разговор, от которого у нее звенело в ушах.

— Хотелось бы мне знать, о чем там беседуют господа Кольвиль и ла Перад и почему они так смеются? — простодушно спросила г-жа Тюилье, глядя в окно.

— Болтают глупости, как это всегда делают мужчины, когда поблизости нет дам,— отрезала мадемуазель Тюилье, подобно всем старым девам не упускавшая случая сказать какую-нибудь колкость по адресу мужчин.

— Господин де ла Перад на это не способен,— с важностью произнес Фельон,— он один из самых добродетельных молодых людей, которых я встречал. Все знают, какого я мнения о Феликсе, так вот, я считаю, что господин Теодоз не уступает ему, больше того, я хотел бы, чтобы мой сын был столь же благочестив, как он!

— Да, он действительно человек достойный и многого добьется в жизни,— подал голос Минар.— Со своей стороны, я окажу ему всякую поддержку, я бы даже сказал, покровительство, если бы не опасался, что это слово может его обидеть...

— Он тратит больше денег на лампадное масло, чем на хлеб, уж это я доподлинно знаю,— вставил Дюток.

— Его матушка, если она, по счастью, еще жива, может гордиться таким сыном,— наставительно заметила г-жа Фельон.

— Для нас он сущее сокровище,— подхватил Тю-

илье.— И какой при этом скромник! Он так мало себя ценит.

— Я одно могу сказать,— продолжал Дюток,— ни один молодой человек не мог бы вести себя с бо́льшим достоинством, испытывая жестокую нужду. Теперь он восторжествовал над нею, но ему пришлось немало пострадать, это сразу заметно.

— Бедный юноша! — воскликнула Зели.— О, как меня огорчают такие вещи!..

— Я бы с чистым сердцем доверил ему самую сокровенную тайну и даже собственное состояние,— проговорил Тюилье.— А в наше время это самый большой комплимент, какой только можно сделать человеку.

— Да это Кольвиль его смешит! — вскричал Дюток.

В эту минуту Кольвиль и ла Перад возвратились из сада с таким видом, словно они были закадычными друзьями.

— Господа, суп и король не привыкли ждать,— провозгласила Бригитта,— предложите руки дамам!..

Пять минут спустя Бригитта уже наслаждалась результатом своей шутки, которая родилась в привратницкой ее отца: за столом восседали все главные участники нашего повествования, за исключением одного только ужасного Серизе. Портрет старой мастерицы, долгие годы изготовлявшей мешки для денег, был бы неполным, если бы мы опустили описание одного из ее званых обедов. К тому же буржуазная кухня 1840 года — немаловажная подробность в истории нравов, и умелые хозяйки почерпнут, пожалуй, полезные уроки из этих страниц. Женщина, возившаяся целых двадцать лет с мешками для денег, естественно, прониклась желанием обладать несколькими такими мешками, разумеется, набитыми луидорами. Вместе с тем Бригитта соединяла в себе бережливость, которой она была обязана своим состоянием, со способностью не останавливаться перед необходимыми тратами. Вот почему та относительная щедрость, которую она проявляла, когда речь шла о ее брате или о Селесте, была, как небо от земли, далека от скупости. Она даже часто говорила, что завидует скупцам. На последнем обеде она рассказала, что после душевной борьбы и внутренних мук, продолжавшихся целых десять минут, она в конце концов подала десять франков

бедной работнице из их квартала, голодавшей, как ей было доподлинно известно, два дня.

— Человеческая натура,— простодушно призналась старая дева,— одержала во мне верх над рассудком.

Пресловутый суп на деле оказался довольно жидким бульоном: даже в дни званых обедов кухарка получала строгое предписание не варить крепкого бульона; ведь семья должна была питаться говядиной в понедельник и во вторник, и чем меньше мясо выварилось, тем больше питательных соков оно сохраняло.

Недоваренную говядину уносили на кухню в ту самую минуту, когда Тюилье погружал в нее нож; при этом Бригитта неизменно говорила:

— По-моему, мясо немного жестковато, оставь его, Тюилье, говядину никто есть не станет, у нас еще много кушаний впереди.

И в самом деле, бульон был подкреплен четырьмя блюдами, стоявшими на старых спиртовках, с которых облупилось серебро; на обеде, устроенном в честь будущего избрания Тюилье, в них помещались две утки с маслинами, большой круглый пирог с кнелями и угорь по-татарски, а также шпигованная телятина с цикорием. На вторую перемену был подан великолепнейший гусь с каштанами и салат, обложенный кружочками красной свеклы; тут же были принесены горшочки с кремом и посыпанная сахаром репа, которая словно подмигивала запеканке из макарон. Этот обед, походивший на обед привратника, справляющего свадьбу или именины, стоил не больше двадцати франков, к тому же его остатками кормился весь дом в продолжение двух дней. И все-таки Бригитта ворчала:

— Еще бы, когда принимаешь гостей, деньги так и летят!.. Просто ужас!

Стол был освещен двумя уродливыми медными подсвечниками, покрытыми тонким слоем серебра. В каждом из них горели четыре свечи; эти на редкость выгодные свечи носили поэтическое название «звезда». Столовое белье ослепительно сверкало; старинная серебряная посуда досталась брату и сестре в наследство от папаши Тюилье: он приобрел ее еще в годы революции, и она служила ему верой и правдой в том безвестном ресторанчике, который помещался в его швейцарской до

1816 года, когда был закрыт, как и все ресторанчики такого типа, существовавшие в других министерствах. Таким образом, обед вполне соответствовал и столовой, и всему дому, и самим Тюилье, а они, в свою очередь, соответствовали режиму, существовавшему в те годы во Франции, а также нравам той эпохи. Минары, Кольвили и ла Перад обменялись понимающими улыбками, по этим улыбкам нетрудно было догадаться, что все они без исключения смотрят на этот званый обед со сдержанной усмешкой. Минары, привыкшие роскошно жить и вкусно есть, принимали приглашения на такие обеды только потому, что посещали дом Тюилье с определенной целью. Ла Перад, усевшийся рядом с Флавией, шепнул ей на ухо:

— Согласитесь, они заслуживают хорошего урока, эти Минары. Кольвиль и вы постились гораздо чаще, чем того требует религия, я тоже нередко сидел на хлебе с водой! До чего отвратительна жадность этих людей! Селеста будет навсегда для вас потеряна, ведь эти выскочки унаследовали пороки вельмож былых времен, не унаследовав их изящества. У их сына, по слухам, двенадцать тысяч франков дохода, ну и пусть себе ищет жену в семействе Потас, вы не нуждаетесь в их деньгах, нажитых с помощью нечистых проделок. Какое удовольствие настраивать таких людей на нужный тебе лад, подобно тому, как музыкант настраивает контрабас или кларнет!

Флавия слушала Теодоза с улыбкой и не убрала ногу, когда его сапог коснулся ее туфельки.

— Я хочу, чтобы вы все время следили за тем, что происходит,— проговорил он вполголоса,— вот мы и будем объясняться с помощью этой педали. С сегодняшнего дня вы можете читать в моем сердце, я не из тех людей, что строят козни...

Флавия не была избалована общением с людьми выдающимися; решительный, уверенный тон Теодоза покорял ее, ловкий провансалец ставил стареющую красавицу перед необходимостью прийти к определенному решению: либо принять его таким, каков он есть, либо, не колеблясь, отвергнуть. Поведение молодого адвоката было построено на трезвом расчете, и поэтому он следил внешне кротким, а на самом деле проницательным взгля-

дом за тем, удалось ли ему окончательно заворожить свою жертву.

Когда прислуга уносила на кухню опустошенные блюда, Минар, боявшийся, как бы Фельон не опередил его, с торжественным видом обратился к Тюилье:

— Дорогой господин Тюилье, я принял приглашение на обед потому, что хотел сделать важное сообщение, касающееся вас, и столь лестное, что вам, конечно же, будет приятно, если его услышат ваши гости.

Тюилье побледнел, как полотно.

— Вы добились для меня ордена!..— воскликнул он и посмотрел на Теодоза с таким видом, словно приглашал того подивиться его проницательности.

— Орден от вас не уйдет,— отвечал мэр,— но сейчас речь идет о вещи более важной. Орден — свидетельство того, что министр держится на ваш счет хорошего мнения, я же имею в виду событие, свидетельствующее о том, что высокого мнения о вас придерживаются все сограждане. Короче говоря, многие избиратели моего округа обратили на вас внимание и желают выразить свое доверие, избрав вас представителем от них в муниципальный совет Парижа, который, как всему свету известно, одновременно выполняет и функции генерального совета департамента Сены...

— Браво! — воскликнул Дюток.

С места поднялся Фельон.

— Господин мэр опередил меня,— проговорил он прочувствованным голосом,— но я так рад тому, что наш друг привлек к себе внимание всех благонамеренных граждан одновременно и снискал себе сторонников во всех концах нашего округа, что не стану жаловаться. К тому же мне подобает быть вторым: власть должна идти во главе!.. (Фельон почтительно поклонился Минару.) Да, господин Тюилье, многие избиратели, живущие в той части округа, где пребывают мои скромные пенаты, захотели вручить вам мандат муниципального советника, и, что особенно знаменательно, ваша кандидатура была подсказана им человеком знаменитым... (Изумленные восклицания гостей)...— человеком, в чьем лице мы хотели почтить память одного из самых добродетельных обитателей нашего округа, который на протяжении двадцати лет был для всех нас отцом родным,— я имею

в виду покойного господина Попино, бывшего при жизни советником Королевского суда и советником муниципального совета от нашего округа. Однако его племянник, доктор Бьяншон, слава нашего города,.. отклонил предложенный ему почетный пост, сославшись на то, что многочисленные обязанности не оставляют ему времени. Поблагодарив нас за оказанную честь, он — прошу заметить это, господа,— порекомендовал нашему вниманию кандидата, только что названного господином мэром; по словам доктора Бьяншона, наш друг господин Тюилье вполне достоин занять пост в городском муниципалитете, принимая во внимание его прошлую деятельность!..

И Фельон под одобрительные возгласы присутствующих уселся на место.

— Тюилье, ты можешь рассчитывать на своего старого друга,— заявил Кольвиль.

В эту минуту все приглашенные, невольно взглянув на Бригитту и на г-жу Тюилье, были глубоко растроганы их видом. По лицу смертельно бледной Бригитты медленно текли слезы, слезы бесконечной радости, а г-жа Тюилье, словно пораженная молнией, сидела неподвижно, пристально глядя куда-то вперед. Внезапно старая дева бросилась в кухню и крикнула Жозефине:

— Спустись в погреб, милая!.. Принеси вино, самое лучшее!

— Друзья мои,— заговорил Тюилье взволнованным голосом,— сегодня лучший день в моей жизни, он мне дороже даже того дня, когда я буду избран, если я только решусь принять это почетное предложение и согласиться на то, чтобы моя кандидатура была рекомендована вниманию наших сограждан... (Громкие возгласы: «Полноте, полноте!») ...ибо я положил немало сил за время тридцатилетней службы на пользу отечества, а вы сами понимаете, что человек порядочный должен хорошенько взвесить свои силы и возможности прежде, чем возложить себе на плечи обязанности члена городского муниципалитета...

— Иного ответа я от вас не ожидал, господин Тюилье! — вскричал Фельон.— Простите, я впервые в жизни прервал говорящего, да к тому же человека, занимавшего в прошлом более высокое положение, чем я, однако бывают обстоятельства...

— Соглашайтесь! Соглашайтесь!—завопила Зели.— Клянусь честью порядочной женщины, такие люди, как вы, должны управлять городом.

— Решайтесь, патрон! — подхватил Дюток.— И да здравствует будущий муниципальный советник... Недурно было бы по этому поводу выпить...

— Стало быть, решено? Вы— наш кандидат? —спросил Минар.

— Вы слишком высокого мнения обо мне,— пробормотал Тюилье.

— Помилуй! — воскликнул Кольвиль.— Человек, который тридцать лет просидел в канцелярии министерства финансов,— истинная находка для города!

— Вы слишком скромны! — вмешался Минар-младший.— Ваши способности нам отлично известны, о вас до сих пор вспоминают в финансовом ведомстве...

— Помните, вы сами этого хотели! — изрек Тюилье.

— Король будет весьма доволен этим выбором, поверьте мне,— проговорил, напыжившись, Минар.

— Милостивые государи, соблаговолите разрешить молодому человеку, живущему в предместье Сен-Жак,— начал ла Перад,— высказать несколько замечаний, которые, быть может, покажутся вам достойными внимания.

Высокое мнение, сложившееся у присутствующих об адвокате бедняков, заставило всех умолкнуть.

— Влияние господина мэра соседнего округа на обитателей нашего округа, где он оставил по себе столь приятные воспоминания; влияние господина Фельона, оракула, да,— с силой повторил Теодоз, заметив протестующий жест Фельона,— оракула своего батальона; не менее мощное влияние господина *де* Кольвиля, объясняющееся его открытым нравом и учтивостью; весьма значительное влияние господина письмоводителя канцелярии мирового судьи и, наконец, те усилия, какие я смогу приложить в сфере моей скромной деятельности,— все это залог успеха, но еще не самый успех!.. Если мы хотим достичь быстрой победы, то должны пообещать друг другу хранить полное молчание по поводу волнующего проявления чувств, имевшего здесь место сегодня... В противном случае, сами того не желая и даже не подозревая об этом, мы возбудим людскую за-

висть, разбудим низменные страсти, и они позднее воздвигнут на нашем пути препятствия, которые нелегко будет устранить. Политический смысл нынешнего общественного устройства, его главный отличительный признак, самое надежное условие его существования состоит в некоем разделении обязанностей, конечно, в определенных пределах, между властью и средними классами — истинной опорой современного общества, средоточием нравственности, возвышенных чувств и трудолюбия. Но, к чему скрывать, выборность большинства должностей породила игру тщеславия, я бы даже сказал, яростную жажду быть хоть чем-нибудь, она породила ее в таких социальных слоях, где чувства эти малоуместны. Одни считают это полезным, другие — вредным, я не берусь высказывать свое мнение в присутствии людей, перед чьим умом я преклоняюсь, я довольствуюсь тем, что напоминаю об этом, желая привлечь ваше внимание к той опасности, какая может угрожать нашему другу и нашему кандидату. Не прошло и недели после смерти достопочтенного члена муниципального совета, а наш округ уже бурлит от борьбы мелких честолюбцев между собой. Люди любой ценой хотят быть на виду. Самые выборы произойдут, должно быть, не раньше чем через месяц. Подумайте сами, сколько интриг будет затеяно за этот срок!.. Вот почему я умоляю вас не подвергать нашего друга Тюилье нападкам конкурентов. Нельзя, чтобы его честное имя стало добычей публичного обсуждения — этой гарпии наших дней, которая вместо ядовитой слюны исходит клеветою, завистью, злобными выходками, которая стремится унизить все великое, запятнать все достойное уважения, осквернить все святое... Поступим так, как поступали представители третьего сословия в палате: будем хранить молчание и голосовать!

— Он славно говорит,— прошептал Фельон сидевшему с ним рядом Дютоку.

— Да, у него железная логика!..

Сын Минара пожелтел, а потом позеленел от зависти.

— Все это правда и отлично сказано! — воскликнул Минар.

— Принято единогласно,— заключил Кольвиль.—

Господа, все мы — люди чести, достаточно того, что мы согласились во всем.

— Цель оправдывает средства,— с пафосом произнес Фельон.

В эту минуту на пороге показалась мадемуазель Тюилье в сопровождении двух служанок. На поясе у нее висел ключ от погреба, по знаку старой девы на стол были водружены три бутылки шампанского, три бутылки доброго старинного вина Эрмитаж и бутылка малаги; усевшись, Бригитта поставила перед собой маленькую бутылочку, которую она несла с благоговейным видом, столь необычным для этой феи Карабос. Появление изысканных вин было плодом признательности, переполнявшей сердце старухи, в упоении она забыла и думать о разумной бережливости, неизменной спутнице ее гостеприимства, и выказывала невиданную щедрость, доставившую немалое удовольствие гостям. Вслед за вином был подан богатый десерт: тут были и лакомое блюдо из винных ягод, изюма, орехов и миндаля, и пирамиды апельсинов и яблок, и различные сорта сыра, и варенье, и засахаренные фрукты. Все эти яства появились из глубины шкафов, при других обстоятельствах они бы ни за что не покинули своих убежищ и не оказались бы на столе.

— Селеста, сейчас тебе принесут бутылку водки, которую мой отец приобрел в тысяча восемьсот втором году, приготовь апельсины и залей их водкой! — крикнула Бригитта невестке.— Господин Фельон, откупорьте шампанское, эта бутылка для вас троих. Господин Дюток, возьмите вино! Господин Кольвиль, вы у нас мастер вытаскивать пробки!..

Две служанки подавали рюмки, бокалы для шампанского и бокалы для бордо, так как Жозефина принесла три бутылки этого вина.

— Вино кометы! — вскричал Тюилье.— Господа, вы заставили мою сестру потерять голову.

— В такой вечер нужны пунш и пирожные,— заметила Бригитта.— Я послала к аптекарю за чаем. Господи! Если бы я только знала, что речь идет о выборах,— проговорила она, взглянув на невестку,— то велела бы приготовить индейку...

Это признание было встречено взрывом смеха.

— О, с нас хватит и гуся,— заявил, смеясь, Минар-младший.

— А вот и подкрепление! — воскликнула г-жа Тюилье, когда на стол подали засахаренные каштаны и безе.

Лицо мадемуазель Тюилье пылало; она сияла от гордости: должно быть, ни одна сестра в мире не радовалась до такой степени успехам брата.

— Как это трогательно, особенно для тех, кто ее хорошо знает,— проговорила вполголоса г-жа Кольвиль, указывая на Бригитту.

Бокалы были наполнены, гости переглядывались, видно было, что все ожидают тоста. И тогда ла Перад провозгласил:

— Господа, выпьем за истинно возвышенную душу!..

Все с изумлением посмотрели на него.

— За мадемуазель Бригитту!..

Гости вскочили с мест, стали чокаться, послышались крики: «Да здравствует мадемуазель Тюилье!»

В голосе адвоката было столько искреннего чувства, что оно вызвало всеобщий восторг.

— Господа,— начал Фельон, заглядывая в какую-то исписанную карандашом бумажку,—«За труд, за его блестящие плоды, воплощенные в особе нашего старого товарища, ставшего мэром одного из округов Парижа, за господина Минара и его супругу!»

Послышались одобрительные восклицания; затем поднялся Тюилье и воскликнул:

— Господа, за короля и королевскую фамилию!.. Больше я ничего не прибавлю, мой тост говорит сам за себя.

— За избрание моего брата! — сказала мадемуазель Тюилье.

— Я вас сейчас рассмешу,— прошептал ла Перад на ухо Флавии.

Он встал и звонко выкрикнул:

— За женщин! За прелестный пол, которому мы обязаны нашим блаженством, не говоря уже о том, что мы ему обязаны своими матерями, сестрами и супругами!..

Этот тост вызвал всеобщее оживление, и Кольвиль, который уже был навеселе, завопил:

— Негодяй! Ты украл мою мысль!

Затем поднялся мэр, и воцарилось глубокое молчание.

— Господа, за наши общественные учреждения! Ведь именно они составляют силу и величие династической Франции!

Бутылки опустошались с головокружительной быстротой, и соседи обменивались восторженными восклицаниями, вызванными неслыханным гостеприимством хозяйки и изысканностью вин.

Селеста Кольвиль робко попросила:

— Мама, разрешите и мне предложить тост..

Добрая девушка давно уже следила за растерянным лицом своей крестной матери, всеми забытой хозяйки дома, которая с выражением какой-то собачьей преданности переводила взгляд с физиономии своей грозной невестки на физиономию Тюилье, словно самозабвенно вопрошала их, как себя вести. Радость, освещавшая это лицо рабыни, привыкшей сознавать свое ничтожество, скрывать мысли, подавлять чувства, походила на сияние зимнего солнца, подернутого дымкой: она словно нехотя озаряла увядшие, расплывшиеся черты. Чепчик из газа, украшенный темными цветами, небрежная прическа, светло-коричневое платье, золотая цепочка на шее, мало что менявшая в этом скромном наряде,— все, вплоть до манеры держать себя, усиливало привязанность юной Селесты к этой женщине, обреченной на вечное молчание, понимавшей все, что творится вокруг, и страдавшей из-за этого, находя себе утешение лишь в общении с богом и с нею, Селестой, которая одна в целом свете знала ей истинную цену.

— Пусть она предложит свой тост,— тихо сказал ла Перад г-же Кольвиль.

— Говори, доченька! — крикнул Кольвиль.— Нам предстоит еще выпить бутылку славного выдержанного вина Эрмитаж!

— За мою милую крестную! — проговорила девушка, почтительно поднимая свой бокал и протягивая его к г-же Тюилье.

Несчастная женщина испуганно переводила полные слез глаза с мужа на его сестру: ее положение в семье было всем хорошо известно, и почтение, которое Невинность оказала Слабости, заключало в себе нечто столь

возвышенное, что все невольно почувствовали волнение; мужчины встали и разом поклонились г-же Тюилье.

— Милая Селеста, будь у меня королевство, я с радостью положил бы его к вашим ногам! — воскликнул Феликс Фельон, обращаясь к девушке.

Отец его утирал слезу, даже Дюток был растроган.

— Какое прелестное дитя! — проговорила мадемуазель Тюилье, подходя к невестке и обнимая ее.

— Ко мне! — крикнул Кольвиль, становясь в позу атлета.— Внимание! За дружбу! Осушайте бокалы! Наполняйте бокалы! Отлично! За изящные искусства, этот цвет общественной жизни! Осушайте бокалы! Наполняйте бокалы! За такой же праздник на следующий день после выборов!

— А что это у вас за заветная бутылочка?..— спросил Дюток у мадемуазель Тюилье.

— Это одна из имеющихся в нашем доме трех бутылок ликера госпожи Амфу. Вторую мы откупорим на свадьбе Селесты, а последнюю — на крестинах ее первого ребенка.

— Положительно, сестра потеряла голову,— шепнул Тюилье Кольвилю.

Обед закончился тостом, предложенным Тюилье; тост этот подсказал ему Теодоз, когда малага, разлитая по рюмкам, засверкала в них, как рубин.

— Господа, Кольвиль выпил *за дружбу*. Я же пью это благородное вино *за моих друзей!*..

Эти прочувствованные слова были встречены громкими криками «ура». Воспользовавшись шумом, Дюток не преминул сказать Теодозу:

— Просто преступление вливать такое вино в их луженые глотки...

— Ах, если бы можно было изготовлять во Франции подобное вино, друг мой! — вскричала жена мэра, с шумом тянувшая из своей рюмки испанский ликер.— Какое славное состояние можно было бы себе сколотить!..

Зели окончательно опьянела, на ее багровое лицо страшно было смотреть.

— Ну, наше состояние уже сколочено! — ответил Минар.

— Как вы думаете, сестрица,— обратилась Бригитта к г-же Тюилье,— не подать ли нам чай в гостиную?..

Вместо ответа г-жа Тюилье поднялась из-за стола.

— Ах, вы великий чародей! — сказала Флавия Кольвиль де ла Пераду, который предложил ей руку, чтобы проводить в гостиную.

— И моя единственная мечта,— ответил молодой человек,— очаровать вас. Поверьте, я полностью вознагражден: сегодня вы еще более восхитительны, чем всегда!

— Подумать только,— сказала она, не принимая вызова,— Тюилье, наш Тюилье возомнил себя политическим деятелем.

— Моя дорогая, половина смешных положений и смехотворных поступков, с которыми мы сталкиваемся в обществе,— плод подобных интриг, часто сам человек не так уж в этом виновен. Во многих семьях, как вы, верно, сами не раз наблюдали, муж, дети, друзья убеждают хозяйку дома, глупее которой трудно сыскать, что она кладезь мудрости, или матрону лет сорока пяти, что она молода и хороша собой!.. Отсюда и возникают странности в поведении, не объяснимые для людей, непричастных к этой игре. Нередко встречаешь мужчин, обязанных своим отвратительным самомнением рабскому обожанию любовницы, или же чванных рифмоплетов, которых продажные льстецы убедили, будто они великие поэты. В каждом роду есть свой выдающийся человек, и общество поэтому уподобляется палате, где вечно царит полумрак, хотя там находятся светочи Франции... Ну и что ж? Люди умные, глядя на это, посмеиваются, вот и все. Вы олицетворяете ум и красоту в этом маленьком буржуазном мирке, вот почему я поклоняюсь вам, как божеству. Но моя заветная мысль — вырвать вас отсюда, ибо я вас искренне люблю. Правда, в моем чувстве больше дружбы, нежели любви, хотя и любви тут примешалось немало,— прибавил он и, пользуясь тем, что оконная ниша скрывала их от любопытных взглядов, нежно прижал Флавию к груди.

— Госпожа Фельон, не угодно ли вам сесть за фортепьяно? — сказал Кольвиль.— Сегодня здесь все должно пуститься в пляс: бутылки, монеты, бренчащие в кармане мадемуазель Бригитты, и наши славные дочки! Я, пожалуй, схожу за кларнетом.

При этих словах он подал жене чашку, из которой только что пил кофе, и улыбнулся, видя, что между Флавией и Теодозом установилось полное согласие.

— Что вы сделали с моим мужем? — спросила Флавия у своего соблазнителя.

— Должен ли я вам открыть нашу тайну?

— Значит, вы меня не любите? — проговорила она, взглянув на него с едва скрытым кокетством женщины, почти решившейся идти до конца.

— Ну, коль скоро и вы мне станете открывать все ваши тайны,— продолжал он весело, словно охваченный неудержимым порывом южанина, с виду таким естественным и очаровательным,— то и я не стану скрывать от вас ничего из того, что лежит у меня на сердце...

Он вновь увлек ее в оконную нишу и сказал, улыбаясь:

— Бедняга Кольвиль разглядел во мне артиста, притесняемого всеми этими буржуа, молчащего в их присутствии из страха, что его не поймут, дурно истолкуют, изгонят. Зато он ощутил жар священного огня, пылающего в моей груди. Кстати,— продолжал Теодоз, и в его голосе прозвучала глубокая убежденность,— я и в самом деле артист, когда дело доходит до красноречия, артист в духе Беррье: я могу заставить плакать присяжных, заплакав сам, ибо я нервен, как женщина. И вот ваш муж, презирающий всех этих буржуа, вышучивал их вместе со мной, мы буквально уничтожали их смехом, и он нашел, что моя ирония не уступает его собственной. Я посвятил его в наш план касательно Тюильи, я дал ему понять, какую пользу может принести ему сей политический манекен. «Ради одного того,— сказал я,— чтобы стать господином *де* Кольвилем и тем самым позволить вашей очаровательной жене занять подобающее место в обществе, вам следует получить место генерального сборщика налогов, а затем сделаться депутатом. Для этого вам достаточно будет прожить лет восемь в департаменте Верхних или Нижних Альп, в каком-нибудь захолустном городе, где все вас будут любить и где ваша жена очарует всех... И такая возможность будет к вашим услугам, особенно если вы отдадите свою милую Селесту в жены человеку, способному приобрести влия-

ние в Палате...» Аргументы, изложенные в шутливой форме, действуют на некоторых людей куда сильнее, чем если с ними говорят серьезно. Так что отныне мы с Кольвилем закадычные друзья. Разве вы не слышали, как он крикнул мне за столом: «Негодяй! Ты украл мою мысль»? Нынче вечером мы с ним станем говорить друг другу «ты»... Затем какая-нибудь небольшая история, в которую неизменно впутываются артисты, находящиеся на дружеской ноге — а уж я его впутаю в такую историю!—сделает нас и впрямь друзьями, он, пожалуй, станет видеть во мне друга, более близкого ему, чем сам Тюилье, ибо я уже успел шепнуть нашему дражайшему Кольвилю, что Тюилье просто лопнет от зависти, если увидит у него в петлице еще одну орденскую розетку... Видите, моя дорогая и обожаемая Флавия, какой энергией наполняет человека глубокое чувство! Ведь нужно было, чтобы Кольвиль открыл мне доступ в свое сердце, чтобы я мог бывать у вас с его согласия!.. Я все готов сделать ради вас — лизать язвы прокаженных, глотать живых жаб, соблазнить Бригитту! Да, я бы пронзил себе грудь этой тростью, если бы она могла послужить мне костылем, который помог бы мне дотащиться до ваших дверей и пасть к вашим ногам!

— Этим утром вы меня просто испугали,— прошептала Флавия.

— Но вечером вы уже не испытываете тревоги?.. Да,— прибавил он с силой,— пока я с вами, вам не угрожает никакая беда.

— О, вы человек необыкновенный, я это признаю!..

— Вовсе нет! Все мои поступки — и самые значительные и самые незаметные — лишь отблески пламени, зажженного вами в моей груди, я хочу стать вашим зятем, чтобы мы никогда больше не разлучались... Моя жена, да простит мне бог, будет лишь машиной, производящей детей, но высшим существом, моей богиней будешь ты!— прошептал он на ухо Флавии.

— Вы просто сатана! — проговорила она в ужасе.

— Нет, но я немного поэт, как все мои земляки. Прошу вас, будьте моей Жозефиной!.. Завтра в два часа я приду к вам домой, меня снедает пылкое желание увидеть ложе, на котором вы спите, кресла, в которых вы отдыхаете, цвет обивки вашей спальни, увидеть, как рас-

положены вещи, окружающие вас,— словом, полюбоваться жемчужиной в ее раковине!..

Произнеся эту ловкую тираду, он удалился, даже не дождавшись ответа.

Флавия, с которой ни разу в жизни влюбленные в нее мужчины не разговаривали столь страстным языком, каким разговаривают только в романах, испытывала полную растерянность; но она была счастлива и, прислушиваясь к быстрому биению сердца, беззвучно шептала себе, что не поддаться влиянию такого мужчины выше сил человеческих. В тот вечер Теодоз впервые облачился в новые панталоны, серые шелковые чулки и открытые туфли; на нем был черный шелковый жилет и черный атласный галстук, украшенный весьма изысканной булавкой. Наряд его довершал новый фрак, сшитый по последней моде, и желтые перчатки, гармонировавшие с ослепительно белыми манжетами. В салоне, где с каждым часом прибавлялись все новые и новые гости, он был единственным человеком с хорошими манерами, умевшим безукоризненно себя держать.

Госпожа Прон, урожденная Барниоль, пришла в сопровождении двух своих пансионерок, семнадцатилетних девиц, доверенных ее материнской заботе их семьями, жившими на острове Бурбон и острове Мартиника. Г-н Прон, преподаватель риторики в коллеже, которым руководили священники, был человеком того же круга, что и Фельоны. Однако в отличие от них он не выставлял себя напоказ, не сыпал афоризмами и сентенциями, не старался служить примером для подражания; он держался сухо и чопорно. Г-н и г-жа Прон, служившие украшением гостиной Фельонов, принимали по понедельникам, с Фельонами их связывало общее родство с Барниолями. Прон был небольшого роста, он недурно танцевал и не считал это зазорным для своего положения. Прославленная репутация пансиона мадемуазель Лаграв, с которой супруги Фельон поддерживали знакомство уже больше двадцати лет, еще больше укрепилась, когда этим заведением начала руководить мадемуазель Барниоль, самая умелая и опытная из воспитательниц. Г-н Прон пользовался большим влиянием в той части квартала, что расположена между бульваром Монпарнас, Люксембургским садом и

Севрской дорогой. Вот почему, едва завидя своего друга, Фельон, не обинуясь, взял его под руку и увлек в угол, чтобы посвятить в планы, связанные с выдвижением кандидатуры Тюилье; после десятиминутной беседы они отправились на поиски Тюилье. и оконная ниша, находившаяся против той, где все еще стояла Флавия, стала, без сомнения, свидетельницей трио, в своем роде достойного трио швейцарцев из оперы «Вильгельм Телль».

— Вы только полюбуйтесь на интриги нашего достопочтенного Фельона! — сказал Флавии вновь подошедший Теодоз.— Сумейте только уговорить честного человека, и он отлично будет прибегать к самым недостойным методам, ибо, в конечном счете, наш уважаемый приятель убеждает маленького Прона, а тот покорно дает себя убедить исключительно в интересах Феликса Фельона, занимающего в этот миг внимание вашей прелестной Селесты... По-моему, вам пора их разлучить... Они уже минут десять вместе, а сын Минара ходит вокруг, как обозленный бульдог.

Феликс все еще находился под глубоким впечатлением благородного поступка Селесты, этого простодушного крика ее души, хотя никто, за исключением г-жи Тюилье, об этом уже не помнил; молодой человек невольно проявил наивную хитрость, которую мы назвали бы благородным лукавством истинной любви; надо заметить, что оно было ему непривычно: как всякий математик, он был невероятно рассеян. Итак, Феликс направился к г-же Тюилье, верно предположив, что Селеста непременно подойдет к ней: глубокий расчет глубокой любви! Девушка была тем более признательна Феликсу, что адвокат Минар, которого интересовало лишь приданое, даже не подумал подойти к ее крестной матери и спокойно попивал кофе, беседуя о политике с Лодижуа, Барниолем и Дютоком; молодой человек выполнял приказание отца, уже думавшего о новых выборах в Палату: они должны были произойти в 1842 году.

— Разве можно не любить Селесту! — сказал Феликс г-же Тюилье.

— Милая девочка, только она одна во всем свете и любит меня! — отвечала на это рабыня, с трудом сдерживая слезы.

— О, нет, сударыня, мы оба вас любим,— возразил простодушный Матье, приветливо улыбаясь.

— О чем это вы беседуете? — спросила Селеста, подходя к крестной матери.

— Дитя мое,— ответила богобоязненная женщина, привлекая к себе крестницу и целуя ее в лоб,— господин Феликс сказал, что вы оба любите меня и будете обо мне заботиться...

— Не сердитесь за такое пророчество, мадемуазель,— проговорил вполголоса будущий кандидат в Академию наук,— и позвольте мне сделать все, чтобы оно исполнилось!.. Ничего не поделаешь, я таков: несправедливость глубоко возмущает меня!.. О, спаситель был совершенно прав, пообещав рай кротким духом, невинным агнцам, приносящим себя в жертву!.. Всякий человек, если бы даже он вас не любил, Селеста, став свидетелем вашего возвышенного душевного порыва нынче за столом, проникся бы к вам обожанием! Да, только невинности дано утешать мучеников!.. Вы милая, хорошая девушка и станете одной из тех женщин, которые составляют одновременно и славу и счастье своей семьи. Счастлив тот, кто вам понравится!

— Дорогая крестная, вы только подумайте, в каком розовом свете видит меня господин Феликс!..

— Он воздает тебе должное, мой ангелочек, и я буду молиться богу за вас обоих...

— Если б вы только знали, Селеста, как я рад, что мой отец может оказать услугу господину Тюилье... И как бы я хотел быть полезен вашему брату!..

— Стало быть, вы любите всю нашу семью? — спросила девушка.

— О да! — с жаром ответил Феликс.

Истинная любовь всегда облекается в оболочку стыдливости, она страшится пышных выражений, ибо и без того красноречиво заявляет о себе: такая любовь не нуждается в фейерверке, в отличие от показной любви, и внимательный наблюдатель, окажись он в гостиной Тюилье, мог бы написать целую книгу, сравнив две противоположные сцены и нарисовав гигантские приготовления Теодоза и простоту Феликса; один из молодых людей был воплощением природы, другой — воплощением общества, искренность и притворство противостояли друг

другу. Заметив восторженное состояние дочери, на чьем лице легко было прочесть душевное волнение, увидя, как прелестная девушка стала еще прелестнее и вся расцвела, выслушав первое косвенное признание в любви, Флавия ощутила укол ревности; она подошла к Селесте и прошептала ей на ухо:

— Вы нехорошо себя ведете, дочь моя, на вас все смотрят, и вы себя компрометируете, разговаривая так долго наедине с г-ном Феликсом, даже не спросясь, хотим ли мы этого.

— Но, мама, ведь здесь же крестная.

— Ах, простите, моя милая,—сказала г-жа Кольвиль г-же Тюилье,— я вас и не заметила...

— Вы поступаете, как и все остальные,— произнес Иоанн Златоуст.

Слова эти задели г-жу Кольвиль, она вздрогнула, будто в ее грудь впилась зазубренная стрела; бросив на Феликса высокомерный взгляд, она сказала Селесте: «Садись сюда, дочка» — и, усевшись возле г-жи Тюилье, указала дочери на соседний стул.

— Я буду работать до полного изнеможения,— сказал Феликс г-же Тюилье,— но стану членом Академии наук, ибо слава поможет мне добиться ее руки.

«Ах, мне нужен был вот такой муж, такой спокойный и мягкий человек, как он! — подумала бедная г-жа Тюилье.— Мне так по душе скромная, незаметная жизнь в тиши... Господи, ты этого не захотел, окажи же свое покровительство двум этим детям и соедини их судьбы! Ведь они созданы друг для друга!»

Она погрузилась в глубокую задумчивость, машинально прислушиваясь к ужасающему шуму, который подняла ее невестка: неутомимая Бригитта помогала двум служанкам убирать со стола, чтобы освободить столовую для танцев; при этом ее голос гремел, напоминая своими раскатами голос капитана фрегата, который стоит на капитанском мостике и отдает приказания к атаке: «Есть ли у нас еще настойка из смородины? Подите и купите оршад!» После минутной паузы снова слышалось: «Бокалов не хватит, напитков мало, принесите шесть бутылок простого вина, которое я велела достать из погреба. Да проследите, чтобы привратник Коффине его не вылакал!.. Каролина, ты, моя милая, оставайся у бу-

фета!.. Если танцы затянутся до часу ночи, надо будет подать ветчину. Соблюдайте умеренность, внимательно за всем следите. Передайте мне метелочку... Налейте масла в лампы... А главное, ничего не разбейте... Остатки от десерта надо тоже пустить в дело, поставьте их на буфет! Любопытно, придет ли в голову моей сестрице помочь нам? И о чем она только думает, эта рохля?.. Господи, до чего же она медлительна!.. Стулья унесите — будет больше места для танцев».

В гостиной было полным-полно: тут можно было увидеть и Барниолей, и Кольвилей, и Лодижуа, и Фельонов, и всех тех, кого привлек сюда слух, что у Тюилье в тот день танцуют; слух этот распространился по Люксембургскому саду между двумя и четырьмя часами дня, то есть именно тогда, когда там прогуливались буржуа квартала.

— Готово, милый друг?—спросил Кольвиль, врываясь в столовую.— Ведь уже девять часов, и в вашей гостиной людей, что сельдей в бочке. Явился даже Кардо с женой, сыном, дочерью и будущим зятем, они прихватили с собой и молодого помощника прокурора, этого Винэ, так что, можно сказать, присутствует и Сент-Антуанское предместье. Мы перетащим сюда фортепьяно из гостиной, хорошо?

И Кольвиль заиграл на кларнете; веселые трели были приняты людьми, теснившимися в гостиной, как призывный сигнал и встречены громким «ура».

Стоит ли подробно описывать такого рода бал? Костюмы, лица, речи — все здесь было в полном соответствии с небольшой деталью, которая много говорит живому воображению, ибо во всяком деле факт незначительный, но яркий и характерный порою все определяет. Гостям на балу предлагали бокалы с чистым вином, с вином, разбавленным водою, и просто со сладкой водой. На подносах, местами изрядно облупившихся, разносили также бокалы с оршадом и различными настойками, и все эти напитки поглощались с головокружительной быстротой. В гостиной расставили пять карточных столов, за ними сидели двадцать пять игроков, танцевали девять пар одновременно. В час ночи гости затеяли контрданс, именуемый в просторечии *«Булочница»;* в этой кадрили участвовал Дюток, на голове у него

красовался тюрбан из полотенца, напоминавший тот, что носят кабилы; в общий танец были вовлечены и г-жа Тюилье, и мадемуазель Бригитта, и г-жа Фельон, и даже сам папаша Фельон. Слуги, ожидавшие своих господ, пришедших в гости к Тюилье, а также слуги самого Тюилье с любопытством глазели на танцующих; нескончаемая кадриль продолжалась больше часа, и когда Бригитта пригласила всех немного подкрепиться, гости готовы были ее качать; однако осмотрительная хозяйка успела припрятать дюжину бутылок старого бургундского вина. Приглашенные веселились от души, почтенные матроны не отставали от юных девиц, и Тюилье, в конце концов, заявил:

— Подумать только, еще нынче утром нам и в голову не приходило, что вечером у нас состоится такой веселый праздник!..

— Нигде не получаешь столько удовольствия,—заявил нотариус Кардо,—как на импровизированных балах. Я терпеть не могу званых вечеров, где все держат себя необыкновенно чопорно!

Подобное мнение служит почти аксиомой в буржуазных кругах.

— А я,— пробормотала захмелевшая госпожа Минар,— отвечу вам песенкой: «Я люблю папашу, я люблю мамашу!..»

— Господин Кардо, разумеется, не имел вас в виду, сударыня, ведь ваш дом — излюбленный приют удовольствий,— сказал Дюток.

Едва кадриль окончилась, Дюток направился к буфету и принялся уписывать ветчину; подошедший Теодоз насильно увел его, говоря:

— Нам пора идти, ведь завтра на рассвете мы должны быть у Серизе, он обещал дать необходимые сведения о занимающем нас деле, кстати сказать, оно не так просто, как полагает Серизе.

— Это еще почему? — спросил Дюток, не переставая жевать ветчину даже на пороге гостиной.

— Вы что ж, не знаете законов?.. Я-то их достаточно знаю, чтобы предвидеть все опасности, связанные с этой аферой. Если нотариус сам хочет купить дом, а мы выхватим у него из-под носа лакомый кусочек, он может накинуть цену и оттяпать у нас добычу, для этого ему

достаточно прибегнуть к помощи любого из зарегистрированных кредиторов. По действующему ныне ипотечному праву, если дом продается по требованию одного из кредиторов и сумма, вырученная за него на торгах, недостаточна, чтобы удовлетворить всех кредиторов, они имеют право потребовать новых торгов и продать дом дороже. Так что, если нам даже удастся провести нотариуса, он может назавтра спохватиться.

— Ты прав! — воскликнул Дюток.— Ну что ж, повидаемся с Серизе.

Слова «повидаемся с Серизе» услышал адвокат Минар, шедший позади приятелей, но для него фраза эта не имела никакого смысла. Дюток и Теодоз были так далеки от него, от его жизненного пути и его планов, что он не вникал в смысл их речей.

— Вот один из самых великолепных дней в нашей жизни,— сказала Бригитта брату, когда в половине третьего утра они оказались вдвоем в опустевшей гостиной.— Какая честь, когда тебя единодушно избирают своим кандидатом сограждане!

— Не заблуждайся, Бригитта, мы обязаны всем этим, дорогая, одному человеку.

— Кому же?

— Нашему другу ла Пераду...

Дом, куда направились не в понедельник, а лишь во вторник утром Дюток и Теодоз, ибо письмоводитель напомнил адвокату, что Серизе отсутствовал по воскресеньям и понедельникам, потому что оба эти дня народ посвящал развлечениям и к процентщику не приходил ни один клиент,— дом этот столь же необходим для воссоздания облика предместья Сен-Жак, как дома Тюильи и Фельона. Никто не знает (правда, еще не создана комиссия для изучения этого явления), повторяем, никто не знает, почему кварталы города Парижа приходят в упадок и запустение как в отношении архитектуры, так и в отношении нравственности. Каким образом квартал Люксембург и Латинский квартал, где помещаются дворцы и церкви, дошли до того состояния, в котором мы их видим сегодня? Ведь тут находится один из самых красивых дворцов в мире, тут дерзко возносится к небу купол церкви святой Женевьевы и купол Валь-де-Грас, созданный Мансаром, тут расположен

полный очарования Зоологический сад! Почему элегантность уходит из нашей жизни? Почему дома, подобные домам вдовы Воке, Фельона, Тюилье, почему различные пансионаты растут, как грибы, оттесняя на задний план дворцы Стюартов, кардиналов Миньона и Дюперрона? Почему грязь, засоряющие все вокруг промыслы и нищета завладевают центральной частью столицы, вместо того чтобы располагаться поодаль от старого и благородного города?..

После смерти ангела во плоти, чью благотворительность благословляли жители квартала, здесь пышным цветом распустилось самое низкопробное ростовщичество. На смену советнику Попино пришел Серизе. И, странная вещь (о ней следовало бы поговорить подробно в другом месте!), результаты, с точки зрения социальной, мало чем отличались друг от друга. Попино давал в долг без процентов и заранее шел на возможные потери; Серизе никогда ничего не терял, заставляя тем самым несчастных трудиться, не жалея сил, и набираться ума-разума. Бедняки обожали Попино, но и к Серизе они не питали ненависти. Тут мы сталкиваемся с работой последнего колесика парижской финансовой машины. Наверху — банкирские дома Нусингена, Келлера, дю Тийе, Монжено; чуть ниже — ростовщики типа Пальма, Жигонне, Гобсека; еще ниже — такие дельцы, как Саманон, Шабуассо, Барбе; затем — городской ломбард, этот король ростовщичества, расставляющий свои силки на каждом углу, чтобы ловить жертвы нищеты, не давая спастись ни одной; и, наконец, в самом низу — Серизе.

Сюртук со шнурами возвещал о том, что в этом логове обитает бывший участник коммандитного товарищества и человек, хорошо известный шестой палате.

Дом, где он жил, был словно изъеден селитрой, стены, покрытые зелеными пятнами, казалось, запотели и издавали зловоние, как и сами неопрятные ростовщики. Он помещался на углу улицы Пуль; тут же находился погребок торговца вином; это третьеразрядное заведение было выкрашено снаружи в ярко-красный цвет, на окнах, забранных толстыми решетками, висели занавески из красного коленкора, а внутри помещалась стойка, обитая листом свинца.

Над входом в отвратительный подъезд раскачивался уродливый фонарь с надписью: «*Меблированные комнаты*». Стены были отмечены железными крестами, говорившими о ветхости строения, принадлежавшего торговцу вином; он занимал половину нижнего этажа и антресоли. Меблированные комнаты содержала вдова г-на Пуаре, в девичестве Мишоно; они располагались на втором, третьем и четвертом этажах, и жили в них бедные студенты.

Серизе занимал две комнаты — одну в первом этаже и одну на антресолях: он попадал в нее по внутренней лестнице, выходившей окнами в ужасный мощеный двор, откуда поднимались зловонные запахи. Серизе платил сорок франков в месяц г-же Пуаре, и она кормила его за это завтраком и обедом; таким образом, он угождал и домохозяйке, живя у нее на пансионе, и торговцу вином, которому он поставлял огромную клиентуру; еще до восхода солнца клиенты Серизе осушали не одну бутылку с горячительным и оставляли у кабатчика немало денег. Г-н Кадене открывал свое заведение раньше, чем его сосед Серизе, начинавший финансовые операции по вторникам — в три часа утра летом и в пять часов утра зимой.

Столь раннее начало его ужасного промысла определялось часом открытия Центрального рынка, куда затем направлялось большинство клиентов и клиенток Серизе. Г-н Кадене во внимание к этой клиентуре, которой он целиком был обязан Серизе, брал со своего драгоценного жильца, занимавшего две комнаты, всего лишь восемьдесят франков в год; домовладелец подписал с ним арендный договор, заключенный на двенадцать лет с таким условием, что Серизе мог каждые три месяца расторгнуть его, не уплачивая неустойки. Кадене самолично приносил каждый день бутылку превосходного вина и вручал ее Серизе перед обедом; когда жилец оказывался на мели, ему достаточно было только сказать своему приятелю: «Кадене, одолжи мне сто экю». Правда, он исправно возвращал взятые взаймы деньги.

Кадене, по слухам, получил надежное доказательство, что вдова Пуаре в свое время вручила Серизе две тысячи франков, после чего дела экспедитора пошли в гору, ибо, переехав в этот квартал, он располагал лишь

тысячефранковым кредитным билетом да покровительством Дютока. Кадене, чья алчность возрастала по мере того, как успешно развивалась его торговля, предложил в начале года двадцать тысяч франков своему другу Серизе. Тот отказался под тем предлогом, что он, мол, действует вместе с компаньоном и неосторожная финансовая операция может послужить причиной их ссоры.

— Он согласится взять ваши деньги из шести процентов годовых,— сказал он Кадене,— а они принесут вам больше дохода, если вы сами пустите их в дело... Мы с вами войдем в компанию позднее, когда подвернется что-нибудь действительно выгодное, однако подходящий случай обычно требует капитала не меньше, чем в пятьдесят тысяч франков. Вот когда у вас на руках будет такая сумма, мы поговорим...

Серизе сообщил Теодозу о возможности выгодно приобрести дом, только убедившись, что даже вместе с г-жой Пуаре и Кадене ему никогда не набрать ста тысяч франков.

Ростовщик чувствовал себя в полной безопасности в своем логове, где, если бы в этом была необходимость, он всегда мог рассчитывать на помощь. Бывали дни, когда сюда на рассвете приходило не меньше шестидесяти или даже восьмидесяти клиентов, мужчин и женщин; они наполняли винный погребок, толпились в коридоре, рассаживались на ступенях лестницы, недоверчивый Серизе впускал к себе в кабинет не больше шести человек за раз. Приходя, люди устанавливали очередь, и она двигалась в порядке номеров; виноторговец и его официант писали номера мелом: у мужчин — на полях шляп, а у женщин — прямо на спине.

Часто стоявшие впереди уступали за деньги свою очередь пришедшим позднее, подражая кучерам фиакров. В иные дни, когда важно было попасть на Центральный рынок как можно раньше, передний номер ценился в стакан водки и одно су. Клиент, выходивший из кабинета Серизе, приглашал следующего по очереди; если возникали споры, Кадене быстро пресекал их, говоря:

— Чего вы добьетесь, если на шум явится стража или полиция! *Он* прикроет лавочку, вот и все.

Все знали, что *он* — это Серизе. Когда днем какая-нибудь несчастная женщина, у которой в доме не было ни куска хлеба, видя, что дети вот-вот умрут с голода, прибегала в полном отчаянии, чтобы раздобыть десять или двадцать су, она спрашивала у виноторговца или у старшего официанта:

— *Он* здесь?

Кадене, толстый низенький человек, одетый в синий костюм с нарукавниками из черной материи, в переднике, какой носят кабатчики, в фуражке на голове, представлялся такой несчастной матери ангелом небесным, ибо он обычно отвечал:

— *Он* сказал мне, что вы честная женщина, и велел передать вам сорок су. Как быть дальше, сами знаете...

И происходило невероятное: *его* благословляли, как некогда благословляли Попино!

В воскресенье утром, подсчитывая расходы, люди во всем Париже проклинали Серизе; они проклинали его и в субботу, когда из полученных за работу денег приходилось возвращать ему долг и проценты! Но со вторника и до пятницы он был для бедняков провидением, богом.

Комната, где жил Серизе, некогда служившая кухней для обитателей второго этажа, была почти пуста; потолочные балки, выбеленные известью, до сих пор оставались закопченными. Стены, вдоль которых были расставлены скамьи, и плитки из песчаника, заменявшие паркет, впитывали, а затем выделяли влагу. Камин, от которого еще сохранился навес, уступил место железной печке, где Серизе в холодные дни жег каменный уголь. Под каминным колпаком находился квадратный помост, возвышавшийся на полфута над полом, тут стоял дощатый стол, стоивший не больше франка, и деревянное кресло с круглой плоской подушкой из зеленой кожи. Стена за спиной Серизе была обшита досками. Возле стола стояла ширма из неструганого дерева, она защищала хозяина комнаты от ветра, дувшего в окно и в дверь; эта двустворчатая ширма, однако, пропускала теплый воздух, струившийся из печки. К окнам были приделаны с внутренней стороны огромные ставни, обитые железом и закладывавшиеся металлическим брусом. Дверь была также обита железом.

В глубине комнаты, в углу, виднелась винтовая лест-

ница, некогда помещавшаяся в полуразрушенном складе на улице Шапон, который приобрел в свою собственность Кадене; он установил эту лестницу на антресолях, но по требованию Серизе всякое сообщение со вторым этажом было прекращено, и дверь, выходившую на площадку, замуровали. Таким образом, жилище это превратилось в крепость. В верхней комнате, принадлежавшей Серизе, было немного мебели: ковер, купленный за двадцать франков, узкая кровать, комод, два стула, стол и железная касса в виде секретера с великолепным замком, приобретенная по случаю. Серизе брился перед каминным зеркалом; у него были две смены постельного белья из коленкора, шесть перкалевых рубашек, вся остальная его одежда также была сшита из дешевого материала. Однако раз или два Кадене встретил Серизе в весьма элегантном наряде: ростовщик, по-видимому, хранил в нижнем ящике комода праздничный костюм, который позволял ему посещать Оперу и бывать в свете; парадный костюм делал Серизе неузнаваемым, и, не распознай его Кадене по голосу, он бы спросил: «Чем могу служить?»

Больше всего *клиентам* нравились в Серизе его веселый нрав и остроумные ответы, он говорил на понятном им языке. Кадене, два его официанта и Серизе, жившие в самом сердце нищеты, всегда сохраняли спокойствие, подобно тому, как могильщики сохраняют спокойствие среди плачущих родственников или старые сержанты — среди мертвецов; они бесстрастно выслушивали голодные вопли и отчаянные крики, подобно тому, как хирурги бесстрастно выслушивают стоны пациентов; по примеру солдат и санитаров, Кадене и Серизе лишь изредка роняли ничего не значащие фразы: «Надо немного потерпеть, побольше мужества!», «К чему так убиваться? Вы себя уморите, а какой в этом толк?..», «Ко всему привыкают, надо быть рассудительным» и так далее.

Серизе осмотрительно прятал деньги, необходимые для утренних операций, в двойное сиденье кресла, он вынимал оттуда за раз не больше ста франков и распихивал их по карманам; свои денежные фонды он пополнял лишь в промежутке между двумя группами просителей, запирая дверь и отпирая ее лишь после того, как деньги

были вновь разложены по карманам; но то была излишняя предосторожность: ему нечего было опасаться доведенных до отчаяния людей, которые приходили сюда с различных концов Парижа, чтобы перехватить немного деньжат. Как известно, существуют различные формы честности и добродетели, и в основе нашей «Монографии о добродетели» лежит сия социальная аксиома. Если человек поступает против совести, открыто нарушает общепринятые правила поведения, не всегда следует велениям чести, это еще не значит, что он не достоин никакого уважения; если он даже человек бесчестный, это еще не значит, что его можно отправить в исправительную полицию. Если он вор, это еще не значит, что он подсуден суду присяжных; и, наконец, если он даже осужден судом, он может еще пользоваться уважением на каторге, придерживаясь тех своеобразных законов чести, которые преступники соблюдают в своей среде и согласно которым нельзя выдавать товарища, надо справедливо делить добычу, следует подвергаться тем же опасностям, что и твои сообщники. Так вот, именно эта форма честности, представляющая собою, возможно, лишь скрытый расчет, лишь необходимость, подчиняясь которой человек способен сохранить остатки величия и последние шансы вернуться к добру, царила в отношениях между Серизе и его клиентами. Никогда ростовщик не прибегал к обману, не прибегали к нему и бедняки: ни он, ни они не пытались оспаривать размеры долга и процентов. Случалось, что Серизе, кстати сказать, и сам происходивший из низов, исправлял невольно допущенную им ошибку и делал это в интересах какого-нибудь несчастного, хотя тот о ней даже не подозревал. Вот почему клиенты считали ростовщика собакой, но честной собакой; его слово в этой юдоли печали почиталось священным. Однажды какая-то женщина, взявшая у него тридцать франков, умерла, так и не уплатив долга.

— Вот мои барыши,— сказал он собравшимся клиентам,— а вы меня поносите на всех перекрестках. Но, как бы то ни было, я не стану терзать малышей!..

И Кадене отнес сиротам хлеба и дешевого вина.

После этого случая, в котором расчет сыграл немалую роль, обитатели двух предместий говорили о Серизе:

— Нет, он человек не злой!..

Мелкое ростовщичество, которым занимался Серизе, что бы там ни говорили, представляет собою меньшее зло, чем городской ломбард. Серизе давал во вторник десять франков при условии, что в воскресенье утром ему отдадут двенадцать. Таким образом за пять недель он удваивал капитал, но зато шел на различные послабления. Он простирал свою доброту до того, что иногда взыскивал с должника лишь одиннадцать франков пятьдесят сантимов; бывало, что ему подолгу не платили процентов. Кроме того, одалживая пятьдесят франков торговцу фруктами в надежде получить за них шестьдесят или ссужая сотней франков продавца торфа, который должен был возвратить сто двадцать франков, Серизе рисковал своими деньгами.

Миновав улицу Пост и достигнув улицы Пуль, Теодоз и Дюток увидели большую толпу мужчин и женщин, освещенную неярким светом фонарей лавки виноторговца; приятели невольно ужаснулись при виде всех этих людей с красными, морщинистыми, накрашенными, увядшими, удрученными горем лицами; некоторые были лысые, другие — с давно нечесанными волосами, были тут и пьяницы, раздувшиеся от чрезмерного пристрастия к вину, попадались и такие, кого иссушило злоупотребление ликерами; одни кому-то угрожали, другие хранили покорный и безразличный вид, эти зубоскалили, те отпускали шуточки, а третьи сидели с тупым выражением лица; и все без исключения были одеты в такие неописуемые лохмотья, что ни один рисовальщик с самой причудливой фантазией не мог бы воспроизвести их на бумаге.

— Меня тут узна́ют! — воскликнул Теодоз, увлекая Дютока в сторону.—Мы совершили глупость, придя к Серизе в самый разгар его занятий...

— Согласен! Тем более, что мы не подумали вот о чем: Клапарон спит где-то в его логове, внутреннее расположение которого нам неизвестно. Послушайте, то, что неудобно вам, вполне удобно мне, я могу запросто прийти переговорить со своим экспедитором, и я приглашу его отобедать с нами: утром у нас в суде заседание, и позавтракать вместе нам будет нельзя. Давайте назначим свидание в «Хижине», в одном из кабинетов, выходящих в сад...

— Не годится! Там нас могут подслушать, а мы этого даже не заметим,— возразил адвокат.— Я предпочитаю «Пти Роше де Канкаль»: можно будет занять отдельный кабинет и разговаривать вполголоса.

— А если вас увидят там в обществе Серизе?

— В таком случае пойдем в «Шеваль-Руж», на набережную де ла Турнель.

— Это уже лучше. Итак, в семь часов, там в такое время никого не бывает.

И Дюток двинулся один в самую гущу своеобразного конгресса нищих; он слышал, как то один, то другой из них повторял его имя, ибо среди толпы ему трудно было не встретить людей, приходивших к мировому судье, как Теодозу трудно было не встретить тут кого-нибудь из своих клиентов.

В бедных кварталах мировой судья — верховный судия, все спорные вопросы решаются в его камере, особенно с тех пор, как закон передал в ведение мировых судов рассмотрение всех тяжб, сумма иска в которых не превышает ста сорока франков. Бедняки боятся письмоводителя суда не меньше самого судьи, вот почему все опасливо расступались перед Дютоком. На ступеньках лестницы сидели женщины, напоминая собой пеструю выставку цветов, устроенную в установленных в виде амфитеатра витринах; встречались среди них и молодые, и старые, и смертельно бледные, и больные. Разноцветные косынки, чепчики, платья и передники делали сравнение с выставкой цветов, пожалуй, даже более точным, чем надлежит быть сравнению. Открыв дверь в комнату Серизе, Дюток едва не задохнулся: через это помещение уже прошло не меньше шестидесяти человек, и каждый оставил тут свой запах.

— Ваш номер? Какой у вас номер? — послышались возгласы со всех сторон.

— Да замолчите вы, дурачье,— донесся с улицы хриплый голос,— это писарь мирового судьи!

Воцарилось гробовое молчание. Дюток застал своего экспедитора в жилетке из желтой кожи — такой же, из какой изготовляют перчатки жандармов; из-под нее выглядывал вязаный шерстяной жилет довольно жалкого вида. Воображение поможет читателю нарисовать болезненное лицо человека, чья безволосая шея высовывалась

из этой своеобразной скорлупы: голова его была повязана шелковым платком, закрывавшим часть лба и придававшим физиономии Серизе одновременно и отвратительный и устрашающий вид; впечатление это усиливал мигавший огонек свечи, оплывавшей в дешевом подсвечнике.

— Нет, так у нас ничего не получится, папаша Лантимеш,— говорил Серизе рослому старику лет семидесяти, который переминался перед ним с ноги на ногу, стискивая в руке колпак из красной шерсти, снятый им с лысой головы.

Сквозь распахнутую, изрядно поношенную рабочую блузу старика можно было увидеть голую грудь, поросшую седыми волосами.

— Вы уж скажите мне, зачем вам такие деньги,— продолжал ростовщик.— Давая сто франков, даже в расчете получить за них сто двадцать, я должен знать, что вы затеваете. Подобную сумму не швыряют на ветер, это не собака, что кидается в любую подворотню...

Пятеро остальных клиентов, среди которых были две кормящие матери, причем одна что-то вязала, а другая держала ребенка у груди, расхохотались.

Увидя Дютока, Серизе почтительно встал и быстро направился ему навстречу, бросив на ходу:

— У вас есть время подумать. Повторяю, меня весьма смущает, зачем понадобилось сто франков старику — совладельцу слесарной мастерской.

— Ну, а если речь идет об изобретении! — воскликнул старый рабочий.

— И вы думаете довести его до конца с жалкой сотней франков!.. Вы ничего не смыслите в делах, тут потребуется не меньше двух тысяч франков,— вмешался Дюток.— Ведь нужен патент, нужны покровители...

— Это верно,— подтвердил Серизе, уже давно мечтавший о таком случае.— Вот что, папаша Лантимеш, приходите-ка завтра часов в шесть утра, и мы потолкуем. Коли речь идет об изобретении, следует говорить без свидетелей...

Когда Серизе подошел к Дютоку, тот быстро сказал ему:

— Если дело стоящее, я вхожу в долю!..

— Вы что ж, поднялись на заре только для того,

чтобы сообщить мне об этом? — спросил недоверчивый Серизе, уже выведенный из себя словами «я вхожу в долю».— Ведь вы могли бы дождаться нашей встречи в канцелярии.

И он искоса поглядел на Дютока; тот сбивчиво, мешая правду с вымыслом, заговорил о Клапароне и о необходимости более энергично заняться делами Теодоза. Затем он вышел, назначив свидание Серизе.

— Вы вполне могли бы дождаться, пока я приду утром в канцелярию суда,— повторил Серизе, провожая Дютока к двери.

— Вот еще один,— пробормотал он, возвращаясь к столу.—Думается, он наводит тень на плетень и старается сбить меня с толку... Ну, что ж, если надо будет, я плюну на должность экспедитора... А, это вы, кумушка?! — воскликнул он.— Вы, как я вижу, тоже изобретаете, но только... детей... Хоть это занятие и не новое, но весьма забавное!

Вряд ли стоит подробно останавливаться на встрече трех компаньонов, тем более, что все то, о чем они условились, было затем пересказано Теодозом мадемуазель Тюильe. Необходимо только заметить, что ловкость, выказанная ла Перадом, почти испугала Серизе и Дютока; банкир бедняков начал даже подумывать о том, не пора ли ему выйти из игры, ибо партнеры оказались слишком сильными игроками. Любой ценой оказаться в выигрыше, одержать верх над самыми ловкими, не останавливаясь даже перед плутовством,— вот честолюбивое стремление, присущее всем истинным друзьям зеленого сукна. Это замечание объяснит читателю, почему ла Перада ожидал вскоре ужасный удар.

Впрочем, адвокат хорошо знал людей, с которыми ему приходилось иметь дело. И поэтому он играл в присутствии обоих своих сообщников роль, утомлявшую его едва ли не больше, чем постоянное напряжение всех душевных сил и ума, которого требовала от него многоликая натура и многообразная деятельность. Дюток был великим плутом, а Серизе некогда играл в комедиях, оба умели притворяться на славу. Бесстрастный лик в духе Талейрана не мог служить подходящей маской для провансальца, люди, в чьих когтях он находился, быстро бы его раскусили, и поэтому ему приходилось изображать

добродушного, доверчивого, откровенного малого, а это — высшее искусство. Держать в заблуждении публику может любой хороший актер, но обмануть мадемуазель Марс, Фредерика Леметра, Потье, Тальма, Монроза способен только выдающийся артист.

Вот почему после пресловутого совещания в ресторане ла Перада, столь же проницательного, как и Серизе, мучил тайный страх; игра подходила к концу, и страх этот временами леденил ему кровь, бросал то в жар, то в холод, Теодоз уподоблялся игроку, который, поставив последнюю ставку, лихорадочно следит взглядом за вертящимся шариком рулетки. В такие минуты чувства человека приобретают необычайную остроту, а ум работает с такой головокружительной быстротой, с какой работает ум ученого, расширяющего границы человеческого познания.

На следующий день после беседы со своими компаньонами адвокат отправился обедать к Тюилье; под тем предлогом, что им следует нанести визит г-же де Сен-Фондриль, супруге знаменитого ученого, с которой они хотели ближе познакомиться, Тюилье увел жену из дому и оставил Теодоза наедине с Бригиттой. Ни сам Тюилье, ни его сестра, ни Теодоз не заблуждались относительно истинного смысла этой комедии, однако бывший красавец времен Империи пышно именовал свой поступок «дипломатическим».

— Молодой человек, не злоупотребляй невинностью моей сестры, относись к ней с должным почтением,— торжественно изрек Тюилье перед уходом.

— Скажите, мадемуазель,— начал Теодоз, придвигая свое кресло к глубокому креслу, в котором сидела Бригитта, занятая вязанием,— вы уже подумали о том, что следует расположить коммерсантов нашего округа в пользу Тюилье?..

— Но как это сделать? — спросила Бригитта.

— Насколько мне известно, вы поддерживаете деловые отношения с Барбе и Метивье.

— Ах, вы совершенно правы!.. Клянусь честью, вас разиней не назовешь! — сказала она после короткого молчания.

— Когда любишь людей, стараешься им услужить! — наставительно ответил Теодоз с почтением в голосе.

Нелегкая битва, которую Теодоз вел вот уже почти два года, вступала в решающую фазу: победить подозрительность старой девы было для него столь же важно, как для Наполеона овладеть важнейшим редутом под Москвой. Он должен был околдовать Бригитту так, как дьявол, по мнению людей, живших в средние века, околдовывал свою жертву; иначе говоря, ему надо было добиться того, чтобы она никогда не смогла высвободиться из-под его чар. Уже три дня кряду ла Перад обдумывал эту задачу и хорошо понимал все ее трудности. Лесть — самое надежное средство в руках ловкого человека — была бессильна в отношении старой девы, которая давно уже избавилась от всяких иллюзий. Но для человека с несгибаемой волей не существует непреодолимых преград, и люди, подобные Ламарку, всегда найдут способ овладеть своим островом Капри. Вот почему мы полагаем невозможным что-либо опустить из поучительной сцены, разыгравшейся в тот вечер, в ней все важно: паузы, потупленные взоры, многозначительные взгляды, модуляции голоса...

— Но вы уже представили немало доказательств своей любви к нам,— заметила Бригитта.

— Ваш брат говорил с вами?..

— Нет, он только предупредил меня, что вы собираетесь о чем-то со мной переговорить...

— Да, мадемуазель, ибо вы — всему дому голова. Однако, поразмыслив хорошенько, я пришел к выводу, что дело это чревато для меня большими опасностями. Так компрометировать себя можно лишь ради близких. Речь идет о целом состоянии, о тридцати или даже о сорока тысячах франков годового дохода, причем это не какая-нибудь там спекуляция.., а недвижимое имущество!.. Необходимость раздобыть состояние для Тюилье навела меня на мысль... Такое желание как бы зачаровывает, я ему говорил... Ведь каждый, если он только не дурак, обязательно спросит себя: «Из-за чего он так хлопочет? Почему стремится делать нам добро?» И вот я разъяснил вашему брату, что, действуя в его интересах, я, смею надеяться, действую и в своих собственных. Для того, чтобы стать депутатом, совершенно необходимы две вещи: надо уплачивать ценз и надо чем-нибудь прославить свое имя. И если я из преданности помыш-

ляю о том, чтобы помочь Тюилье написать книгу о государственном кредите или еще о чем-нибудь в этом роде.., то мне следует также подумать и о его состоянии... А потому вам совершенно не к чему отдавать ему дом...

— Не к чему отдавать его брату?.. Да я завтра же переведу дом на его имя! — воскликнула Бригитта.— Вы меня плохо знаете...

— Я вас, конечно, недостаточно знаю,— подтвердила Перад,— но многое мне о вас известно, и я сожалею, что с самого начала не посоветовался с вами, это следовало сделать сразу же после того, как я замыслил план, с помощью которого Тюилье будет избран муниципальным советником. Ведь уже завтра у него появятся завистники, нам предстоит нелегкая задача, надо внести замешательство в ряды соперников, выбить у них из рук оружие!

— Но вы говорили о деле,— остановила Теодоза Бригитта,— в чем же заключаются трудности, связанные с ним?

— Мадемуазель, трудности эти нравственного порядка... Я смогу служить вам с чистой совестью лишь после того, как побеседую со своим исповедником... Что же касается юридической стороны, о, тут вы можете быть совершенно спокойны: дело вполне законное, как вам известно, я принадлежу к корпорации парижских адвокатов, нравы там весьма строгие, и я никогда в жизни не предложил бы вам ничего предосудительного... Одно только меня внутренне успокаивает: ведь сам я не зарабатываю на всем этом ни гроша...

Бригитта сидела, как на угольях, лицо ее пылало, она разматывала и вновь наматывала клубок, не зная, как ей следует отнестись к словам Теодоза.

— В наше время,— сказала она,— недвижимость должна стоить по меньшей мере миллион восемьсот франков для того, чтобы она приносила годовой доход в сорок тысяч франков...

— Ну, а я вам обещаю показать дом, причем вы сами определите, сколько дохода он будет приносить, и я намерен сделать Тюилье владельцем этого дома за пятьдесят тысяч франков.

— Вот что я вам скажу,— воскликнула Бригитта, приходя в крайнее волнение, вызванное пробудившейся в

ней алчностью,— если вы только этого добьетесь, то тогда, мой любезный господин Теодоз...

Она остановилась.

— Что же тогда, мадемуазель?

— Тогда, возможно, окажется, что вы хлопотали в своих собственных интересах...

— Ну, если Тюилье выдал мою тайну, я покидаю ваш дом.

Бригитта удивленно подняла голову.

— Он вам сказал, что я люблю Селесту?

— Нет, клянусь девичьей честью! — вырвалось у Бригитты.— Но я собиралась сама заговорить о ней.

— Вы намеревались предложить мне ее руку?.. О, да простит нам бог! Я хочу, чтобы она сама, вместе со своими родителями, пришла к этому решению и остановила выбор на мне... Нет, нет, молю вас только об одном: будьте благосклонны ко мне и не отказывайте в своем покровительстве... Я хочу, чтобы вы, как и Тюилье, пообещали в качестве единственной награды за мою преданность ваше влияние и вашу дружбу. Скажите, что вы станете относиться ко мне, как к сыну... И тогда я спрошу совета у вас... И поступлю так, как вы решите, даже не буду обращаться к исповеднику. Признаюсь, я уже два года внимательно изучаю членов семьи, в которую намерен войти, принеся вместо состояния свою энергию.., ибо я выбьюсь в люди! Так вот, я убедился, что вам присуща честность, какой в нынешнем поколении не встретишь, что вы обладаете здравыми и непоколебимыми взглядами... Вы хорошо разбираетесь в делах, и очень приятно, когда в близких тебе людях есть все эти качества... С такой тещей, как вы, я был бы избавлен от множества мелких домашних забот, которые, если ими приходится заниматься, отвлекают человека от политической деятельности... Не скрою, я по-настоящему любовался вами в воскресенье вечером... Ах, вы были просто великолепны! Как быстро вы справились со всем! Не прошло и десяти минут, а столовая была уже готова для танцев... И как вы только умудрились, не выходя из дому, приготовить столько прохладительных напитков и такой превосходный ужин... «Вот,— сказал я себе,— женщина незаурядной энергии!..»

Ноздри Бригитты раздувались, она вдыхала аромат

лести, которой были пропитаны слова молодого адвоката; взглянув на нее искоса, Теодоз убедился в своей победе. Ему удалось затронуть чувствительную струну в сердце старой девы.

— Ах! Просто я привыкла вести дом, для меня это дело знакомое,— пробормотала она.

— Я стану вопрошать вашу чистую, ничем не запятнанную совесть! — продолжал Теодоз.— О, этого будет вполне достаточно!

Он встал с кресла, затем снова сел и проговорил:

— Вот в чем суть нашего дела, дорогая тетушка... ибо вы в каком-то смысле будете моей тетушкой...

— Замолчите, проказник! — потребовала Бригитта.— Говорите о деле...

— Я буду с вами откровенен и стану называть вещи своими именами. Заметьте, что, поступая так, я компрометирую себя, ибо эти тайны стали мне известны в силу моего положения адвоката... Мы с вами вместе, можно сказать, совершаем своего рода служебное преступление! Некий парижский нотариус стакнулся с одним архитектором, они приобрели земельные участки и начали там строить дома. И вот тут-то компаньоны потерпели крах... Они ошиблись в расчетах... Впрочем, нас это мало интересует... Среди домов, выстроенных этой незаконной компанией, ибо нотариусы не имеют права участвовать ни в каких деловых начинаниях, есть один, он не закончен и поэтому пойдет за четверть цены, его продадут тысяч за сто, хотя земля и строения обошлись бывшим владельцам в добрых четыреста тысяч франков. Дом почти готов, осталось лишь завершить внутреннюю отделку, ее стоимость нетрудно подсчитать, к тому же все нужные материалы уже лежат у подрядчиков, и они уступят их по дешевке, так что придется израсходовать дополнительно не больше пятидесяти тысяч франков. Он так выгодно расположен, что после уплаты налогов станет приносить не меньше сорока тысяч франков годового дохода. Дом целиком построен из тесаного камня, его внутренние стены сложены из песчаника, фасад украшен роскошной скульптурой, она обошлась в двадцать тысяч франков. Окна в нем из зеркального стекла, а задвижки на окнах новой системы, их называют *шпингалеты*.

— Все это прекрасно, но в чем же трудность?

— Вот в чем: нотариус надумал сохранить для себя столь лакомый кусочек пирога, уплывающего у него из рук, для этого он воспользовался помощью одного из друзей, оказавшихся в числе заимодавцев, которые потребовали продать строение и земли с торгов ввиду банкротства владельцев. Было решено не доводить дело до суда, чтобы не уплачивать крупных судебных издержек, продажа состоится на основе полюбовного соглашения. И тогда нотариус, решивший приобрести дом в собственность, обратился к одному из моих клиентов, которого он задумал сделать своим подставным лицом. А мой клиент— человек бедный — все рассказал мне. Вот его слова: «Речь идет о целом состоянии, если выхватить его из-под носа у нотариуса...»

— В коммерции такое происходит сплошь да рядом!..— быстро сказала Бригитта.

— Если бы вся трудность сводилась к этому,— продолжал Теодоз,— тут можно было бы ответить так, как один из моих друзей ответил своему ученику, который жаловался, что, дескать, очень трудно создавать шедевры живописи. «Ах, мой мальчик,— сказал он,— кабы дело обстояло иначе, то любой лакей малевал бы картины!» Видите ли, мадемуазель, если нам и удастся провести этого ужасного нотариуса, который, поверьте, вполне того заслуживает, ибо он разорил немало порядочных людей, то обмануть его во второй раз будет необычайно трудно, так как он человек весьма проницательный, хотя и нотариус. Когда недвижимое имущество продается с торгов, заимодавцы, если они недовольны вырученной суммой и считают, что понесут слишком большие убытки, имеют право в течение определенного срока предложить более высокую цену и сохранить недвижимость за собой. Если мы не сможем перехитрить этого хитреца и заставить его пропустить срок, во время которого он имеет право набавить цену и таким образом приобрести дом, нам придется придумать какую-нибудь новую ловушку. Но это уже выходит за рамки законности... Имею ли я право пойти на такой шаг даже в интересах семьи, членом которой рассчитываю стать?.. Вот о чем я вопрошаю себя уже третий день...

Бригитта, надо сознаться, заколебалась, и тогда Теодоз пустил в ход свой последний козырь.

— У вас есть целая ночь для размышлений, завтра мы снова обо всем потолкуем...

— Послушайте, дитя мое,— проговорила Бригитта, глядя на адвоката почти влюбленными глазами,— прежде всего надо бы посмотреть дом. Где он находится?

— Возле церкви Мадлен! Через десять лет там будет центр Парижа! Если вы помните, люди думали об этих участках уже в тысяча восемьсот девятнадцатом году! Состояние банкира дю Тийе связано с этой аферой... Пресловутое банкротство нотариуса Рогена, которое наделало столько шума в Париже, нанесло тяжелый удар престижу корпорации нотариусов и послужило причиной гибели известного парфюмера Бирото, также связано с нею. Но земельными участками вздумали спекулировать слишком рано.

— Я припоминаю эти события,— заметила Бригитта.

— Дом, вне всякого сомнения, можно будет закончить к концу года, а в середине будущего года вы уже сумеете сдавать квартиры внаем.

— Можем ли мы завтра туда поехать?

— Милая тетушка, я весь к вашим услугам.

— Да, вот что! Не называйте меня, пожалуйста, так в присутствии посторонних... Что касается дела,— продолжала она,— то нельзя ничего сказать, пока не увидишь дом...

— Дом шестиэтажный, у него девять окон по фасаду, прекрасный двор, четыре лавки, он расположен на перекрестке. О, нотариус знает толк в таких вещах! Да, кстати, могут произойти различные политические события, и государственная рента, как и остальные ценные бумаги, полетит кувырком. Будь я на вашем месте, я бы продал все ценные бумаги, принадлежащие госпоже Тюилье и вам, а на вырученные деньги приобрел для Тюилье прекрасный дом. А затем обратил бы все будущие сбережения на то, чтобы восстановить состояние этой святоши... Разве можно рассчитывать, что курс государственной ренты будет выше, чем сегодня? Сто двадцать два! Ведь это просто баснословная цифра, торопитесь же.

Бригитта облизывала губы: перед ней открывалась возможность сохранить свой капитал и обогатить брата за счет состояния его жены.

— Тюилье совершенно прав,— сказала она Теодозу,— вы редкий человек и далеко пойдете...

— Он пойдет к славе впереди меня! — ответил Теодоз с простодушием, тронувшим сердце старой девы.

— Вы станете членом нашей семьи,— проговорила она.

— Я предвижу немало препятствий,— возразил Теодоз,— госпожа Тюилье немного взбалмошна, она меня не любит.

— Ну, хотела бы я посмотреть, посмеет ли она пикнуть! — вырвалось у Бригитты.— Давайте делать дело, если только его можно сделать,— продолжала она,— а уж о ваших интересах я сама позабочусь.

— Тюилье, член генерального совета, владелец дома, приносящего свыше сорока тысяч франков годового дохода, награжденный орденом, автор серьезного и важного политического труда... станет депутатом во время выборов в палату тысяча восемьсот сорок второго года. Но, согласитесь сами, милая тетушка, что такую преданность, какую выказываю я, можно испытывать лишь к будущему тестю...

— Вы правы.

— Не скрою, у меня нет состояния, но зато я удвою ваше. Если это дело пройдет гладко, я найду еще такие же...

— Пока не увижу своими глазами дом,— заявила старая дева,— я ничего не могу сказать...

— Отлично! Наймите завтра коляску и поедем. Утром у меня будет разрешение на осмотр.

— До завтра, в полдень,— ответила Бригитта, протягивая Теодозу руку в знак того, что они пришли к соглашению.

Однако адвокат запечатлел на ней такой нежный и вместе с тем такой почтительный поцелуй, какой еще ни разу в жизни не выпадал на долю старой девы.

— Прощайте, дитя мое! — проговорила она, когда Теодоз выходил из комнаты.

Бригитта быстро позвонила и, когда на пороге показалась одна из служанок, приказала ей:

— Жозефина, немедленно ступайте к госпоже Кольвиль и попросите ее пожаловать ко мне.

Через четверть часа Флавия уже входила в гостиную,

по которой старая дева прохаживалась в лихорадочном возбуждении.

— Моя дорогая, вы должны оказать мне большую услугу, она будет иметь значение и для нашей прелестной Селесты... Вы знакомы с Туллией, танцовщицей Оперы, в свое время брат прожужжал мне о ней все уши...

— Я знакома с ней, дорогая Бригитта. Но она уже давно не танцовщица, теперь она графиня дю Брюэль. Ее муж — пэр Франции!..

— Привязана ли она к вам по-прежнему?

— Мы уже много лет не встречаемся...

— Неважно! Насколько мне известно, богатый подрядчик Шаффару доводится ей дядей,— продолжала старая дева.— Он богат и стар. Поезжайте к вашей давнишней приятельнице и получите у нее записочку к дяде, пусть она черкнет ему, что он окажет ей большую услугу, если даст вам дружеский совет, за которым вы к нему обратитесь, а мы с вами завтра заедем к нему в час дня. Но только пусть она попросит его держать все в глубочайшем секрете! Поезжайте, дитя мое! Наша милая Селеста будет миллионершей и получит из моих рук — слышите, из моих рук! — мужа, а он уж поможет ей занять подобающее место в свете.

— Хотите, я назову вам первую букву его имени?

— Попытайтесь...

— Теодоз де ла Перад! И вы совершенно правы, этот человек, опираясь на поддержку такой женщины, как вы, способен стать министром!..

— Сам господь бог послал его нам! — воскликнула старая дева.

В эту минуту из гостей возвратились г-н и г-жа Тюилье.

Пять дней спустя, в начале апреля, в газете «Монитер» было опубликовано извещение, приглашавшее жителей принять двадцатого апреля участие в избрании члена муниципального совета. Такие же извещения были расклеены на стенах зданий. Вот уже месяц, как пришло к власти правительство, получившее наименование «Министерства первого марта». Бригитта пребывала в отличнейшем настроении, она убедилась в справедливости утверждений Теодоза. Папаша Шаффару осмотрел дом сверху донизу и признал его шедевром зодчества: бедня-

га Грендо, архитектор, тесно связанный с нотариусом и Клапароном, полагал, что старается для своей пользы; дядюшка г-жи дю Брюэль, решив, будто он действует в интересах своей племянницы, заявил, что с тридцатью тысячами франков он закончит дом. Поэтому уже целую неделю Бригитта смотрела на ла Перада как на божество; с простодушным цинизмом она всячески доказывала ему, что нельзя упускать состояние, которое само плывет в руки.

— Ну что ж,— говорила она адвокату, увлекая его в глубь сада,— если тут и есть небольшой грех, вы позднее покаетесь в нем своему исповеднику...

— Послушай, дружище! — воскликнул подошедший Тюилье,— какого черта ты колеблешься, ведь речь идет о твоих будущих родственниках...

— Я, конечно, решусь на это,— отвечал ла Перад взволнованным голосом,— но поставлю вам определенные условия. Я не хочу, чтобы мое стремление жениться на Селесте приписывали жадности и алчности... Если уж мне суждено испытывать из-за вас угрызения совести, постарайтесь по крайней мере, чтобы в глазах посторонних я оставался таким, каков я есть. Старина Тюилье, ты запишешь дом, который я тебе добуду, на имя Селесты, но без права пользования доходами.

— Это справедливо...

— Я не желаю, чтобы вы тратились,— продолжал Теодоз,— и пусть милая тетушка помнит об этом при подписании брачного договора. Все наличные деньги, которые у вас останутся, поместите в государственные бумаги и приобретите их на имя госпожи Тюилье, пусть она делает с ними что угодно. Я хочу, чтобы мы жили одной семьей; если я буду спокоен за свое будущее, то уж поверьте, сумею составить себе состояние!

— Это мне по душе! — вскричал Тюилье.— Вот речи порядочного человека.

— Позвольте мне запечатлеть на вашем лбу поцелуй, дитя мое,— сказала старая дева.— Но так как приданое все-таки необходимо, то мы дадим за Селестой шестьдесят тысяч франков.

— Они пойдут ей на наряды,— сказал ла Перад.

— Мы все трое — люди чести,— заявил Тюилье.— Все сказано, вы поможете нам довести до конца дело с

домом, потом мы совместно напишем мои политический труд, и вы добьетесь моего награждения орденом...

— Это так же надежно, как то, что к первому мая вы будете муниципальным советником! Но только, мой добрый друг, и вы, милая тетушка, храните наш договор в глубочайшей тайне и не обращайте внимания на клевету, жертвой которой я сделаюсь, как только те, которых я оставлю в дураках, обрушатся на меня... Ведь я, должен вас заранее предупредить, прослыву и проходимцем, и плутом, и опасным человеком, и иезуитом, и честолюбцем, и ловцом состояний... Сумеете ли вы сохранить спокойствие перед лицом подобных обвинений?

— Ни о чем не тревожьтесь,— ответила Бригитта.

С этого дня Тюилье сделался *добрым другом*. Так называл его Теодоз, причем голос его выражал столько оттенков нежности и любви, что Флавия только диву давалась. Но слова *«милая тетушка»*, так ласкавшие слух Бригитты, произносились лишь в семейном кругу Тюилье и только иногда — в присутствии Флавии; при посторонних Теодоз лишь изредка нашептывал их на ухо Бригитте. Деятельность, которую развили Теодоз, Дюток, Серизе, Барбе, Метивье, Минары, Фельоны, Лодижуа, Кольвиль, Прон, Барниоль и все их друзья, была поистине беспримерной. Люди и видные и малозаметные приложили руку к делу. Кадене завербовал в своем квартале тридцать голосов, причем за семерых избирателей, не знавших грамоты, он собственноручно заполнил бюллетени. Тридцатого апреля Тюилье был избран членом генерального совета департамента Сены подавляющим большинством голосов: лишь шестьдесят человек не голосовали за него. Первого мая Тюилье вместе с другими членами муниципалитета отправился в Тюильри поздравить короля с днем рождения; он возвратился оттуда сияющий. Подумать только: он вступил во дворец вслед за Минаром!

Десять дней спустя желтые афиши возвестили о продаже пресловутого дома, стоимость которого была определена в семьдесят пять тысяч франков; торги должны были состояться в конце июля. В связи с этим между Клапароном и Серизе произошла беседа, в ходе которой Серизе пообещал Клапарону, разумеется, на словах, сумму в пятнадцать тысяч франков, если тот сумеет добиться,

чтобы нотариус пропустил срок, когда можно повысить цену на дом. Мадемуазель Тюильe, предупрежденная Теодозом, полностью примкнула к этому тайному соглашению, поняв, что необходимо заплатить участникам низкого заговора. Деньги Серизе должен был передать достойный адвокат. Глубокой ночью Клапарон встретился на площади Обсерватуар со своим сообщником — нотариусом, чья контора по решению дисциплинарной палаты парижских нотариусов была уже назначена к продаже, но пока еще оставалась непроданной.

Этот нотариус, молодой человек, преемник Леопольда Аннекена, задумал обогатиться с головокружительной быстротой: он еще не потерял надежду на лучшее будущее и принимал все меры, чтобы его обеспечить. В этих видах он решил купить за десять тысяч франков возможность выйти незапятнанным из грязной аферы: деньги он обещал вручить Клапарону только после того, как фиктивный владелец дома подпишет дарственную на его, нотариуса, имя. Молодой человек знал, что сумма эта представляет собою весь капитал Клапарона, который должен послужить бедняге средством поправить дела; поэтому он был уверен в своем сообщнике.

— Кто еще в Париже способен заплатить мне такую огромную сумму в качестве комиссионного вознаграждения? — сказал Клапарон нотариусу.— Так что спите себе спокойно. Я подыщу на роль подставного лица человека порядочного, но недалекого, которому и в голову не придет подложить нам свинью. У меня на примете один отставной чиновник, вы ему дадите деньги для уплаты за дом, а он подпишет дарственную на ваше имя.

Когда стало ясно, что нотариус заплатит Клапарону не больше десяти тысяч, Серизе предложил своему бывшему компаньону двенадцать тысяч, потребовав с Теодоза пятнадцать; однако про себя Серизе решил, что Клапарону хватит и трех тысяч. Беседы, происходившие между этими четырьмя людьми, были одобрены прекраснодушными словами о высоких чувствах и неподкупной честности, заверениями в том, что те, кому суждено заниматься общими делами, должны помогать друг другу. Пока происходила вся эта подспудная деятельность в интересах Тюильe, которому Теодоз обо всем рассказывал, подчеркивая свое глубочайшее отвращение к столь низ-

ким интригам, оба приятеля обдумывали будущий великий труд *доброго друга;* мало-помалу член генерального совета департамента Сены проникся убеждением, что он никогда ничего бы не достиг без помощи гениального человека, чей ум приводил его в восхищение и чьи таланты поражали его. С каждым днем в душе Тюилье росло желание сделать Теодоза своим зятем. Поэтому начиная с мая месяца адвокат не реже четырех раз в неделю обедал в обществе своего *доброго друга.*

В эту пору Теодоз полновластно царил в семействе Тюилье, все друзья дома отзывались о нем с похвалой. И вот почему. Фельоны, слыша комплименты по адресу адвоката, на которые Бригитта и Тюилье не скупились, боялись вызвать неудовольствие этих важных особ, хотя комплименты порой казались им преувеличенными и неуместными. То же происходило и с Минарами. Впрочем, поведение ла Перада было безупречным, он обезоруживал самых подозрительных тем, что держал себя скромно и незаметно. В гостиной он не поднимал голоса, не вступал в разговоры, и Фельоны, как и Минары, решили, что Бригитта и Тюилье измерили и взвесили шансы Теодоза и нашли их слишком легковесными, а на него самого смотрели как на молодого человека, могущего при случае оказаться полезным.

— Бедняга надеется, что моя сестра упомянет его в завещании,— сказал однажды Тюилье Минару.— Он ее плохо знает.

Эта фраза, придуманная Теодозом, успокоила подозрительного Минара.

— Конечно, он нам очень предан,— заметила как-то старая дева, беседуя с Фельоном,— но ведь и он нам многим обязан: мы не берем с него за жилье, и он чуть ли не ежедневно обедает у нас...

Слова, сказанные старой девой по наущению Теодоза, стали достоянием всех семей, посещавших салон Тюилье, и рассеяли последние опасения насчет Теодоза; сам адвокат подтверждал суждения, высказанные Тюилье и его сестрой, ибо вел себя с подобострастием прихлебателя. За игрой в вист он поправлял промахи своего *доброго друга.* Когда Тюилье или его сестра изрекали какие-нибудь мещанские благоглупости, он улыбался с благоговейным и туповатым видом, достойным самой г-жи Тюилье.

Адвокат уверенно шел к цели, он совершенно спокойно относился к презрению соперников, они даже служили ему удобной ширмой. На протяжении четырех месяцев он напоминал змею, которая сохраняет полную неподвижность, медленно переваривая добычу. Вот почему он порою убегал в сад с Кольвилем или с Флавией, чтобы немного посмеяться, сбросить маску, отдохнуть от притворства и собраться с силами; его напряжение находило выход в нервических порывах страсти, обращенных к будущей теще, которую эти порывы одновременно пугали и трогали.

— Неужели вам не жаль меня?—спрашивал он Флавию накануне торгов, на которых Тюилье приобрел дом за семьдесят пять тысяч франков.— Такой человек, как я, должен ступать крадучись, точно кошка, глотать слетающие с языка эпиграммы, таить в себе желчь!.. И в довершение всего сносить ваши отказы!

— Друг мой, дитя мое!..— лепетала Флавия в полном отчаянии.

Эти восклицания, подобно термометру, указывают, до какого накала довел ловкий актер свою интрижку с Флавией. Бедная женщина разрывалась между голосом сердца и велениями морали, между требованиями религии и таинственным зовом страсти.

Между тем юный Феликс Фельон с преданностью и усердием, достойными высшей похвалы, давал уроки сыну Кольвиля; он не жалел времени, полагая, что действует в интересах своей будущей семьи. Чтобы как-то отблагодарить его за внимание, Кольвили по совету Теодоза каждый четверг приглашали преподавателя математики к обеду, в этот день у них неизменно обедал и адвокат. Флавия дарила Феликсу то вышитый ею кошелек, то домашние туфли, то портсигар, и молодой человек, вне себя от счастья, восклицал:

— Я и без того вознагражден, сударыня, той радостью, какую черпаю в сознании, что могу быть вам полезен...

— Мы не богаты, сударь,— отвечал Кольвиль,—но, черт побери, мы не хотим быть неблагодарными!

Старик Фельон довольно потирал руки, слушая рассказы сына, возвращавшегося с обедов у Кольвилей: он

уже видел своего дорогого, своего благородного Феликса супругом Селесты...

Однако чем больше Селеста любила Феликса, тем строже и сдержаннее она вела себя с ним; помимо всего прочего, это объяснялось тем, что однажды вечером мать, отчитав ее, сказала:

— Не подавайте никакой надежды сыну Фельона, дочь моя. Ни ваш отец, ни я не можем выдать вас замуж по собственному выбору, ведь не мы даем вам приданое. Вам надо думать не о том, чтобы понравиться преподавателю, у которого нет ни гроша за душой, а о том, чтобы упрочить ту привязанность, какую питают к вам мадемуазель Бригитта и ваш крестный отец. Если ты не хочешь убить свою мать, мой ангел, да, да, убить меня... то следуй, не рассуждая, моим советам и твердо помни, что мы прежде всего печемся о твоем счастье.

Как уже говорилось, торги были назначены на конец июля; за месяц до этого Теодоз посоветовал Бригитте привести в порядок денежные дела, и она продала все ценные бумаги, принадлежавшие ей самой и ее невестке. Все помнят вошедший в историю договор четырех держав, прозвучавший как оскорбительный вызов для Франции, но мы считаем уместным напомнить катастрофическое падение государственной ренты, имевшее место в июле — августе 1840 года и вызванное перспективой войны, развязать которую требовал господин Тьер; курс ренты упал на двадцать франков, и трехпроцентная рента шла по шестидесяти франков при номинальной цене в сто франков. Но это еще не все: финансовый крах оказал влияние на стоимость недвижимости в Париже, она упала в цене, и все те, кто продавал, вынуждены были отдавать дешевле. Эти события сделали Теодоза в глазах Бригитты и Тюилье истинным пророком, гениальным человеком. В конечном счете Тюилье стал владельцем дома, за который он заплатил на торгах семьдесят пять тысяч франков. Нотариус, чье положение еще больше пошатнулось в связи с политическим кризисом и чья контора была к тому времени уже продана, счел необходимым уехать на несколько дней из города, захватив с собой десять тысяч франков, предназначенных для Клапарона. По совету Теодоза Тюилье поручил Грендо закончить дом, что архитектор и сделал, полагая, что он по-прежнему работает на

нотариуса; все последнее время на постройке ничего не делалось, рабочие сидели сложа руки, и архитектор с тем большей охотой принялся заканчивать свое любимое детище.

За двадцать пять тысяч франков он покрыл позолотой четыре гостиных!.. Теодоз потребовал, чтобы в счетах вместо этой суммы была указана сумма в пятьдесят тысяч франков. Дом, приобретенный Тюилье, во много раз умножил его вес в обществе. Что касается нотариуса, то он совсем потерял голову перед лицом политических событий, обрушившихся на него, как гром среди ясного неба. Уверенный в своем будущем владычестве, черпая силу в сознании, что он оказал столько услуг, приобретая все большее влияние на Тюилье благодаря труду, который они вместе писали, пользуясь все возраставшим расположением Бригитты, которой нравилась сдержанность молодого человека, ни разу не упомянувшего о своих материальных затруднениях и даже не заикнувшегося о деньгах, Теодоз вел себя отныне менее подобострастно, чем раньше. Однажды Бригитта и Тюилье сказали ему:

— Ничто не может лишить вас нашего уважения, чувствуйте себя здесь, как дома. Мнение Минара и Фельона, которых вы почему-то побаиваетесь, интересует нас не больше, чем какая-нибудь строфа из стихотворения Виктора Гюго, а потому пусть себе болтают... Подымите голову!

— Эти люди еще нужны нам для избрания Тюилье в Палату депутатов,— ответил Теодоз.— Следуйте и впредь моим советам, ведь вы находите их разумными, не так ли? Когда дом будет окончательно принадлежать вам, станет ясным, что он достался чуть ли не даром, ибо вы сможете приобрести по шестидесяти франков стофранковую ренту, приносящую три процента дохода, на имя госпожи Тюилье и таким образом восстановить ее состояние в прежних размерах... Дождитесь только, пока кончится срок, во время которого заимодавцы имеют право повысить цену на дом, и держите наготове пятнадцать тысяч франков для наших мошенников.

Бригитта не стала ждать: она собрала все свои капиталы, за исключением суммы в сто двадцать тысяч франков, и, чтобы восстановить состояние невестки в

прежних размерах, приобрела на двести сорок тысяч франков трехпроцентную ренту на имя г-жи Тюилье. Рента эта приносила годовой доход в размере двенадцати тысяч франков; такую же ренту, приносившую десять тысяч франков дохода, она приобрела на свое имя, дав себе слово не заниматься больше столь хлопотливым делом, как учет векселей. Теперь ее брат, помимо пенсии, должен был располагать сорока тысячами франков дохода, г-жа Тюилье становилась обладательницей двенадцати тысяч франков ренты, а сама Бригитта — обладательницей восемнадцати тысяч франков ренты, что вместе составляло семьдесят тысяч франков годового дохода, не считая дома, где они жили, приносившего им еще восемь тысяч франков в год.

— Отныне мы стоим не меньше, чем Минары! — с торжеством заявила Бригитта.

— Еще рано праздновать победу,— заметил на это Теодоз,— льготный срок, во время которого можно повысить цену на дом, истекает лишь через неделю. Я все это время был занят вашими делами, а мои между тем пришли в полный упадок...

— Милый мальчик, у вас есть друзья! — воскликнула Бригитта.— И если вам нужны двадцать пять луидоров, можете получить их у нас в любую минуту!..

При этих словах Теодоз с улыбкой взглянул на Тюилье; тот поспешил увести адвоката в сад и сказал ему:

— Простите мою бедную сестру, она смотрит на мир сквозь кухонное окно... Если вам понадобится двадцать пять тысяч франков, я вам охотно одолжу их... из первых поступлений арендной платы от жильцов нового дома,— прибавил он.

— Тюилье, петля вокруг моей шеи затягивается! — воскликнул Теодоз.— С тех пор, как я стал адвокатом, я должен по векселям... Однако *тише!*..— прибавил Теодоз, испуганный тем, что выдал свою тайну.—Я в руках негодяев... Но я хочу их проучить...

Теодоз неспроста открыл свой секрет Тюилье, тому были две причины: он хотел испытать Тюилье и одновременно предупредить ужасный удар в спину, который могли ему нанести сообщники в мрачной и скрытой борьбе, завязавшейся между ними. Вот несколько слов,

объясняющих, в каком тяжелом положении оказался адвокат.

Несколько лет назад Теодоз дошел до последнего предела нищеты, одежда его превратилась в лохмотья, и он лежал в постели, в нетопленной мансарде, где его навещал лишь Серизе. На юноше была последняя рубаха. Три дня подряд он питался одним только черствым хлебом, нарезая его тонкими ломтиками, и с отчаянием спрашивал себя: «Что ж делать дальше?» В это самое время и вышел из тюрьмы его покровитель, получивший помилование. Здесь незачем говорить о планах, которые строили два этих человека при отблесках пламени от горевших в камине дров; у одного из приятелей не было на плечах ничего, кроме одеяла, да и то принадлежало хозяйке, у другого — не было за душой ничего, кроме низменных расчетов. На следующее утро Серизе, успевший повидаться с Дютоком, явился к Теодозу с панталонами, жилетом, сюртуком, шляпой и сапогами, купленными в Тампле, и повез молодого человека обедать. Провансалец, очутившись в ресторане Пенсон, на улице Ансьен-Комеди, в мгновение ока проглотил полобеда, стоившего сорок семь франков. За десертом, между двумя бокалами вина, Серизе сказал своему приятелю:

— Если ты подпишешь векселя на пятьдесят тысяч франков, я сделаю тебя адвокатом.

— Тебе потребуется на это не больше пяти тысяч франков,— возразил Теодоз.

— Ну, это уж тебя не касается, ты заплатишь пятьдесят тысяч — таков размер вознаграждения, которое господин, угощающий тебя сегодня царским обедом, и я хотим получить за то, чтобы устроить тебе выгодное дельце: ничем не рискуя, ты станешь адвокатом, приобретешь прекрасную клиентуру и получишь руку юной девицы с годовым доходом в двадцать, а то и в тридцать тысяч франков. Ни Дюток, ни я не можем на ней жениться, поэтому мы и решили одеть тебя, кормить, платить за твое жилье, обставить кабинет — словом, придать тебе вид порядочного человека... Но мы хотим иметь надежные гарантии. Дело, конечно, не во мне, я-то тебя хорошо знаю, но человек, по моей просьбе принявший в тебе участие... Мы снаряжаем тебя в поход, и потому

тебе придется подписать векселя, причем на предъявителя. Если это приданое от нас ускользнет, придумаем что-нибудь еще... В конце концов, над нами не каплет... Мы дадим тебе подробные указания, в таком деле торопиться не следует, как говорят: тише едешь — дальше будешь!.. Вот тебе гербовая бумага...

— Человек, перо и чернила! — крикнул Теодоз.

— Люблю таких молодцов! — вырвалось у Дютока.

— Подписывай: «Теодоз де ла Перад» — и укажи: «Адвокат, улица Сен-Доминик-д'Анфер» — вот тут, возле слов: *«Принимается к оплате в размере десяти тысяч»*. Мы сами проставим дату и предъявим иск, разумеется, без огласки, чтобы получить приказ о твоем задержании. Судовладельцы должны надежно обеспечить свои интересы, коль скоро бриг и его капитан находятся в море.

На следующий день после принятия Теодоза в корпорацию адвокатов пристав мирового суда по просьбе Серизе предъявил иск Теодозу, сделав это без огласки; он явился к адвокату поздно вечером, так что его никто не видел, и все было сделано по форме. Коммерческий суд выносит сотни подобных определений. Дело в том, что устав корпорации парижских адвокатов отличается необыкновенной суровостью. Корпорация адвокатов, как и корпорация поверенных, требует строгой дисциплины от своих членов. Достаточно какому-нибудь адвокату влезть в долги, угрожающие ему тюрьмой Клиши, и он будет немедленно исключен из списков адвокатуры. Поэтому Серизе по совету Дютока и принял против их подставного лица эти меры, которые надежно обеспечивали обоим сообщникам по двадцать пять тысяч франков из приданого Селесты. Подписывая векселя, Теодоз думал только о том, что отныне его существование будет обеспечено и он получит доступ к деятельности адвоката, но по мере того, как горизонт перед ним прояснялся, по мере того, как, успешно справляясь со своей ролью, он поднимался вверх по ступенькам социальной лестницы, молодой человек мечтал как можно скорее освободиться от своих компаньонов. И теперь, попросив у Тюилье двадцать пять тысяч франков, он надеялся сговориться с Серизе и выкупить за полцены свои векселя.

К величайшему сожалению, такого рода низменные

сделки вовсе не редкость. Они сплошь да рядом происходят в Париже, принимая различные формы, и историк, стремящийся нарисовать точную и полную картину общества, не может их обойти. Дюток, закоренелый развратник, все еще должен был двадцать тысяч франков за свою должность и, надеясь на успех задуманного плана, уповал, по его собственному выражению, разделаться с долгами к концу 1840 года. До сих пор ни один из сообщников еще ничем не нарушил соглашения. Каждый сознавал собственную силу и угадывал размеры опасности. Поэтому все трое в равной мере испытывали недоверие друг к другу, шпионили один за другим, старательно подчеркивали доверие, якобы царившее между ними; их настороженность выдавали только мрачные взгляды и угрюмое молчание, возникавшее в те дни, когда взаимное подозрение сквозило в словах и жестах. Но за последние два месяца позиции Теодоза необыкновенно усилились и напоминали теперь укрепленный форт. Дюток и Серизе, однако, продолжали занимать подземный ход, который вел к этой крепости; они держали там бочки с порохом и постоянно горящий фитиль; достаточно было дуновения ветра, и пороховой погреб, а вместе с ним и форт взлетели бы на воздух.

Как известно, хищные звери настроены особенно свирепо в те минуты, когда они набрасываются на добычу, и такая минута приближалась для трех изголодавшихся тигров. Порою Серизе бросал на Теодоза яростные взгляды, подобные тем, какие дважды на протяжении этого столетия народ бросал на монархов; взгляды эти говорили: «Я сделал тебя королем, а сам пребываю в ничтожестве... Ибо тот, кто не владеет всем, ничем не владеет».

Зависть с неудержимой силой охватила душу Серизе. Дюток целиком находился во власти разбогатевшего экспедитора. Теодоз охотно развел бы костер, чтобы сжечь на нем векселя своих компаньонов, а заодно и их самих. Все трое так старательно скрывали свои мысли, что в конечном счете они именно поэтому становились явными. Теодоз испытывал все муки ада, думая о козырях противников, о возможном исходе игры и о своем будущем! Признание, которое он сделал Тюилье, было исторгнуто отчаянием; он измерил лотом глубину души

этого буржуа и не нашел там ничего, кроме двадцати пяти тысяч франков.

«Надо продержаться еще месяц,— сказал он себе, возвратившись домой,— а потом видно будет!»

Он ощутил, как в нем поднимается ненависть к семейству Тюилье. Теодоз теперь безраздельно властвовал над красавцем времен Империи: роль гарпуна, вонзившегося в этого кита мелкой буржуазии, сыграл труд, озаглавленный *«О налогах и погашении долгов»*, над которым совместно работали ла Перад и Тюилье; труд этот необыкновенно льстил самолюбию Жерома. Теодоз излагал в нем идеи, почерпнутые им в органе последователей Сен-Симона «Глоб»; он привел их в систему и расцветил своим красочным и выразительным стилем южанина. Практический опыт Тюилье немало помог адвокату. Играя на тщеславии глупца, этой необыкновенной чувствительной струне, он решил, пользуясь сим более чем скромным оружием, окончательно покорить своего покровителя. Как известно, характеры у людей разные: одних можно уподобить граниту, других — глине...

Поразмыслив, Теодоз пришел к заключению, что его признание — правильный шаг.

«Увидя, что я забочусь о его состоянии и возвращаю ему пятнадцать тысяч франков, хотя сам жестоко нуждаюсь в деньгах,— решил адвокат,— Тюилье будет смотреть на меня, как на воплощение честности».

Вот каким образом Клапарон и Серизе одурачили нотариуса в канун того дня, когда истекал срок, в течение которого можно было набавить цену на дом. Клапарон показал Серизе убежище нотариуса и сообщил ему пароль. Явившись туда, Серизе сказал:

— Один из моих друзей, Клапарон, которого вы хорошо знаете, попросил меня посетить вас. Послезавтра он ждет вас вечером в условленном месте с десятью тысячами франков. Бумага, нужная вам, уже готова, но я хочу присутствовать при том, как вы вручите ему деньги, ибо он мне должен пять тысяч франков... Предупреждаю вас, милостивый государь, что имя в дарственной еще не проставлено.

— Я буду вовремя,— пообещал бывший нотариус.

Незадачливый плут ждал до восхода солнца, и один из кредиторов, которому Серизе открыл его убежище с

условием, что тот отдаст ему половину полученного долга, задержал нотариуса и взыскал с него шесть тысяч франков.

— Вот и тысяча экю,— пробормотал Серизе,— на них-то мы снарядим в путь Клапарона.

После этого Серизе снова направился к нотариусу и сказал ему:

— Сударь, Клапарон оказался негодяем! Он получил пятнадцать тысяч франков от человека, который купил дом и собирается оставить его за собой. Пригрозите, что вы откроете кредиторам место, где он скрывается, и обвините его в злостном банкротстве, тогда Клапарон отдаст вам половину.

Пришедший в ярость нотариус написал грозное письмо Клапарону. Тот смертельно перепугался ареста и пришел в полное смятение. Серизе взялся достать ему заграничный паспорт.

— Ты меня немало дурачил, Клапарон,— сказал ему Серизе,— но я лучше тебя. Слушай же: у меня есть всего-навсего тысяча экю... И я их дам тебе! Уезжай в Америку, попробуй там сколотить себе состояние, подобно тому, как я пытаюсь сделать это тут...

В тот же вечер Клапарон с помощью Серизе нарядился старухой и уехал дилижансом в Гавр. Серизе уже видел себя хозяином пятнадцати тысяч франков, которые Теодоз должен был уплатить Клапарону, и спокойно, не торопясь, поджидал адвоката. Экспедитор, человек поистине редкого ума, договорился по совету Дютока с одним из заимодавцев, обладателем векселей всего лишь на сумму в две тысячи франков, что тот в нужную минуту выступит с требованием повысить цену на проданный дом. Серизе рассчитывал получить дополнительно еще семь тысяч франков; они были нужны ему, чтобы осуществить точно такую же деловую операцию, какую осуществил Тюилье; мысль о ней подал совершенно растерявшийся от неожиданной беды Клапарон. Речь шла о доме на улице Жофруа-Мари, который продавался за шестьдесят тысяч франков. Вдова Пуаре давала Серизе десять тысяч франков, столько же предлагал ему торговец вином, не считая векселей на такую же сумму. Эти тридцать тысяч франков вместе с шестью тысячами франков, которыми располагал Серизе, и с теми

деньгами, которые он рассчитывал получить, позволяли ему попытать счастье, тем более, что он надеялся в скором времени получить от Теодоза двадцать пять тысяч франков по векселям.

«Срок, во время которого можно было добиваться надбавки на продажную цену дома, прошел,— думал Теодоз, направляясь к Дютоку, чтобы попросить того вызвать Серизе.— Не попробовать ли мне освободиться от моей пиявки?»

— Вам придется потолковать об этом деле на дому у Серизе; ведь Клапарон скрывается у него,— ответил Дюток.

Вот почему Теодоз отправился между семью и восемью часами в логово банкира бедняков; письмоводитель еще утром предупредил того о предстоящем визите человека, на которого оба они сделали ставку.

Серизе принял ла Перада в отвратительной кухне, где приготовлялось дьявольское варево из человеческих невзгод и страданий; расхаживая по комнате, как два хищника в клетке, приятели вели такую беседу:

— Ты принес пятнадцать тысяч франков?

— Нет, но они уже у меня дома.

— А почему не в кармане? — язвительно спросил Серизе.

— Сейчас узнаешь,— ответил адвокат, успевший по пути с улицы Сен-Доминик на улицу Эстрапад принять решение.

Провансальца, которого компаньоны поджаривали на медленном огне, осенила спасительная мысль; она словно возникла в отблесках пламени. Опасность порою рождает озарения. Адвокат верил в силу откровенности, зная, что она не оставляет равнодушным никого, даже плута. Человек почти всегда проникается уважением к своему противнику, если тот, участвуя в дуэли, обнажает себя до пояса.

— Отлично! — сказал Серизе.— Начинаются обычные фокусы...

Он пробормотал эту фразу себе под нос, отчего она прозвучала еще более грозно.

— Ты создал мне великолепное положение, и я этого никогда не забуду, друг мой,—продолжал Теодоз прочувствованным голосом.

«Мелкие буржуа».

«Мелкие буржуа».

— Что-то ты сегодня больно учтив! — проворчал Серизе.

— Послушай, надеюсь, ты не сомневаешься в искренности моих намерений?

— Напротив, весьма сомневаюсь! — ответил ростовщик.

— Быть того не может.

— Я вижу, ты не хочешь выпустить из рук пятнадцать тысяч...

Теодоз пожал плечами и пристально посмотрел на Серизе, который, дивясь поведению своего подопечного, хранил молчание.

— Если бы ты был в моей шкуре и постоянно жил под наведенным на тебя дулом ружья, разве тебе не хотелось бы покончить с таким положением?.. Слушай внимательно. Ты занимаешься рискованным промыслом, и тебе небесполезно заручиться надежной поддержкой в судебном мире Парижа... Шествуя по своей стезе, я рассчитываю года через три стать помощником королевского прокурора или адвокатом королевского суда... Сегодня я предлагаю самую преданную дружбу, она тебе безусловно пригодится, а позднее я обещаю добиться для тебя выгодной должности. Вот мои условия...

— Ты еще ставишь условия! — крикнул Серизе.

— Через десять минут я принесу тебе двадцать пять тысяч франков, а ты возвратишь мне векселя...

— А Дюток? А Клапарон? — вырвалось у Серизе.

— Что тебе до них?..— шепнул Теодоз на ухо своему дружку.

— Мило! — протянул Серизе.— И ты предлагаешь мне этот жульнический трюк, чтобы заодно прикарманить пятнадцать тысяч франков, которые тебе не принадлежат!..

— Ведь я прибавляю к ним еще десять тысяч... К тому же мы отлично знаем друг друга...

— Если ты смог вытянуть десять тысяч франков у своих буржуа,— быстро сказал Серизе,— тебе никто не мешает потребовать у них двадцать... За тридцать тысяч я согласен вступить с тобою в сговор... Откровенность за откровенность.

— Ты требуешь невозможного! — воскликнул Теодоз.— Кстати, если бы ты имел дело не со мной, а, ска-

жем, с Клапароном, то твои пятнадцать тысяч франков приказали бы долго жить; ведь дом-то уже принадлежит Тюилье...

— Пойду скажу ему об этом,— ответил Серизе, направляясь в комнату, которую Клапарон покинул за десять минут до прихода Теодоза, нарядившись в женское платье.

Противники, как понимает читатель, говорили вполголоса, и если у Теодоза порою вырывалось громкое восклицание, Серизе жестом давал понять адвокату, что Клапарон может их услышать. Минут пять Теодоз напряженно прислушивался к бормотанию двух мужских голосов, испытывая жестокую тревогу: ведь ставкой в игре была его жизнь. Наконец Серизе спустился и подошел к своему компаньону; на устах его играла улыбка, глаза светились адским коварством, на лице была написана радость, которая могла испугать самого Люцифера.

— Не понимаю, что произошло! — проговорил он, пожимая плечами.— Но, оказывается, Клапарон — стреляный воробей, недаром он имел дело с крупными банкирами. Не успел я передать ему твои слова, как он расхохотался и сказал: «Я этого ожидал!..» И тебе придется завтра принести мне двадцать пять тысяч франков, о которых ты говорил, дружок, причем векселя останутся у меня.

— Это еще почему?..— пробормотал Теодоз, испытывая непередаваемое ощущение в спине, словно сквозь его позвоночник пропустили электрический ток.

— Дом принадлежит нам! — выпалил Серизе.

— Каким образом?

— Клапарон потребовал повышения продажной цены от имени некоего десятника, одного из заимодавцев: этого малого зовут Совенью. По его поручению поверенный Дерош вчинил иск, и завтра утром вы получите уведомление... Это дело стоящее; Клапарон, Дюток и я, пожалуй, сложимся и сами купим дом... Что бы я делал без Клапарона? Мне пришлось забыть старые обиды... Да, да, я все простил ему, ты даже не поверишь, дружище, я обнял его! Так что тебе придется изменить свои условия...

Последняя фраза прозвучала особенно страшно, потому что Серизе сопроводил ее ужасной гримасой; он не

отказал себе в удовольствии разыграть сцену из «Единственного наследника», не переставая наблюдать за поведением провансальца.

— О Серизе! — воскликнул Теодоз.— А я-то желал тебе добра!

— Говоря между нами, мой милый, ты этого заслужил!..

И Серизе ударил себя в грудь:

— У тебя нет сердца! С тех пор, как ты решил, что взял над нами верх, ты пытаешься нас раздавить... Я тебя вытащил из грязи, спас от голода! Ты подыхал, как последний болван... Мы проложили тебе путь к богатству, создали тебе прекрасное положение в обществе, ввели в дом, где есть богатая невеста... А как ты нам отплатил? Отныне я тебя знаю, и мы всегда будем начеку.

— Значит, война? — спросил Теодоз.

— Ты первый открыл стрельбу,— ответил Серизе.

— Но если вы меня уничтожите, плакали ваши денежки! А если вам это не удастся, вы приобретете в моем лице врага!..

— Ты повторяешь слова, которые я говорил вчера Дютоку,— холодно сказал Серизе.— Но ничего не поделаешь, у нас нет иного выбора... Приходится действовать сообразно обстоятельствам... Однако я добрый малый,— продолжал он после паузы,— принеси мне завтра в девять утра двадцать пять тысяч франков, и Тюилье сохранит дом... Мы будем по-прежнему служить тебе верой и правдой, а ты в свое время с нами расплатишься... Ну, разве это не благородно, мой милый, после всего, что сейчас произошло?..

И Серизе похлопал Теодоза по плечу с циничным добродушием, куда более унизительным, чем клеймо палача.

— Хорошо, но дай мне срок до полудня,— ответил провансалец,— ибо, как ты любишь говорить, дело требует времени!

— Попробую уговорить Клапарона. Этот человек ужасно нетерпелив!

— Итак, до завтра! — проговорил Теодоз с видом человека, принявшего решение.

— До свиданья, дружище,— протянул Серизе, гнуса-

вя так, что прекрасное слово «до свиданья» прозвучало, в его устах, как брань.

«Ну, он, кажется, готов, эк его качает!» — подумал Серизе, следя из окна за Теодозом, который шел по улице как потерянный.

Свернув на улицу Пост, адвокат быстрым шагом направился к дому г-жи Кольвиль; он был чрезвычайно возбужден и время от времени разговаривал сам с собой. Сильное волнение и пожиравшая его, как огонь, тревога, знакомая многим парижанам, ибо положение, в котором оказался Теодоз,— отнюдь не редкость в Париже, привели молодого человека в состояние одержимости; он испытывал непреодолимую потребность выражать свои чувства вслух. Небольшая подробность наглядно объясняет такого рода состояние. Достигнув места, где скрещиваются улица Сен-Жак дю О-Па и маленькая улочка Дез-Эглиз, ла Перад воскликнул:

— Я убью его!..

— Малый, видать, чем-то недоволен! — заметил проходивший мимо рабочий.

И эта шутка, словно чудом, погасила адское пламя, терзавшее душу Теодоза.

Выйдя от Серизе, он решил во всем признаться Флавии и довериться ей. Многие южане таковы: они сохраняют присутствие духа до определенного мгновения, а потом разом приходят в уныние. Он вошел в дом Кольвиля. Флавия была одна в комнате. Взглянув на Теодоза, она испугалась, решив, что он сейчас либо силой овладеет ею, либо убьет.

— Что с вами? — вскричала она.

— Я...— пробормотал он.— Любите ли вы меня, Флавия?

— Как вы можете в этом сомневаться?

— Любите ли вы меня беззаветно? Не перестанете ли вы любить меня, даже если я окажусь преступником?

«Неужели он кого-нибудь убил?» — подумала Флавия.

Она ничего не ответила Теодозу и лишь утвердительно кивнула головой.

Молодой адвокат почувствовал острую радость, какую чувствует утопающий, ухватившийся в последнюю

минуту за ветвь плакучей ивы; вскочив со стула, он бросился к дивану, на котором сидела Флавия, и, содрогаясь от рыданий, способных тронуть сердце старого судьи, оросил слезами руки Флавии.

— Меня ни для кого нет дома! — сказала г-жа Кольвиль горничной.

Закрыв дверь, она возвратилась к Теодозу, испытывая прилив материнской нежности. Сын Прованса лежал, растянувшись на диване, и плакал, зарывшись головой в подушку. В руках у него был платок; когда Флавия взяла этот платок в руки, он был мокрым от слез.

— Что случилось? Что с вами? — спросила она.

Натура — величайший из актеров — сослужила отличную службу Теодозу. Он больше не играл роль, он был теперь самим собой, и его слезы, нервический припадок, как нельзя лучше увенчали комедию, которую он дотоле разыгрывал.

— Вы просто дитя! — проговорила Флавия нежным голосом, перебирая волосы Теодоза и с радостью замечая, как высыхают его глаза.

— Только вы одна существуете для меня в целом свете! — воскликнул он, покрывая страстными поцелуями руки Флавии.— И если вы останетесь со мной, если вы будете для меня тем, чем служит душа для тела и тело для души,— прибавил он, постепенно приходя в себя и с нежностью глядя на нее,— в таком случае я опять обрету утраченное мужество.

Он встал и прошелся по комнате.

— О да, я снова ринусь в бой, я, как Антей, вновь почерпну силы, прильнув к своей матери, я задушу собственными руками гадюк, что обвились вокруг меня! Они дарят меня змеиными поцелуями, они увлажняют мои щеки ядовитой слюной, они жаждут моей крови, моей чести! О горькая нищета!.. Сколь велик тот, кто встречает ее, не сгибаясь, высоко подняв голову!.. Лучше бы я умер от голода на своем жалком ложе три года назад!.. Гроб кажется мне пуховой периной в сравнении с той жизнью, какую я сейчас веду!.. Вот уже полтора года, как я *вкусил от жизни буржуа!*.. И в ту самую минуту, когда я стою на пороге почетного и счастливого существования, на пороге блестящего будущего, когда я уже

усаживаюсь за пиршественный стол, палач ударяет меня по плечу... Да, этот изверг ударил меня по плечу и прохрипел мне на ухо: «Уплати десятину дьяволу или погибни!..» И он думает, что я не сокрушу его... Что я не раздеру ему пасть, не выпущу из него кишки! Да, именно так я и поступлю! Взгляните, Флавия, высохли у меня глаза? Отлично, теперь я вновь смеюсь, я чувствую свою силу, я опять обретаю прежнюю мощь... О, скажите, что вы меня любите... Повторите еще раз! Эти слова прозвучат для меня как весть о помиловании для приговоренного к смерти.

— Вы просто ужасны, друг мой!..— прошептала Флавия.— Вы довели меня до изнеможения.

Несчастная женщина ничего не понимала, в полуобморочном состоянии она без сил опустилась на диван, потрясенная видом и речами Теодоза.

Молодой человек упал на колени.

— О, простите... простите! — проговорил он.

— Но что все-таки с вами произошло? — спросила Флавия.

— Меня хотят погубить. Подтвердите же свое обещание отдать за меня Селесту, и вы увидите, какую великолепную жизнь я создам для нее и для вас!.. А если вы колеблетесь, ну что ж, тогда вы станете моей, и немедля!..

Весь его вид говорил о такой отчаянной решимости, что Флавия в испуге вскочила с дивана и принялась ходить по комнате...

— О мой ангел-хранитель! Коленопреклоненный, я обращаюсь к тебе... Какое чудо! Теперь я вижу, что господь за меня! На меня снизошло озарение. Меня осенила великая мысль!.. О, благодарю тебя, мой добрый ангел-хранитель, великий Теодоз! Ты спас меня!

Флавия с восхищением смотрела на этого хамелеона: опустившись на одно колено, скрестив руки на груди, воздев очи горé, охваченный религиозным экстазом, он читал молитву, он был в ту минуту самым ревностным католиком и с благоговением осенял себя крестом. Зрелище было не менее величественное, чем картина, изображающая причастие святого Иеронима.

— Прощайте! — сказал он ей голосом, в котором прозвучала чарующая меланхолия.

— О, прошу вас, оставьте мне этот платок! — воскликнула Флавия.

Теодоз, как безумный, сбежал по лестнице, выскочил на улицу и быстрым шагом направился к Тюилье; внезапно он обернулся, увидел Флавию в окне и с победным видом помахал ей рукой.

— Какой человек! — прошептала она...

— Добрый друг,— сказал Теодоз спокойным, мягким, чуть вкрадчивым голосом, глядя в глаза Тюилье,— мы в руках ужасных мошенников. Но я преподам им небольшой урок.

— Что произошло? — всполошилась Бригитта.

— Дело в том, что они требуют двадцать пять тысяч франков в уплату за то, чтобы вас признали законными владельцами дома. Оказывается, нотариус и его сообщники сделали заявление о повышении цены. Тюилье, захватите с собою пять тысяч франков и поедем со мной, я добьюсь того, что дом будет вашим... Я наживу себе беспощадных врагов!— воскликнул адвокат.— Они попытаются погубить меня в глазах общества. Я прошу лишь об одном: будьте глухи к их низкой клевете, не меняйте отношения ко мне. В конце концов какое мне дело до их нападок! Если мне удастся осуществить свой план, дом обойдется вам в сто двадцать пять тысяч франков вместо ста двадцати тысяч, вот и все.

— А это не может повториться? — с тревогой спросила Бригитта, у которой от страха округлились глаза.

— Надбавку могут предложить только должным образом зарегистрированные заимодавцы, своим правом воспользовался лишь один из них, так что мы можем быть спокойны. У этого человека вексель всего на две тысячи франков, но придется щедро заплатить поверенным и дать заимодавцу тысячу франков отступного.

— Ступай, Тюилье,— сказала Бригитта,— надень шляпу, перчатки, а деньги возьми в известном тебе месте...

— Так как меня постигла неудача с пятнадцатью тысячами франков, то я не хочу прикасаться к этим деньгам... Пусть Тюилье сам заплатит,— сказал Теодоз, оставшись вдвоем с Бригиттой.— Вы заработали двадцать тысяч франков на сделке с Грендо, он думал, что работает на нотариуса. Отныне вы владельцы дома, кото-

рый через пять лет будет стоить миллион. Ведь он расположен в конце бульвара!

Бригитта настороженно слушала, напоминая кошку, почуявшую мышей под полом. Она глядела в глаза Теодозу и, несмотря на справедливость его слов, испытывала недоверие.

— Что с вами, милая тетушка?

— О, я буду смертельно тревожиться, пока мы наконец не станем владельцами этого дома...

— Ведь вы охотно уплатили бы двадцать тысяч франков, чтобы Тюильe сделался, как выражаемся мы, юристы, бесспорным его владельцем? Не правда ли?— спросил Теодоз.— Так вот, не забывайте, что я уже второй раз добываю для вас это богатство...

— Куда мы направляемся? — спросил Тюильe.

— К господину Годешалю! Он будет нашим поверенным...

— Но ведь мы отказали ему в руке Селесты!—вскричала старая дева.

— Именно по этой причине мы и направляемся к нему,— отвечал Теодоз.— Я хорошо изучил его. Это человек чести, и он сочтет себя обязанным оказать вам услугу.

Годешаль, преемник Дервиля, был на протяжении десяти лет старшим письмоводителем у Дероша. Ла Пераду было известно это обстоятельство; имя Годешаля ему подсказал какой-то внутренний голос в минуту, когда он предавался отчаянию, и молодой человек увидел возможность выбить из рук Клапарона оружие, которым ему, Теодозу, угрожал Серизе. Раньше всего адвокату требовалось для этого проникнуть в кабинет Дероша, чтобы с его помощью разобраться в положении своих противников. И один только Годешаль, в силу близости, существующей между письмоводителем и его патроном, мог послужить проводником ла Пераду.

В Париже поверенные, если их связывают такие тесные узы, какие связывали Годешаля и Дероша, живут в полном согласии, и это позволяет им с необыкновенной легкостью полюбовно улаживать те дела, которые можно таким путем уладить. Они добиваются друг от друга взаимных уступок, руководствуясь поговоркой: «*Уступи мне, и я тебе уступлю*», или «*Долг платежом кра-*

сен». Как известно, этим же принципом руководствуются люди различных профессий, начиная с министров и генералов и кончая судьями и коммерсантами, так поступают всюду, где вражда не воздвигает непреодолимых барьеров между различными партиями.

«Соглашаясь на эту сделку, я получаю солидный гонорар» — вот мысль, которую даже не надо выражать словами, она становится понятной благодаря жесту, интонации, взгляду. А так как поверенные постоянно оказываются в сходных обстоятельствах, они с полуслова понимают друг друга и быстро приходят к соглашению. Противовесом этим взаимным дружеским услугам служит то, что можно было бы назвать *«профессиональной честностью»*. Общество не подвергает сомнению слова поверенного, подобно тому как оно не подвергает сомнению слова практикующего врача, когда тот говорит: «В этом лекарстве содержится мышьяк». Никакие соображения не могут одержать верх над самолюбием актера, над честностью законоведа, над независимостью общественного деятеля. Вот почему поверенный в Париже с одинаковым добродушием заявляет: «Нет, тут ничего не поделаешь, мой клиент вне себя от ярости» — или: «Ну что ж, поживем — увидим...»

Ла Перад, человек проницательный, недаром провел столько времени во Дворце Правосудия: он отлично изучил нравы жрецов судопроизводства и понимал, что они помогут ему в осуществлении его планов.

— Оставайтесь в экипаже,— сказал он Тюилье, когда они въехали на улицу Вивьен, где помещалась контора Годешаля, в которой поверенный в свое время начинал карьеру как письмоводитель,— вы пойдете к нему лишь в том случае, если он возьмется за наше дело.

Было одиннадцать часов вечера, и ла Перад, надеявшийся, что новоиспеченный поверенный все еще работает в столь поздний час у себя в конторе, не обманулся в своих расчетах.

— Чему я обязан визитом адвоката? — спросил Годешаль, идя навстречу ла Пераду.

Иностранцы, провинциалы, светские люди, быть может, не знают, что отношения адвокатов и поверенных во многом напоминают отношения генералов и старших офицеров; существует четкая линия водораздела между

корпорацией адвокатов и корпорацией поверенных города Парижа, и она строго соблюдается. Каким бы уважением ни пользовался поверенный, как бы талантлив он ни был, полагается, чтобы он посещал адвоката. Поверенный — это штабной офицер, он намечает план кампании, обеспечивает армию боевыми припасами, подготавливает наступление, адвокат же ведет битву. Тот, кто объяснит, почему в силу закона клиент должен иметь дело с двумя юридическими лицами вместо одного, объяснит, вероятно, и то, почему автору приходится иметь дело и с книгоиздателем и с книгопродавцем. Устав корпорации адвокатов запрещает своим членам составлять какие бы то ни было бумаги, относящиеся к компетенции поверенных. Очень редко наблюдается, что крупный адвокат посещает контору поверенного, обычно он видится с ним во Дворце Правосудия; однако в мире нет правил без исключений, и некоторые адвокаты, особенно люди типа ла Перада, отступают от традиций и сами иногда являются к поверенным. Но даже такие случаи происходят не часто и объясняются обычно тем, что вопрос не терпит отлагательства.

— Не скрою, речь идет о серьезном деле, и к тому же весьма щепетильном, нам лучше всего решить его вдвоем,— сказал ла Перад.— Внизу, у ваших дверей, в экипаже сидит Тюилье, и я прихожу к вам не в качестве адвоката, а в качестве его друга. Один только вы в силах оказать ему огромную услугу, и я заверил его, что вы, как человек благородной души, ибо недаром же вы стали преемником великого Дервиля, охотно предоставите в его распоряжение все свои способности. Вот в чем суть дела.

Изложив в выгодном свете все, что произошло, рассказав о происках Серизе, на которые следовало ответить ловким ударом, адвокат постарался расположить к себе поверенного правдивостью, ибо, как известно, большинство клиентов говорит неправду, и наметил собственный план кампании.

— Мой дорогой мэтр, хорошо бы вам еще сегодня вечером повидаться с Дерошем, уведомить его обо всех этих кознях и попросить, чтобы он пригласил к себе завтра утром своего клиента, этого Совенью. Мы втроем исповедуем пройдоху, и если он согласится получить, по-

мимо уплаты долга, еще и тысячу франков в придачу, мы ее дадим, не считая пятисот франков гонорара для вас и такой же суммы для Дероша. Эти деньги Тюилье уплатит, если Совенью завтра в десять утра согласится взять иск обратно... Чего хочет Совенью? Вернуть свои деньги? Ну что ж, ни один десятник не устоит перед соблазном прикарманить тысячу франков, даже если он служит орудием каких-либо алчных дельцов. Пусть он потом объясняется с сообщниками как знает, нас это мало касается... Прошу вас, помогите семейству Тюилье...

— Я тотчас же направлюсь к Дерошу,— сказал Годешаль.

— Нет, пусть сначала Тюилье подпишет доверенность на ваше имя и внесет пять тысяч франков. В таких случаях деньги, как говорится, кладут на бочку...

После короткой беседы, во время которой Тюилье долго мялся, ла Перад усадил Годешаля в экипаж и отвез его на улицу Бетизи к Дерошу, убедив поверенного, что это им по пути, так как они едут на улицу Сен-Доминик; попрощавшись с Годешалем у дома Дероша, адвокат условился с ним о встрече в семь часов утра на следующий день.

Будущее и богатство де ла Перада зависели теперь от успеха переговоров между двумя поверенными и клиентом. Вот почему не следует удивляться, что молодой человек, нарушив устав корпорации адвокатов, решил явиться в контору Дероша, чтобы встретиться там с Совенью и принять участие в битве; его даже не испугала опасность, какой он подвергал себя, представая перед глазами самого грозного поверенного во всем Париже.

Войдя в контору, он поздоровался со всеми и внимательно оглядел Совенью. То был, как Теодоз уже догадался по его имени, марселец, десятник, занимавший промежуточное положение между рабочими и подрядчиком строительных работ. Его роль состояла в том, чтобы наблюдать за ходом этих работ. Доход подрядчика складывается из разницы между суммой, которую он получает от заказчика, и суммой, которую он уплачивает десятнику за строительные материалы и рабочую силу.

Когда подрядчик обанкротился, Совенью подал иск в коммерческий суд и был признан одним из кредиторов со внесением в список. Этот иск был одним из послед-

них эпизодов краха дельцов, возводивших дома возле церкви Мадлен.

Совенью, низенький, коренастый человек, одетый в блузу из серого холста, с фуражкой на голове, сидел в кресле. Перед ним на письменном столе Дероша лежали три кредитных билета по тысяче франков каждый: ла Перад сразу понял, что переговоры уже происходили и поверенные потерпели неудачу. Годешаль выразительно посмотрел на адвоката бедняков, а Дерош бросил на него острый взгляд, который можно сравнить разве только с ударом заостренной мотыги, вонзающейся в рыхлую землю. Сознание опасности пришпорило провансальца, он был неподражаем: протянув руку, он сгреб тысячефранковые кредитки и сделал вид, будто хочет опустить их в карман.

— Тюилье отказывается от сделки,— сказал он Дерошу.

—Вот и отлично, это весьма кстати,— ответил грозный поверенный.

— Да, вашему клиенту придется уплатить нам шестьдесят тысяч франков, израсходованные на достройку дома, как это видно из договора, подписанного Тюилье и Грендо. Я не успел сказать вам об этом вчера,— прибавил Теодоз, поворачиваясь к Годешалю.

— Слышите? — обратился Дерош к Совенью.— Это пахнет процессом, который я не стану вести без надежных гарантий...

— Славные господа,— сказал марселец,— я не могу договариваться с вами, не повидав почтенного человека, который вручил мне пятьсот франков в счет долга с условием, что я подпишу нацарапанную на клочке бумаги доверенность.

— Ты из Марселя? — быстро спросил ла Перад у Совенью, обращаясь к нему на южном диалекте.

— Ну, если Совенью ответит на том же диалекте, он пропал! — шепнул Дерош Годешалю.

— Да, сударь,— ответил незадачливый сутяга адвокату.

— Так вот, простофиля,— продолжал Теодоз,— тебя хотят разорить... Знаешь, что тебе надо сделать? Возьми эти три тысячи франков, а когда твой дружок явится к тебе, схвати деревянный метр и отделай его хорошень-

ко, объяснив ему при этом, что он проходимец, что он хотел воспользоваться тобой в своих интересах и что ты берешь доверенность обратно, а деньги возвратишь ему после дождичка в четверг. Затем спрячь получше три с половиной тысячи франков, которые тебе сами плывут в руки, и уезжай в Марсель. А если с тобой приключится какая-нибудь неприятность, приходи сюда, к господину поверенному... Он знает, как меня разыскать, а уж я тебя выручу из беды. Дело в том, дружище, что я не только добрый провансалец, но и один из первых адвокатов Парижа и известный друг бедняков...

Когда десятник обрел в лице земляка человека, подкрепившего уже смутно зародившееся в нем желание предать подрядившего его ростовщика, он капитулировал, но потребовал за это три с половиной тысячи франков.

— Я задам ему выволочку, он ее вполне заслужил,— проворчал Совенью.— За такие проделки впору и в полицию свести...

— Только смотри, бей лишь тогда, когда он начнет тебя ругать,— заметил Перад,— тогда признают, что ты действовал в целях самозащиты...

Когда Дерош подтвердил, что ла Перад и в самом деле член корпорации парижских адвокатов, Совенью подписал заявление об отказе от иска; поверенные составили акт, действуя от имени Тюилье и Совенью: в нем было указано, что заимодавец полностью получил и сумму долга и проценты и что ему возмещены все расходы; таким образом, грозившая возникнуть тяжба была потушена в самом начале.

— Мы оставляем вам полторы тысячи франков,— вполголоса сказал ла Перад Дерошу и Годешалю,— но я прошу вас дать мне акт о его отказе от иска, я отнесу его на подпись Тюилье, который всю ночь не смыкал глаз и ожидает меня у своего нотариуса Кардо...

— Идет! — сказал Дерош.— Вы можете быть довольны,— обратился он к Совенью, подписывавшему бумагу,— вам без хлопот достались полторы тысячи франков.

— А у меня их не отберут... господин писец? — с тревогой спросил марселец.

— О нет, вы получили их вполне законным образом,— успокоил его Дерош.— Вам только придется уведомить

своего доверителя, что вы отказались от всех претензий, и пометить это извещение вчерашним числом. Пройдите в канцелярию, там все сделают...

Дерош объяснил старшему письмоводителю, как надлежит составить документ, и попросил его проследить за тем, чтобы рассыльный вручил бумагу Серизе до десяти часов утра.

— Я вам бесконечно признателен, Дерош,— сказал Теодоз, пожимая руку поверенному.—Вы обо всем подумали, я никогда не забуду, какую услугу вы мне оказали...

— Передайте документ Кардо не раньше полудня.

— Эй, земляк! — крикнул адвокат Совенью, переходя на провансальский язык.—Отправляйся со своей подружкой в Бельвиль на весь день, да смотри не возвращайся домой раньше полуночи...

— Понимаю,— откликнулся Совенью,— потасовку отложим на завтра!..

— В добрый час,— проговорил ла Перад с непередаваемым провансальским акцентом.

— Тут что-то кроется,— сказал Дерош Годешалю в ту самую минуту, когда адвокат показался в двери, ведущей из канцелярии в кабинет поверенного.

— Тюилье почти даром приобрел великолепный дом,— ответил Годешаль,— вот и все.

— Ла Перад и Серизе напоминают мне двух пловцов, которые душат друг друга под водой,— ответил Дерош.— А что мне сказать Серизе, если он спросит меня, кто затеял всю эту историю? — спросил поверенный у адвоката, подошедшего к столу.

— Вы скажете, что этого потребовал Совенью,— ответил ла Перад.

— И вы ничего не боитесь? — спросил в упор Дерош.

— О, я должен его как следует проучить!

— Завтра мы все узнаем,— сказал Дерош Годешалю.— Никто не бывает более болтлив, чем побежденный!

Ла Перад вышел от поверенного, унося в кармане вожделенный акт. В одиннадцать часов утра он был в присутствии мирового судьи. Когда к спокойному и сдержанному Теодозу подошел бледный от ярости Се-

ризе, со злобно сверкавшим взором, адвокат прошептал ему на ухо:

— Любезный друг, я тоже славный малый! Я все еще держу для тебя двадцать пять тысяч франков новенькими кредитками и готов вручить их в обмен на свои векселя...

Серизе, не находя слов для ответа, молча смотрел на адвоката бедняков. Он позеленел и только судорожно глотал слюну.

— Я неоспоримый владелец дома! — воскликнул Тюилье, возвратившись от Жакино, зятя и преемника Кардо.— Никакие силы человеческие не могут лишить меня моего достояния. Меня в этом заверили.

Буржуа больше верят тому, что говорят нотариусы, нежели тому, что говорят поверенные. Нотариус им ближе, чем любое другое официальное лицо. Парижский буржуа со страхом идет к своему поверенному, чья воинственная отвага наполняет его тревогой; в то же время он всякий раз с удовольствием посещает своего нотариуса и восхищается его мудростью и здравым смыслом.

— Кардо подыскивает себе хорошую квартиру и попросил меня оставить за ним помещение на третьем этаже,— продолжал Тюилье.— Он сказал, что если я хочу, то он может познакомить меня в воскресенье с кандидатом в главные квартиронаниматели, который согласен заключить со мной арендный договор сроком на восемнадцать лет, уплатить налоги и ежегодно вносить по сорок тысяч франков... Что ты на это скажешь, Бригитта?

— По-моему, надо выждать,— ответила старая дева.— Ах, наш милый Теодоз заставил меня сильно *струхнуть*.

— Да, дорогая, ты еще не знаешь, что сказал Кардо. Спросив, кто устроил мне столь выгодное дело, он заявил, что я обязан сделать этому человеку подарок по меньшей мере в десять тысяч франков. Говоря по правде, я ему обязан всем!

— Но ведь он почти что член нашей семьи,— ответила Бригитта.

— Бедняга, я воздаю ему должное, ведь он ничего у нас не просит...

— Итак, добрый друг,— сказал ла Перад, возвратив-

шись в три часа от мирового судьи,— вот вы и крупный богач!

— Только благодаря тебе, любезный Теодоз...

— А вы, милая тетушка, возвратились к жизни?.. Должен признаться, я струхнул еще больше, чем вы... Ведь ваши интересы для меня важнее своих. Право, впервые за эти дни я свободно вздохнул лишь в одиннадцать часов утра. Отныне меня будут преследовать по пятам заклятые враги — два человека, которых я обманул ради вас. По дороге сюда я спрашивал себя: каким же влиянием вы должны обладать, если толкнули меня на такое преступление? Сможет ли то счастье, какое я буду испытывать, став членом вашей семьи, сделавшись вашим сыном, стереть когда-нибудь пятно, которым я замарал свою совесть?..

— Пустяки! Ты исповедуешься в этом грехе,—отвечал вольнодумец Тюилье.

— Теперь,— продолжал Теодоз, обращаясь к Бригитте,— вы можете, ничего не страшась, уплатить за дом восемьдесят тысяч франков да тридцать тысяч франков Грендо, это составит вместе с дополнительными расходами сто двадцать тысяч франков. Прибавим к ним и злополучные двадцать тысяч франков, и тогда общая сумма составит сто сорок тысяч. Когда вы будете заключать контракт с главным квартиронанимателем, потребуйте от него внести аванс за последний год аренды. Не забудьте оставить для меня и моей будущей жены весь второй этаж над антресолями. Даже при этом вы без труда найдете человека, который снимет дом на двенадцать лет с уплатой сорока тысяч франков ежегодно. Если вы захотите переехать из этого квартала в квартал, где помещается Палата депутатов, у вас будет достаточно средств, чтобы снять для себя просторную квартиру во втором этаже с каретным сараем, конюшнями и другими службами, необходимыми для людей, живущих на широкую ногу. А теперь, Тюилье, я хочу добиться для тебя креста Почетного легиона!

При этих словах Бригитта воскликнула:

— Право, мой дорогой, вы так превосходно справились со всеми нашими делами, что я хочу просить вас довести до конца дело с домом Тюилье...

— Не слагайте с себя власти, дражайшая тетушка,—

отвечал Теодоз,— избави меня бог совершить хотя бы один шаг без вашего совета! Ведь вы добрый гений семьи. Я сейчас думаю только об одном — о том дне, когда Тюилье станет членом Палаты. Не пройдет двух месяцев, и вы получите сорок тысяч франков в уплату за последний год аренды. Кроме того, Тюилье в первый же платежный срок положит в банк десять тысяч франков, которые внесет ему квартиронаниматель.

Столь радужные надежды привели старую деву в восторг. Воспользовавшись этим, Теодоз увлек Тюилье в сад и, не обинуясь, сказал ему:

— Добрый друг, придумай способ получить от своей сестры десять тысяч франков, но только так, чтобы она ни в коем случае не заподозрила, что ты их передашь мне. Скажи ей, что эту сумму надо будет распределить между чиновниками канцелярий, дабы ускорить получение ордена Почетного легиона. Скажи ей также, что ты сам знаешь, кому нужно вручить деньги.

— Хорошо,— ответил Тюилье,— кстати, я верну их ей, как только получу арендную плату.

— Деньги нужны к вечеру, добрый друг. Я уже сегодня хочу отправиться на разведку, и завтра мы будем знать, как себя вести...

— Какой ты необыкновенный человек!—воскликнул Тюилье.

— Министерство первого марта скоро падет, надо успеть получить орден из его рук,— с тонкой улыбкой ответил Теодоз.

Переговорив с Тюилье, адвокат бросился к г-же Кольвиль и уже с порога сказал ей:

— Я победил. Селеста будет владеть домом стоимостью в миллион, Тюилье при составлении брачного контракта передаст ей дом во владение, без права пользования доходами. Но храните это в секрете, не то руки вашей дочери станут добиваться пэры Франции. Впрочем, она получит его лишь в том случае, если выйдет за меня замуж. А теперь одевайтесь, мы едем к графине дю Брюэль, она может выхлопотать крест для Тюилье. Пока вы станете облачаться в боевые доспехи, я хочу пройти к Селесте и немного полюбезничать с нею. В экипаже я вам расскажу, что из этого вышло.

Направляясь к Флавии, ла Перад заметил в гости-

ной Селесту и Феликса Фельона. Г-жа Кольвиль настолько доверяла дочери, что разрешала ей оставаться наедине с молодым преподавателем. После одержанного утром большого успеха Теодоз решил, что приспела пора перейти к прямой атаке на Селесту. Настало время рассорить влюбленных голубков, и адвокат, не моргнув глазом, приложил ухо к замочной скважине двери, ведущей в гостиную: перед тем, как войти туда, он хотел точно знать, какую именно букву в алфавите любви они уже повторяют. На этот проступок, столь излюбленный слугами, его, можно сказать, подтолкнул шум доносившегося из гостиной спора. По выражению одного из наших поэтов, любовь — это привилегия, которой пользуются два человека, чтобы причинять друг другу огорчения по сущим пустякам.

Приняв в душе решение избрать Феликса спутником жизни, Селеста пожелала не столько изучить его, сколько слиться с ним в едином душевном порыве, который служит источником истинной привязанности; такое стремление заставляет юные сердца против воли необыкновенно придирчиво относиться к своему избраннику. Причиной ссоры, незримым свидетелем которой сделался Теодоз, была глубокая размолвка между математиком и Селестой, случившаяся еще несколько дней назад...

Юная девушка, воспитанная в тот период, когда госпожа Кольвиль пыталась искупить свои грехи, была необыкновенно благочестива; она принадлежала к пастве истинно верующих; ортодоксальный католицизм, слегка смягченный мистическим характером ее веры, столь любезным сердцу юных особ, был для Селесты своего рода поэзией, сокровенной жизнью духа. Становясь взрослыми, экзальтированные девицы такого рода делаются либо святыми, либо женщинами необыкновенно легкомысленными. Но в пору юношеского цветения они отличаются деспотической непримиримостью; их образ мыслей донельзя возвышен, по их мнению, все вокруг должно быть совершенным, небесным, ангельским, божественным. Для таких девушек ничто не существует вне их идеала, все, что не отвечает их требованиям, представляется им мерзким и низменным. Вот почему эти строгие девицы презрительно отбрасывают великолепные бриллианты, если на них имеется хотя бы крохотное пятныш-

ко, а становясь женщинами, восторженно любуются поддельными драгоценностями.

Итак, Селеста обнаружила в Феликсе не то чтобы неверие, но безразличное отношение к вопросам веры. Подобно большинству геометров, химиков, математиков и выдающихся естествоиспытателей, он подчинял веру разуму: он считал проблему существования бога столь же неразрешимой, как квадратура круга. В душе он был деистом, исповедовал веру, какую исповедуют почти все французы, но придавал ей не больше значения, чем новому закону, принятому в Июле. По его мнению, бог на небесах был столь же необходим, как бюст короля в здании мэрии. Достойный сын своего отца, Феликс Фельон не скрывал убеждений: с простодушием и рассеянностью человека, занятого разрешением научных проблем, он позволял Селесте читать в его сердце. Молодая девушка смешивала вопросы религии с вопросами гражданского состояния, она испытывала священный ужас перед атеизмом, а исповедник объяснил ей, что деист — двоюродный брат атеиста.

— Исполнили ли вы свое обещание, Феликс?—спросила Селеста, как только г-жа Кольвиль оставила ее наедине с молодым ученым.

— Нет, дорогая Селеста,— отвечал Феликс.

— О, не выполнить обещания!..— воскликнула с укоризной девушка.

— Но ведь сдержать его было бы кощунственно,— сказал математик.— Я вас безумно люблю, и это чувство не позволяет мне противиться вашим желаниям, вот почему я и дал вам обещание, с которым совесть моя не может примириться. А ведь совесть, милая Селеста,— это наше сокровище, наша сила, наша опора. Как можете вы желать, чтобы я отправился в церковь и опустился на колени перед священником, коль скоро я вижу в нем лишь человека?.. Да вы первая стали бы меня презирать, если бы я вас послушался.

— Значит, дорогой Феликс, вы не хотите идти в церковь? — спросила Селеста, бросая на человека, которого она любила, затуманенный слезами взгляд.— Значит, будь я вашей женой, вы отпускали бы меня туда одну?.. Нет, вы не любите меня так, как я люблю вас!.. Ведь

в моем сердце живет к вам, к безбожнику, чувство, противное тому, какого требует от меня господь!

— К безбожнику! —воскликнул Феликс Фельон.—О нет, выслушайте меня, Селеста... Бог, конечно, существует, я в это верю, но у меня более возвышенное представление о нем, нежели у ваших священников, я не низвожу его до себя, а стараюсь подняться до него... Я прислушиваюсь к голосу, звучащему во мне по его воле, к голосу, именуемому всеми порядочными людьми голосом совести, и я изо всех сил стремлюсь не угасить божественного огня, который горит во мне. Вот почему я никогда в жизни никому не причиню вреда, никогда не преступлю законов общечеловеческой морали, морали Конфуция, Моисея, Пифагора, Сократа, как и Иисуса Христа... Я чист перед богом, мои деяния служат мне молитвами, я никогда не стану лгать, слово мое свято, я никогда не совершу низменного или подлого поступка... Вот наставления, усвоенные мною от добродетельного отца, и я хочу завещать их своим детям. Я всегда буду творить столько добра, сколько будет в моих силах, даже если это заставит меня страдать. Можно ли требовать чего-либо большего от человека?..

Символ веры Феликса Фельона заставил Селесту только горестно покачать головой.

— Прочтите внимательно «Подражание Христу»! — сказала она.— Попытайтесь возвратиться в лоно святой католической церкви, апостолической и римской, и вы поймете, до какой степени нелепы ваши речи... Послушайте, Феликс, брак в глазах церкви не преходящий акт, призванный удовлетворить наши желания, а таинство, соединяющее людей навеки... Как! Мы будем вместе день и ночь, мы станем единой плотью, единым глаголом, а сердца наши будут говорить на разных языках, мы будем исповедовать разную веру, и это послужит источником постоянных размолвок! Вы обрекаете меня на тайное горе и слезы, ибо я не смогу примириться с грядущей гибелью вашей души. Как стану я обращаться к богу, зная, что его грозная десница вот-вот обрушится на вас?.. Ваши взгляды и убеждения, пропитанные деизмом, станут влиять на наших детей!.. О господи, какую грустную участь готовите вы своей супруге!.. Нет, нет, я не могу смириться с вашими идеями... О Феликс! Перей-

дите в мою веру, ибо я не в силах перейти в вашу! Не ройте пропасти между нами... Если б вы меня любили, то уже давно бы прочли «Подражание Христу»!

В семье Фельонов, воспитанных на идеях газеты «Конституционель», не любили церковного духа. И Феликс резко ответил на эту мольбу, вырвавшуюся из груди пламенной католички:

— Вы просто повторяете урок, преподанный вам исповедником, Селеста! Поверьте мне, нет ничего опаснее вторжения священников в семью...

— О, вы не любите меня! — с негодованием воскликнула Селеста, которая говорила, движимая лишь любовью.— Голос моего сердца не достиг вашего слуха! Вы ничего не поняли, ибо даже не слушали меня, но я прощаю вас, потому что вы сами не знаете, что говорите.

Она погрузилась в гордое молчание, а Феликс принялся барабанить пальцами по оконному стеклу: занятие, хорошо знакомое людям, которыми владеют мрачные мысли. И действительно, в уме Феликса сменяли друг друга различные весьма деликатные доводы истинно фельоновского толка:

«Селеста, как известно,— богатая наследница. Приняв ее идеи, чуждые моим религиозным убеждениям, я поступлю, как человек, стремящийся к выгодному браку. Это недостойно. Как будущий глава семьи, я не могу позволить священникам приобрести влияние в моем доме. Если я уступлю сегодня, то проявлю слабость, и она приведет к другим уступкам, пагубным для моего авторитета, авторитета отца и мужа... Нет, это будет недостойно философа».

И он повернулся к любимой:

— Селеста, я готов молить вас на коленях: не смешивайте вещей, которые закон в своей мудрости отделил друг от друга. Мы живем в двух различных мирах: в здешнем мире должно считаться с велениями общества, в потустороннем мире — с велениями неба. Каждый идет своим путем к спасению. Но, живя в обществе, мы обязаны подчиняться его законам, ибо так повелел господь! Разве Христос не сказал: *«Воздайте кесарю кесарево»?* Кесарь — это и есть общество... Забудем нашу маленькую ссору!

— Маленькую ссору!—вскричала юная католичка.—

Я хочу, чтобы вы всецело владели моим сердцем, а я всецело владела вашим, вы же делите их на две половины!.. Может ли быть большее горе? Вы забываете, что брак— это священное таинство...

— Ваши ханжи и святоши забили вам голову! — вне себя от гнева воскликнул математик.

— Господин Фельон,— запальчиво прервала его Селеста,— довольно говорить на эту тему!

При этих словах Теодоз счел необходимым войти в комнату. Он увидел бледную Селесту и встревоженного преподавателя, у которого был вид влюбленного, рассердившего предмет своего обожания.

— Я услышал слово «довольно». Стало быть, чего-то было слишком много? — спросил он, переводя взгляд с Селесты на Феликса.

— Мы беседовали о религии,— ответил Фельон,— и я доказывал мадемуазель Селесте, какую опасность таит в себе вторжение религии в семейную жизнь...

— Речь шла не об этом, сударь,— резко сказала Селеста.— Мы хотели понять, могут ли муж и жена жить душа в душу, если он безбожник, а она верующая католичка.

— Но разве на свете существуют безбожники! — вскричал Теодоз, изображая на своем лице глубочайшее изумление.— И разве католичка может, к примеру, выйти замуж за протестанта? Нет, спасение супругов возможно лишь в том случае, если оба они исповедуют одну и ту же веру!.. Я сам родом из Конта̀, в числе моих предков был даже папа, в нашем гербе изображен серебряный ключ на червленом фоне, а в основании герба — монах на церковной паперти и пилигрим с золотым посохом в руках; наш девиз: *«Я отпираю и запираю»*. Вот почему я ревностный католик. Но в наши дни благодаря современной системе образования сплошь и рядом возникают и обсуждаются такие вопросы, как тот, о котором вы говорили!.. Я, смею вас заверить, никогда бы не женился на протестантке, будь у нее даже миллионы... и люби я ее до потери сознания! Нельзя спорить о вере. «*Una fides, unus Dominus*» [1] — вот мой девиз в сфере религии и в сфере политики.

---

[1] «Одна вера, один господь» *(лат.)*.

— Вы слышите? — с торжеством воскликнула Селеста, взглянув на Феликса Фельона.

— Я не святоша,— продолжал ла Перад,— я хожу к обедне в шесть часов утра, когда меня никто не видит, я пощусь по пятницам, я, наконец, верный сын церкви и никогда не предпринимаю ничего серьезного, хорошенько не помолившись богу, как делали наши предки. Но я не афиширую свою веру... Во время революции тысяча семьсот восемьдесят девятого года в нашей семье произошло событие, которое еще сильнее, чем традиции, привязало нас к святой матери-церкви. Некая злосчастная мадемуазель де ла Перад, принадлежавшая к старшей ветви рода, владеющей небольшим поместьем де ла Перад, ибо мы, я и моя семья, принадлежим к младшей ветви ла Перад де Канкоэль, правда, обе ветви наследуют одна другой,— так вот, говорю я, эта барышня за шесть лет до революции вышла замуж за одного адвоката, который придерживался модных в ту пору идей и был вольтерьянцем, иначе говоря, неверующим или, если вам угодно, деистом. Он разделял революционные идеи и занимался введением многих прелестных новшеств, наподобие культа богини Свободы и Разума. В наши края он прибыл пропитанным до мозга костей новыми идеями, фанатическим приверженцем Конвента. Свою красавицу жену он заставил играть роль богини Свободы, и несчастная сошла с ума... Она так и умерла помешанной! Так вот, мы живем в такое время, что меня не удивит, если мы станем свидетелями нового тысяча семьсот девяносто третьего года!..

Эта ловко придуманная история произвела такое впечатление на свежий и неискушенный ум Селесты, что она порывисто поднялась, поклонилась обоим молодым людям и ушла к себе в комнату.

— Ах, сударь, что вы наделали! — воскликнул Феликс, пораженный до глубины души холодным взглядом, брошенным на него Селестой и выражавшим глубокое равнодушие.— Она уже видит себя в роли богини Разума...

— Что между вами произошло? — осведомился Теодоз.

— Речь шла о моем безразличии к вопросам веры.

— Это величайшая язва нашего века,— изрек Теодоз наставительным тоном.

— Вот и я,— прощебетала г-жа Кольвиль, появляясь на пороге гостиной в изысканном туалете.— Что случилось с моей бедной дочкой? Она плачет...

— Она плачет, сударыня?..— воскликнул Феликс.— Передайте же ей, что я завтра же принимаюсь внимательнейшим образом изучать «Подражание Христу».

И Феликс вышел на улицу вместе с Теодозом и Флавией. Спускаясь по лестнице, адвокат сжал руку своей спутнице, давая этим понять, что он в карете объяснит ей причины необычайного возбуждения молодого ученого.

Через час чета Кольвилей, Селеста и Теодоз уже входили в дом Тюилье, куда они были приглашены к обеду. Теодоз и Флавия увлекли Тюилье в сад, и адвокат сказал ему:

— Добрый друг, через неделю ты будешь награжден крестом. Попроси любезную госпожу Кольвиль рассказать тебе о нашем визите к графине дю Брюэль...

С этими словами Теодоз отошел от Тюилье, ибо он увидел Дероша, направлявшегося к нему в сопровождении мадемуазель Тюилье. Идя навстречу поверенному, молодой человек ощущал, как его сердце сжимается от ужасного предчувствия.

— Милостивый государь,— шепнул Дерош на ухо похолодевшему Теодозу,— я пришел узнать, можете ли вы уплатить двадцать семь тысяч шестьсот восемьдесят франков шестьдесят сантимов, включая издержки?..

— Вы пришли как поверенный Серизе? — воскликнул адвокат.

— Он передал ваши векселя Лушару, а вы знаете, что вас ожидает в случае ареста. У Серизе есть основания полагать, что у вас в секретере хранятся двадцать пять тысяч франков. Вы собирались уплатить ему, и он находит вполне естественным, чтобы эти деньги не залеживались у вас...

— Благодарю вас за приход, милостивый государь,— сказал Теодоз,— я предвидел этот выпад...

— Между нами говоря,— заметил Дерош,— вы его славно одурачили... Пройдоха жаждет мести и ни перед чем не останавливается: ведь он все потеряет, если вы

решите отказаться от адвокатского звания и пойти в тюрьму...

— Я? — воскликнул Теодоз.— Нет, что вы, я уплачу... Но у него в руках пять векселей по пять тысяч франков каждый, что он собирается с ними делать?

— О, после того, что произошло утром, я ничего не берусь предсказывать. Знаю только одно: мой клиент злобен, как паршивый пес, и у него свои планы...

— Скажите, Дерош,— обратился ла Перад к поверенному, обвивая рукой его прямой сухощавый стан,— векселя еще у вас?

— Вы хотите уплатить по ним?

— Да, не позднее чем через три часа.

— В таком случае будьте у меня к девяти, я приму деньги и возвращу вам векселя. Но в половине десятого они уже будут у Лушара.

— Превосходно, я буду у вас в девять вечера,— сказал Теодоз.

— В девять вечера,— повторил Дерош, обводя взглядом общество, собравшееся в саду.

Увидев Селесту, которая с еще заплаканными глазами беседовала с крестной матерью, Кольвиля и Бригитту, Флавию и Тюильe, Дерош, поднявшись на широкое крыльцо и готовясь войти в переднюю, сказал провожавшему его Теодозу:

— Ну, я вижу, вы вполне можете уплатить по векселям.

Дерошу, который заставил разговориться Серизе, достаточно было одного взгляда, чтобы оценить бешеную энергию адвоката.

На следующее утро, едва рассвело, Теодоз отправился к банкиру бедняков, чтобы полюбоваться, какое впечатление произвело на его врага то, что он полностью уплатил ему долг, и попробовать сделать еще одну попытку избавиться от этого овода.

Он застал Серизе на ногах; тот беседовал с какой-то женщиной и властным тоном приказал Теодозу не подходить к ним, чтобы не мешать разговору. Молодому человеку поэтому пришлось теряться в догадках о важности этой особы; о том, что она действительно важная особа, говорил озабоченный вид ростовщика. Теодоз смутно почувствовал, что предмет, о котором велась бе-

седа, окажет влияние на дальнейшие поступки Серизе, ибо он прочел на лице своего компаньона ожидание и надежду.

— Но, дорогая, мамаша Кардинал...

— Да, достопочтенный господин Серизе...

— Чего же вы хотите?

— Необходимо решиться...

Обрывки фраз, долетавшие до слуха адвоката, не могли пролить свет на оживленную беседу, которая велась вполголоса, а то и просто шепотом. Вынужденный сохранять неподвижность, молодой человек внимательно разглядывал г-жу Кардинал.

Госпожа Кардинал принадлежала к числу постоянных клиентов Серизе, она торговала свежей рыбой. Если парижанам знакомы создания такого рода, процветающие на рынках столицы, то иностранцы даже не подозревают об их существовании, и мамаша Кардинал, выражаясь языком газетной хроники, заслуживала интереса, который испытывал к ней адвокат. На улицах Парижа женщины ее типа встречаются сотнями, и прохожий обращает на них не больше внимания, чем посетитель выставки — на три тысячи картин, развешанных на стенах. Но тут, вдали от уличной толчеи, г-жа Кардинал приобретала значение уникального шедевра, ибо как нельзя лучше воплощала черты целой категории людей.

Ее сабо были забрызганы грязью; она надевала их поверх домашних войлочных туфель, на ногах она носила толстые шерстяные чулки. На ситцевом платье, нижней оборкой которому служил толстый слой грязи, возле самой талии виднелся широкий след от перевязи, поддерживавшей лоток. Главной частью ее туалета была шаль, шутливо именуемая в народе *кашемиром из кроличьей шерсти,* два конца этой шали были завязаны на спине, над *турнюром;* мы намеренно употребляем это слово, которое в ходу у великосветских дам, дабы пояснить, на что походили ее юбки, стянутые поперечной перевязью: они пузырились на торговке, как листья на кочане капусты. Косынка из грубого руанского ситца оставляла открытой красную шею, испещренную глубокими полосами, как ледяная поверхность водоема ла Вилетт, излюбленного места конькобежцев. На макушке

у нее красовался желтый шелковый платок, повязанный весьма живописно.

Низенькая и толстая, мамаша Кардинал, должно быть, каждое утро пропускала стаканчик водки, о чем свидетельствовал багровый румянец на ее щеках. В свое время она была хороша собой. Завсегдатаи Центрального рынка, чей язык отличается грубоватой, но сочной образностью, упрекали ее в том, что она предавалась ночным удовольствиям и после зари. Голос у старухи был как иерихонская труба, и для того, чтобы не оглушить собеседника, ей приходилось говорить шепотом, как обычно делают в комнате тяжелобольного; однако это ей плохо удавалось, и она хрипела и сипела, ибо ее глотка привыкла издавать пронзительные звуки: когда мамаша Кардинал выкрикивала названия рыбы, которой торговала, ее голос достигал верхних этажей домов и мансард. Нос, напоминавший нос Рокселаны, хорошо очерченный рот, голубые глаза — все, что некогда составляло ее привлекательность, теперь утопало в складках жира и густой сети морщин, покрывавших обветренное лицо. Грудь и живот этой женщины так и просились на полотно Рубенса.

— Вы что ж, хотите, чтобы я оказалась на соломе?— говорила она Серизе.— Что мне Пупилье?.. Я и сама Пупилье!.. Мне деваться некуда от всех этих Пупилье!..

Эта неистовая вспышка была потушена Серизе. Он свирепо взглянул на торговку рыбой и прошипел «Тс-с!» с таким видом, с каким это делают заговорщики.

— Ну, ладно, ступайте и взгляните, что там произошло, а потом возвращайтесь сюда,— сказал Серизе, подталкивая посетительницу к двери и что-то шепча ей на ухо.

— Итак, любезный друг,— обратился Теодоз к Серизе,— ты получил свои деньги?

— Да, мы измерили силу наших когтей,— отвечал Серизе,— они оказались одинаково длинными, прочными и острыми... Что ж дальше?

— Должен ли я сказать Дютоку, что ты получил вчера от меня двадцать семь тысяч?

— О нет, мой милый, ни слова ему!.. Если ты, конечно, меня любишь! — воскликнул Серизе.

— Послушай,— продолжал Теодоз.— Я хочу раз и

навсегда понять, чего ты от меня добиваешься, я твердо решил больше ни одного дня не оставаться на раскаленных угольях, хотя вам это и доставляет удовольствие. Можешь сколько угодно водить за нос Дютока, мне это в высшей степени безразлично, но я хочу столковаться с тобой... Ты, должно быть, накопил, давая деньги в рост, не меньше десяти тысяч франков, вместе с полученными от меня двадцатью семью тысячами это составляет целое состояние, отныне ты можешь сделаться порядочным человеком. Серизе, если ты оставишь меня в покое, если ты не станешь мешать мне жениться на мадемуазель Кольвиль, я еще буду королевским адвокатом в Париже, а тебе не мешает заручиться поддержкой в судейских кругах.

— Вот мои условия, обсуждать я их не намерен: либо принимай, либо отказывайся. Ты поможешь мне сделаться главным квартиронанимателем в новом доме Тюилье сроком на восемнадцать лет, а я верну тебе один из не оплаченных еще тобою векселей. Больше я не буду становиться на твоем пути, ты сам уладишь с Дютоком вопрос об остальных четырех векселях... Если уж ты одержал верх надо мною, то легко справишься и с Дютоком...

— Я согласен, если ты готов вносить арендную плату в размере сорока восьми тысяч франков в год, причем за последний год тебе придется внести ее авансом, срок аренды начинается с октября...

— Идет, но только я заплачу сорок три тысячи, за пять тысяч пойдет твой вексель. Я видел дом, я его хорошенько осмотрел, он мне подходит.

— Еще одно условие,— прибавил Теодоз,— ты поможешь мне в борьбе с Дютоком.

— Нет,— отрезал Серизе,— ты и без того задашь ему жару, а если и я еще начну его шпиговать, то бедняга выпустит весь сок. Надо быть разумным. Несчастный не знает, откуда взять пятнадцать тысяч франков, которые он еще не внес в уплату за должность, теперь тебе это известно, и ты сможешь выкупить за пятнадцать тысяч свои векселя.

— Ну, хорошо, через две недели ты подпишешь арендный договор...

— Даю тебе время только до понедельника! Во втор-

ник вексель на пять тысяч франков будет опротестован, если в понедельник ты не заплатишь мне деньги и Тюилье не подпишет со мною контракт.

— Ладно, пусть в понедельник! — сказал Теодоз.— Но теперь мы по крайней мере друзья?

— Мы станем ими в понедельник,— проворчал Серизе.

— В понедельник так в понедельник! Но ты хотя бы угостишь меня обедом? — усмехнулся Теодоз.

— После подписания договора я повезу тебя в «Роше де Канкаль». Там будет и Дюток. Мы вместе посмеемся... Давно уже я не смеялся.

Теодоз и Серизе пожали друг другу руки и в один голос воскликнули:

— До скорого свидания!

У Серизе были свои причины быстро сменить гнев на милость. Ему пришлось признать правоту Дероша, утверждавшего, что *«злость не способствует успеху в делах»*. Убедившись на собственном опыте в справедливости этих слов, ростовщик хладнокровно решил извлечь пользу из создавшегося положения и, как он выражался, *выпустить кровь* из коварного провансальца.

— Вы должны взять реванш,—заметил ему Дерош,— а ведь малый у вас в руках... Попробуйте-ка вытянуть из него все, что можно.

За последние десять лет немало знакомых Серизе разбогатели, сделавшись главными квартиронанимателями в домах. Главный квартиронаниматель в Париже играет в отношении домовладельца ту же роль, какую играют арендаторы в отношении землевладельцев. Весь Париж был свидетелем того, как один из прославленных портных воздвиг на небольшой площади, рядом с кафе Фраскати, на углу бульвара и улицы Ришелье, роскошный дом; он получил такую возможность потому, что был главным квартиронанимателем в особняке, арендная плата за который составляла не меньше пятидесяти тысяч франков в год. Несмотря на то, что стоимость здания достигала семисот тысяч франков, квартирная плата за девятнадцать лет должна была обеспечить ему немалые барыши.

Серизе, уже давно искавший выгодное дельце, внимательно взвесил все шансы на получение прибыли, на

которую мог рассчитывать главный квартиронаниматель дома, *украденного* Тюилье,— такое выражение употребил Серизе, беседуя с Дерошем. Ловкий экспедитор понял, что через шесть лет он сможет от себя сдавать этот дом внаймы не меньше чем за шестьдесят тысяч франков, ибо в нем нетрудно было расположить четыре лавки, по две с каждой стороны, и стоял он необыкновенно удобно, на углу бульвара.

Серизе надеялся зарабатывать по десять тысяч франков ежегодно в течение двенадцати лет, не говоря о различных случайных доходах и приплатах при каждом возобновлении контракта о найме помещений: он заранее решил, что будет заключать контракты с торговцами лишь на шесть лет. Он предполагал уступить имевшиеся в его распоряжении векселя вдове Пуаре и Кадене за десять тысяч франков, десять тысяч франков у него было прикоплено; присоединив к ним деньги, полученные от Теодоза, он мог внести аванс за первый год, который домовладельцы имеют обыкновение требовать в качестве гарантии с главных квартиронанимателей. Вот почему Серизе провел блаженную ночь; засыпая, он мечтал о том недалеком времени, когда займется почтенным ремеслом и станет столь же уважаемым буржуа, как Тюилье, как Минар и многие другие.

Поэтому он решил отказаться от прежнего намерения приобрести дом, который строился на улице Жоффруа-Мари. Но пробуждение Серизе было неожиданным и необычайным: в лице г-жи Кардинал пред ним предстала Фортуна с позолоченными рогами изобилия.

Он всегда относился с некоторым вниманием к этой особе и не раз обещал ей, особенно за последний год, ссудить сумму, необходимую для покупки осла и маленькой тележки, что позволило бы ей увеличить размах своей торговли, обслуживая не только Париж, но и пригороды. Г-жа Кардинал, вдова грузчика, работавшего на Центральном рынке, имела единственную дочь, рассказами о красоте которой местные кумушки прожужжали Серизе все уши. Когда он в 1837 году поселился в этом квартале и начал давать деньги в рост, Олимпии Кардинал было всего тринадцать лет; низкий развратник обратил внимание на девочку и начал обхаживать мамашу: он помог торговке рыбой выбиться из

крайней нищеты, надеясь сделать Олимпию своей любовницей. Однако в 1838 году дочка сбежала от матери и *зажила веселой жизнью,* как выражаются простые люди Парижа, желая пояснить, что женщина пускает в оборот свою красоту и молодость.

Отыскать девушку в Париже так же трудно, как поймать уклейку в Сене,— она только случайно может попасться в сети. Такой случай произошел. Мамаша Кардинал, желая отблагодарить некую кумушку, повела ее в театр Бобино и обнаружила в героине пьесы свою дочь, которая уже три года находилась в полном подчинении у первого комика театра. Сначала матери польстило, что дочь выходила на сцену в красивом парчовом платье, причесанная, как герцогиня, в ажурных чулочках и атласных туфельках, причем публика встречала ее аплодисментами. Но под конец торговка не выдержала и крикнула с места:

— Погоди, ты еще получишь от меня весточку, убийца собственной матери!.. Я узнаю, позволено ли жалким актеришкам развращать тринадцатилетних девочек!..

Госпожа Кардинал решила подстеречь дочь у выхода из театра, но героиня пьесы и первый комик, должно быть, спрыгнули со сцены прямо в зрительный зал и смешались с публикой, а тем временем вдова Кардинал и тетка Магудо, ее закадычная приятельница, подняли у служебного выхода из театра адский шум, так что двум муниципальным гвардейцам с трудом удалось их унять. Сии блюстители порядка заставили торговок несколько умерить тон и объяснили матери, что девушка в шестнадцать лет имеет право выступать на сцене; затем они посоветовали рассерженной матроне перестать скандалить возле кабинета директора театра, а обратиться лучше к мировому судье или в полицию, по ее выбору.

На следующий день г-жа Кардинал решила обратиться за советом к *нему,* ибо *он,* как ей было известно, служил в канцелярии мирового судьи; но она была буквально ошарашена появлением привратника дома, где обитал ее дядя, старик Пупилье: этот привратник, по имени Пераш, сообщил ей, что старикан вот-вот преставится и что жить ему осталось, во всяком случае, не больше двух дней.

— Ну, а я-то что могу сделать? — воскликнула торговка рыбой.

— Мы рассчитываем на вас, любезная госпожа Кардинал, ведь вы не забудете о нас во внимание к доброму совету, который мы вам дадим. Дело вот в чем: в последние дни ваш бедный дядюшка, будучи не в силах передвигаться, оказал мне доверие и поручил собрать квартирную плату в принадлежащем ему доме на улице Нотр-Дам-де-Назарет и получить причитающиеся ему по купонам ренты, выданной государственной казной, деньги в сумме тысячи восьмисот франков...

При этом известии бегающие глазки вдовы Кардинал округлились и едва не вылезли из орбит.

— Да, да, моя милая,— продолжал г-н Пераш, низенький и горбатый человечек.— Вот мы и подумали, что так как только вы одна вспоминаете о нем, навещаете его и даже приносите ему иногда рыбу, старик, быть может, захочет *отказать* вам свое состояние... Все эти дни моя жена ходила за ним и заботилась о нем, она говорила о вас, но он не разрешил сообщить вам о его болезни... Но теперь, думается, вам пора пойти к больному. Ведь он, черт побери, уже два месяца не занимается своим делом.

— Согласитесь сами, уважаемый мастер,— сказала мамаша Кардинал привратнику, который подрабатывал сапожным ремеслом,— легче поверить в то, что на ладони могут вырасти волосы, чем в то, что вы мне только что сказали!.. Как! Оказывается, мой дядюшка Пупилье, этот всем известный нищий из церкви Сен-Сюльпис, на самом деле богач! — твердила торговка рыбой, торопливо следуя за привратником по направлению к улице Оноре-Шевалье, где в отвратительной мансарде ютился ее дядя.

— Должен сказать, что он отлично питался,— заметил привратник,— каждый вечер он ложился в постель со своей подружкой — огромной бутылкой руссильонского вина. Он говорил нам, что вино стоит шесть су, но это неправда, моя жена сама его отведала. Этот славный напиток поставлял старику виноторговец с улицы Канет.

— Помалкивайте обо всем, любезный,—сказала вдо-

«Мелкие буржуа».

ва Кардинал,— я о вас позабочусь... если только после него что-нибудь останется.

Пупилье, в молодости служивший барабанщиком во французской гвардии, за несколько лет до революции 1789 года перешел на службу в церковь Сен-Сюльпис, на должность привратника. Революция лишила его этого места, и он впал в крайнюю нищету. Ему пришлось заняться ремеслом натурщика, ибо он обладал привлекательной внешностью.

Когда церковь вновь обрела свои права, Пупилье опять взял в руки алебарду; однако в 1816 году он был отрешен от должности — как по причине безнравственного поведения, так и по причине преклонного возраста: полагали, что ему семьдесят лет. Тем не менее вместо пенсии ему разрешили стоять на паперти, у входа в храм, где он предлагал святую воду. В 1820 году это доходное занятие стало предметом зависти, и Пупилье уступил его другому после того, как получил обещание, что ему разрешат собирать милостыню на паперти. Ему было в то время шестьдесят пять лет, но он утверждал, что ему девяносто шесть, ибо столетнему старцу охотнее подают.

Во всем Париже невозможно было сыскать другого человека, который мог бы похвалиться такой всклокоченной шевелюрой и бородой. Бедняга сгибался в три погибели, посох плясал в его дрожащей руке, изъеденной лишаями, как бывает изъеден гранитный утес; он протягивал прохожим неописуемую шляпу — грязную, с измятыми полями, зашитую в нескольких местах, и сердобольные люди щедро бросали в нее монеты. На ногах, обернутых тряпками и лохмотьями, он носил ветхие плетеные туфли, внутри которых были, однако, отличные мягкие стельки из конского волоса. Лицо старик посыпал и смазывал различными снадобьями, они создавали видимость язв, пятен и отеков — признаков тяжких болезней; словом, он великолепно играл роль дряхлого старца. Начиная с 1825 года Пупилье всем говорил, будто ему стукнуло сто лет, хотя на самом деле ему исполнилось лишь семьдесят. Пупилье помыкал другими нищими, он чувствовал себя полновластным хозяином паперти. И все тунеядцы, просившие милостыню на паперти, не боясь полиции, ибо они находились под защитой церковного при-

вратника, сторожа, человека, кропившего верующих святой водой, и всего клира, уплачивали своему негласному властителю Пупилье своеобразную десятину.

Когда при выходе из церкви какой-нибудь наследник, молодой муж или крестный отец говорил, протягивая деньги: «Вот вам на всех, пусть никто не будет в обиде»,— Пупилье, которого привратник, унаследовавший свою должность от старика, выталкивал вперед, прикарманивал три четверти даяния и лишь четвертую часть отдавал нищей братии; при этом он еще взимал с каждого по одному су в день. С 1820 года в душе старика теплились только два чувства— скупость и страсть к вину. Пупилье не отказывал себе в напитках, но соблюдал известную меру. Он напивался только после обеда, по вечерам, когда церковь была уже закрыта, и на протяжении двадцати лет сладко засыпал, сжимая в объятиях свою последнюю любовницу — бутылку с вином.

Каждый день спозаранку он уже стоял во всеоружии на своем посту. С утра и до обеда — а обедал старик у знаменитого папаши Латюиля, прославленного карандашом Шарле,— он жевал черствые корки хлеба и делал это столь артистически, с таким безропотным видом, что подаяния сыпались на него, как из рога изобилия. Привратник и человек, кропивший верующих святой водой, с которыми Пупилье, возможно, был в сговоре, с похвалой отзывались о нем:

— Это старейший нищий нашей церкви, он еще знал кюре Ланге, который строил Сен-Сюльпис, двадцать лет он был привратником сего храма, и до революции и после нее. Теперь ему стукнуло сто лет.

Эта краткая биография, известная всем святошам, была самой отменной рекомендацией, и ни в одной шляпе парижского нищего не набиралось к вечеру столько монет. В 1826 году Пупилье купил себе дом, а в 1830 году приобрел государственную ренту.

Оба этих источника дохода приносили ему до шести тысяч франков в год, и он, по примеру Серизе, давал деньги в рост; стоимость дома, принадлежавшего Пупилье, достигала сорока тысяч франков, а стоимость ренты — сорока восьми тысяч. Племянница старого хитреца, как и привратники, младшие служители церкви и верующие, не подозревала о богатстве Пупилье и ду-

мала, что он беднее ее; вот почему она порою приносила ему рыбу. Поэтому мамаша Кардинал сочла себя вправе извлечь пользу из своих приношений и сочувствия к старику, у которого, видимо, имелась целая куча не известных ей родственников по боковой линии: ведь сама она была третьей дочерью рассыльного, и у нее было четыре брата. В детстве отец рассказывал девочке, что у нее есть три тетки и четверо дядюшек, ведущих самое нелепое существование.

Проведав старика Пупилье, г-жа Кардинал опрометью кинулась к Серизе, чтобы посоветоваться с ним. Она рассказала ростовщику о встрече с дочерью, а затем поделилась множеством соображений, наблюдений и признаков, указывавших на то, что старик, должно быть, прячет целую кучу золота в постели. Мамаша Кардинал не знала, каким способом — законным или незаконным — лучше завладеть наследством нищего, и поэтому сочла полезным довериться Серизе.

Ростовщик бедняков смахивал на золотаря, который, копаясь в нечистотах, порою находит там драгоценности: Серизе уже четыре года барахтался в грязи, поджидая такого случая, он знал, что подобные вещи порою происходят в предместьях, где люди, еще вчера носившие сабо, назавтра просыпаются богатыми наследниками. Вот почему он столь благодушно беседовал с человеком, которого поклялся разорить... Надо ли говорить, в какой тревоге Серизе ожидал возвращения вдовы Кардинал: этот мастер низких интриг дал ей точные указания, каким путем проверить возникшие у нее подозрения, что нищий прячет у себя в комнате сокровище. На прощание Серизе пообещал торговке золотые горы, если она согласится поручить ему собрать золотую жатву. Экспедитор принадлежал к числу людей, не останавливающихся даже перед преступлением, особенно если преступление это можно совершить чужими руками, а барыш присвоить себе. Мысленно он уже покупал дом на улице Жоффруа-Мари, видел себя парижским буржуа, капиталистом, ворочающим делами.

— Любезный мой Бенжамен,—воскликнула торговка рыбой, возвращаясь к Серизе, вся красная от быстрого бега и алчности,— мой дядюшка прячет в матрасе по меньшей мере сто тысяч франков золотом!.. Я уверена,

эти Пераши и взялись-то ухаживать за ним, чтобы *запустить руку* в его кубышку.

— Если разделить это состояние между сорока наследниками,— заметил Серизе,— то каждому не много достанется. Послушайте, мамаша Кардинал, я женюсь на вашей дочери, дайте ей в приданое золото своего дядюшки, а я вам оставлю его ренту и дом... с пожизненным пользованием доходами.

— А мы ничем не рискуем?

— Ничем.

— По рукам! — вскричала вдова Кардинал.— Ох, и заживу же я на шесть тысяч франков дохода!

— И в придачу у вас будет такой зять, как я,—прибавил Серизе.

— Стало быть, я отныне буду принадлежать к парижским богачам! — в упоении заявила торговка.

— А теперь,— продолжал Серизе после паузы, вызванной тем, что будущие зять и теща лобызали друг друга,— я должен произвести разведку на местности. Отправляйтесь к дядюшке и никуда не уходите оттуда. Привратнику скажите, будто ждете врача, этим врачом буду я, смотрите только не покажите вида, что мы знакомы.

— Ну и ловкач же ты, ну и пройдоха! — воскликнула мамаша Кардинал и на прощание похлопала Серизе по животу.

Через час Серизе, одетый в черную пару с рыжим париком на голове и искусно загримированным лицом, прибыл на улицу Оноре-Шевалье в наемном кабриолете. Он попросил указать ему жилище нищего по имени Пупилье. Привратник, тачавший в это время сапог, осведомился у него:

— Сударь, вы и есть врач, которго ждет госпожа Кардинал?

Серизе утвердительно кивнул головой, и горбун проводил его к узкой лестнице, которая вела на мансарду, где жил нищий.

Пераш вышел на порог привратницкой и принялся расспрашивать кучера кабриолета; тот подтвердил, что господин, которого он привез,— действительно доктор.

Дом, где проживал Пупилье, принадлежал к числу тех плоских и длинных зданий, какими застроена улица

Оноре-Шевалье — одна из самых узких в квартале Сен-Сюльпис. Закон запрещал домовладельцу надстраивать и восстанавливать строение, и тот был вынужден сдать внаем этот барак в том виде, в каком он его приобрел. Дом с необыкновенно уродливым фасадом был двухэтажный с мансардами. Справа и слева к нему под углом были пристроены два флигелька. Двор заканчивался садом, им пользовались жильцы квартиры, расположенной во втором этаже. Сад, где росло немало деревьев, был отделен от двора решеткой; будь домовладелец человеком богатым, он мог бы продать сад вместе с домом городу, а во дворе построить новое здание. Однако домовладелец был небогат, к тому же он отдал внаем второй этаж сроком на восемнадцать лет какому-то загадочному человеку, которого не мог раскусить ни сыщик-любитель, каким был знакомый нам привратник, ни жильцы, отнюдь не страдавшие отсутствием любопытства.

Этот квартиронаниматель, человек лет семидесяти, еще в 1829 году пристроил к окну флигелька, выходившего в сад, специальную лестницу, позволявшую ему спускаться, минуя двор, в этот сад и прогуливаться в нем. Левую половину нижнего этажа занимал брошюровщик, лет десять назад превративший каретные сараи и конюшни в мастерские, а правую половину — переплетчик. Оба они занимали также половину мансард, выходивших на улицу. Мансарды, шедшие над флигелем, чьи окна глядели в сад, принадлежали загадочному жильцу. Мансарда же, венчавшая второй флигелек, служила жилищем Пупилье, он платил за нее сто франков в год; попасть туда можно было по лестнице, освещенной узкими оконцами. Ворота были с глубокой нишей, так как на этой узкой улице две телеги уже не могли разъехаться.

Серизе ухватился за веревку, заменявшую перила на лестнице, которая вела в комнату, где умирал старик. Там его глазам должно было предстать зрелище показной нищеты.

В Париже все, что люди делают намеренно, им великолепно удается. Нищие в этом смысле не составляют исключения: они напоминают лавочников, искусно украшающих витрины, и людей, которые, желая получить кредит, ловко пускают пыль в глаза заимодавцам.

Пол в комнате Пупилье никогда не подметался; дерева не было видно, оно было скрыто своеобразной циновкой, образовавшейся из нечистот, пыли, высохшей грязи и различного мусора. Дрянная чугунная печурка с трубой, выведенной в простенок над полуразрушенным камином, украшала это логово; в глубине виднелся альков, там стояла кровать, чем-то напоминавшая гробницу; полог из зеленой саржи настолько обветшал и изорвался, что походил на кружево. Слепое оконце являло взору такое пыльное и грязное стекло, что занавеска тут была излишней. Стены, некогда побеленные, теперь были покрыты густым слоем копоти: нищий топил печурку углем и торфом. На камине стоял выщербленный кувшин для воды, две бутылки и разбитая тарелка. Источенный червями, убогий комод служил вместилищем для белья и чистой одежды. Вся мебель в комнате состояла из дешевого ночного столика, неструганого стола стоимостью в два франка и двух кухонных стульев с продавленными сиденьями из соломы. Живописное платье старика висело на гвозде, из-под кровати высовывались растоптанные плетеные туфли, заменявшие башмаки. Чудодейственный посох и шляпа находились возле алькова.

Войдя в комнату, Серизе бросил взгляд на больного: тот лежал на почерневшей от грязи подушке без наволочки. Его резко очерченный профиль, напоминавший те, какими в прошлом веке граверы любили украшать барельефы, которые и ныне еще можно встретить на домах вдоль бульваров, вырисовывался темным силуэтом на фоне зеленого занавеса. Пупилье, высокий и костистый старик, пристально созерцал какой-то воображаемый предмет в изножье кровати; он даже не пошевелился, услышав, как заскрипела тяжелая, обитая железом дверь с крепким засовом, надежно закрывавшая вход в жилище.

— Он в сознании? — спросил Серизе.

Мамаша Кардинал испуганно попятилась от неожиданности: она узнала вошедшего только по голосу.

— Вроде в сознании,— ответила она.

— Выйдем на лестницу, там нас никто не услышит. Вот мой план,— зашептал Серизе на ухо своей будущей теще.— Старик сильно ослабел, но вид у него еще

бодрый, так что в нашем распоряжении не меньше недели. Впрочем, я привезу сюда надежного врача. Сам я снова приду во вторник с шестью головками мака. Пупилье в таком состоянии, что настой из мака, которым мы его попотчуем, заставит сердечного уснуть крепким сном. Я пришлю вам походную кровать под тем предлогом, что вам придется проводить ночи возле больного. Мы перенесем его с кровати под зеленым балдахином на походную и узнаем, много ли денег хранится в драгоценном ложе. Ну, а там придумаем, как их вынести! Врач скажет нам, сколько дней осталось жить старику и, главное, способен ли он еще написать завещание...

— Сынок!..— вырвалось у торговки.

— Но мне надо знать, кто живет в этом дрянном бараке! Пераши могут поднять тревогу, а потом, как говорится, сколько жильцов, столько и шпионов!

— Пустяки! Я уже узнала, что бельэтаж занимает некий господин дю Портайль, невысокий старичок, опекун сумасшедшей девушки по имени Лидия, я слышала, как он с нею утром разговаривал. Ходит за ней старая фламандка, ее зовут Катт. У старика в услужении есть еще камердинер, Брюно, он все делает по дому, только обед не варит.

— Да, но переплетчик и брошюровщик,— заметил Серизе,— работают с раннего утра... А пока пойдем в мэрию. Для оглашения о предстоящем браке мне нужно указать все имена вашей дочери и место ее рождения, чтобы выправить необходимые бумаги. В следующую субботу, в восемь вечера, сыграем свадебку!

— Ну и хват, ну и молодец! — проговорила мамаша Кардинал, по-свойски толкая плечом грозного зятя.

Спустившись по лестнице, Серизе с удивлением увидел, что маленький старичок дю Портайль прогуливается по саду с одним из самых влиятельных членов правительства, графом Марсиалем де ла Рош-Югоном. Экспедитор остановился во дворе и сделал вид, будто внимательно изучает старый дом, построенный еще во времена Людовика XIV; желтые стены из тесаного камня обветшали не меньше, чем старик Пупилье. Исподтишка Серизе кинул взгляд на обе мастерские и подсчитал число работников в них. В доме было тихо, как в монастыре. Сделав нужные наблюдения, Серизе удалился, размыш-

ляя о трудностях, с какими будет сопряжено похищение денег, запрятанных умирающим, хотя, как известно, золото занимает не много места.

— Вынести деньги ночью?—пробормотал Серизе.— Но привратник и его жена все время начеку, а днем — и того хуже, за тобой будут следить двадцать пар глаз... Не так-то просто вынести на себе двадцать пять тысяч франков золотом...

Человеческому обществу присущи две формы совершенства: в первом случае цивилизация и нравственность находятся на столь высоком уровне, что уже сами по себе исключают возможность преступления; иезуиты стремились к этой возвышенной форме совершенства, которая была свойственна ранним христианам; во втором случае цивилизация находится на таком уровне, когда взаимное наблюдение граждан друг за другом делает преступление невозможным. Именно к такой форме совершенства стремится современное общество: в нем преступление сопряжено с такими трудностями, что только человек, неспособный рассуждать, совершает его. И действительно, ни одно из правонарушений, даже ускользнувших от возмездия закона, не остается безнаказанным, и приговор общественного мнения бывает подчас еще суровее, нежели судебный приговор. Пусть какой-нибудь человек, подобно Миноре, нотариусу из Немура, уничтожит завещание без свидетелей, это преступление будет раскрыто людьми добродетельными так же, как воровство раскрывается полицейскими агентами. Любое проявление непорядочности будет раньше или позже замечено, и любой тайный ущерб, нанесенный ближнему, так или иначе станет явным. В наши дни ни люди, ни вещи не исчезают бесследно, особенно в Париже, где предметы обстановки перенумерованы, дома охраняются, улицы находятся под наблюдением, площади кишат добровольными шпионами. Нарушение закона получает право на существование лишь в том случае, если его санкционирует столь авторитетное учреждение, как биржа, или если оно совершается с общего согласия: так, к примеру, клиенты Серизе не жаловались на незаконные поборы, которыми облагал их ростовщик; больше того, они бы задрожали от ужаса, если бы не нашли его на посту — в кухне, во вторник утром.

— Ну, что вы скажете, сударь,— спросила привратница, идя навстречу Серизе,—как себя чувствует ваш бедный больной, этот божий человек?..

— Я поверенный госпожи Кардинал,— ответил Серизе,— и посоветовал ей поставить в комнате старика походную кровать, чтобы ухаживать за ним. Я нынче же пришлю нотариуса, врача и сиделку.

— О, с обязанностями сиделки я бы отлично управилась,— заметила госпожа Пераш,— ведь я ходила за роженицами.

— Ну что ж! Там видно будет,— отозвался Серизе,— я это улажу... Скажите, кто занимает бельэтаж?

— Господин дю Портайль... Он уже тридцать лет здесь живет, это рантье, весьма почтенный старик... Вы, верно, и сами знаете, рантье живут на свою ренту... В прошлом он ворочал делами... Скоро уже одиннадцать лет, как он пытается вернуть рассудок дочке одного из своих друзей, мадемуазель Лидии де ла Перад. О, за ней так заботливо ухаживают, ее пользуют два самых знаменитых врача... Но только до сих пор все было напрасно, рассудок к бедняжке не возвращается!

— Ее зовут Лидия де ла Перад? — изумился Серизе.— Вы уверены?

— Ее гувернантка, госпожа Катт, она, кстати, и обед готовит, называла мне это имя сто раз, хотя, вообще говоря, ни господин Брюно, камердинер старика, ни госпожа Катт болтать не любят. Обращаться к ним с вопросами бесполезно: молчат, как каменные... Мой муж уже двадцать лет привратник, а о господине дю Портайле мы так ничего толком и не выведали. Я вам вот еще что скажу, сударь, ведь ему принадлежит боковой флигель, видите, вон там, где калитка! А потому он может по своему желанию выходить на улицу и принимать гостей, а мы о том даже и не знаем. Да и наш домовладелец знает не больше, чем мы: ведь, когда звонят у калитки, открывать идет господин Брюно...

— Стало быть, вы не видали, как вошел человек, с которым сейчас беседует ваш загадочный старичок? — спросил Серизе.

— Вот так штука! А я и не подозревала, что к нему кто-то пришел...

Лидия — дочь дяди Теодоза,— сказал себе Серизе,

усаживаясь в кабриолет.— А дю Портайль, должно быть, тот самый таинственный покровитель, который в свое время прислал моему дружку две с половиной тысячи франков... Что, если я предварю старика анонимным письмом об опасности, угрожающей молодому адвокату, который должен по векселям двадцать тысяч франков?»

Через час походная кровать для г-жи Кардинал была доставлена; любопытная привратница предложила торговке свои услуги для приготовления обеда.

— Не хотите ли вы повидать господина кюре? — спросила мамаша Кардинал у больного, с интересом разглядывавшего новую кровать.

— Я хочу вина! — проворчал нищий.— И ничего больше.

— Как вы себя чувствуете, папаша Пупилье? — осведомилась привратница.

— Никак я себя не чувствую,— ухмыльнулся старик,— вот уже двенадцать дней, как я не занимаюсь своим ремеслом...

Этот человек, много лет стоявший на паперти церкви Сен-Сюльпис, считал нищенство ремеслом...

— Он приходит в себя,— прошептала мамаша Кардинал.

— Они меня обворовывают, они там управляются без меня,— продолжал старик, бросая вокруг угрожающие взгляды.— А, это ты, крошка Кардинал? Клянусь святым храмом...

— Как я рада, что́ вы пришли в себя!—воскликнула крошка Кардинал, которой было без малого сорок лет.

Старец снова откинулся на подушку.

— Неважно, он еще в силах подписать завещание, как говорит наша *обезьяна*,— проворчала торговка рыбой.

Читателю должно быть известно, что в народе прозвище «обезьяна» дается поверенным и нотариусам. Называют так и подрядчиков.

— Надеюсь, вы обо мне не забудете,— умильным голосом сказала привратница.— Ведь это я велела Перашу сходить за вами.

— Забыть о вас? Да я скорее забуду о боге, моя милая... Какая же я буду Пупилье, если, получив свою долю, не насыплю вам полный передник монет...

Вечером снова вернулся Серизе; он покончил со всеми хлопотами, связанными с получением необходимых для бракосочетания бумаг, и побывал в мэриях двух округов, где сделал оглашение. Одной чашки настоя из мака оказалось достаточно, чтобы усыпить старика Пупилье. Достойная племянница и Серизе взяли больного за голову и за ноги и перенесли его с одной кровати на другую. Затем, не испытывая никакого стыда, торопливо перерыли постель; они даже вспороли матрас, этот несгораемый шкаф нищих. В матрасе ничего не оказалось, зато под ним вместо сетки они увидели деревянный ящик. Нетерпеливые наследники вскоре обнаружили в ящике двойное дно, и тогда стало понятно, почему мамаша Кардинал не смогла утром сдвинуть с места это тяжелое ложе. Через несколько минут Серизе, тщательно исследовав тайник, понял, что внутренний ящик замаскирован дощечкой, которая выдвигается, подобно крышке пенала. Он вытащил эту деревянную пластинку, и его глазам открылись четыре ящика, шириною в три дюйма каждый, набитые золотыми монетами.

— Мы заменим золото медяками,— ухмыльнулся Серизе, подталкивая локтем свою сообщницу.

— А много ли тут денег?

— Больше ста тысяч франков, в каждом ящике — по меньшей мере тридцать тысяч,— ответил Серизе,— славное приданое для вашей дочери. А теперь перенесем старика на его кровать. Раз секрет тайника нам известен, мы без труда разработаем эту золотую жилу...

— Должно быть, он откопал такую кровать скупца у какого-нибудь торговца мебелью,— заметила госпожа Кардинал.

— Давайте посмотрим, смогу ли я унести за раз тысячу монет по сорок франков,— сказал Серизе, набивая золотом карманы.

В карманы панталон вошло триста золотых монет, в жилетные — двести, а в каждый из двух карманов сюртука он вложил по двести пятьдесят монет, предварительно завязав их в свой носовой платок и в платок мамаши Кардинал.

— Ну как, очень заметно, что я нагружен? — спросил он, прохаживаясь по комнате.

— Вовсе нет!..

— Так вот, за четыре раза я перетащу к себе все золото из ящиков.

Спящего старика перенесли на его ложе, а Серизе отправился на площадь Сен-Сюльпис, где нанял фиакр и поехал домой. Чтобы не возбуждать подозрений, он вскоре вновь возвратился в сопровождении врача из квартала Сен-Марсель, обычно пользовавшего бедняков и хорошо знавшего их недуги. Осмотр больного продолжался до девяти часов вечера. Врач, введенный в заблуждение глубоким забытьем больного, которое было вызвано настойкой мака, заявил, что тот не протянет и трех дней. Как только врач уехал, Серизе взял...

(На этом заканчивается текст, оставленный Бальзаком).

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОДОЛЖЕНИЯ РОМАНА «МЕЛКИЕ БУРЖУА», КОТОРОЕ НАПИСАНО ШАРЛЕМ РАБУ

Серизе и г-жа Кардинал усыпляют Пупилье с помощью наркотического средства и все перерывают в его логове. В конце концов они обнаруживают тайник, где хранятся золото и драгоценные камни; они уже собираются завладеть этим богатством, когда появляется дю Портайль, следивший за ними. Он выставляет за дверь г-жу Кардинал и после нескольких угрожающих слов, по достоинству оцененных Серизе, назначает незадачливому экспедитору свидание на следующий день.

Во время этой встречи Серизе рассказывает дю Портайлю о намерении Теодоза де ла Перада жениться на Селесте Кольвиль; дю Портайль, со своей стороны, открывает Серизе некоторые планы, касающиеся Теодоза: оказывается, пораженная безумием девушка, которую опекает дю Портайль,— побочная дочь одного из его друзей, Перада, умершего лет десять назад. Только что скончавшийся Пупилье оставил завещание в ее пользу, так что девушка богата, и дю Портайль намерен выдать ее замуж за Теодоза, который доводится ей двоюродным братом; опекун надеется, что брак и материнство вернут несчастной разум. Вот почему необходимо любой ценой расстроить свадьбу Теодоза и Селесты. Серизе соглашается принять участие в заговоре и берется уломать Теодоза. Тот отказывается, упорствует в своих планах, связанных с семейством Тюилье, и, чтобы порвать всякие отношения с бывшими сообщниками, уплачивает долг Дютоку.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Несмотря на неудачу, дю Портайль не признает себя побежденным и продолжает прилагать усилия к тому, чтобы поссорить ла Перада с семейством Тюилье, прижать адвоката к стене и заставить его капитулировать. Некая дама, г-жа Торнà, графиня де Годолло, приехавшая из Венгрии, становится близкой подругой мадемуазель Тюилье, у которой она проводит дни и вечера. Эта женщина использует все свое влияние в доме Тюилье, чтобы разрушить планы Теодоза и помочь Феликсу Фельону добиться руки Селесты Кольвиль. Срок, который Тюилье предоставил Селесте, чтобы она остановила свой выбор на одном из женихов, подходит к концу. Г-жа де Годолло предпринимает последнюю попытку помочь Феликсу: на одном из вечеров у мадемуазель Тюилье она, рассыпаясь в похвалах молодому ученому, сообщает о том, что ей стало известно из надежных источников, будто он обратился к религии. Появляется Феликс и с присущим ему благородством опровергает эту ложь во спасение. Возмущенная такой наивностью, графиня де Годолло объявляет Теодозу, что переходит на его сторону.

Между тем брошюра, которую Теодоз пишет совместно с Тюилье на тему «Налоги и возмещение долгов», выходит в свет. Она навлекает на себя преследование за «превышение прав прессы, призывы к ненависти и к пренебрежению в отношении правительства». Перепуганный Тюилье накидывается на ла Перада и выгоняет его из дому. В действительности преследование это — дело рук графини де Годолло, которая объявляет Теодозу, что она затеяла все из любви к нему. Восхищенный этим признанием, Теодоз является в дом Тюилье и довершает разрыв со своим *добрым другом*, затем возвращается к г-же де Годолло за наградой. Однако эта особа уже успела уехать в Венгрию, она присылает Теодозу с дороги письмо и сообщает, что ее поведение — лишь игра, которую она вела в интересах дю Портайля. Она советует ла Пераду как можно скорее повидаться с дю Портайлем.

Пришедший в ярость, Теодоз впадает затем в отчаяние и тяжело заболевает; в довершение всего становится известно, что по доносу дю Портайля ему придется пред-

стать перед советом корпорации адвокатов, чтобы дать объяснения по поводу покупки дома возле церкви Мадлен.

После выздоровления Теодоза Лусто предлагает ему уговорить Тюилье приобрести небольшую газету «Эко де ла Бьевр»: она может принести пользу Тюильье в связи с тем, что он выдвигает свою кандидатуру в Палату депутатов. Кажется, обстоятельства снова начинают благоприятствовать ла Пераду: Тюильье покупает газету и поручает руководство ею Теодозу, которому он вновь торжественно обещает руку Селесты. Молодой человек приглашает в качестве редактора «отважного Серизе». Это как нельзя больше на руку дю Портайлю: Серизе, по его наущению, убеждает Тюильье, будто Теодоз, продавшись полиции, злонамеренно вставил в брошюру, написанную им совместно с Тюильье, фразы, за которые автору придется ответить перед судом присяжных. Ла Пераду с огромным трудом удается оправдаться, и он выгоняет Серизе. Его брак с Селестой окончательно решен, и уже назначен день для подписания брачного контракта.

День этот вносит много беспокойства в дом Тюильье. Внезапно становится известно, что Феликс Фельон, талантливый молодой астроном, открыл новую звезду; в своем докладе Академии наук он великодушно объявил, будто честь этого открытия принадлежит не ему, а его старому учителю господину Пико, которому глубоко любящий его Феликс уже много лет оказывает денежную поддержку. Собравшиеся у Тюильье гости тщетно ждут нотариуса для заключения брачного контракта: выясняется, что тот бежал вместе с кассой в Бельгию. Феликс, награжденный за свое замечательное открытие орденом Почетного легиона, объявляет о своем намерении обратиться к религии.

При этом известии кроткая г-жа Тюильье пытается в меру своих сил воспротивиться решению о браке ее крестницы Селесты с Теодозом. В семействе Тюильье-Кольвиль все становится вверх дном. Бригитта Тюильье складывает свои вещи. Тогда Теодоз решает обратиться непосредственно к Селесте. Он лицемерно доказывает девушке, что она должна подчинить свои чувства воле мадемуазель Тюильье, а главное, позаботиться о спокойст-

вии крестной матери. Селеста покоряется и дает Теодозу согласие выйти за него замуж.

Дю Портайль понимает, что наступило время вмешаться: он является к Тюилье и раскрывает ему истинное лицо де ла Перада. После ухода дю Портайля Тюилье спешит взять обратно слово, данное Теодозу, и посылает молодого человека за объяснениями к самому дю Портайлю. Тот разъясняет ла Пераду причины своего поведения и свои намерения на его счет: неприглядное прошлое Теодоза, долги, связи с подозрительными людьми, которые *держат его в руках*, мошеннические проделки, в которых он участвовал и которые привели к его исключению из корпорации адвокатов,— все это препятствует браку с девушкой из буржуазной среды. Теодозу не остается ничего иного, кроме женитьбы на воспитаннице дю Портайля Лидии; она двоюродная сестра Теодоза, дочь известного полицейского агента Перада. Лидия красива и богата, замужество вернет ей разум; женившись на ней, адвокат станет наследником самого дю Портайля. И дю Портайль открывает наконец Теодозу свое настоящее имя: оказывается, он Корантен, «префект тайной дипломатической и политической полиции», «величайший полицейский чиновник современности», как говорит о нем автор статьи, помещенной в сборнике «Биографии выдающихся деятелей наших дней». Узнав, что его ждет богатое наследство, Теодоз соглашается.

В результате происков дю Портайля и де ла Перада Тюилье проваливается на выборах в Палату депутатов, и Феликс Фельон женится наконец на Селесте Кольвиль.

СЦЕНЫ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ

ТЕМНОЕ ДЕЛО

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
НЕУДАЧИ ПОЛИЦИИ

Господину де Маргону, в знак благодарности за гостеприимство в замке Сашэ.

Де Бальзак.

В 1803 году стояла прекрасная осень — одна из лучших за все первые годы того периода истории, который мы зовем Империей. Выпавшие в октябре дожди оживили луга, и еще в ноябре деревья стояли в пышном зеленом убранстве. Народ уже стал поговаривать о том, что Наполеон, недавно провозглашенный пожизненным консулом, видно, заключил с небесами союз,— в подобных слухах крылась одна из причин его неотразимого обаяния. И странное дело — стоило только в 1812 году солнцу изменить ему, как в тот же день кончились и его удачи. 15 ноября 1803 года, в четвертом часу пополудни, солнце светило ярко, словно осыпáло багряной пылью вершины вековых вязов, окаймлявших в четыре ряда длинную аллею барского поместья; под его лучами поблескивали песок и газон огромной площадки, какие можно встретить в деревне, где в старину земля стоила так дешево, что люди позволяли себе роскошь занимать большие участки под парки и цветники. Воздух был до того чист, до того мягок, что все семейство вышло посидеть перед домом, словно летом. Человек в тиковой охот-

ничьей куртке зеленого цвета, с зелеными пуговицами, в таких же штанах, обутый в башмаки на тонкой подошве и тиковые гетры, доходившие ему до колен, чистил карабин с той тщательностью, которая присуща опытным охотникам, когда они предаются этому занятию в часы досуга. Возле него не видно было ни ягдташа, ни дичи — словом, ничего такого, что говорило бы о сборах или о возвращении с охоты, и две женщины, сидевшие рядом, наблюдали за ним, едва скрывая тревогу. Каждый, кто, спрятавшись в кустарнике, наблюдал бы эту сцену, несомненно содрогнулся бы так же, как содрогались жена и престарелая теща этого человека. Ясно, что никакой охотник не станет столь тщательно готовить оружие, чтобы убить две-три утки, и никто в департаменте Об не воспользуется для этого тяжелым нарезным карабином.

— Ты что — косулю подстрелить собираешься, Мишю? — с притворной шутливостью спросила охотника его молодая красавица жена.

Прежде чем ответить, Мишю посмотрел на свою собаку, которая грелась на солнышке, вытянув передние лапы и положив на них морду, в той грациозной позе, в какой обычно лежат охотничьи собаки. Вдруг она подняла голову и стала нюхать воздух, то глядя прямо перед собою в направлении аллеи, тянувшейся на четверть мили, то в сторону поперечной дороги, которая выходила на площадку с левой стороны.

— Не косулю, а чудовище, и ни за что не промахнусь,— ответил Мишю. Тут собака, великолепный испанский сеттер, белый в коричневых пятнах, зарычала.— Ну вот и сыщики,— сказал Мишю словно про себя.— Кишмя кишат в округе!

Госпожа Мишю скорбно подняла взор к небесам. Это была прекрасная белокурая женщина, сложенная, как античная статуя; она была задумчива и сосредоточенна, ее, казалось, томило гнетущее, беспросветное горе. Внешний облик ее мужа мог до известной степени дать основание для тревоги обеих женщин. Законы физиогномики находятся не только в полном соответствии с характером человека, но и с его судьбой. Есть лица как бы пророческие. Если бы мы располагали точными изображениями людей, кончивших жизнь на эшафоте (а такая живая

статистика была бы крайне полезна для общества), то наука, созданная Лафатером и Галлем, безошибочно доказала бы, что форма головы у этих людей — даже невинных — отмечена некоторыми странными особенностями. Да, рок клеймит своей печатью лица тех, кому суждено умереть насильственной смертью. Именно такую печать увидел бы зоркий наблюдатель на выразительном лице человека с карабином. Мишю был толстый коротышка, порывистый и проворный, как обезьяна, хоть и обладал спокойным характером; лицо у него было белое, с красными пятнами, стянутое, как у калмыка, в комок, а рыжие вьющиеся волосы придавали ему зловещее выражение. В прозрачных желтоватых глазах его таилась, точно в глазах тигра, какая-то уходившая внутрь глубина, в которой взгляд смотрящего на него человека тонул, не находя там ни движения, ни тепла. И эти пристальные, лучистые и жестокие глаза в конце концов наводили ужас. Постоянное противоречие между неподвижностью взора и проворством тела еще больше усиливало леденящее впечатление. которое производил Мишю при первой встрече. Живость этого человека должна была служить одной-единственной мысли, подобно тому как у животных вся жизнь бездумно подчинена инстинкту. С 1793 года он отпустил рыжую бороду и носил ее веером. Даже не будь он во время террора председателем якобинского клуба — одной этой черты его внешности было достаточно, чтобы наводить страх. Эту сократовскую курносую физиономию венчал прекрасный лоб, однако столь выпуклый, что, казалось, он нависает над лицом. Правильно поставленные уши были подвижны, как уши всегда настороженных хищников. Рот, приоткрытый, как нередко бывает у деревенских жителей, обнажал белые, словно миндаль, крепкие, но очень неровные зубы. Его белесое, а местами сизое лицо было обрамлено густыми шелковистыми бакенбардами. Волосы были спереди коротко подстрижены, но отпущены с боков и на затылке; их ярко-рыжий цвет еще сильнее подчеркивал все то причудливое и роковое, что поражало в этом лице. Короткая жирная шея так и манила к себе меч Правосудия. В тот миг солнце заливало светом эти три фигуры, на которые временами поглядывала собака. Вся сцена происходила на великолепном фоне.

Площадка находилась на окраине парка в гондревильском поместье—одном из самых живописных во Франции и, бесспорно, самом богатом в департаменте Об: густые аллеи вязов, замок, построенный по плану Мансара, парк в полторы тысячи арпанов, обнесенный оградою, девять больших ферм, лес, мельницы и луга. Это прямо-таки королевское поместье до революции принадлежало семье де Симезов. Ксимез — ленное владение, расположенное в Лотарингии. Фамилия Ксимез произносилась «Симез» — и в конце концов так стали ее и писать.

Огромные богатства Симезов, дворянского рода, находившегося на службе у герцогов Бургундских, восходят к тем временам, когда Гизы соперничали с Валуа. Сначала Ришелье, потом Людовик XIV вспомнили, как ревностно Симезы служили мятежному лотарингскому роду, и это послужило причиной их опалы. Тогдашний маркиз де Симез, старый бургиньонец, старый гизовец, старый участник Лиги, старый участник Фронды (он унаследовал кое-какие черты от всех этих четырех восстаний знати против короля) удалился на покой в Сен-Синь. Изгнанный из луврского дворца, этот вельможа женился на вдове графа де Сен-Синь, отпрыска младшей ветви знаменитых де Шаржбефов, одного из самых знатных родов в старинном графстве Шампань, причем эта младшая ветвь столь же прославилась, как и старшая, а богатством даже превзошла ее. Вместо того чтобы разоряться, оставаясь при дворе, маркиз, один из состоятельнейших людей своего времени, построил гондревильский замок, скупил окружающие его поместья и присоединил к ним разные угодья — с единственной целью завести хорошую охоту. Он построил также особняк Симезов в городе Труа, неподалеку от особняка Сен-Синей. Эти два старинных дома да еще епископские палаты долгое время были единственными каменными зданиями в Труа. Поместье Симез маркиз продал герцогу Лотарингскому. В царствование Людовика XV сын маркиза промотал все сбережения и часть огромного отцовского состояния; однако впоследствии он сделался командиром эскадры, потом вице-адмиралом и своей доблестной службой искупил проказы юности. Маркиз де Симез, сын этого моряка, погиб на эшафоте в Труа и оставил двух близнецов, которые эмигрировали и нахо-

дились теперь за границей, разделяя судьбу семейства Конде.

В старину, при «великом маркизе», площадка служила местом сбора охотников (основателя Гондревиля звали в семье Симезов «великим маркизом»). С 1789 года Мишю жил здесь, в охотничьем домике, стоявшем в глубине парка; домик был построен еще при Людовике XIV и назывался сен-синьским павильоном. Деревня Сен-Синь расположена на опушке Нодемского леса (Нодем — искаженное Нотр-Дам); к лесу ведет аллея вязов, та самая, на которой Куро учуял шпионов. После смерти «великого маркиза» охотничий павильон был совсем заброшен. Вице-адмирала гораздо больше привлекали море и двор, чем Шампань, а сын его предоставил домик в распоряжение Мишю.

Это изящное сооружение сложено из кирпича, а его углы, двери и окна украшены резным камнем. Со всех сторон оно окружено чугунной оградой превосходной работы, но сильно заржавевшей; за нею тянется широкий и глубокий ров, вдоль которого вздымаются могучие деревья и высится изгородь, угрожающая злоумышленникам бесчисленными шипами.

Стена парка проходит позади круглой охотничьей площадки. За нею виден широкий полумесяц обсаженного вязами откоса, а соответствующий ему полукруг внутри парка состоит из массивов экзотических деревьев. Охотничий домик находится в самом центре площадки, окаймленной двумя подковами лужаек. Мишю устроил в залах нижнего этажа конюшню, хлев, кухню и дровяной сарай. От былой роскоши осталась только прихожая, выложенная белым и черным мрамором; сюда ведет со стороны сада дверь-окно с маленькими стеклышками; такие двери еще недавно были в Версале, до того как Луи-Филипп превратил этот дворец в богадельню былой славы Франции. Внутри домик разделен надвое старинной лестницей, источенной червями, но очень характерной для архитектуры того времени; она ведет в верхний этаж, где расположено пять низких комнат. Еще выше — просторный чердак. Сей почтенный дом увенчан высокой четырехскатной крышей с гребнем и двумя свинцовыми букетами; в крыше четыре слуховых окна, которые так любил Мансар, и был вполне прав,

ибо во Франции аттик и плоские, на итальянский манер, крыши — бессмыслица, против которой восстает сам климат. Здесь Мишю устроил сеновал. Участок парка, прилегающий к этому старинному домику, выдержан весь в английском вкусе. Раньше шагах в ста отсюда находилось озеро, теперь это обыкновенный пруд, изобилующий рыбой; о его близости можно судить по лёгкому туману, стоящему над деревьями, и по кваканью лягушек, жаб и прочих земноводных, любящих поболтать на закате солнца. Ветхость дома, глубокое безмолвие парка, перспектива аллеи, дальний лес, тысячи мелочей вроде изъеденной ржавчиной решетки или груды замшелого камня — все придает охотничьему домику, существующему и поныне, особую поэтичность.

В ту минуту, когда начинается эта история, Мишю сидел, облокотясь на покрытую мхом каменную ограду, где лежали его картуз, платок, пороховница, отвертка, тряпки — словом, все принадлежности, необходимые для его загадочных приготовлений. Стул, на котором сидела его жена, стоял возле наружной двери павильона, над которой еще сохранился отлично изваянный герб Симезов и их благородный девиз: «Si meurs!» [1]. Мать, одетая по-крестьянски, поставила свой стул перед стулом г-жи Мишю, чтобы дочь могла опереться ногами на перекладину и таким образом уберечь их от сырости.

— А где малыш? — спросил Мишю у жены.

— Бродит около пруда; его не оторвешь от всяких букашек да лягушек.

Мишю свистнул так, что можно было затрепетать. Быстрота, с какой прибежал его сын, свидетельствовала о деспотизме гондревильского управляющего. С 1789, а особенно с 1793 года Мишю стал почти полновластным хозяином этих мест. Страх, который он внушал жене, теще, слуге-подростку по имени Гоше, а также служанке Марианне, распространялся на всю округу. Пожалуй, не стоит больше медлить с объяснением причин, вызывавших подобное чувство, тем более что это в какой-то мере дополнит нравственный портрет Мишю.

Старый маркиз де Симез распродал свои имения в 1790 году, но события опередили его, и он не успел пере-

---

[1] «Умри, не отступив!» *(лат.)*

дать в надежные руки прекрасное поместье Гондревиль. Маркиз и его супруга были обвинены в сношениях с герцогом Брауншвейгским и принцем Кобурским и заключены в тюрьму; революционный трибунал в Труа, председателем которого был отец Марты, приговорил их к смертной казни. Таким образом их прекрасное имение стало достоянием государства. Во время казни маркиза и его супруги многие, не без ужаса, заметили среди толпы главного лесничего Гондревиля, ставшего председателем якобинского клуба в городе Арси; он нарочно приехал в Труа, чтобы присутствовать при казни. Мишю, сын простого крестьянина, сирота, был облагодетельствован маркизой; она воспитала его у себя в замке, а затем назначила своим лесничим; поэтому даже наиболее фанатичные люди считали его своего рода Брутом, а после проявленной им неблагодарности все земляки отвернулись от него. Имение Гондревиль было куплено неким Марионом, жителем Арси, внуком бывшего управляющего Симезов. Этот человек, занимавшийся до и после революции адвокатурой, боялся лесничего; поэтому он взял его в управляющие, назначил ему три тысячи ливров жалованья да отчисления от доходов с поместья. Мишю, известный как ярый патриот и уже слывший обладателем капитала тысяч в десять, женился на дочери кожевника из Труа, который считался апостолом революции в городе, где он председательствовал в местном революционном трибунале. Кожевник этот, человек твердых убеждений и характером своим походивший на Сен-Жюста, впоследствии оказался замешанным в заговоре Бабефа и, чтобы избежать казни, покончил жизнь самоубийством. Марта была самой красивой девушкой в Труа. Поэтому, вопреки своей скромности, она была вынуждена, по воле грозного отца, изображать богиню Свободы во время одного из республиканских празднеств. За семь лет новый владелец Гондревиля и трех раз не побывал в своем поместье. Так как его дед был управляющим у Симезов, то весь город Арси решил, что Марион действует в интересах этой семьи. Пока продолжался террор, смотритель Гондревиля — ярый патриот, зять председателя революционного трибунала в Труа, человек, обласканный Маленом (Обским), одним из депутатов этого департамента,— пользовался некоторым

уважением и сознавал это. Но когда Гора была разгромлена, когда тесть его лишил себя жизни, Мишю превратился в козла отпущения; все поспешили приписать и ему и тестю такие дела, к которым сам Мишю не имел никакого касательства. Лесничий возмутился людской несправедливостью, замкнулся в себе, ожесточился. Он стал дерзким. Однако после 18 брюмера он хранил глубокое молчание, которое является философией сильных людей; он уже не воевал с общественным мнением, довольствуясь тем, что действует; эта мудрая сдержанность привела к тому, что его стали считать хитрецом, ведь он располагал капиталом тысяч в сто, вложенным в землю. Но, во-первых, он ничего не тратил; во-вторых, это состояние он скопил вполне законным путем — как благодаря наследству, оставленному тестем, так и благодаря тем шести тысячам в год, которые он получал в виде жалованья и процентов. Хотя Мишю был уже двенадцать лет управляющим и каждый без труда мог подсчитать его сбережения, все же, когда в начале Консульства этот бывший сторонник Горы купил себе ферму за пятьдесят тысяч франков, жители Арси стали возмущаться и обвинять его в намерении вернуть себе былой вес при помощи большого состояния. К несчастью, в то самое время, когда о бывшем монтаньяре уже начали забывать, одна нелепая история, раздутая провинциальными сплетнями, вновь укрепила всеобщую уверенность в том, что это человек необычайной жестокости.

Как-то вечером, выходя из предместья Труа в обществе нескольких крестьян, среди которых был и арендатор Сен-Синя, Мишю обронил на дороге какую-то бумажку; арендатор, шедший позади других, нагнулся и подобрал ее; Мишю оборачивается, видит бумажку в руках этого человека, тут же выхватывает из-за пояса пистолет, заряжает его и грозит фермеру (а тот учился грамоте), что немедленно пристрелит ему голову, если он осмелится развернуть бумагу. Движения Мишю были так проворны, так резки, голос его звучал так грозно, глаза пылали таким огнем, что все онемели от ужаса. Арендатор сен-синьской фермы, естественно, был врагом Мишю. Все состояние мадемуазель де Сен-Синь, кузины Симезов, заключалось в этой единственной ферме, а жила она в своем замке Сен-Синь. Весь смысл существова-

ния мадемуазель де Сен-Синь сосредоточился на ее двоюродных братьях-близнецах, с которыми она играла девочкой в Труа и Гондревиле. Ее единственный родной брат Жюль де Сен-Синь, эмигрировавший раньше, чем братья Симезы, был убит под Майнцем; но благодаря довольно редкой привилегии, о которой речь будет ниже, роду Сен-Синей не грозило угаснуть из-за отсутствия мужских представителей. Столкновение между Мишю и сен-синьским фермером вызвало шум во всей округе и еще сгустило тот налет таинственности, который лежал на Мишю; однако были и другие причины, делавшие его опасным в глазах окружающих. Несколько месяцев спустя после этого происшествия гражданин Марион в сопровождении гражданина Малена приехал в Гондревиль. Прошел слух о том, что Марион собирается продать имение этому человеку; политические события пошли Малену на пользу: первый консул, желая вознаградить Малена за услуги, оказанные им 18 брюмера, назначил его членом государственного совета. Тут политиканы захолустного городка Арси догадались, что Марион был подставным лицом Малена, а не господ Симезов. Всесильный государственный советник был самой важной персоной в городе. Он устроил одного из своих политических единомышленников в префектуру Труа, выхлопотал освобождение от воинской повинности сыну одного из гондревильских фермеров, по имени Бовизаж,— словом, старался всем услужить. Поэтому сделка не должна была встретить никаких возражений в этих местах, где Мален был и еще теперь продолжает быть хозяином. То была заря Империи. Тот, кто в наши дни читает историю Французской революции, даже представить себе не может, какими огромными интервалами отделяла тогда человеческая мысль события, в действительности столь близкие одно от другого. Жажда спокойствия и мира, которая после этих бурных потрясений ощущалась всеми, вытеснила из памяти людей даже самые значительные события недавних лет. История быстро старела, ибо возникали все новые жгучие интересы. Поэтому никто, кроме Мишю, не вспоминал, как началось это дело; оно казалось всем вполне естественным. Марион, в свое время купивший Гондревиль за шестьсот тысяч франков ассигнациями, продал его за миллион золотом; однако

Мален выложил наличные лишь за составление купчей. Гревен, старый товарищ Малена по конторе, конечно, покровительствовал этой сделке, а государственный советник отблагодарил его тем, что выхлопотал ему место нотариуса в Арси. Когда эта новость дошла до охотничьего домика, куда ее принес арендатор «Груажа» — фермы, расположенной между лесом и парком, справа от великолепной аллеи,— Мишю побледнел и вышел из дому; он стал разыскивать Мариона и, наконец, встретил его в одной из аллей парка; Марион был один.

— Вы продаете Гондревиль?

— Продаю, Мишю, продаю! Вашим новым хозяином будет человек весьма влиятельный. Государственный советник — друг первого консула; он приятель со всеми министрами и может быть вам полезен.

— Вы, значит, берегли имение для него?

— Ну, это не совсем так,— ответил Марион.— В те времена я не знал, куда поместить деньги, и решил, что самое надежное вложить их в конфискованные земли; но мне неудобно оставаться владельцем поместья, принадлежавшего семье, у которой мой отец был...

— Слугою, управляющим,— резко оборвал его Мишю.— Однако вы не продадите имение Малену! Я сам хочу купить его, денег у меня хватит.

— Ты?

— Да, я; и я не шучу; я готов уплатить вам наличными восемьсот тысяч.

— Восемьсот тысяч? Да откуда же они у тебя? — удивился Марион.

— Это вас не касается,— возразил Мишю. Потом, смягчившись, добавил чуть слышно: — Мой тесть спас немало людей.

— Но ты опоздал, Мишю, дело уже сделано.

— Откажитесь от него, сударь! — воскликнул управляющий и, схватив руку своего хозяина, сжал ее, словно тисками.— Меня ненавидят, вот я и хочу стать богатым и сильным; мне нужен Гондревиль! Слушайте, я жизнью не дорожу, и либо вы продадите имение мне, либо я вас застрелю...

— Дайте хоть время, чтобы отделаться от Малена, ведь это не так легко...

— Даю вам сутки. А если вы хоть словом обмолви-

тесь на этот счет, я снесу вам голову с плеч, как кочан капусты.

Ночью Марион и Мален уехали из замка. Марион перепугался; он рассказал государственному советнику об этой встрече и посоветовал не спускать глаз с управляющего. Марион не мог не выполнить своих обязательств и не передать имение тому, кто действительно за него заплатил, а Мишю, видимо, не в состоянии был ни понять, ни признать такой довод. К тому же услуга, которую Марион оказывал Малену, должна была стать и действительно стала источником политической карьеры Мариона и его брата. В 1806 году Мален добился назначения стряпчего Мариона первым председателем суда, а когда была учреждена должность управляющих окладными сборами, он исхлопотал эту должность в департаменте Об для брата стряпчего. Государственный советник настоял на том, чтобы Марион остался в Париже, и сообщил обо всем министру полиции, который приказал установить за Мишю наблюдение. Чтобы не толкнуть Мишю на крайности, а может, и чтобы следить за ним, Марион, невзирая на все это, не уволил его, и Мишю продолжал управлять имением под надзором арсийского нотариуса. С этого времени за Мишю, становившимся все угрюмее и задумчивей, утвердилась репутация человека, который способен даже на преступление.

Мален, будучи государственным советником (а эту должность первый консул приравнял тогда к должности министра) и являясь, кроме того, одним из составителей Кодекса, слыл в Париже лицом весьма влиятельным; он приобрел один из лучших особняков Сен-Жерменского предместья и еще до этого женился на единственной дочери коммерсанта Сибюэля, человека богатого, но сомнительной репутации. Тестя Мален устроил помощником Мариона в управление окладными сборами департамента Об. Поэтому он посетил Гондревиль всего-навсего один раз, вполне полагаясь на Гревена в деле защиты своих интересов. Да и чего было ему, бывшему депутату департамента Об, опасаться со стороны бывшего председателя арсийского клуба якобинцев? Однако дурное мнение о Мишю, сложившееся в низших классах, стала под конец разделять и буржуазия; Марион, Гревен, Мален, осто-

рожно и не вдаваясь в объяснения, начали отзываться о нем как о человеке крайне опасном. Местные власти, получившие приказ министра полиции наблюдать за управляющим, не опровергли установившегося мнения. В конце концов жители департамента Об стали удивляться, почему Мишю все-таки продолжает занимать место управляющего; но эту снисходительность Малена объясняли тем ужасом, который Мишю внушал всем окружающим. Кому теперь не будет понятна глубокая печаль, сквозившая во всем облике жены этого человека?

Прежде всего следует сказать, что Марта была воспитана матерью в духе глубокого благочестия. Как истых католичек, их обеих очень удручал образ мыслей и поведение кожевника. Марта краснела от стыда при одном воспоминании о том, как ее возили по улицам Труа в виде языческой богини. Она и замуж вышла по воле отца за Мишю, дурная слава которого все росла, а вместе с тем Марта так боялась мужа, что никогда не осмеливалась его судить. Однако она чувствовала себя любимой, и в глубине ее сердца тоже таилась самая искренняя привязанность к этому страшному человеку. Она никогда не замечала, чтобы он был несправедлив, никогда не слышала от него грубого слова — по крайней мере по отношению к ней; наконец, он старался угадывать все ее желания. Несчастный отщепенец полагал, что он неприятен жене, и старался как можно меньше бывать дома. Марта и Мишю не доверяли друг другу и находились в состоянии так называемого вооруженного мира. Марта проводила дни в полном одиночестве и очень страдала от всеобщего недоброжелательства, которое последние семь лет тяготело над нею, ибо люди считали ее отца палачом, а мужа — предателем. В долине, справа от аллеи, стояла ферма «Белаш», которую арендовал Бовизаж, человек преданный Симезам, и Марте не раз доводилось слышать, как обитатели фермы, проходя мимо дома Мишю, говорили: «Вот Иудины хоромы!» И действительно, ее мужа прозвали в окру́ге Иудой из-за его странного сходства с тринадцатым апостолом — сходства, которое сам он как будто постарался дополнить внутренними своими качествами. Вот от этих-то невзгод да от постоянной смутной тревоги за будущее и стала Мар-

та такой задумчивой и сосредоточенной. Ничто так не гнетет, как незаслуженный позор, избавиться от которого нет возможности. Художник мог бы создать прекрасную картину, изобразив эту семью отверженных, живущую в одном из красивейших уголков Шампани, пейзажи которой обычно овеяны печалью.

— Франсуа! — крикнул управляющий, чтобы сын поторопился.

Франсуа Мишю, мальчик лет десяти, чувствовал себя в парке и в лесу полным хозяином — лакомился фруктами, охотился, не знал ни забот, ни огорчений; он был единственным счастливым существом в этой семье, отделенной от окружающего мира парком и лесом, подобно тому как в нравственном смысле ее отделяло от людей всеобщее презрение.

— Собери-ка все это,— сказал Мишю, указывая сыну на вещи, лежащие на каменной ограде,— и спрячь. Смотри мне в глаза! Ты нас с мамой любишь? — Мальчик бросился к отцу, чтобы обнять его, но Мишю переставил карабин и отстранил сына.— Слушай: тебе не раз случалось болтать о том, что́ у нас тут делается,— сказал он, устремив на мальчика пристальный взгляд, напоминавший взгляд дикой кошки.—Так хорошенько запомни следующее: если ты будешь рассказывать даже о самых ничтожных пустяках, происходящих здесь хотя бы Гошé, людям из Груажа или Белаша, или даже Марианне, которая любит нас,— ты погубишь отца. Смотри, чтобы этого больше не было,— и я прощу тебе твою прежнюю болтливость.

Мальчик расплакался.

— Не хнычь. О чем бы тебя ни спросили, на все отвечай, как крестьяне: «Не знаю». Тут в окру́ге шныряют какие-то люди, и мне это не по душе. Ну, вот! И вы обе — вы тоже слышали? — обратился Мишю к женщинам.— Так и вы держите язык за зубами.

— Друг мой, что ты затеял?

Мишю тщательно отмерил пороху на заряд, высыпал его в ствол карабина, прислонил ружье к стенке и сказал Марте:

— Никто у меня этого карабина не видел. Заслоника его.

Тут Куро вскочил и яростно залаял.

— Славный, умный пес! — промолвил Мишю.— Я уверен, что это сыщики...

Человек чувствует, когда его выслеживают. Куро и Мишю, у которых, казалось, была одна душа, жили в таком же единении, в каком живет в пустыне араб со своим конем. Управляющий знал все оттенки его лая и по нему угадывал мысли собаки, точно так же, как собака читала по глазам мысли хозяина, чуяла их, словно они излучались его телом.

— Ну как тебе понравится? — возмущенно прошептал Мишю, указывая жене на две зловещие личности, которые появились на боковой аллее и направлялись к охотничьему домику.

— Что это за люди? Парижане какие-то? — спросила старуха.

— Ах, вот оно что! — воскликнул Мишю.—Заслони мой карабин,—шепнул он жене,—они идут сюда.

Парижан, пересекавших площадку, художник, несомненно, счел бы типическими. На одном из них, по-видимому подчиненном, были сапоги с отворотами, спускавшимися так низко, что видны были его тощие икры и шелковые узорные чулки сомнительной чистоты. Суконные в рубчик панталоны абрикосового цвета с металлическими пуговицами были ему явно широки, они сидели мешком, а слежавшиеся складки указывали на то, что человек этот ведет сидячий образ жизни. Открытый пикейный жилет, щедро украшенный рельефной вышивкой, но застегнутый на животе только на одну пуговицу, придавал ему вид неряхи, а завитые штопором черные волосы, скрывавшие часть лба и свисавшие по бокам, усугубляли это впечатление. На поясе болтались две стальные цепочки от часов, сорочку украшала булавка с камеей в два тона — синий и белый. Коричневый фрак так и просился в карикатуру из-за длинных фалд, которые, если смотреть сзади, до такой степени напоминали хвост трески, что их так и прозвали. Мода на фраки с тресковым хвостом продержалась целых десять лет, почти столько же, сколько и империя Наполеона. Большой шейный платок с многочисленными глубокими складками позволял этому субъекту зарываться в него лицом до самого носа. Угреватая кожа, толстый и длинный кирпично-красный нос, багровые щеки, беззубый, но хищный

и плотоядный рот, уши с большими золотыми серьгами, низкий лоб — всем этим чертам, казалось бы, уродливо-смешным, придавали свирепость крошечные кабаньи глазки, горящие неутолимой жадностью и глумливой, почти озорной жестокостью. Эти пронырливые и колючие, голубые, как лед, и леденящие глаза можно было принять за воплощение того пресловутого глаза, который был выдуман во время Революции как грозный символ полиции. На незнакомце были черные шелковые перчатки, в руках — тросточка. Это было, по-видимому, лицо официальное, ибо в его манере держаться, в том, как он брал щепотку табаку и засовывал ее в нос, сквозила важность чиновника, хоть и второстепенного, но явно выдвигающегося, человека, который по приказу свыше мгновенно может сделаться всесильным.

Другой был одет в том же роде, но платье его было изящно и изысканно во всех мелочах, и носил его незнакомец тоже очень изящно; его «суворовские» сапоги, надетые на панталоны в обтяжку, при ходьбе поскрипывали; поверх фрака на нем был спенсер, по аристократической моде, усвоенной клишийцами и золотой молодежью. В те времена иные моды существовали дольше, чем политические партии, что являлось признаком анархии и что мы снова видели в 1830 году. Этому отъявленному щеголю было лет тридцать. Судя по его манерам, это был человек светский; он носил драгоценности. Воротничок сорочки доходил ему до ушей. Его фатоватый и почти что наглый вид свидетельствовал о каком-то тайном превосходстве; землистое лицо казалось совсем бескровным, во вздернутом тонком носе, напоминавшем нос покойника, было что-то язвительное, а зеленые глаза казались непроницаемыми; взгляд их говорил так же мало, как должны были мало говорить и тонкие, сжатые губы. Первый казался добродушным парнем по сравнению с этим сухим и тощим молодым человеком, рассекавшим воздух тросточкой с золотым, сверкавшим на солнце набалдашником. Первый мог собственными руками отрубить кому-нибудь голову, второй же был способен опутать сетями интриг и клеветы невинность, красоту, добродетель, хладнокровно утопить их или дать им яду. Краснощекий мог бы утешить свою жертву забавными

ужимками, второй даже не улыбнулся бы. Первому — видимо, чревоугоднику и сластолюбцу—было лет сорок пять. Подобного рода люди наделены страстями, которые делают их рабами своего ремесла. Зато молодой человек казался чужд и страстей и пороков. Если он и был шпионом, то для него это была дипломатия и работал он из любви к искусству. Один вынашивал замысел, другой выполнял его; один был идеей, другой — формой.

— Это Гондревиль, почтенная? — спросил младший.

— Здесь не принято говорить «почтенная»,— поправил его Мишю.— Мы люди без затей и еще запросто зовем друг друга «гражданами».

— Вот как,— спокойно ответил молодой человек, ничуть не смутившись.

Иной раз случается, что игроков, особенно в экарте, вдруг охватывает какая-то глубокая растерянность, если именно в ту минуту, когда им сильно везет, за их стол садится человек, поведение которого, взгляд, голос, манера тасовать карты предвещают им разгром. Оказавшись лицом к лицу с этим молодым человеком, Мишю испытал именно такого рода пророческую слабость. Его охватило предчувствие могилы, ему смутно представился эшафот; какой-то внутренний голос громко подсказал ему, что щеголь сыграет в его жизни роковую роль, хотя они пока еще ничем не связаны. Поэтому говорил он резко, ему хотелось быть грубым, и он был груб.

— Ваш хозяин — государственный советник Мален? — спросил молодой.

— Я сам себе хозяин,— отрезал Мишю.

— Скажите же, однако, сударыня,— опять спросил молодой человек, стараясь быть как можно вежливей,— мы в Гондревиле? Там нас ждет господин Мален.

— Вот парк,— ответил Мишю, указывая на открытые ворота.

— А почему вы прячете этот карабин, красавица?— игриво спросил спутник молодого человека; уже дойдя до решетки, он заметил ствол ружья.

— Ты *работаешь* даже в деревне! — воскликнул, улыбнувшись, младший.

Они вернулись к домику, послушные чувству смутного недоверия, и это отлично понял управляющий, хотя лица незнакомцев и хранили полную невозмутимость.

Невзирая на лай Куро, Марта дала им осмотреть карабин; она была уверена, что Мишю втайне замышляет что-то безрассудное, и почти радовалась, что незнакомцы оказались столь проницательными. Мишю бросил на жену взгляд, от которого она содрогнулась, взял карабин и почел нужным зарядить его пулей, тем самым как бы бросая вызов всему, что несли с собой эта встреча и инцидент с карабином; казалось, он уже не дорожит жизнью, и его жена отлично поняла, что он принял некое роковое решение.

— Видно, у вас тут завелись волки? — спросил молодой человек, обращаясь к Мишю.

— Где овцы, там всегда найдутся и волки. Ведь вы в Шампани, кругом лес; у нас водится вепрь, водится крупный и мелкий зверь, всего есть понемногу,— с насмешкой ответил Мишю.

— Готов биться об заклад, Корантен,—сказал старший незнакомец, обменявшись взглядом со своим спутником,—что это и есть мой любезный Мишю...

— Мы с вами детей не крестили,— заметил управляющий.

— Детей не крестили, но председательствовали в якобинском клубе, гражданин,— возразил старый циник,—вы в Арси, я — в другом месте. Ты придерживаешься вежливости времен Карманьолы, но она теперь уж не в моде, приятель.

— Парк, кажется, очень велик, мы можем в нем заблудиться; раз вы управляющий, распорядитесь, чтобы нас проводили в замок,— сказал Корантен тоном, не допускавшим возражений.

Продолжая забивать пулю, Мишю свистнул, чтобы подозвать сына. Корантен равнодушно разглядывал Марту, зато его спутнику она явно приглянулась; однако Корантен замечал в ней признаки крайней тревоги, которые ускользали от внимания старого развратника, испуганного карабином. В столь ничтожном, но знаменательном инциденте полностью сказались эти два различные характера.

— У меня дело по ту сторону леса,— сказал управляющий,—и сам я не могу услужить вам, но мой сын проводит вас в замок. С какой стороны вы приехали в Гондревиль? Через Сен-Синь?

— У нас тоже были дела по ту сторону леса,—ответил Корантен как будто без всякой иронии.

— Франсуа,—сказал Мишю,—проводи этих господ в замок тропинками, да так, чтобы их никто не видел, им проторенные дороги не по душе. Подойди-ка сюда сначала! — добавил он, видя, что незнакомцы уже повернулись к нему спиной и удаляются, разговаривая вполголоса. Мишю схватил сына и поцеловал его почти благоговейно, с таким выражением, которое еще больше укрепило Марту в ее предчувствиях; озноб пробежал у нее по спине, и она взглянула на мать в отчаянии, но без слез, ибо не могла плакать.

— Ступай,— сказал Мишю. И он следил за мальчиком до тех пор, пока совсем не потерял его из виду.— О, опять Виолет! — заметил он.— Сегодня он уже третий раз появляется здесь. Что только творится! Перестань, Куро.

Через несколько мгновений раздался частый конский топот.

Виолет сидел на шустрой лошадке, на каких ездят крестьяне в окрестностях Парижа; под круглой широкополой шляпой лицо его, смуглое и морщинистое, казалось еще темнее. За лукавым блеском его серых глазок таилось присущее ему вероломство. Его тощие ноги в белых холщовых гетрах болтались, не упираясь в стремена; казалось, их поддерживают толстые подкованные башмаки. На нем была синяя суконная куртка, а поверх нее—полосатая черно-белая накидка. Седые волосы в завитках спускались на воротник. Весь его наряд, серая приземистая лошадь, посадка — Виолет сидел в седле, выпятив живот и откинувшись корпусом назад,— толстая, потрескавшаяся, коричневая рука, сжимавшая дрянной, шершавый, потертый повод,— все это изобличало в нем крестьянина скаредного, чванного и самонадеянного, стремящегося захватить побольше землицы и приобретающего ее любым способом. Рот у него был такой формы, словно его прорезал ланцетом хирург; этот рот с синеватыми губами и бесчисленные морщины на щеках и на лбу придавали его физиономии какую-то неподвижность, и только контуры ее были выразительны. В этих чертах, жестких и резких, было что-то угрожающее, несмотря на смиренный вид, который напускают на себя почти все

деревенские жители, чтобы скрыть свои чувства и расчеты, подобно тому как жители Востока и дикари скрывают их за невозмутимой важностью. Превратившись при помощи ряда подлостей из простого крестьянина-поденщика в арендатора «Груажа», он придерживался прежнего образа действий и после того, как добился положения, даже превзошедшего первоначальные его желания. Он радовался бедам ближнего и от всей души желал ему зла. Если Виолету представлялась возможность содействовать злу, он делал это с любовью. Он был откровенно завистлив; но он всегда держался в пределах законности, ни дать ни взять — парламентская оппозиция. Он был убежден в том, что благосостояние его зависит от разорения других, а всякого, кто стоял выше его, он считал своим личным врагом, в борьбе с которым все средства хороши. Подобные типы очень часто встречаются среди крестьян. Главной заботой Виолета было теперь добиться от Малена продления аренды—срок ее истекал через шесть лет. Завидуя богатству управляющего, Виолет пристально следил за ним; местные жители корили его за то, что он знается с семьей Мишю; но хитрый арендатор поджидал случая оказать услугу правительству или Малену, который опасался Мишю, и в награду надеялся получить согласие на продление аренды еще на двенадцать лет. С помощью гондревильского сторожа, объездчика и некоторых крестьян, ходивших в лес за хворостом, Виолет был осведомлен о каждом шаге Мишю и сообщал обо всем полицейскому комиссару в Арси. Этот человек пытался завербовать и служанку Мишю, Марианну, однако потерпел неудачу; зато Виолет и его приверженцы все узнавали от Гоше, паренька, который служил работником у Мишю и пользовался доверием хозяина: он предавал Мишю за разные безделицы — за жилет, пряжки, бумажные носки, лакомства. Мальчишка, впрочем, и не подозревал, какое значение имеет его болтливость. Виолет неизменно истолковывал все поступки Мишю в дурную сторону и, строя самые нелепые предположения, придавал его действиям преступный смысл; управляющий не знал об этом, хотя и догадывался о гнусной роли, какую играет по отношению к нему арендатор; его даже забавляло дурачить Виолета.

— У вас, видно, много дел в «Белаше», коли вы опять здесь,— сказал Мишю.

— «Опять»! Это что же — упрек, господин Мишю? А вы не собираетесь ли воробьев приманивать этой дудочкой? Я и не знал, что у вас такой карабин...

— Он вырос у меня на карабиновом поле,— ответил Мишю.— Вот смотрите, как я их сею.

Управляющий прицелился в чертополох шагах в тридцати и срезал его под корень.

— И вы держите это разбойничье оружие для того, чтобы охранять хозяина? Уж не он ли вам его подарил?

— Он нарочно приехал из Парижа, чтобы мне его поднести,— ответил Мишю.

— А что ни говорите, люди много кое-чего болтают на его счет: одни уверяют, будто он попал в немилость и уходит на покой, другие, будто он сам хочет тут во всем разобраться. А в самом деле — почему он пожаловал без предупреждения, совсем как первый консул? Вы-то знали, что он едет?

— Я с ним не так близок, чтобы он поверял мне свои планы.

—Значит, вы его еще не видели?

— Я узнал о его приезде, только когда вернулся из леса,— ответил Мишю, снова заряжая ружье.

— Он послал в Арси за господином Гревеном; верно, собираются что-нибудь *натрибунить*...

Мален в свое время был трибуном.

— Если вы едете в сторону Сен-Синя,— сказал Мишю Виолету,— подвезите меня, мне как раз туда.

Виолет был слишком труслив, чтобы посадить позади себя такого силача, как Мишю; он мигом пришпорил лошадь. Иуда Арсийский вскинул ружье на плечо и помчался к аллее.

— На кого это Мишю сердится? — обратилась Марта к матери.

— С тех пор как он узнал о приезде господина Малена, он сам не свой,— ответила та.— Но становится сыро, пойдем домой.

Когда женщины уселись возле очага, они услышали лай Куро.

— А вот и Мишю! — воскликнула Марта.

Действительно, Мишю поднимался по лестнице; встревоженная Марта пошла вслед за ним в их спальню.

— Посмотри: никого нет? — взволнованно обратился он к жене.

— Никого,—ответила она.— Марианна на лугу с коровой, а Гоше...

— Где же Гоше? — переспросил он.

— Не знаю.

— Я перестал доверять этому негоднику; поднимись на чердак, осмотри его, поищи мальчишку во всех закоулках, во всем доме.

Марта вышла; вернувшись, она застала Мишю на коленях; он молился.

— Что с тобою? — спросила она в испуге.

Управляющий обнял жену за талию, привлек ее к себе, поцеловал в лоб и взволнованно сказал:

— Если мы с тобою больше не увидимся, знай, милая моя женушка, что я очень любил тебя. Следуй в точности всем моим распоряжениям, которые ты найдешь в оставленном мною письме; оно зарыто под лиственницей, вон там, возле тех деревьев,— сказал он, помолчав, и указал на дерево.— Письмо в жестяной банке. Откопай его только после моей смерти. И — что бы ни случилось, как бы люди ни были несправедливы — верь, что моя рука послужила делу правосудия божия.

Марта постепенно бледнела и стала, наконец, белее полотна; она пристально взглянула на мужа, глаза ее расширились от ужаса; ей хотелось заговорить, но горло у нее пересохло. Привязав к ножке кровати Куро, который завыл, как воют собаки, когда почуют беду, Мишю исчез, словно призрак.

Гнев Мишю на г-на Мариона имел серьезные основания, но теперь Мишю перенес его на человека, в глазах Мишю гораздо более преступного,— на Малена, секреты которого Мишю отгадал, ибо управляющий лучше, чем кто-либо, мог оценить по достоинству поведение государственного советника. Как политический деятель, тесть Мишю пользовался доверием Малена, когда тот благодаря стараниям Гревена был избран в Конвент в качестве представителя от департамента Об.

Пожалуй, нелишним будет рассказать о роковых обстоятельствах, столкнувших Симезов и Сен-Синей с Ма-

леном и тяготевших над близнецами и барышней де Сен-Синь, а в еще большей мере — над Мартой и Мишю. В городе Труа особняк Сен-Синей стоял прямо напротив особняка Симезов. Чернь, страсти которой были разожжены столь же ловкими, сколь и осторожными руками, разграбила дом Симезов, извлекла из него маркиза и его жену, обвиненных в сношениях с неприятелем, и передала их национальным гвардейцам, которые отвели их в тюрьму; затем эта чернь, действовавшая последовательно, завопила: «Теперь к Сен-Синям!» Толпа не допускала мысли, что Сен-Сини могут быть неповинны в преступлении Симезов. Почтенный и мужественный маркиз де Симез, опасаясь, как бы отвага не толкнула его восемнадцатилетних сыновей на какой-нибудь безрассудный поступок, и желая их спасти, поручил юношей за несколько минут до налетевшего урагана их тетке, графине де Сен-Синь. Двое слуг, преданных семье Симезов, держали молодых людей взаперти. Старик, не желавший, чтобы его род угас, приказал в случае беды все скрыть от сыновей. Оба брата одинаково горячо любили Лорансу, которой шел тогда тринадцатый год, и были горячо любимы ею. Как случается часто с близнецами, Симезы так походили друг на друга, что мать долгое время одевала их в костюмчики разного цвета, чтобы не спутать. Родившегося первым звали Поль-Мари, младшего—Мари-Поль. Лоранса де Сен-Синь, от которой не скрыли опасность положения, прекрасно выполнила роль взрослой женщины: она уговаривала кузенов, умоляла, стерегла их до той самой минуты, пока чернь не окружила особняк Сен-Синей. Братья в один и тот же миг поняли, что́ им грозит, и обменялись взглядами, выражавшими одну и ту же мысль. Решение было принято немедленно: они вооружили своих слуг, а также слуг графини де Сен-Синь, забаррикадировали дверь и вместе с этими пятью слугами и аббатом д'Отсэром — родственником Сен-Синей — стали у окон, за притворенными ставнями. И вот восемь храбрецов открыли по толпе бешеный огонь. Каждый выстрел убивал или ранил кого-нибудь из осаждавших. Лоранса, вместо того чтобы предаваться отчаянию, с удивительным хладнокровием заряжала ружья, подавала пули и порох тем, у кого они иссякали. Графиня де Сен-Синь упала на колени.

— Что с вами, матушка? — спросила Лоранса.

— Я молюсь,— отвечала та,— и за них и за вас!

Возвышенные слова! Их произнесла при подобных же обстоятельствах, в Испании, мать принца де ла Пэ. Одиннадцать человек мгновенно были убиты и лежали на земле среди множества раненых. Такой ход событий либо охлаждает, либо еще больше распаляет чернь; она либо упорствует в своем намерении, либо отказывается от него. Передние ряды осаждавших отпрянули в ужасе; вся толпа, которая пришла сюда, чтобы убивать, грабить, резать, при виде убитых стала кричать: «Злодеи! Кровопийцы!» Более осторожные побежали за Представителем народа. Братья, узнавшие теперь о кровавых событиях этого дня, заподозрили члена Конвента в том, что он добивается гибели их семьи, и подозрение это скоро перешло в уверенность. Воодушевленные жаждой мести, они стали в воротах и зарядили ружья, намереваясь убить Малена, как только он появится. Графиня совсем потеряла голову; она уже видела на месте своего дома пепелище, а свою дочь убитой; она осуждала родственников за их героическую защиту, о которой потом целую неделю говорила вся Франция. По требованию Малена, Лоранса приоткрыла ворота. Представитель народа, рассчитывая на то, что он всем внушает страх, и на слабость стоявшей перед ним девочки, вошел. Едва только он заговорил, спрашивая, по какому праву было оказано сопротивление, Лоранса перебила его:

— Как же так, сударь, вы хотите даровать Франции свободу, а не охраняете людей в их домах? Тут собираются разгромить наш дом и убить нас самих, и, по-вашему, мы не имеем права применить против силы силу?

Мален остолбенел.

— Вы, внук каменщика, который работал у великого маркиза при постройке его замка, вы допустили, чтобы наш отец был заточен в тюрьму, вы поверили клевете! — набросился на него Мари-Поль.

— Его выпустят,— ответил Мален; видя, как молодые люди судорожно сжимают в руках ружья, он решил, что ему пришел конец.

— Этому обещанию вы обязаны тем, что остались

живы,— торжественно сказал Мари-Поль.—Но если оно до вечера не будет выполнено, мы сумеем вас разыскать.

— А что касается этой воющей черни,—добавила Лоранса,— то, если вы не разгоните ее, первая пуля будет предназначена вам. А теперь, господин Мален, можете идти!

Мален вышел и обратился к толпе с речью; он говорил о священных правах домашнего очага, о habeas corpus [1], о неприкосновенности жилищ в Англии. Он сказал, что Закон и Народ самодержавны, что Закон — это народ, а народ должен действовать только через Закон и сила может быть применена только Законом. Сила необходимости придала Малену красноречия, и ему удалось рассеять толпу. Но он на всю жизнь запомнил и презрение, написанное на лицах братьев, и слова барышни де Сен-Синь «можете идти». Поэтому, когда возник вопрос о продаже в качестве государственного имущества имений графа де Сен-Синя, брата Лорансы, раздел был произведен без всяких послаблений. Департаментские чиновники оставили Лорансе только замок, парк, сады да так называемую сен-синьскую ферму. Мален распорядился, чтобы за Лорансой было признано право лишь на часть имения, принадлежащую ей лично; что касается эмигранта, то все его имущество отходило к народу, особенно после того как граф поднял оружие против Республики.

Вечером, после этих бурных событий, Лоранса, страшась козней Малена и какого-нибудь предательства и опасаясь за братьев, стала так настойчиво упрашивать их уехать, что они сели на коней и пробрались к передовым отрядам прусской армии. Не успели близнецы доскакать до гондревильского леса, как особняк Сен-Синей был оцеплен; Мален явился самолично, в сопровождении вооруженной охраны, чтобы арестовать молодых наследников семьи Симезов. Он не посмел схватить ни графиню де Сен-Синь, которая лежала в сильнейшей нервной горячке, ни Лорансу — двенадцатилетнюю девочку. Слуги, опасаясь суровых нравов Республики,

---

[1] Начальные слова закона неприкосновенности личности, принятого английским парламентом в 1679 году (*лат.*).

скрылись. На другое утро известие об оказанном сопротивлении и о бегстве юношей — как говорили, в Пруссию—облетело всю округу; перед особняком Сен-Синей собралась трехтысячная толпа, и дом был разнесен в щепки с непостижимой быстротой. Г-жу де Сен-Синь переправили в особняк Симезов, где она и скончалась от усилившейся горячки. Мишю появился на политической арене уже после этих событий, ибо маркиз и его жена провели в тюрьме около пяти месяцев. В это время представитель департамента Об куда-то уезжал по служебным делам. Но когда г-н Марион продал Гондревиль Малену, когда все уже успели позабыть о народных волнениях, Мишю до конца разгадал Малена — по крайней мере ему казалось, что разгадал. Ибо Мален, подобно Фуше, принадлежал к тем людям, у которых столько личин и под каждой скрыты такие бездны, что люди эти в момент игры непроницаемы; их можно понять, лишь когда роль давно уже сыграна.

В важных случаях Мален неизменно советовался со своим верным другом Гревеном, арсийским нотариусом, который на расстоянии судил о вещах и людях здраво, ясно и четко. Такая привычка — сама мудрость; в ней-то и заключается сила второсортных людей. Между тем в ноябре 1803 года обстоятельства сложились для государственного советника настолько неблагоприятно, что письмо могло бы скомпрометировать обоих друзей. Мален, ожидавший назначения в сенат, боялся назначить свидание в Париже; поэтому он покинул свой особняк и направился в Гондревиль; первому консулу он привел только одну причину для этой поездки, притом такую, которая в глазах Бонапарта могла ей придать характер служебного усердия, в то время как речь шла вовсе не об интересах государства, а о его собственных. И вот, пока Мишю, спрятавшись в парке, словно дикарь, подстерегал минуту, благоприятную для мести, дальновидный Мален, привыкший извлекать пользу из любого обстоятельства, вел своего друга на одну из лужаек английского сада —совершенно пустынную и удобную для беседы с глазу на глаз. Придерживаясь середины лужайки и говоря шепотом, друзья могли быть уверены, что на таком расстоянии их никто не услышит, если даже допустить, что какой-нибудь соглядатай и притаился в кустах,

чтобы их подслушать; если же кто-нибудь появится, они успеют переменить разговор.

— А почему не остаться в замке? — спросил Гревен.

— Разве ты не заметил двух агентов, которых подослал ко мне префект полиции?

Хотя Фуше во время дела Пишегрю, Жоржа, Моро и Полиньяка и являлся душою консульского правительства, министерством полиции он тогда не ведал и был простым государственным советником, как Мален.

— Эти два субъекта—две руки Фуше. Один из них— молодой щеголь, у которого лицо похоже на графин с лимонадом, на губах — кислота, а в глазах — уксус, в две недели покончил с восстанием на западе в седьмом году. Другой — детище Ленуара, он единственный продолжатель великих заветов полиции. Я просил дать мне мелкого агента, и в подкрепление ему — чиновника, а мне посылают двух этих молодцов. Ах, Гревен! Не сомневаюсь, что Фуше хочется заглянуть в мои карты. Вот почему я предоставил этим господам обедать в замке; пусть они все обнюхают, им не найти там ни Людовика Восемнадцатого, ни вообще чего-либо предосудительного.

— Позволь, кому же ты играешь на руку? — заметил Гревен.

— Двойная игра всегда опасна, моя же игра — тройная, если принять во внимание, что я играю и с Фуше; он, быть может, пронюхал, что я посвящен в тайны Бурбонов.

— Ты?

— Я,— подтвердил Мален.

— Ты что же, забыл Фавра́?

При этом имени советник нахмурился.

— И с каких пор? — спросил, помолчав, Гревен.

— С объявления пожизненного консульства.

— Но доказательств у него нет?

— Ни столечко,— ответил Мален, показав на кончик ногтя.

Мален в кратких словах нарисовал критическое положение, в какое Бонапарт поставил Англию, ибо ей грозила гибель от армии, расположенной в Булони; он объяснил Гревену всю важность предстоящего десанта, чего еще не понимали ни Франция, ни Европа, но уже про-

зревал Питт; потом обрисовал критическое положение, в которое Англия, в свою очередь, поставит Бонапарта. Могущественная коалиция — Пруссия, Австрия и Россия,— субсидируемая английским золотом, должна выставить семьсот тысяч человек. Одновременно с этим гигантский заговор внутри страны захватывал в свою сеть всю Францию и объединял сторонников Горы с шуанами, роялистами и их принцами.

— Пока было три консула, Людовику Восемнадцатому казалось, что анархия все еще продолжается и что в случае каких-нибудь волнений ему удастся взять реванш за тринадцатое вандемьера и восемнадцатое фрюктидора,— говорил Мален.— Но пожизненное консульство разоблачило намерения Бонапарта: скоро он станет королем. Этому бывшему поручику захотелось основать новую династию,— и теперь речь идет уже о том, чтобы его убрать, и удар подготавливается теперь еще искуснее, чем на улице Сен-Никез. Пишегрю, Жорж, Моро, герцог Энгиенский и Полиньяк с Ривьером — два друга графа д'Артуа,—все участвуют в заговоре.

— Ну и мешанина! — воскликнул Гревен.

— Втихомолку всю Францию наводнили заговорщиками; хотят начать штурм сразу со всех сторон, в ход пущены все доступные средства. Сотня непосредственных исполнителей под командой Жоржа должна напасть на охрану консула и на него самого.

— Ну так и выдай их.

— Вот уже два месяца, как консул, министр полиции, префект полиции и Фуше держат в своих руках часть нитей этого огромного заговора; но они еще не представляют себе его размах и пока что дают заговорщикам свободу, с тем чтобы выведать все.

— Что касается права,— заметил нотариус,— то у Бурбонов гораздо больше прав что-либо замышлять, затевать, осуществлять против Бонапарта, чем было у Бонапарта восемнадцатого брюмера, когда он посягнул на Революцию, детищем которой был сам; он убивал родную мать, эти же хотят всего-навсего вернуться к себе домой. Видя, что в списки эмигрантов перестали заносить новые имена и все больше и больше имен из них исключается, что католическая церковь восстанавливается и один за другим издаются антиреволюционные законы,

видя все это, принцы поняли, что возвращение их с каждым днем будет становиться все более затруднительным, чтобы не сказать невозможным. Основное препятствие к этому — Бонапарт, и они хотят это препятствие устранить — вот и все. Потерпев поражение, заговорщики превратятся просто в разбойников; победив, они станут героями; поэтому твои колебания кажутся мне вполне естественными.

— Необходимо направить события так,— сказал Мален,— чтобы Бонапарт, в виде вызова, бросил Бурбонам голову герцога Энгиенского, подобно тому как Конвент бросил европейским монархам голову Людовика Шестнадцатого. Это сделает Бонапарта таким же участником Революции, какими являемся и мы; или же свергнуть нынешнего идола французского народа, который вот-вот станет императором, и на обломках его трона восстановить трон законного монарха. Я завишу от случая, от мелкого пистолетного выстрела, от адской машины, вроде той, что была заложена на улице Сен-Никез,— нужно только, чтобы она взорвалась. Мне всего не сказали. Мне предложили в критический момент созвать государственный совет и руководить юридической стороной реставрации Бурбонов.

— Повремени,— отозвался нотариус.

— Невозможно. Я должен принять решение теперь же, время не терпит.

— Почему?

— Двое Симезов участвуют в заговоре; они скрываются здесь. Я должен либо распорядиться, чтобы за ними установили слежку, дать им скомпрометировать себя и затем от них избавиться, либо тайно взять их под свою защиту. Я просил, чтобы ко мне прикомандировали мелких агентов, а мне навязали первоклассных сыщиков, и они нарочно заехали в Труа, чтобы заручиться помощью жандармерии.

— Гондревиль — синица в руках, а заговор — журавль в небе,—возразил Гревен.— Ни Фуше, ни Талейран, твои соратники, в заговоре не участвуют; с ними тебе надо играть в открытую. Подумай только: все, кто отрубил голову Людовику Шестнадцатому,— члены правительства. Франция полна людей, скупивших государственные земли, а ты затеваешь возвращение тех, кто

потребует у тебя вернуть Гондревиль. Если Бурбоны не дураки, им придется отменить все, что было сделано нами. Лучше скажи Бонапарту.

— Человек моего ранга не может быть доносчиком,— запальчиво возразил Мален.

—Твоего ранга? — воскликнул Гревен, улыбнувшись.

— Мне предлагают министерство юстиции.

— Ты ослеплен, понимаю. Значит, на мне лежит обязанность осмотреться в этих политических потемках, нюхом найти выход. Между тем нет никакой возможности предвидеть, какие события могли бы вернуть Бурбонов, если такой полководец, как Бонапарт, располагает восемьюдесятью кораблями и четырехсоттысячной армией. Самое трудное в выжидательной политике — это предугадать, когда пошатнувшаяся власть падет; а власть Бонапарта, друг мой, находится в стадии укрепления. Не Фуше ли решил тебя позондировать, чтобы выведать твои затаенные мысли и от тебя избавиться?

— Нет, в посреднике, с которым я имею дело, я не сомневаюсь. К тому же сам Фуше никогда бы не подослал ко мне этих двух обезьян; я их слишком хорошо знаю, чтобы не насторожиться.

— А меня они пугают,— сказал Гревен.— Если Фуше не сомневается в тебе, не хочет тебя испытать, зачем же он их тебе навязал? Фуше не выкинет такой штуки без причины...

—Вот это для меня очень веский довод,— воскликнул Мален,— и с этими двумя Симезами я никогда не буду спокоен; быть может, Фуше, знающий мое положение, не хочет их упустить и думает через них добраться до Конде?

— Эх, старина, при Бонапарте не будут беспокоить владельца Гондревиля.

Подняв голову, Мален увидел в густой листве липы ствол ружья.

— Я не ошибся; я слышал сухое щелканье взведенного курка,— сказал он Гревену, прячась за толстым деревом; нотариус, встревоженный внезапным движением своего друга, последовал его примеру.

— Это Мишю,— шепнул Гревен,— я вижу его рыжую бороду.

— Не надо показывать, что мы испугались,—заметил Мален; он неторопливо пошел прочь, несколько раз повторив в раздумье: «Что ему нужно от тех, кто приобрел это имение? Ведь не в тебя же он метил. Если он слышал наш разговор, придется за него взяться! Надо было бы пойти в луга. Но мне и на ум не приходило, что даже воздух может таить в себе опасность».

— На всякую старуху бывает проруха,— ответил нотариус.— Но пустяки,— он был очень далеко, а мы говорили шепотом.

— Надо будет рассказать Корантену,— ответил Мален.

Несколько минут спустя Мишю вернулся домой; он был бледен, лицо его искажено.

— Что с тобой? — испуганно спросила Марта.

— Ничего,— ответил он, увидев Виолета, присутствие которого поразило его как громом.

Мишю взял стул, спокойно сел у очага и бросил в огонь какую-то бумажку, которую он вынул из жестяной коробки,— такие коробки дают солдатам для хранения документов. Заметив это, Марта вздохнула, как человек, освободившийся от тяжкого гнета; зато Виолет был сильно озадачен. Управляющий с неподражаемым хладнокровием прислонил карабин к очагу. Марианна и мать Марты пряли при свете лампы.

— Ну-ка, Франсуа, спать! — сказал отец.—Сейчас же ложись!

Он грубо схватил сына и унес его.

— Сходи в погреб,— шепнул он ему, когда вышел на лестницу,— возьми две бутылки маконского вина, отлей из них по трети и добавь коньячной настойки, которая стоит на полке; потом нацеди полбутылки белого вина и подмешай туда водки. Сделай все это половчей и поставь все три бутылки на пустой бочонок у входа в погреб. Когда я открою окошко, выйди из погреба. оседлай мою лошадь и поезжай на ней в Пото-де-Ге. Жди меня там.

— Мальчишка никогда вовремя не ложится,— сказал управляющий, возвратясь на кухню,—все хочет быть как взрослые,— хочет все видеть, все слышать, все знать. Вы у меня тут весь народ перепортите, папаша Виолет.

— Господи! Господи! — воскликнул Виолет.— Что

это как у вас язык развязался? Я и не знал, что вы такой речистый.

— А вы воображали, что за мной можно шпионить и я этого не замечу? Ошибаетесь, папаша Виолет. Если бы, вместо того чтобы угождать моим врагам, вы стали на мою сторону, я сделал бы для вас кое-что поважнее, чем продление аренды...

— А что такое? — насторожился жадный крестьянин, вытаращив глаза.

— Я бы продал вам по дешевке все свое добро.

— Когда надо платить, дешевки не бывает,—глубокомысленно изрек Виолет.

— Я собираюсь уехать из здешних мест и уступил бы вам ферму в Муссо, службы, посевы, скот — все гуртом за пятьдесят тысяч.

— В самом деле?

— Подходит вам?

— Черт возьми, надо подумать.

— Ну, давайте потолкуем... Но мне нужен задаток.

— А у меня ни гроша.

— Дайте слово.

— Это извольте.

— Скажите: кто вас сюда подослал?

— Просто я возвращался оттуда, куда ездил, и завернул к вам, повидаться.

— Возвращался пешечком? Ты что же, за дурака меня принимаешь? Врешь — так фермы моей не получишь.

— Ну... господин Гревен меня послал — вот и все. «Сходи,— говорит,— за Мишю — он нам нужен. А не застанешь — так подожди». Я и понял, что, значит, нынче мне надо просидеть здесь вечерок.

— А парижские франты все еще в замке?

— Вот уж не знаю; но в гостиной там кто-то был.

— Ну, получишь ферму. Поговорим толком. Жена, сходи-ка за вином, чтобы спрыснуть наш уговор. Возьми лучшего, руссильонского, из погребов бывшего маркиза... Мы не дети, толк в вине знаем. На пустой бочке, у входа стоят две бутылки, да прихвати еще бутылочку белого.

— Вот это дело,— сказал Виолет, никогда не пьяневший.— Выпьем!

— У вас пятьдесят тысяч спрятано под половицами в вашей комнате, на том месте, где кровать. Вы уплатите их мне через две недели после заключения купчей у Гревена...

Виолет с изумлением уставился на Мишю и побледнел.

— А-а, вздумал шпионить за отъявленным якобинцем, который имел честь председательствовать в арсийском клубе, и воображаешь, что он тебя не раскусит? Я не слепой, я заметил, что у тебя плиты в полу только что заделаны, я и решил, что ты вынимал их, и уж, конечно, не для того, чтобы посеять там пшеницу. Выпьем!

Виолет был так ошеломлен, что осушил большой стакан, не обращая внимания на вкус вина: от страха у него горело в желудке, словно там было раскаленное железо, а присущая ему жадность не давала захмелеть. Он многое дал бы, чтобы очутиться дома и спрятать кубышку в другое место. Все три женщины улыбались.

— Так по рукам?—спросил Мишю, наливая ему еще стакан.

— Что ж, по рукам!

— Станешь хозяином, старый плут!

После того как они с полчаса оживленно проспорили о сроке передачи имущества, о бесконечных мелочах, как спорят крестьяне, когда заключают сделку, после множества заверений, опорожненных стаканчиков, всяческих обещаний, препирательств, бесчисленных: «Понимаешь? Вот те крест! Истинное слово! Уж я сказал — значит, твердо! Да провалиться мне на месте, если я!.. Чтоб мне ни дна, ни покрышки, коли это не истинная правда!» — Виолет наконец склонился головою на стол; он был уж не навеселе, а просто мертвецки пьян; как только Мишю заметил, что у старика помутился взор, он поспешил растворить окошко.

— Где подлец Гоше? — спросил он у жены.

— Спит.

— Ты, Марианна,— обратился управляющий к своей верной служанке,— сядь у его двери и сторожи его. Вы, матушка,— сказал он,— оставайтесь внизу, следите за этим сыщиком; будьте начеку и не отпирайте двери никому, кроме одного Франсуа. Дело идет о жизни и смерти! — добавил он глухим голосом.— Для всех, жи-

вущих под моим кровом, я в эту ночь никуда не отлучался; вы должны это твердить даже на плахе. Пойдем, мать,— сказал он жене,— пойдем; обуйся, надень чепец — скорей! Без расспросов! Я иду с тобой.

За последние три четверти часа у этого человека в движениях, во взгляде появилась деспотическая неотразимая властность, почерпнутая из того общего, хоть и неведомого источника, откуда черпают свою непостижимую силу и великие полководцы, воодушевляя войска на полях сражений, и великие ораторы, увлекающие массы на собраниях, а также, надо сказать, и великие преступники в своих дерзких замыслах. Тогда какое-то необоримое влияние как бы излучается из такого человека, насыщает его слова, а жесты словно подчиняют его воле волю окружающих. Все три женщины чувствовали, что наступил некий роковой, страшный час; они не знали ничего определенного, но что-то угадывали по стремительной решимости этого человека; лицо его сверкало, черты были полны выразительности, глаза горели, как звезды; на лбу выступили капли пота, голос не раз пресекался от нетерпения и гнева. И Марта безмолвно повиновалась. Вооружившись до зубов, с ружьем на плече, Мишю юркнул в аллею, жена последовала за ним, и они быстро достигли перекрестка, где в кустах притаился Франсуа.

— Толковый малый,— сказал Мишю, увидев сына.

Это были первые произнесенные им слова. Супруги так бежали сюда, что им было не до разговоров.

— Возвращайся к дому, залезь на самое густое дерево, следи за округой, за парком,— сказал он сыну.— Мы все спим, никого в дом не пускаем, одна бабушка не спит, но она откликнется только на твой голос. Запомни, что я говорю,— до самых мелочей. Речь идет о жизни твоего отца и матери. Судейские ни в коем случае не должны узнать, что нас не было дома.

Когда мальчик после этих слов, сказанных ему на ухо, скользнул в лес, словно угорь в речной ил, Мишю приказал жене:

— На коня! И моли бога, чтобы он не оставил нас! Ухватись за меня покрепче! Ведь лошадь может и не выдержать!

Едва Мишю проговорил это, как лошадь, получив в

бока два сильных удара ногами и сдавленная могучими коленями седока, понеслась во весь опор; животное, казалось, угадало своего хозяина; за какие-нибудь четверть часа лес остался позади. Мишю, выбиравший все время самую короткую дорогу, выехал на опушку, откуда были видны освещенные луною башни сен-синьского замка. Он привязал коня к дереву и поспешил взобраться на холмик,— с него открывался вид на всю сен-синьскую долину.

Замок, на который Марта и Мишю смотрели несколько мгновений, производит среди этого ландшафта чарующее впечатление. Пусть он не замечателен ни размерами своими, ни архитектурой,— все же он не лишен некоторой археологической ценности. Это старинное здание XV века построено на пригорке и опоясано широким и глубоким рвом, еще наполненным водой; оно сложено из булыжника, но ширина его стен достигает семи футов. Простота его красноречиво повествует о суровой и воинственной жизни феодальных времен. Этот поистине первобытный замок состоит из двух обширных красноватых башен, соединенных длинной вереницей жилых помещ́ений с окнами, каменные переплеты которых напоминают грубо высеченные виноградные лозы. В замок ведет наружная лестница, построенная посередине здания; она заключена в пятиугольную башню с маленькой дверцей под остроконечной аркой. Нижний этаж, переделанный внутри при Людовике XIV, а также второй увенчаны огромными крышами, в которых прорезаны окна с лепными фронтонами. Перед замком — широкая лужайка, на которой недавно срубили деревья. По сторонам въездного моста расположены две сторожки, где живут садовники; домики отделены друг от друга жиденькой и простой, по-видимому современной оградой. Справа и слева от лужайки, разделенной пополам мощеной дорожкой, находятся конюшни, хлевы, амбары, сарай, пекарня, курятники, людские; все это помещается, как видно, в развалинах двух флигелей, некогда составлявших одно целое с нынешним замком. В стародавние времена этот замок, вероятно, был квадратным и укрепленным с четырех углов; его охраняла огромная башня со сводчатым крыльцом, у подножия которой, на месте теперешней решетки, был подъемный мост.

Две толстые башни, конусообразные крыши которых сохранились, и вышка средней башни придавали всей усадьбе своеобразный вид. Колокольня такой же древней церковки возвышалась в нескольких шагах от замка и вполне гармонировала с ним. Лунный свет играл, сверкая и переливаясь, на всех его крышах и башнях. Мишю смотрел на это барское жилище с таким выражением, которое совершенно сбило с толку жену: лицо его стало спокойнее, выражало надежду и какую-то гордость. Он окинул пристальным взором горизонт, прислушался к тишине; было часов девять, лунный свет заливал опушку леса, холм же был освещен особенно ярко. Это, видимо, показалось Мишю опасным; он спустился вниз, вероятно, боясь, что его увидят. Между тем ни единый подозрительный звук не нарушал безмолвия прекрасной долины, опоясанной с этой стороны Нодемским лесом. Трепещущая, разбитая усталостью Марта с нетерпением ждала, что после столь необычной скачки, наконец, наступит какая-то развязка. Чему ей приходится служить? Доброму ли делу или преступлению? В эту минуту Мишю склонился к уху жены.

— Ступай к графине де Сен-Синь, скажи, что тебе необходимо переговорить с ней; когда она появится, отведи ее в сторонку. Если ты убедишься, что никто не может вас услышать, скажи ей: «Мадемуазель, жизнь ваших двоюродных братьев в опасности. Человек, который объяснит вам, как и почему, ожидает вас». Если она испугается, если не поверит, скажи: «Они участвуют в заговоре против первого консула, а заговор раскрыт». Себя не называй,— нам ведь не доверяют.

Марта взглянула на мужа и спросила:

— Значит, ты на их стороне?

— Ну так что же? — ответил Мишю насупившись; он принял это за упрек.

— Ты не понял меня!—воскликнула Марта, схватила широкую руку мужа и бросилась перед ним на колени; она припала к его руке, целуя ее и заливая слезами.

— Беги, поплачешь потом,— сказал он и обнял ее в бурном порыве.

Когда шаги Марты совсем затихли, у этого железного человека на глазах показались слезы. Он сомневался в Марте, зная убеждения ее отца; он оберегал от

нее свои тайны; но тут благородный и цельный характер жены внезапно раскрылся перед ним, так же как и величие его характера только что предстало перед нею. От чувства глубокой униженности, которое вызывается падением человека, чье имя ты носишь, Марта перешла к восторгу, внушаемому его славой; и переход этот совершился столь мгновенно, что было от чего закружиться голове. Терзаемая страшным волнением, она — как сама потом ему призналась — шла от их дома до замка словно по терниям, но теперь ей казалось, будто она вдруг вознесена на небо и пребывает там в сонме ангелов. А он-то всегда думал, что ей не дорог: ее грусть и замкнутость он принимал за недостаток любви, редко бывал дома, предоставлял ее самой себе и всю свою нежность обратил на сына; теперь же он вдруг понял, что означали слезы этой женщины: она проклинала роль, которую ей навязали ее красота и отцовская воля. И вот в самый разгар грозы счастье блеснуло перед ними, словно молния своим чудеснейшим огнем. И оно действительно промелькнуло молнией! Каждый из них думал о десяти годах взаимного непонимания, и каждый винил в этом себя одного. Мишю стоял неподвижно, опершись на карабин и положив голову на руку, в глубоком раздумье. Подобные минуты искупают все горести даже самого горестного прошлого.

В голове Марты проносились тысячи мыслей, схожих с теми, что волновали ее мужа, и сердце ее сжималось от сознания опасности, нависшей над Симезами, ибо она поняла все, даже кто эти двое парижан; лишь одного она никак не могла уразуметь: зачем мужу понадобился карабин? Она понеслась, как лань, и вскоре вышла на дорогу, ведущую к замку; вдруг ей послышались сзади мужские шаги; она вскрикнула, но широкая ладонь Мишю тотчас же закрыла ей рот.

— С холма я заметил, как вдали сверкнули серебряные галуны на шапках. Войди через брешь у рва, между конюшнями и башней Барышни; собаки на тебя не залают. Проберись в сад, кликни молодую графиню в окно, скажи, чтоб она велела оседлать лошадь да чтоб вывела ее в ров. Я буду там; но сначала я разузнаю, что замышляют парижане, и придумаю, как бы от них ускользнуть.

Опасность надвигалась с быстротой лавины, ее надо было предотвратить во что бы то ни стало,— и это окрылило Марту.

Франкское имя, общее Сен-Синям и Шаржбефам,— Дюинеф. Сен-Синь стало прозвищем младшей линии Шаржбефов после того, как однажды, в отсутствие отца, пять его дочерей, все на редкость белокурые, защитили родительский замок, чего от них никак нельзя было ожидать. И вот один из первых графов Шампанских пожелал с помощью этого красивого прозвища сохранить память о знаменательном событии на все то время, пока будет существовать их род. После этого своеобразного воинского подвига все девушки в семье были преисполнены гордости, хотя, пожалуй, и не все были белокуры. Последняя из них, Лоранса, являлась, вопреки салическому закону, наследницей и титула, и герба, и ленных владений. Король Франции подтвердил указ графа Шампанского, по которому титул и имущество могли передаваться в этой семье и по женской линии. Следовательно, Лоранса была графиней де Сен-Синь, а будущий муж ее должен был принять ее имя и герб; на гербе этом значились в виде девиза вдохновенные слова, сказанные старшей из пяти сестер в ответ на требование сдаться: *Умрем с песнею!* Лоранса, достойная этих прекрасных героинь, отличалась особой бледностью, которая казалась печатью судьбы. Под ее тонкой и упругой кожей просвечивали мельчайшие голубые прожилки. Пышные белокурые волосы чудесно гармонировали с ее темно-синими глазами. Все в ней пленяло. Но в этой хрупкой девушке с тонким станом и молочно-белым лицом жила душа бесстрашного мужчины, одаренного сильным характером; однако никто, даже самый проницательный наблюдатель, не разгадал бы сущности этой девушки при виде ее кроткого, слегка удлиненного лица, в профиль смутно напоминавшего профиль ягненка. Ее исключительная кротость, хоть и полная благородства, казалось, доходила до глупости овечки. «Я похожа на задумавшегося барана»,— иногда говорила она шутя. Лоранса была неразговорчива и казалась не то чтобы мечтательной, но какой-то вялой. Однако стоило произойти чему-нибудь исключительному, как таившаяся в ней Юдифь сразу же пробуждалась во всем своем величии,— а таких случаев,

к несчастью, в жизни Лорансы было немало. В тринадцать лет, после уже известных событий, она осталась сиротою, в городе, где еще накануне высилось одно из самых замечательных зданий XVI века — особняк Сен-Синей. Господин д'Отсэр, их родственник, назначенный ее опекуном, поспешил увезти наследницу в деревню. Этот достойный дворянин-провинциал был страшно напуган смертью своего брата аббата д'Отсэра, которого наповал сразила пуля в ту минуту, когда, переодевшись крестьянином, он собирался бежать. Опекун не имел возможности защитить интересы своей питомицы: двое его сыновей находились в армии принцев, и каждый день при малейшем шуме ему чудилось, что арсийские власти идут арестовать его. Гордая тем, что она выдержала осаду и что природа наделила ее исторической белизной предков, Лоранса презирала мудрую робость старого дворянина, надломленного проносившейся бурей; она думала только о славе. И она смело повесила в убогой гостиной Сен-Синя портрет Шарлотты Кордэ, увенчав его гирляндой из мелких дубовых веток. При посредстве верного человека она вела переписку с близнецами, невзирая на закон, который грозил за это смертной казнью. Посланец, тоже рисковавший жизнью, доставлял ей ответы. Со времени трагедий, разыгравшихся в Труа, Лоранса жила лишь ради торжества монархии. Здраво разобравшись в характерах г-на д'Отсэра и его жены, она убедилась, что это люди безупречно честные, но слабые, и исключила их из круга своих интересов; Лоранса была слишком умна и по-настоящему добра, чтобы осуждать их за нерешительный характер; она обходилась с ними ласково, мягко, сердечно, но не посвящала их ни в одну из своих тайн. Ничто так не развивает выдержку, как необходимость постоянно скрытничать в своем семейном кругу. Достигнув совершеннолетия, Лоранса предоставила старичку д'Отсэру ведать ее делами и впредь. Лишь бы хорошо ухаживали за ее любимой лошадью, лишь бы горничная Катрина была одета со вкусом, а грум Готар опрятен, все прочее мало тревожило графиню. Ее помыслы были направлены к слишком возвышенной цели, чтобы она снисходила до таких дел, которые в иные времена, несомненно, занимали бы ее. К нарядам она была вполне равнодушна,— да ведь и кузенов не было подле нее. У

Лорансы была зеленая амазонка для прогулок верхом, простое платье с безрукавкой, расшитой позументом, для прогулок пешком, да шелковое домашнее платье. Маленький грум Готар, ловкий и отважный пятнадцатилетний паренек, всегда сопровождал ее, а она почти не бывала дома; она охотилась на всех гондревильских угодьях, и ни арендаторы, ни Мишю никогда не возражали против этого. Она превосходно ездила верхом, а на охоте показывала чудеса ловкости. Во всей округе ее всегда, даже в годы Революции, звали просто Барышней.

Всякому, кто читал прекрасный роман «Роб-Рой», несомненно, запомнился образ, создавая который Вальтер Скотт преодолел свою обычную холодность: это образ Дианы Вернон. Воспоминание о ней поможет понять Лорансу, если к чертам, присущим шотландской охотнице, вы добавите сдержанную вдохновенность Шарлотты Кордэ и в то же время исключите милую живость, которая придает Диане такое обаяние. Молодая графиня была свидетельницей смерти своей матери, убийства аббата д'Отсэра, гибели на эшафоте маркиза де Симеза и его жены, ее единственный брат умер от ран, два кузена, служившие в армии Конде, могли быть убиты в любую минуту; наконец, состояние Симезов и Сен-Синей было поглощено Революцией, притом без малейшей пользы для последней. Поэтому нам должна быть понятна постоянная сумрачность Лорансы, принявшая видимость какого-то оцепенения.

Впрочем, господин д'Отсэр проявил себя честнейшим и осведомленнейшим опекуном. В его руках Сен-Синь стал похож на ферму. Старик этот, гораздо более напоминавший рачительного землевладельца, чем рыцаря, сумел извлечь доход и из парка и из садов, которые занимали почти двести арпанов; они давали корм лошадям и пищу людям, давали и дрова. Благодаря его строжайшей экономии и помещенным в государственную ренту сбережениям молодая графиня ко времени своего совершеннолетия оказалась обладательницей довольно крупного состояния. В 1798 году наследница располагала двадцатью тысячами франков годового дохода с государственной ренты — правда, поступавшими весьма неаккуратно — да двенадцатью тысячами франков дохода с сенсиньских земель, договоры на которые были возобнов-

лены со значительным увеличением арендной платы. Супруги д'Отсэры уехали в деревню, располагая тремя тысячами пожизненной ренты с капитала, внесенного в контору Лафаржа: на эти уцелевшие крохи они могли жить только в Сен-Сине; поэтому Лоранса прежде всего предоставила им в пожизненное пользование флигель, который они там занимали. Супруги д'Отсэры, откладывавшие по тысяче экю в год для сыновей, стали и в отношении своей подопечной такими же скупыми, какими были к самим себе, и не баловали наследницу. Общий расход в Сен-Сине не превышал пяти тысяч франков в год. Но Лоранса, не входившая ни в какие мелочи, была всем довольна. Опекун и его жена незаметно подпали под влияние характера Лорансы, который сказывался даже в самых незначительных мелочах, и, что наблюдается довольно редко, в конце концов стали даже восхищаться этой девушкой, знакомой им еще с младенчества. Но в манерах Лорансы, в ее низком грудном голосе, в ее повелительном взгляде было что-то незаурядное, какая-то необъяснимая властность, которая всегда покоряет, даже если она только видимость, ибо глупцам пустота часто представляется глубокомыслием. Для людей рядовых глубокомыслие всегда непостижимо. Быть может, этим объясняется преклонение толпы перед всем, что ей непонятно. Супруги д'Отсэр, удивлявшиеся неизменной молчаливости и нелюдимости молодой графини, всегда ожидали от нее чего-то исключительного. Делая добро обдуманно и не поддаваясь на обман, Лоранса заслужила искреннее уважение крестьян, хоть и была аристократкой. Ее пол, семья, пережитые несчастья, необычный образ жизни — все это способствовало ее авторитету у жителей сен-синьской долины.

Иногда она в сопровождении Готара исчезала на день-два, но ни господин д'Отсэр, ни его супруга никогда не расспрашивали ее о том, куда она ездила. Заметьте, что у Лорансы не было никаких странностей. Воительница скрывалась в ней под самой женственной и хрупкой на вид оболочкой. Сердце у нее было весьма чувствительное, но образ мыслей отличался мужественной решимостью и стоической твердостью. Ее прозорливые глаза не знали, что такое слезы. Глядя на кисть ее руки, белую и нежную, с голубыми прожилками, никто не по-

думал бы, что эта девушка может поспорить с самым ловким кавалеристом. Эта ручка, такая мягкая, такая тонкая, владела пистолетом и ружьем не хуже опытного охотника. Вне дома Лоранса всегда носила обычную для амазонок кокетливую касторовую шляпу со спущенным зеленым вуалем: поэтому на ее нежном лице и белой шее, закрытой черным шарфом, не сказывалось слишком долгое пребывание на свежем воздухе. При Директории и в начале Консульства она могла вести такой образ жизни, не привлекая ничьего внимания; но с тех пор как государственная власть начала крепнуть, новые должностные лица — префект департамента Об, друзья Малена и сам Мален — пытались подорвать уважение к девушке. Лоранса только и помышляла о свержении Наполеона, притязания и торжество которого вызвали в ней своего рода ярость, но ярость хладнокровную и целеустремленную. Она, незаметный и неведомый враг этого человека, осененного славою, целилась в него из глуши своих долин и лесов с зловещей пристальностью; иной раз ей трудно было владеть собою; она готова была уехать отсюда и где-нибудь в окрестностях Сен-Клу или Мальмезона убить его. Осуществление этого замысла вполне оправдало бы ее привычки и образ жизни; но со времени разрыва Амьенского мирного договора она была посвящена в намерения заговорщиков, целью которых было обратить 18 брюмера против первого консула, и с тех пор она подчинила свою ненависть и силы обширному и превосходно осуществлявшемуся плану: согласно последнему, Наполеону должен быть нанесен удар извне — могучей коалицией России, Австрии и Пруссии, коалицией, которую он, став императором, разгромил при Аустерлице,— и изнутри, при помощи союза людей самых различных взглядов, но объединенных общей ненавистью, причем многие из них, подобно Лорансе, обдумывали, как устранить этого человека, не останавливаясь и перед тем, что называют словом «убийство». Таким образом, эта девушка, столь хрупкая на вид и столь сильная в глазах тех, кто ее хорошо знал, служила в настоящее время верным и надежным посредником для дворян, пробравшихся на родину из Германии, чтобы принять участие в упомянутом опасном предприятии. Фуше воспользовался союзом зарейн-

ских эмигрантов для того, чтобы запутать в их заговор герцога Энгиенского. Пребывание этого принца на территории Бадена, неподалеку от Страсбурга, впоследствии придало убедительность подозрениям Фуше. Главный вопрос — действительно ли герцог был посвящен в этот заговор, действительно ли он должен был, в случае удачи, появиться во Франции — остается тайною, относительно которой, как и относительно некоторых других, принцы из семьи Бурбонов хранили глубочайшее молчание. Но когда история этой эпохи начнет стареть и отходить в прошлое, беспристрастные историки назовут по меньшей мере неосторожностью появление герцога вблизи границы как раз в тот момент, когда должен был осуществиться грандиозный заговор, в тайну которого королевская семья была, бесспорно, посвящена. Ту осторожность, которую проявил Мален, удалившись для переговоров с Гревеном на лесную полянку, Лоранса вносила во все свои мельчайшие дела. Она принимала представителей, совещалась с ними либо где-нибудь на опушке Нодемского леса, либо по ту сторону сен-синьской долины, между Сезанной и Бриенной. Иной раз она, в сопровождении Готара, могла проскакать сразу пятнадцать лье, причем, когда она возвращалась в Сен-Синь, на ее свежем лице не было и тени усталости или озабоченности. Однажды она заметила в глазах у этого пастушка, тогда еще девятилетнего мальчика, то простодушное восхищение, которое у детей вызывается всем необыкновенным; она взяла его себе в конюхи и научила ухаживать за лошадьми с той особой заботливостью и вниманием, как принято у англичан. Она обнаружила в нем старательность, понятливость и полное бескорыстие; она подвергла испытанию его преданность и убедилась, что он не только смышлен, но и благороден: он не допускал мысли о награде; Лоранса занялась воспитанием этой столь еще юной души, была к нему добра, царственно добра; она привязала его к себе и сама к нему привязалась, шлифуя это полудикое создание, но не лишая его ни самобытности, ни простоты. Когда она в достаточной мере проверила его почти собачью верность, которую сама же в нем воспитала, Готар стал ее хитрым и простодушным сообщником. Крестьянский паренек, которого никому не пришло бы в голову в чем-либо подозревать,

ездил до самого Нанси, и иной раз никто и не замечал его отсутствия. Он прибегал ко всем уловкам, применяемым лазутчиками. Крайняя недоверчивость, к которой его приучила хозяйка, ничуть не испортила его природы. Готар обладал одновременно и хитростью женщины, и наивностью ребенка, и неусыпной настороженностью заговорщика, но все эти драгоценные качества он прятал под маской глубоко невежественного, тупого деревенского парнишки. Этот мужичок казался придурковатым, хилым и неуклюжим, но как только надо было действовать, он становился увертливым, как рыба, ускользал, как угорь, понимал, как собака, с одного взгляда чужую мысль. Его добродушное широкое лицо, круглое и красное, сонные карие глаза, волосы, подстриженные по-крестьянски, одежда, небольшой рост — все придавало ему вид десятилетнего мальчика.

Господа д'Отсэры и де Симезы при содействии своей кузины, которая следила за их передвижением от Страсбурга до Бар-сюр-Об, пробирались в сопровождении еще нескольких эмигрантов через Эльзас, Лотарингию и Шампань, в то время как другие, не менее отважные заговорщики, высадились на французскую землю у скалистых берегов Нормандии. Переодевшись рабочими, д'Отсэры и Симезы шли лесами под руководством проводников, которые в течение последних трех месяцев были выбраны Лорансой в разных департаментах среди людей, наиболее преданных Бурбонам и в то же время наименее возбуждающих подозрения. Эмигранты спали днем и пускались в путь по ночам. При каждом из них было по два преданных солдата, из которых один шел впереди как разведчик, а второй следовал сзади, чтобы в случае беды прикрыть отступление. Благодаря этим военным предосторожностям отряд смельчаков благополучно достиг Нодемского леса, где была назначена встреча. Другие двадцать семь дворян пробрались из Швейцарии и прошли через Бургундию; их вели к Парижу с такими же предосторожностями. Г-н де Ривьер рассчитывал на пятьсот человек, в том числе на сто молодых дворян, предполагаемых офицеров этого священного отряда. Господа де Полиньяк и де Ривьер, как главари, вели себя в высшей степени достойно и сохранили в полнейшей тайне имена всех тех сообщников, которые так и

не были обнаружены. И теперь можно утверждать, в согласии с разоблачениями, сделанными в годы Реставрации, что Бонапарт находился в таком же неведении о нависшей над ним грозной опасности, как и Англия, которая не понимала, что ей сулит расположившаяся в Булони армия; а между тем никогда еще полицией не управляли столь умные и ловкие люди. В тот момент, когда начинается эта история, некий трус,— а такой всегда найдется среди участников любого заговора, если их круг не ограничивается немногими людьми одинаковой душевной силы,— некий заговорщик, перед лицом смерти, дал показания, хотя, к счастью, и недостаточные, чтобы определить размах заговора, но достаточно ясные в отношении его цели. Поэтому-то полиция, как Мален и сказал Гревену, дала заговорщикам возможность действовать и ограничилась наблюдением за ними, намереваясь со временем захватить сразу все разветвления заговора. Однако правительство оказалось в известной мере вынужденным поспешить с принятием решительных мер, ибо Жорж Кадудаль, человек действия, который все решал самостоятельно, скрывался тогда в Париже с двадцатью пятью шуанами, готовясь к покушению на первого консула. В замыслах Лорансы ненависть сочеталась с любовью. Ведь уничтожить Бонапарта и восстановить Бурбонов значило вновь обрести Гондревиль и вернуть кузенам их благосостояние. Этих двух чувств, из которых одно является обратной стороной другого, достаточно,— особенно в двадцать три года,— чтобы пробудить и обострить все умственные способности и все жизненные силы. Поэтому в последние два месяца Лоранса казалась обитателям Сен-Синя красивей, чем когда-либо. Щеки ее порозовели, надежда порою придавала гордое выражение ее челу; но когда по вечерам при ней читали «Газету», где сообщалось о консервативных действиях первого консула, она опускала взор, чтобы в нем не прочли скорое и непреложное падение этого врага Бурбонов. Никому в замке и в голову не приходило, что минувшей ночью молодая графиня виделась со своими кузенами. Сыновья супругов д'Отсэров провели эту ночь ни более ни менее как в спальне графини, под одним кровом с родителями, ибо Лоранса, уложив двоих д'Отсэров, отправилась, чтобы не вызывать подозрений,

между часом и двумя ночи на условленное место и, встретив там кузенов, отвела их в чащу леса, где и спрятала в покинутой хижине лесника. Она была так уверена, что вновь увидится с ними, что ничем не обнаружила своей радости; ничто не выдавало в ней тревоги ожидания; словом, она сумела сдержать малейшее проявление чувства и, после того как увиделась с ними, была невозмутимо спокойна. Красавица Катрина, ее молочная сестра, и Готар, оба посвященные в эту тайну, вели себя по примеру хозяйки. Катрине было девятнадцать лет. В этом возрасте девушки, как и юноши в возрасте Готара, бывают беззаветно преданны и готовы сложить голову на плахе, не проронив ни слова. Что же касается Готара, он, лишь за то, чтобы вдохнуть запах духов, которым веяло от волос и платья графини, готов был вытерпеть самую страшную пытку.

Пока Марта, предупрежденная о неминуемой гибели, с быстротою тени скользила к бреши, следуя указаниям мужа, гостиная сен-синьского замка являла самую мирную картину. Собравшиеся здесь люди были так далеки от мысли о надвигавшейся буре, что их безмятежный вид поневоле вызвал бы жалость у всякого, кто знал бы их истинное положение. В высоком камине, украшенном зеркалом, на раме которого танцевали пастушки в кринолинах, пылал огромный костер, какие разводят только в замках, расположенных на окраине лесов. Возле камина, в квадратном глубоком кресле, отделанном великолепным зеленым шелком и позолотой, отдыхала молодая графиня; поза ее говорила о крайней усталости. Лоранса только в шесть часов вернулась с границы провинции Бри; она ездила туда, чтобы выполнить роль разведчика и проводника для маленького отряда из четырех дворян и благополучно привести их в убежище, где им предстояло сделать последний привал перед тем, как пробраться в Париж; когда она вернулась, супруги д'Отсэры уже кончали обедать. Она настолько проголодалась, что села за стол, как была,— в забрызганной грязью амазонке и полусапожках. После обеда она почувствовала такое изнеможение, что не имела даже сил раздеться, а откинулась на спинку огромного кресла, прислонилась к ней белокурой головкой в бесчисленных локонах и, вытянув ноги, положила

их на скамеечку. Пламя камина сушило брызги грязи на ее амазонке и сапожках. Ее кожаные перчатки, касторовая шляпка, зеленый шарф и хлыст лежали на столике, куда она их бросила. Она то поглядывала на старинные часы Буль, стоявшие на каминной полке между двумя канделябрами, и соображала, улеглись ли уже четверо заговорщиков, то бросала взор на ломберный стол перед камином, за которым сидели г-н д'Отсэр, его супруга и сен-синьский кюре с сестрой.

Если бы даже эти люди не были непосредственными участниками описываемой нами трагедии, они заслуживали бы внимания как представители одной из разновидностей аристократии после ее разгрома в 1793 году. С этой точки зрения описание сен-синьской гостиной имеет прелесть исторической сценки, застигнутой врасплох.

Господин д'Отсэр, которому тогда шел пятьдесят второй год, высокий, сухопарый, румяный, обладавший крепким здоровьем, мог бы показаться человеком с сильным характером, если бы не большие темно-синие глаза, говорившие о крайнем его простодушии. Подбородок его выдавался вперед, а расстояние между носом и ртом было несоразмерно велико, и это придавало ему покорный вид, вполне соответствовавший его мирному характеру, о котором говорили и другие, даже мельчайшие черты его лица. Седые волосы, примятые шляпой, которую он почти никогда не снимал, образовали на голове нечто вроде ермолки и подчеркивали ее грушевидную форму. У него был плоский, невыразительный лоб, весь изрытый морщинами,— результат деревенских трудов и постоянных треволнений. Орлиный нос придавал некоторую значительность его лицу, единственным же признаком силы служили густые, еще черные брови и яркий румянец на щеках,— и этот признак не обманывал; будучи простодушен и мягок, г-н д'Отсэр все же являлся непоколебимым католиком и монархистом, и никакие соображения не могли бы заставить его отказаться от своих взглядов. Он покорно дал бы себя арестовать, не стал бы стрелять в полицейских и безропотно взошел бы на эшафот. Он не мог эмигрировать, ибо, кроме ренты в три тысячи франков, не располагал никакими средствами к жизни. Поэтому он подчинялся существующему

правительству, не переставая быть верным королевской семье и желать ее восстановления; но он не стал бы компрометировать себя участием в какой-либо попытке вернуть Бурбонов. Г-н д'Отсэр принадлежал к той части роялистов, которые до конца своих дней не могли забыть, что были побиты и ограблены,— они так и остались молчаливыми и расчетливыми, озлобленными и безвольными, но неспособными ни на отречение, ни на жертву; они всегда готовы были приветствовать монархию, если она восторжествует, сохраняли верность церкви и духовенству, но не отступались от своего решения покорно выносить все унижения и горести. А это уже не убежденность, а упрямство. Действие — основа всякой партии. Неумный, но честный, скупой, как крестьянин, и вместе с тем аристократ по манерам, смелый в своих желаниях, но скромный в речах и поступках, из всего извлекающий выгоду и даже готовый стать сен-синьским мэром, г-н д'Отсэр был типичным представителем тех почтенных дворян, на лбу которых бог начертал слово mites [1]; они не препятствовали бурям Революции, пронесшимся над их головами и их дворянскими гнездами, воспрянули при Реставрации, богатые благодаря своим сбережениям и гордые своей тайной преданностью династии, а после 1830 года снова удалились в свои поместья. Его платье, очень характерное для такого рода людей, красноречиво говорило и о нем самом и об эпохе. Г-н д'Отсэр носил широкий плащ орехового цвета, с небольшим колетом, введенный в моду последним герцогом Орлеанским после его возвращения из Англии; во время Революции такие плащи являлись чем-то промежуточным между неказистой простонародной одеждой и изящными сюртуками аристократии. Бархатный жилет в полоску и с цветочками, покрой которого напоминал жилеты Робеспьера и Сен-Жюста, оставлял на виду верхнюю часть жабо в мелких складочках, покоящегося на сорочке. Он все еще носил короткие панталоны, но они у него были из грубого синего сукна, с потемневшими стальными пряжками. Дешевые черные шелковые чулки обтягивали его тонкие, как у лани, ноги в грубых башмаках и черных суконных гетрах. Он по старинке носил муслино-

---

[1] Смиренные, покорные *(лат.)*.

вый воротничок в бесчисленных складочках, скрепленный у подбородка золотою пряжкой. Таким платьем, сочетавшим в себе элементы крестьянской, революционной и аристократической одежды, этот безобидный дворянин вовсе не хотел выказать какой-то политический эклектизм, он просто-напросто подчинялся обстоятельствам.

Его жена, сорокалетняя женщина, с поблекшим лицом, рано состарившаяся от житейских невзгод, всегда словно позировала для портрета, а кружевной чепец, украшенный белыми атласными бантами, как бы подчеркивал торжественное выражение ее лица. Она еще пудрила волосы, хоть и носила белую косынку и шелковое платье цвета блошиной спинки с гладкими рукавами и очень широкой юбкой,— последний траурный наряд королевы Марии-Антуанетты. У нее был слегка вздернутый нос, острый подбородок, лицо почти треугольное, заплаканные глаза; но она «чуточку» румянилась, и это оживляло ее серые глаза. Она нюхала табак и при каждой понюшке принимала те жеманные предосторожности, которыми некогда злоупотребляли светские модницы; это была целая церемония, но все ее ужимки при этом объяснялись очень просто: у нее были красивые руки.

Аббат-францисканец по имени Гуже, бывший воспитатель двух молодых Симезов и друг аббата д'Отсэра, два года тому назад из расположения к д'Отсэрам и к молодой графине избрал себе в качестве убежища сен-синьский приход. Его сестра, мадемуазель Гуже, располагавшая рентой в семьсот франков, присоединяла эти деньги к скромному жалованью священника и вела его хозяйство. Ни церковь, ни церковный дом не были проданы ввиду их ничтожной ценности. Аббат Гуже жил в двух шагах от замка, ибо, местами, сад при доме священника и господский парк отделялись друг от друга только оградой. Поэтому аббат Гуже с сестрою два раза в неделю обедали в Сен-Сине и каждый вечер приходили поиграть с д'Отсэрами в карты. Лоранса же и взять карты в руки не умела. Аббат Гуже был седовласый старец с белым, как у пожилой женщины, лицом, любезной улыбкой, ласковым и вкрадчивым голосом; его приторное, немного кукольное лицо значительно выигрывало от высокого, умного лба и проницательных глаз. Он был средне-

го роста, хорошо сложен, всегда носил черный фрак французского покроя, серебряные пряжки на панталонах и башмаках, черные шелковые чулки, черный жилет, на который ниспадал белый воротничок, что придавало старику изящество, не нарушая притом его пастырского достоинства. Этот аббат, ставший при Реставрации епископом Труа, благодаря своей прошлой деятельности научился разбираться в молодых людях; он понял всю силу характера Лорансы, оценил его и сразу же стал относиться к девушке с почтительностью и уважением; а это в значительной мере помогло ей занять в Сен-Сине независимое положение и подчинить своей воле строгую пожилую даму и добряка-дворянина, которых она, конечно, по заведенному обычаю, должна была бы во всем слушаться. Уже полгода аббат наблюдал за Лорансой с присущей священникам зоркостью, ибо они— самые проницательные люди на свете; и, даже не подозревая о том, что эта двадцатитрехлетняя девушка в ту самую минуту, когда ее слабые ручки теребят отпоровшийся позумент амазонки, помышляет о низвержении Бонапарта, он все же догадывался, что она поглощена каким-то большим замыслом.

Мадемуазель Гуже была одной из тех старых дев, портрет которых можно набросать в двух словах, и этого вполне достаточно, чтобы их могли себе представить даже люди с самой скудной фантазией: она принадлежала к тем, кого называют дылдами. Бедняжка сознавала, что уродлива, и первая же подтрунивала над своим безобразием, обнажая при этом длинные зубы, желтые, как ее лицо и костлявые руки. Но она была бесконечно добра и весела. Она носила чепец с лентами и накладку из волос, пресловутый казакин былых времен, широченную юбку с карманами, где вечно гремели ключи. Она еще в юности казалась сорокалетней, но, по ее словам, наверстывала упущенное и пребывала в этом возрасте уже лет двадцать. Дворянство она глубоко почитала, но, отдавая знатным людям что им полагалось в смысле уважения и знаков внимания, умела соблюсти и собственное достоинство.

Это общество пришлось в Сен-Сине очень кстати, ибо у г-жи д'Отсэр не было, как у ее мужа, хозяйственных забот или, как у Лорансы, той живительной ненависти, ко-

торая помогает выдерживать гнев одиночества. К тому же за последние шесть лет жизнь стала заметно легче. Католический культ был восстановлен, и это позволяло верующим выполнять религиозные обязанности, а в сельской жизни они занимают больше места, чем где бы то ни было. Супруги д'Отсэры, успокоенные консервативными действиями первого консула, могли теперь переписываться с сыновьями, знать об их судьбе, больше не дрожать за их жизнь, настаивать на том, чтобы они ходатайствовали об исключении их из списков эмигрантов и вернулись во Францию. Казначейство выплатило свою задолженность по ренте и стало производить очередные платежи в срок. К этому времени д'Отсэры располагали, кроме пожизненной ренты, еще восемью тысячами годового дохода. Старик радовался своей мудрой дальновидности: все свои сбережения — двадцать тысяч франков,—равно как и деньги своей подопечной, он поместил в государственную ренту еще до 18 брюмера, а этот переворот, как известно, вызвал повышение курса фондовых ценностей на двенадцать — восемнадцать франков.

Долгое время замок Сен-Синь оставался пустым, запущенным и разоренным. Пока бушевали революционные бури, осмотрительный опекун сознательно воздерживался от каких-либо починок; но после Амьенского мира он съездил в Труа и привез оттуда остатки обстановки двух особняков, выкупленные им у старьевщиков. Тогда-то благодаря его заботам и была обставлена гостиная замка. Пышные шелковые занавеси с зелеными цветами по белому фону, висевшие раньше в особняке Симезов, теперь украшали шесть окон гостиной, где сидели в тот вечер вышеупомянутые лица. Эта огромная комната была вся отделана резным деревом в виде панно, обрамленных точеным багетом и выкрашенных в серый цвет двух оттенков. Четыре двери были расписаны в духе эпохи Людовика XV сценками, исполненными в серых тонах различных оттенков. Заботливый опекун разыскал в Труа золоченые кронштейны, кресло, обитое зеленым шелком, хрустальную люстру, ломберный стол с инкрустациями и другие предметы, которые могли послужить восстановлению Сен-Синя в прежнем виде. В 1792 году вся обстановка замка была расхищена,

ибо разгром особняков в городах отозвался и в деревне. Каждый раз, как старик ездил в Труа, он возвращался с какими-нибудь реликвиями былого великолепия: то это был прекрасный ковер, вроде лежавшего сейчас на паркетном полу гостиной, то часть столового сервиза или отдельные предметы из старинного саксонского и севрского фарфора. Полгода тому назад он решился откопать сен-синьское серебро, спрятанное поваром в его домике на самой окраине одного из обширных предместий Труа.

Этот преданный слуга, по имени Дюрие, и его жена навсегда связали свою судьбу с судьбой их молодой госпожи. Дюрие выполнял в замке самые различные обязанности, а жена его была ключницей. Дюрие взял себе в помощницы на кухню сестру Катрину; она изучала под его руководством кулинарное искусство и обещала стать превосходной поварихой. Если прибавить к ним старика садовника с женой, их сына, работавшего поденно, и дочь, служившую коровницей,— то вот и вся челядь замка. Полгода назад жена Дюрие тайком заказала для сына садовника и для Готара ливреи геральдических цветов графов де Сен-Синей. Хотя хозяин и разбранил ее за эту неосторожность, она была счастлива, что в день св. Лорана, в именины Барышни, обед был подан почти как прежде. Постепенное восстановление былого, требовавшее немалых трудов, безмерно радовало господ д'Отсэров и супругов Дюрие. Лоранса посмеивалась над всем этим и называла ребячеством. Но старик д'Отсэр не забывал и о существенном: он восстанавливал строения, подправлял ограды, сажал деревья всюду, где только было возможно, и старался извлечь пользу из каждого клочка земли. Поэтому вся сен-синьская долина считала его своего рода чудодеем по части земледелия. Он ухитрился отхлопотать сто арпанов спорной земли, не проданной в свое время, а присоединенной к общинным владениям; он превратил эту землю в луга, посеяв кормовые травы, и обсадил их тополями, которые за шесть лет выросли на диво. Он намеревался выкупить и кое-какие другие участки и извлечь доход из всех призамковых строений, заведя вторую ферму, которой мечтал управлять самолично.

Итак, последние два года обитатели замка были поч-

ти что счастливы. Г-н д'Отсэр уходил из дому чуть свет, наблюдал за рабочими, которые были заняты у него круглый год; затем возвращался к завтраку, а после завтрака садился на крестьянскую лошадку и, словно сторож, объезжал имение; вторично он являлся к обеду, вечера проводил за партией бостона. У каждого из обитателей замка были свои занятия, жизнь текла размеренно, словно в монастыре. Только Лоранса нарушала эту размеренность своими внезапными поездками, своими частыми отлучками, всем тем, что г-жа д'Отсэр называла ее причудами. Однако в Сен-Сине существовало два политических направления, находились и поводы для разногласий. Во-первых, Дюрие и его жена ревновали Готара и Катрину, которые стояли ближе к молодой хозяйке, кумиру всего дома. Во-вторых, супруги д'Отсэр, поддерживаемые мадемуазель Гуже и аббатом, желали, чтобы их сыновья, равно как и близнецы Симезы, вернулись на родину и приобщились к радостям безмятежной жизни в замке, вместо того чтобы влачить жалкое существование на чужбине. Лоранса осуждала столь малодушную готовность пойти на сделку, она была представительницей роялизма чистого, воинствующего и непреклонного. А четверо стариков не желали подвергать испытаниям ту счастливую жизнь и тот клочок земли, которые они отвоевали у бурного потока Революции, и старались внушить Лорансе свои поистине мудрые взгляды, догадываясь, что она в немалой степени влияет на решение молодых д'Отсэров и Симезов не возвращаться во Францию. Бедных стариков ужасало гордое презрение их воспитанницы к этим чаяниям, и они справедливо опасались с ее стороны какой-нибудь, как они говорили, «выходки». Эти разногласия обнаружились со времени взрыва адской машины на улице Сен-Никез,— первого покушения роялистов на победителя при Маренго, после того как он отказался от переговоров с Бурбонами. Воображая, что покушение организовано республиканцами, д'Отсэры почитали счастьем, что Бонапарт избежал опасности. А Лоранса плакала от бешенства, когда узнала, что первый консул уцелел. Ее отчаяние взяло верх над обычной скрытностью, и она стала укорять бога за то, что он предал потомков Людовика Святого.

— Если бы я взялась за дело,— воскликнула она,— я

не промахнулась бы! Разве мы не вправе применять против узурпатора любое оружие? — обратилась она к аббату Гуже, заметив, что ее слова вызвали у всех присутствующих глубокое недоумение.

— Дитя мое,— ответил аббат,— философы весьма рьяно нападали на церковь, порицая ее за то, что некогда она отстаивала наше право обращать против узурпаторов то самое оружие, которым те пользовались, добиваясь своей цели; ныне же церковь слишком многим обязана господину первому консулу, чтобы не оберегать его и не охранять от последствий этого учения, которое к тому же принадлежит иезуитам.

— Значит, церковь покидает нас! — мрачно отозвалась девушка.

С того дня, всякий раз как четыре старика заводили речь о том, что надо покориться Провидению, графиня покидала гостиную. Последнее время кюре, более искусный, чем опекун, стал не столько вдаваться в принципиальные рассуждения, сколько выставлять материальные преимущества консульского правления, и не столько для того, чтобы убедить графиню, сколько, чтобы поймать в ее взоре выражение, по которому можно было бы разгадать ее планы. Постоянные отлучки Готара, участившиеся поездки Лорансы и озабоченность, омрачавшая в последние дни ее лицо, наконец, тысячи мелочей, которые среди тишины и спокойствия сен-синьской жизни не могли пройти незамеченными, особенно для насторожившихся д'Отсэров, аббата Гуже и обоих Дюрие,— все это пробудило опасения покорившихся роялистов. Но так как никаких особых событий не происходило, а в политической сфере пока господствовало полное спокойствие, то жизнь маленького замка снова вернулась в свою мирную колею. Все считали, что отлучки графини вызваны ее увлечением охотой.

Можно представить себе, какая глубокая тишина царила в тот вечер около десяти часов в парке, во дворах, в окрестностях сен-синьского замка, где природа и люди слились в такой гармонии, где всюду ощущался глубочайший мир и возвращалось прежнее изобилие, где добрый и разумный дворянин надеялся склонить свою опекаемую к покорности, показывая ей благие плоды такого поведения. Собравшиеся здесь сторонники монархии

продолжали играть в бостон, игру, которая под легковесной формой распространяла по всей Франции идеи независимости, ибо она была придумана в честь американских повстанцев, а термины ее напоминали о борьбе, поощрявшейся Людовиком XVI. Объявляя «независимость» или «разорение», игроки украдкой наблюдали за Лорансой, а она, сраженная усталостью, заснула с насмешливой улыбкой на губах: ведь когда она взглянула на мирное общество, сидевшее за столиком, ее последняя мысль была о том, что два сына д'Отсэров провели минувшую ночь под этим же кровом, и достаточно было бы заикнуться об этом, чтобы привести игроков в страшное смятение. А какая девушка в двадцать три года не преисполнилась бы гордости, сознавая себя вершительницею людских судеб, и не почувствовала бы легкого сострадания к тем, кто настолько слабее ее?

— Графиня уснула,— сказал аббат,— я еще никогда не видел ее такой уставшей.

— Дюрие говорит, что она совсем загнала свою лошадь,— ответила г-жа д'Отсэр.— А ружьем и не пользовалась, полка совсем чистая, значит, Лоранса не охотилась.

— Фу ты, пропасть, тут что-то неладно,— возразил кюре.

—Бросьте! — воскликнула мадемуазель Гуже.— Когда я была в ее возрасте и стала понимать, что мне суждено остаться в девушках, я еще не так носилась, не так себя изнуряла. Я вполне понимаю, что графиня может рыскать по всей округе, вовсе и не помышляя о дичи. Скоро уже двенадцать лет, как она не видела своих кузенов, а ведь она их любит. Да на ее месте, будь я такой молодой и красивой, я, не задумываясь, слетала бы в Германию. Вот бедняжку, может быть, и тянет к границе.

— Какая вы прыткая, мадемуазель Гуже,— пошутил кюре.

— Но ведь я вижу,— возразила она,— что поведение девушки вас тревожит, поэтому я вам и объясняю, в чем тут дело.

— Кузены ее вернутся, она будет богатой, вот она и угомонится,— добродушно заключил г-н д'Отсэр.

— Дай-то бог! — воскликнула пожилая дама, беря в

руки золотую табакерку, которая после объявления пожизненного консульства вновь извлечена была на свет.

— А у нас новость,— обратился старик д'Отсэр к кюре.— Мален вчера приехал в Гондревиль.

— Мален! — вскричала Лоранса, очнувшись при этом имени от глубокого сна.

— Да,—сказал кюре,—но сегодня в ночь он уезжает обратно, и все ломают себе голову насчет того, с какою же целью он совершил столь стремительное путешествие.

— Этот человек — злой гений наших двух семей,— сказала Лоранса.

Молодая графиня только что видела во сне кузенов и д'Отсэров; им грозила какая-то беда. Она представила себе опасности, которые подстерегают их в Париже, ее взгляд померк и стал неподвижен; она порывисто встала и, не сказав ни слова, удалилась к себе наверх. Она занимала одну из парадных комнат, а рядом, в башенке, выходившей в сторону леса, были гардеробная и молельня. Как только Лоранса ушла из гостиной, на дворе залаяли собаки, у калитки кто-то позвонил, и вскоре в гостиной появился взволнованный Дюрие:

— Мэр пришел. Опять что-то стряслось.

Мэр, бывший доезжачий Симезов, изредка посещал замок, и д'Отсэры, по тактическим соображениям, оказывали ему уважение, которым он чрезвычайно дорожил. Этот человек, по имени Гулар, был женат на богатой торговке из Труа, владевшей имением в сен-синьской общине; Гулар прибавил к этому имению угодья, ранее принадлежавшие богатому монастырю Валь-де-Пре; на эту покупку он истратил все свои сбережения. Гулар поселился в обширном монастыре, расположенном в четверти мили от замка, и стал, таким образом, владельцем жилища, почти столь же великолепного, как Гондревиль. Они с женой жили там, словно две крысы в соборе.

— Гулар, ты нагулял себе жирок,— сказала ему, смеясь, Лоранса, увидя его впервые в Сен-Сине.

Несмотря на то, что он был крайне предан Революции и что графиня всегда принимала его очень холодно, мэр питал к Сен-Синям и Симезам неискоренимое почтение. Поэтому он закрывал глаза на все, что творилось в замке. Закрывать глаза, по его понятиям, значило не

видеть, что стены гостиной увешаны портретами Людовика XVI, Марии-Антуанетты, их августейших детей, брата короля, графа д'Артуа, Казалеса, Шарлотты Кордэ; не находить ничего дурного в том, что в его присутствии поносят Революцию, насмехаются над пятью членами Директории и над всеми мероприятиями того времени. Как и многие выскочки, он, нажив себе состояние, вновь проникся благоговением к старинным родам и старался поддерживать с ними связи; а особое положение Гулара, порожденное этими обстоятельствами, было тотчас же использовано двумя неизвестными, профессию которых так скоро разгадал Мишю и которые, прежде чем отправиться в Гондревиль, обследовали все окрестности.

Перад, хранитель достохвальных традиций дореволюционного сыска, и Корантен, маг шпионажа, приехали с тайным поручением. Мален не ошибался, приписывая этим мастерам по части трагических шуток двойственную роль; поэтому небесполезно, пожалуй, показать голову, для которой они служили руками. Когда Бонапарт сделался первым консулом, во главе полиции стоял Фуше. Революция открыто и с полным основанием создала особое министерство полиции. Однако, возвратясь после победы при Маренго, Бонапарт учредил еще префектуру полиции и начальником ее назначил Дюбуа, а Фуше назначил членом государственного совета, причем его преемником по министерству полиции стал бывший член Конвента Кошон, впоследствии граф де Лапаран. Фуше, считавший, что министерство полиции — из всех министерств самое главное в правительстве, намечающем широкие преобразования и избравшем твердый политический курс, воспринял эти перемещения как опалу или по крайней мере как признак недоверия. После истории с адской машиной и раскрытия заговора, о котором здесь идет речь, Наполеон вернул Фуше министерство полиции, так как убедился в непревзойденных качествах этого великого государственного деятеля. Однако позднее, устрашившись способностей, проявленных Фуше в его отсутствие, во время вальхернского дела, император передал это министерство герцогу де Ровиго, а герцога Отрантского назначил правителем Иллирийских провинций, что было равносильно ссылке.

Своеобразная гениальность, столь ужаснувшая На-

полеона, обнаружилась у Фуше не сразу. Этот незаметный член Конвента, один из самых выдающихся и непонятых людей своего времени, сложился и вырос в бурях Революции. При Директории он достиг тех вершин, с которых люди глубокого ума получают возможность предвидеть будущее, основываясь на опыте прошлого; а затем вдруг,— подобно посредственным актерам, которые под влиянием какой-то внезапно вспыхнувшей искры становятся гениальными,— проявил поразительную изворотливость во время молниеносного переворота 18 брюмера. Этот бледнолицый человек, воспитанный в духе монашеской сдержанности, посвященный в тайны монтаньяров, к которым он принадлежал, и в тайны роялистов, к которым в конце концов примкнул, долго и незаметно изучал людей, их нравы и борьбу интересов на политической арене; он проник в замыслы Бонапарта, давал ему полезные советы и ценные сведения. Довольствуясь тем, что он доказал свою ловкость и полезность, Фуше поостерегся раскрыть себя до конца, он хотел остаться у кормила правления, однако двойственное отношение к нему Наполеона вернуло ему политическую свободу. Неблагодарность или, вернее, недоверие, проявленное императором после вальхернского дела, в достаточной мере объясняет поведение этого человека, который, к несчастью для себя, не был аристократом и только подражал князю Талейрану. В то время ни прежние, ни новые его коллеги и не подозревали всей широты его таланта — чисто административного и, в глубоком смысле слова, государственного,— так был велик его дар почти неправдоподобной проницательности и безошибочного предвидения. Конечно, нынче для всякого беспристрастного историка ясно, что одною из тысячи причин, вызвавших падение Наполеона, которым он, впрочем, искупил все свои грехи, было его непомерное самолюбие. Недоверчивый монарх относился чрезвычайно ревниво к своей еще молодой власти, и это сказывалось в его поступках не меньше, чем его затаенная ненависть к тем талантливым людям, которых он получил как драгоценное наследие от Революции и с помощью которых мог бы составить правительство, способное осуществлять все его замыслы. Наполеон относился недоверчиво не только к Талейрану и Фуше; беда узурпаторов заклю-

чается в том, что их врагами становятся и те, кто им помог завладеть короной, и те, у кого они ее отняли. Наполеону так и не удалось убедить в своей суверенности ни людей, бывших его начальниками или равными ему, ни тех, кто стоял за право; никто поэтому не считал себя связанным принесенной ему присягой. Мален, как человек заурядный, неспособный ни оценить мрачный талант Фуше, ни уберечься от его проницательности, сам себя погубил, словно бабочка, летящая на пламя, когда явился к Фуше и конфиденциально попросил прислать в Гондревиль сыщиков, ибо он, мол, надеется кое-что там разведать относительно заговора. Фуше, не смущая своего друга расспросами, удивился: зачем это Мален едет в Гондревиль, почему не сообщит немедленно тут же, в Париже, имеющиеся у него сведения? Бывший ораторианец, привыкший к обманам и отлично знавший, что многие члены Конвента ведут двойную игру, задал себе вопрос: «От кого же Мален может что-либо узнать, если мы сами пока еще почти ничего не знаем?» И Фуше пришел к выводу, что Мален, видимо, в какой-то мере сам причастен к заговору, но таится и выжидает. Однако Фуше ни слова не сказал первому консулу об этих подозрениях. Он предпочел сделать Малена своим орудием, чем погубить его. Фуше всегда старался сохранить про себя значительную часть разгаданных им тайн и благодаря этому приобретал над людьми гораздо большую власть, чем сам Бонапарт. Подобное двуличие послужило одним из поводов для недовольства Наполеона своим министром. Фуше были известны махинации Малена, которые дали ему возможность завладеть поместьем Гондревиль, а теперь вынуждали не спускать глаз с господ де Симезов. Симезы служили в армии Конде, мадемуазель де Сен-Синь доводилась им двоюродной сестрой; следовательно, они могли скрываться где-то поблизости и быть связаны с заговором, а их участие свидетельствовало бы и об участии семьи Конде, которой они были так преданны. Г-н де Талейран и Фуше считали чрезвычайно важным выяснить эту весьма туманную сторону заговора 1803 года, Фуше, с обычной быстротой и проницательностью, принял в соображение все эти обстоятельства. Но Мален, Талейран и Фуше были связаны между собою особыми узами, и это вынуждало

последнего действовать крайне осторожно; в то же время ему хотелось узнать как можно точнее внутреннее расположение гондревильского замка. Корантен был беззаветно предан Фуше, как господин де Ла Бенардьер — князю Талейрану, как Генц — господину Меттерниху, Дендас — Питту, Дюрок — Наполеону, Шавиньи — кардиналу Ришелье. Корантен являлся не советчиком, а холопом этого министра, тайным Тристаном этого Людовика XI в миниатюре; поэтому Фуше, естественно, оставил его в министерстве полиции, чтобы иметь там своего человека. Ходили слухи, будто он состоит с Фуше в родстве, но в родстве такого рода, о котором говорить не принято, и Фуше щедро вознаграждал его каждый раз, когда пользовался его услугами. Корантен подружился с Перадом, старым выучеником последнего королевского начальника полиции; тем не менее у него были тайны от Перада. Фуше приказал Корантену обследовать гондревильский замок, запечатлеть в памяти его план и разузнать обо всех имеющихся в нем тайниках.

— Нам это может пригодиться,— заметил бывший министр, совсем как Наполеон, приказавший своим генералам внимательно осмотреть поле битвы под Аустерлицем, до которого он намеревался отступать.

Корантену было, кроме того, поручено наблюдать за Маленом, выяснить, насколько он влиятелен в округе, приглядеться к людям, с которыми он поддерживает связь. Фуше не сомневался, что Симезы находятся где-то в этих местах. Ловко выследив этих двух офицеров, любимцев принца Конде, Перад и Корантен могли добыть ценные сведения о разветвлении заговора по сю сторону Рейна. Как бы то ни было, Корантен получил деньги, указания и агентов, с помощью которых можно было бы окружить замок и обшарить всю местность, от Нодемского леса до Парижа. Фуше предписал им величайшую осторожность, а обыск в Сен-Сине разрешил произвести лишь в том случае, если от Малена будут получены неопровержимые данные. Наконец, он поставил Корантена в известность относительно загадочного управляющего, за которым уже три года ведутся наблюдения. Корантен пришел к тому же выводу, что и его начальник: «Мален осведомлен о заговоре! Но почем

знать,— подумал он,— не участвует ли в нем и сам Фуше?»

Корантен, прибывший в Труа раньше Малена, вошел в сношения с начальником местной жандармерии и отобрал себе наиболее смышленых людей, поставив во главе их толкового капитана. Корантен предупредил капитана, что местом сбора назначается гондревильский замок, велел выслать к ночи пикет из двенадцати жандармов и расставить их в четырех разных пунктах сен-синьской долины на достаточном расстоянии друг от друга, чтобы не вызвать лишних толков. Эти четыре пикета должны были образовать вокруг сен-синьского замка квадрат, который надлежало постепенно сжимать. Предоставив Корантену хозяйничать в замке во время своего совещания с Гревеном, Мален тем самым дал ему возможность выполнить часть поручения Фуше. По возвращении из парка государственный советник с такой уверенностью сказал Корантену, что Симезы и д'Отсэры находятся где-то здесь, что агенты отослали капитана, который, к счастью для молодых дворян, проехал через лес по большой дороге; а в это время Мишю спаивал своего соглядатая Виолета. Государственный советник начал с того, что рассказал Пераду и Корантену о засаде, из которой ему удалось ускользнуть. В ответ на это парижане передали ему историю с карабином, и Гревен послал Виолета в охотничий домик, чтобы разузнать, что там происходит. Корантен посоветовал нотариусу увести своего друга, государственного советника, для большей безопасности к себе в Арси и предоставить ему там ночлег. Итак, в то время как Мишю бросился в лес и поспешил в Сен-Синь, Перад с Корантеном выехали из Гондревиля в убогом плетеном кабриолете, запряженном почтовой клячею; кабриолетом правил арсийский вахмистр, один из самых хитрых местных жандармов, рекомендованный начальником жандармерии в Труа.

— Лучший способ их захватить — это предупредить их об этом,— говорил Перад Корантену.— Они будут ошеломлены, сделают попытку уничтожить документы или бежать, а в это время мы и нагрянем. Отряд жандармов постепенно окружит замок, и из этой сети никто не вырвется.

— Лучше всего послать к ним мэра,— посоветовал

вахмистр,— он человек услужливый, зла им не желает, и они поверят ему.

Гулар уже собирался ложиться спать, когда Корантен, приказавший остановить кабриолет в соседней роще, явился к нему и конфиденциально сообщил, что через несколько минут правительственный чиновник прикажет ему, Гулару, оцепить сен-синьский замок, чтобы захватить господ д'Отсэров и Симезов; Корантен добавил, что в случае, если молодым дворянам уже удалось скрыться, необходимо выяснить, ночевали ли они в замке прошлую ночь, ознакомиться с перепиской мадемуазель де Сен-Синь, а возможно, и арестовать как хозяев замка, так и слуг.

— У мадемуазель де Сен-Синь,— добавил Корантен,— видимо, есть влиятельные покровители, потому что мне дано тайное указание предупредить ее об этом посещении и сделать все возможное, чтобы ее спасти, не компрометируя себя. Там, на месте, я уже не буду хозяином положения, ведь я не один. Поэтому скорее бегите в замок.

Появление мэра в столь поздний час тем более удивило игроков, что вид у него был крайне растерянный.

— Где графиня? — спросил он.

— Она ложится спать,— ответила г-жа д'Отсэр.

Мэр недоверчиво прислушался к звукам, доносившимся со второго этажа.

— Что с вами сегодня, Гулар? — спросила его г-жа д'Отсэр.

Гулар был в полном недоумении, видя на лицах присутствующих то детски-простодушное выражение, которое можно встретить у людей любого возраста. При виде этой безмятежности и невинной партии в бостон, прерванной его появлением, он не мог постичь, на чем основаны подозрения парижской полиции. А в эту минуту Лоранса, стоя на коленях, горячо молилась об успехе заговора. Она призывала господа помочь, споспешествовать убийцам Бонапарта и спасти их. Она благоговейно взывала к богу, чтобы он низверг этого рокового человека. Ее прекрасная, девственная и непорочная душа горела фанатизмом, воодушевлявшим таких людей, как Гармодий, Юдифь, Жак Клеман, Анкастрем, Шарлотта Кордэ, Лимоелан. Тем временем Катрина стелила по-

стель, а Готар затворял ставни, и Марте, которая подошла к окнам Лорансы и стала кидать в них камешки, легко было привлечь к себе внимание.

— Барышня, есть новости,— сказал Готар, заметив незнакомку.

— Тише! — прошептала Марта.— Выйдите ко мне, мне надо кое-что вам сказать.

Готар очутился в саду быстрее птички, спорхнувшей с дерева на землю.

— Через несколько минут жандармы оцепят замок,— сказала она Готару.— Скорее оседлай лошадь Барышни,— да потише, не шуми,— и выведи ее через брешь ко рву, между этой башней и конюшнями.

Тут Марта вздрогнула, увидев в двух шагах от себя Лорансу, которая поспешила вслед за Готаром.

— Что случилось? — просто спросила Лоранса; она казалась совсем спокойной.

— Заговор против первого консула раскрыт,— ответила Марта на ухо молодой графине,— мой муж, заботясь о спасении ваших братьев, прислал меня за вами, чтобы вы пришли переговорить с ним.

Лоранса немного отступила и пристально вгляделась в лицо Марты.

— А кто вы? — спросила она.

— Я Марта Мишю.

— Не понимаю, что вам от меня нужно,— холодно ответила мадемуазель де Сен-Синь.

— Перестаньте! Вы их погубите! Пойдемте, во имя Симезов! — прошептала Марта, падая на колени и протягивая к ней руки.— У вас нет никаких бумаг, ничего, что могло бы выдать вас? С холма в лесу мой муж сейчас заметил, как блеснули галуны и ружья... Это жандармы.

Готар поспешил на чердак; оттуда он разглядел вдалеке мундиры и уловил среди глубокого деревенского безмолвия топот лошадей; он опрометью бросился в конюшню и оседлал кобылу молодой хозяйки, а Катрина, по его указанию, мигом обернула ее копыта тряпками.

— Куда же мне ехать? — спросила Лоранса у Марты, взгляд и слова которой поразили ее своей неподдельной искренностью.

— К пролому! — ответила та, увлекая за собою Ло-

рансу.— Мой муж там, это честнейший человек. Теперь вы узнаете, какая цена такому Иуде.

Катрина стремительно вошла в гостиную, схватила барышнин хлыст, перчатки, шляпу, вуаль и вышла. Ее внезапное появление и неожиданные действия были столь красноречивым подтверждением слов мэра, что г-жа д'Отсэр и аббат Гуже переглянулись, и их взгляды выражали одну и ту же страшную мысль: «Прощай, все наше счастье! Лоранса участвует в заговоре, она погубила своих братьев и д'Отсэров».

— Что вы такое говорите? — переспросил д'Отсэр у Гулара.

— Да замок оцеплен, к вам сейчас явятся с обыском. Если ваши сыновья здесь, помогите им спастись... и господам Симезам тоже.

— Мои сыновья здесь? — воскликнула изумленная г-жа д'Отсэр.

— Мы никого не видели,— возразил г-н д'Отсэр.

— Тем лучше,— сказал Гулар.— Но я слишком предан семействам Сен-Синей и Симезов, чтобы относиться спокойно к грозящей им беде. Выслушайте меня внимательно. Если у вас есть какие-нибудь компрометирующие документы...

— Документы? — повторил дворянин.

— Да, если они у вас есть, сожгите их,— продолжал мэр,— а я покуда отвлеку агентов.

Гулару хотелось, чтобы и роялистские овцы были целы и республиканские волки сыты; поэтому он поспешил выйти, и как раз в эту минуту бешено залаяли собаки.

— Теперь вы уже не успеете, они идут,— сказал кюре.— Но надо предупредить графиню. Где она?

— Наверное, Катрина прибежала за ее хлыстом, перчатками и шляпой не для того, чтобы молиться на них,— заметила мадемуазель Гуже.

Гулар попытался на несколько минут задержать двух агентов и пространно стал им рассказывать о полнейшем неведении обитателей сен-синьского замка.

— Вы не знаете этих людей,— сказал Перад, рассмеявшись Гулару в лицо.

И тогда эти два слащаво-зловещих человека вошли в дом в сопровождении вахмистра и еще одного жандар-

ма. При виде их мирные игроки в бостон оледенели от ужаса, они замерли на своих местах, ошеломленные таким вторжением вооруженной силы. С лужайки доносились конский топот и шум, поднятый жандармами, которых было человек десять.

— Здесь недостает только мадемуазель де Сен-Синь,— сказал Корантен.

— Но она, вероятно, спит... она у себя в комнате,— ответил г-н д'Отсэр.

— Пойдемте со мной, сударыни,— сказал Корантен, устремляясь в переднюю, а оттуда — на лестницу; мадемуазель Гуже и г-жа д'Отсэр последовали за ним.— Положитесь на меня,— продолжал Корантен, склонившись к уху старой дамы,— я ваш сторонник. Это я послал к вам мэра. Остерегайтесь моего спутника и доверьтесь мне, я вас всех спасу.

— А о чем идет речь? — спросила мадемуазель Гуже.

— О жизни и смерти. Неужели вы не понимаете? — ответил Корантен.

Госпожа д'Отсэр лишилась чувств. К великому изумлению мадемуазель Гуже и великому разочарованию Корантена, комната Лорансы оказалась пустой. Уверенный, что никто не мог проскользнуть в долину ни из замка, ни из парка, так как все выходы охранялись, Корантен распорядился, чтобы в каждой комнате поставили по жандарму и обыскали дома и конюшни, а сам снова спустился в гостиную, куда в страшном смятении поспешили Дюрие, его жена и вся челядь. Синие глазки Перада зорко наблюдали за лицами собравшихся, сам же он среди всеобщей сумятицы оставался холодным и невозмутимым. Когда Корантен один вернулся в гостиную (мадемуазель Гуже оказывала помощь г-же д'Отсэр), снаружи раздался конский топот и детский плач. Всадники въезжали в маленькую калитку. Вслед за тем в гостиной среди взволнованных домочадцев появился вахмистр; он подталкивал перед собою Готара, у которого были связаны руки, и Катрину; указывая на них агентам, он заявил:

— Вот пойманные. Этот паршивец скакал верхом, он хотел удрать.

— Болван! — шепнул Корантен оторопевшему вах-

мистру.— Зачем же ты не дал ему уехать? Мы бы выследили его и кое-что узнали.

Готар решил прикинуться дурачком и бессмысленно заревел. Катрина держалась так простодушно, у нее был такой невинный вид, что многоопытному сыщику пришлось задуматься. Сравнив друг с другом этих двух подростков, вглядевшись в глуповатого на вид пожилого дворянина, которого он принял за хитреца, и в умного кюре, перебиравшего фишки, в растерянных слуг и в чету Дюрие, старый ученик Ленуара подошел к Корантену и сказал ему на ухо:

— Перед нами вовсе не простачки!

В ответ Корантен показал ему взглядом на ломберный стол, потом добавил:

— Они играли в бостон! Хозяйке дома стелили постель, а она скрылась; мы застигли их врасплох и теперь можем припереть к стене!

Пролом в ограде никогда не делается зря, а всегда имеет определенное назначение. Вот при каких обстоятельствах и ради чего была пробита брешь между конюшнями и башней, которая теперь носит название Барышниной. Едва обосновавшись в Сен-Сине, деловитый д'Отсэр превратил длинный овраг, по которому в замковый ров стекала вода из леса, в дорогу, причем она отделяла друг от друга два больших участка земли, также принадлежавших замку; сделал он это только ради того, чтобы обсадить эту новую дорогу обнаруженной им в питомнике сотней ореховых деревьев. За одиннадцать лет деревья стали довольно пышными и почти совсем скрыли ее, а она и без того была зажата откосами оврага в шесть футов высотой; дорогой этой можно было выйти в недавно купленный лесок, занимавший тридцать арпанов. Когда в замке вновь появились обитатели, они предпочли выходить на проселок через ров, вместо того чтобы идти в обход, так как проселок тянулся вдоль ограды парка, огибая ее. Проходя через брешь, люди невольно расширяли ее с обеих сторон и относились к этому вполне безразлично, ибо в девятнадцатом веке рвы стали совершенно бесполезны, и опекун не раз поговаривал о том, чтобы извлечь из этого рва какую-нибудь пользу. Стена постепенно разрушалась, и осыпа́вшиеся камни, земля и гравий в конце концов почти совсем

завалили ров. Так образовалось своего рода шоссе, которое вода затопляла только во время сильных дождей. Однако, несмотря на осыпи,— а им содействовали все, в том числе и сама графиня,— спуск здесь все же был довольно крут, так что провести лошадь, а тем более заставить ее подняться на проселочную дорогу было нелегко; но лошади в минуты опасности, как видно, понимают мысли своих хозяев.

Пока молодая графиня колебалась и требовала от Марты объяснений, Мишю, следивший с холма за передвижением жандармов, разгадал план, задуманный сыщиками, и, видя, что никто не идет, уже начал отчаиваться в успехе. Один жандармский пикет пробирался вдоль ограды парка, причем люди шли цепью на некотором расстоянии друг от друга, так, чтобы можно было переговариваться и обмениваться взглядами, прислушиваясь вместе с тем к малейшим звукам и наблюдая за ничтожнейшими событиями. Мишю лежал на животе, и, ухом припав к земле, прислушивался и, как индеец, определял по силе звука, сколько еще времени остается в его распоряжении. «Я опоздал,— думал он.— Ну и поплатится же за это Виолет! Долго он не пьянел! Что же теперь делать?» Ему было слышно, как пикет, выехавший из леса на дорогу, пробирается вдоль ограды навстречу другому пикету, который едет по проселку. «Еще минут пять-шесть»,— подумал он. В это мгновение появилась графиня; Мишю схватил ее своей мощной рукой и толкнул на дорогу, окаймленную густой порослью.

— Идите все прямо! Веди ее на то место, где осталась моя лошадь,— сказал он жене.— Да не забывайте, что у жандармов чуткий слух.

Увидев Катрину, которая принесла хлыст, перчатки и шляпу, а главное, увидев кобылу Готара, Мишю, соображавший в беде изумительно быстро, решил разыграть жандармов так же, как он разыграл Виолета. Готару каким-то чудом удалось провести кобылу через ров.

— И копыта обернул тряпками! Вот молодчина! — воскликнул управляющий, обнимая мальчика.

Мишю подвел кобылу к хозяйке и взял перчатки, шляпу, хлыст.

— Ты парень сметливый и меня поймешь! — продолжал он.— Заставь и свою лошадь вскарабкаться сюда,

садись на нее без седла, сделай вид, будто спасаешься от погони, скачи во весь опор через поля по направлению к ферме и замани туда жандармов. Тащи за собою весь пикет, который вон там расположился,— добавил он, поясняя свою мысль жестом и указывая, какой дорогой ехать.

— А ты, дочка, вот что...— обратился он к Катрине.— Сюда едут еще жандармы по дороге из Сен-Синя в Гондревиль; так ты поспеши в другую сторону и отвлеки их от замка. Словом, устройте так, чтобы на дороге в ложбине нам никто не помешал.

Катрина и сметливый мальчишка, которому предстояло проявить в этом деле столько ума и сообразительности, в точности выполнили указанные маневры, и оба патруля были вполне уверены, что гонятся за спасающейся дичью. Обманчивый лунный свет не позволял рассмотреть ни рост, ни одежду, ни число преследуемых, даже не видно было, мужчины это или женщины. За ними гнались в силу ложной аксиомы: «Раз человек убегает, надо его задержать!» Нелепость этой аксиомы в области высшей полицейской деятельности только что была внушительно разъяснена вахмистру Корантеном. Мишю действовал правильно в расчете на инстинкт жандармов и благодаря этому смог добраться до лесу вскоре после того, как Марта привела графиню на условленное место.

— Беги домой,— сказал он Марте.— Парижане, вероятно, охраняют лес; оставаться здесь опасно. А нам во что бы то ни стало надо сохранить свободу действий.

Мишю отвязал свою лошадь и попросил графиню следовать за ним.

— Я дальше не пойду,— сказала Лоранса,— пока вы мне не докажете, что действуете в моих интересах. Ведь, как-никак, вы — Мишю.

— Барышня,— ласково ответил он,— я объясню вам свое поведение в двух словах. Хотя господа де Симезы и не знают этого, но я — хранитель их богатств. Я получил на этот счет указания от их покойного отца и покойной дорогой матушки, моей благодетельницы. Поэтому я и прикидывался ярым якобинцем, чтобы быть полезным моим молодым хозяевам; к сожалению, я начал действовать слишком поздно и потому не мог спасти стариков.—

Здесь голос Мишю дрогнул.— С тех пор как молодые господа уехали, я переправлял им деньги, чтобы они могли жить прилично.

— Через банкирский дом Брейнтмайера в Страсбурге? — спросила она.

— Да, барышня; а этот банк ведет дела с господином Жирелем из Труа, роялистом, который ради спасения своего имущества прикидывался, подобно мне, якобинцем. Та бумажка, которую подобрал ваш арендатор однажды вечером в пригороде Труа, касалась именно этого дела и могла всех нас погубить, и в ту минуту моя жизнь принадлежала уже не мне, а им,— понимаете? Купить Гондревиль я не мог. В моем положении с меня за это сняли бы голову, ибо потребовали бы объяснений — откуда у меня столько золота. Я предпочел выкупить поместье немного погодя. Но негодяй Марион оказался подставным лицом другого негодяя — Малена. И все-таки Гондревиль вернется в руки законных владельцев! Это уж моя забота. Четыре часа тому назад я взял Малена на прицел, вот-вот и был бы ему конец. Ну, а уж если он умрет, так Гондревиль пустят с торгов и вы сможете его купить. В случае моей смерти моя жена передала бы вам письмо с указаниями, как все это сделать. Но этот разбойник сказал своему приятелю Гревену, такому же проходимцу, что господа де Симезы участвуют в заговоре против первого консула, что они скрываются где-то здесь и лучше выдать их и от них отделаться, а тогда уж нечего будет беспокоиться насчет Гондревиля. Когда я увидел двух матерых шпионов, приближавшихся ко мне, я разрядил карабин и, не теряя времени, бросился сюда, предполагая, что вам известно, куда и каким образом можно дать знать об этом молодым господам. Вот и все.

— Вы достойны быть дворянином! — сказала Лоранса, протягивая руку Мишю, который хотел было опуститься на колени, чтобы поцеловать ее. Но Лоранса заметила это движение и, удержав его, сказала: — Не надо, Мишю.— Причем эти слова были произнесены таким тоном и сопровождались таким взглядом, что Мишю почувствовал себя в этот миг столь же счастливым, сколь несчастным он был целых двенадцать лет.

— Вы вознаграждаете меня так, словно я уже сделал все то, что мне еще предстоит сделать,— сказал

он.— Слышите их, рыцарей гильотины? Пойдемте в другое место, там поговорим.

Мишю подъехал к графине справа, так что Лоранса оказалась к нему спиной, и, взяв кобылу под уздцы, проговорил:

— Не беспокойтесь ни о чем, только сидите покрепче, подгоняйте лошадь да берегите лицо от веток.

Потом они целых полчаса неслись во весь опор, кружили, делали петли, возвращались вспять, пересекали собственный след на полянках, чтобы запутать его, пока, наконец, добравшись до места, Мишю не остановился.

— Я уже не понимаю, где нахожусь, хотя лес я знаю не хуже вас,— сказала графиня, озираясь вокруг.

— Мы в самой чаще,— ответил он.— За нами гнались два жандарма, но мы спасены!

Живописной местности, куда управляющий привел Лорансу, суждено было сыграть столь роковую роль в судьбе главных персонажей этой драмы и в судьбе самого Мишю, что историк обязан описать ее. Притом, как мы увидим впоследствии, этот пейзаж стал знаменит и в юридических летописях Империи.

Нодемский лес в стародавние времена принадлежал монастырю Нотр-Дам; монастырь этот был захвачен, ограблен, разрушен и совершенно исчез с лица земли со всеми монахами и имуществом. Лес же, предмет всеобщих вожделений, был присоединен к владениям графов Шампанских, которые со временем заложили его и допустили его продажу с торгов. За шесть истекших столетий природа покрыла развалины монастыря богатым и могучим зеленым покровом и настолько заглушила все следы этой прекрасной обители, что об ее существовании напоминала лишь небольшая возвышенность, поросшая великолепными деревьями и окруженная густым, непроходимым кустарником. Мишю с 1794 года постарался сделать ее еще неприступнее, засаживая все прогалины колючей акацией. У подножия возвышенности образовалось болотце, а это служило доказательством того, что некогда здесь бил ключ, чем, видимо, и объяснялась закладка монастыря именно в этом месте. Только владелец Нодемского леса и мог разобраться в этимологии этого названия, насчитывавшего уже восемь столетий, и он один мог обнаружить, что в самой чаще леса некогда

стоял монастырь. Однажды, из-за возникшей тяжбы, маркизу де Симезу пришлось изучить документы, относящиеся к лесу, и таким образом он случайно узнал об этом давно забытом обстоятельстве; заслышав же первые раскаты революционного грома, маркиз не без тайной мысли, о которой легко догадаться, стал разыскивать место, где раньше стоял монастырь. Мишю, отлично знавший лес, разумеется, помог хозяину в этих поисках, а осведомленность лесничего в этой области позволила ему в конце концов определить местоположение монастыря. Обследовав пять главных лесных дорог, по большей части совсем заглохших, лесничий обнаружил, что все они сходятся у холма и болотца, куда в далеком прошлом, вероятно, стекались паломники из Труа, из Барсюр-Об, из арсийской и сен-синьской долин. Маркиз задумал произвести раскопки, но для этого он мог нанимать только людей из других местностей. Теснимый обстоятельствами, он вынужден был прекратить эти работы, но в голову Мишю запала мысль, что под холмом скрыты либо какие-нибудь сокровища, либо фундамент монастыря. Мишю продолжал эти археологические изыскания; он обнаружил, что в одном месте, между двух деревьев, на уровне болота, там, где спуск с холма особенно крут, под землей простукивается полое пространство. Однажды, в светлую ночь, он вооружился киркой и пришел сюда; вскоре ему удалось откопать ход в подвал и каменную лестницу. Болото, достигавшее в самых глубоких местах трех футов, образовало заводь в виде лопаты, ручка которой как бы выходила из холма, и можно было подумать, что из недр искусственной скалы бьет источник, который тут же теряется, всасываясь в почву огромного леса. У болотца, окруженного деревьями, любящими влагу,— ольхой, ивой, ясенем — сбегалось несколько тропинок; это были остатки прежних дорог и просек, да и те заросли. Вода, на вид стоячая, а в действительности проточная, вся покрыта крессом и растениями с широкими листьями и представляет собой сплошную зеленую скатерть с еле различимыми краями, поросшими тонкой густой травой. Источник находится так далеко от всякого жилья, что ни одно живое существо — разве что лесной зверь — не забредет сюда напиться. Лесники и охотники были убеждены в том, что

под этим болотом ничего не может быть; кроме того, их отпугивала непроходимая трясина у подножия холма; поэтому никто никогда не бывал здесь, не исследовал и не осмотрел этот уголок, относящийся к самой древней части леса; а когда началась вырубка и очередь дошла до этого места, Мишю сделал тут заповедник. К подвалу примыкает сводчатая кладовая, чистая и сухая, целиком сложенная из тесаного камня, вроде так называемых in pace — монастырских темниц. Сухость этого подвала, сохранность лестницы и свода объяснялись тем, что люди, разрушившие монастырь, не тронули источника, а также тем, что верхние воды сдерживались стеной из цементированного кирпича, по-видимому, очень толстой и напоминавшей стены древнеримской кладки. Мишю заложил вход в убежище большими камнями; чтобы никто не узнал о подземелье и не мог до него добраться, лесничий взял за правило непременно всходить на холм и спускаться к подвалу по круче, а не со стороны болотца. Когда беглецы достигли этого места, луна серебрила своим волшебным светом вершины покрывавших холм вековых деревьев, играла в густой чаще, которую пересекали сходившиеся здесь дороги, придавая древесным купам различные формы — они были то круглые, то клинообразные, то состояли из одного дерева, то представляли собою целую рощицу.

Отсюда взор невольно устремлялся в убегающие перспективы, следовал по извилинам тропинки, по величественной лесной просеке, вдоль стен почти черной зелени. Свет, падавший сквозь ветви на перекресток, вдруг зажигал несколько алмазов в спящей, притаившейся воде, среди светлых бликов кресса и кувшинок. Глубокое безмолвие, царившее в этом живописном уголке, нарушалось лишь кваканьем лягушек, а буйные ароматы лесных дебрей внушали мысли о счастливой вольности.

— Действительно ли мы в безопасности? — спросила графиня.

— Да, барышня. Но каждому из нас еще предстоит работа. Привяжите лошадей к деревьям на холме и обмотайте им морды платками и вот этим,— сказал он, протягивая ей свой галстук,— обе наши лошадки — умницы, они поймут, что надо молчать. А потом спуститесь по

той круче, что прямо над водой; смотрите, не зацепитесь амазонкой. Я буду ждать вас внизу.

Пока графиня укрывала лошадей, привязывала их и обертывала им морды, Мишю отвалил камни от входа в подземелье. Графиня, считавшая, что отлично знает свой лес, была крайне изумлена, увидя себя под сводом подвала. Мишю с ловкостью настоящего каменщика вновь заложил вход камнями. Едва он покончил с этим, как в ночной тишине раздался конский топот и голоса жандармов; но это не помешало Мишю спокойно высечь огонь из огнива, зажечь еловую веточку и отвести графиню в тайник, где еще лежал огарок свечи, которым он пользовался при осмотре подземелья. Железную дверь толщиной в несколько линий, однако местами уже проеденную ржавчиной, управляющий починил, и ее можно было запирать на засовы, для которых с обеих сторон были проделаны отверстия. Изнемогая от усталости, графиня села на каменную скамью, над которой еще сохранилось вделанное в стену кольцо.

— Вот у нас и гостиная для приятной беседы,— пошутил Мишю.— Теперь жандармы могут рыскать вокруг сколько угодно; самое худшее, что они могут сделать — это захватить наших лошадей.

— Захватить наших лошадей — значит, погубить моих братьев и господ д'Отсэров,— возразила Лоранса.— Скажите же, что вам известно?

Мишю передал то немногое, что ему удалось подслушать из разговора Малена с Гревеном.

— Они уже на пути в Париж, утром они будут там,— сказала графиня, выслушав его.

— Значит, они погибли! — вскричал Мишю.— Вы же понимаете, что за всеми, кто въезжает и выезжает, будут у заставы тщательно следить. Мален чрезвычайно заинтересован в том, чтобы мои хозяева с головой себя выдали и их можно было бы казнить.

— А я-то ничего не знаю о главном плане! — воскликнула Лоранса.— Как предупредить Жоржа, Ривьера и Моро? Где они? Однако мы должны позаботиться прежде всего о братьях и д'Отсэрах; во что бы то ни стало догоните их.

— Телеграф опередит лучшего скакуна,— возразил Мишю,— а ведь никого из дворян, замешанных в заго-

воре, не станут так выслеживать, как ваших братьев. Если я их догоню,— нужно спрятать их здесь и продержать, пока не кончится вся эта история. Их несчастный отец, видно, действовал по наитию свыше, когда натолкнул меня на это убежище; он предчувствовал, что его сыновья найдут здесь спасение.

— Моя кобыла — из конюшен графа д'Артуа, она от его лучшего английского жеребца, но она уже прошла тридцать шесть лье и падет, не успев домчать вас до цели,— сказала Лоранса.

— У меня тоже хорошая лошадь,— ответил Мишю,— и если вы проехали тридцать шесть лье, то мне предстоит проехать, вероятно, не больше восемнадцати.

— Двадцать три,— поправила она.— Ведь они в пути уже пять часов. Вы их настигнете севернее Ланьи, в Куврэ, откуда они должны выйти на рассвете, переодевшись лодочниками; они рассчитывают въехать в Париж по реке. Вот,— добавила она, снимая с пальца половину распиленного вдоль обручального кольца своей матери,— это единственная вещь, которой они поверят, другую половину я отдала им. Эту ночь они должны провести в лесу, в сторожке, брошенной угольщиками; там их спрячет куврэйский сторож; его сын служит солдатом под их началом. Всего восемь человек. С моими кузенами — господа д'Отсэры и еще четверо.

— Барышня, за солдатами никто гнаться не будет; поэтому мы должны заботиться только о господах де Симезах, а остальные пусть спасаются как хотят. Довольно и того, что мы им крикнем: «Берегись!»

— Оставить д'Отсэров на произвол судьбы? Ни за что на свете! — ответила она.— Спастись или погибнуть они должны только вместе!

— Но ведь это мелкие дворяне,— возразил Мишю.

— Верно; у них нет титула, они просто дворяне, я это знаю; но они в родстве с Сен-Синями и Симезами. Словом, задержите моих братьев и д'Отсэров и обсудите с ними, как лучше всего добраться до этого леса.

— А в лесу жандармы! Слышите? Они совещаются.

— Как бы то ни было, но сегодня вам уже дважды повезло. Ступайте! Приведите их, спрячьте в этом подземелье, тут их никто не найдет! Я ничем не могу вам помочь,— сказала она с отчаянием,— я только привлек-

ла бы внимание врагов. Когда полицейские увидят, насколько я спокойна, им никак не придет в голову, что мои родственники могли вернуться в лес. Значит, весь вопрос в том, как добыть пять хороших лошадей, на которых можно было бы за шесть часов домчаться из Ланьи до нашего леса,— пять лошадей, которым суждено пасть от изнеможения где-нибудь в лесной чаще.

— А деньги? — возразил Мишю, сосредоточенно обдумывая слова молодой графини.

— Сегодня ночью я дала братьям сто червонцев.

— В таком случае я отвечаю за них! — воскликнул Мишю.— Однако, если мы их тут спрячем, вам придется отказаться от удовольствия видеться с ними; моя жена или сын будут приносить им пищу два раза в неделю. Но так как за самого себя я поручиться не могу, на случай беды знайте, барышня,— в основной балке на чердаке моего домика есть отверстие, проделанное сверлом. Отверстие закрыто большой пробкой, а внутри спрятан план одного лесного участка. Деревья, отмеченные на плане красной точкой, в лесу отмечены черным значком на нижней части ствола. Каждое из этих деревьев — указатель. Под третьим старым дубом слева от каждого из этих деревьев, в двух футах от ствола, в прямом направлении, спрятаны жестяные трубки; они зарыты на глубине семи футов; в каждой из них по сто тысяч франков золотом. Эти одиннадцать деревьев,— их только одиннадцать,— все богатство Симезов, раз у них отняли Гондревиль.

— Дворянству понадобится лет сто, чтобы оправиться от нанесенных ему ударов,— медленно проговорила мадемуазель де Сен-Синь.

— А пароль какой-нибудь есть? — спросил Мишю.

— «Франция и Карл» — для солдат, «Лоранса и Людовик» — для господ д'Отсэров и Симезов. Боже мой! Увидеть их вчера в первый раз после одиннадцати лет разлуки, а сегодня узнать, что им грозит смерть, и какая смерть! Мишю,— сказала она с грустью,— будьте в эти пятнадцать часов столь же осторожны, сколь вы были преданны и самоотверженны все эти двенадцать лет. Если с братьями случится несчастье, я этого не перенесу. Нет,— поправилась она,— я не умру, я должна убить Бонапарта.

— Если все погибнет, мы двое останемся жить ради этой цели.

Лоранса взяла грубую руку Мишю и крепко пожала ее, как это принято у англичан. Мишю взглянул на часы: была полночь.

— Надо выйти отсюда во что бы то ни стало,— сказал он.— Горе жандарму, который вздумает преградить мне дорогу! Что касается вас, то я не могу вам приказывать, ваше сиятельство, а все-таки возвращайтесь-ка вы потихоньку в Сен-Синь. Они там, отвлеките их.

Освободив вход от камней, Мишю не услыхал никаких звуков. Он бросился на траву, приложил ухо к земле и быстро вскочил:

— Они на опушке, в направлении Труа,— сказал он.— Здóрово я их одурачу!

Он помог графине выкарабкаться и снова заложил вход камнями. Покончив с этим, Мишю услышал нежный голос Лорансы, которая звала его — прежде чем уехать, ей хотелось убедиться, что он уже на коне. Когда он обменялся со своей молодой госпожой последним взглядом, у этого сурового человека на глазах выступили слезы, у нее же глаза были сухи.

— Он прав: надо их отвлечь! — решила она, лишь только кругом все стихло. И она вскачь помчалась в Сен-Синь.

Госпожа д'Отсэр понимала, что Революция еще не кончилась, и ей было хорошо известно, чтó такое упрощенное судопроизводство того времени; поняв, что ее сыновьям грозит смерть, она скоро справилась с обмороком и вновь обрела силы именно благодаря тому страшному потрясению, которое сначала повергло ее в беспамятство. Подстрекаемая каким-то жестоким любопытством, она сошла в гостиную и увидела здесь картину, действительно достойную кисти жанрового живописца. Кюре по-прежнему сидел за ломберным столиком и машинально перебирал фишки, украдкой поглядывая на Перада и Корантена, которые разговаривали вполголоса, стоя у камина. Не раз проницательный взгляд Корантена встречался с не менее проницательным взглядом кюре; но, подобно двум одинаково сильным противникам, которые, скрестив клинки, опять возвращаются к исходной позиции,— оба сразу же отводили глаза. Старик

д'Отсэр стоял, точно цапля, не сходя с места, рядом с толстым, большим и алчным Гуларом, в той самой позе, какую принял под влиянием ошеломляющих событий. Мэр, хоть и был одет как буржуа, всегда напоминал лакея. Оба растерянно уставились на жандармов, среди которых все еще стоял плачущий Готар; руки его были так крепко скручены, что посинели и отекли. Катрина хранила тот же простоватый и наивный вид и вместе с тем оставалась такой же непроницаемой. Вахмистр, совершивший, по мнению Корантена, большую глупость, задержав этих славных ребят, не знал, уйти ему или оставаться Он стоял в задумчивости посреди гостиной, положив руки на эфес сабли и уставившись на парижан. Ошеломленная чета Дюрие и прочая челядь составляли группу, как бы воплощавшую крайнюю тревогу. Если бы не судорожные всхлипывания Готара, можно было бы расслышать, как пролетает муха.

Когда бледная и обезумевшая от ужаса мать отворила дверь и появилась в гостиной,— ее почти тащила мадемуазель Гуже, у которой глаза покраснели от слез,— все лица обратились к этим двум женщинам. Оба агента ждали с надеждой, а обитатели замка с ужасом, что вслед за ними появится Лоранса. И слуги и хозяева сделали невольный жест, словно заводные куклы, которые благодаря заключенному в них механизму могут моргать глазами или выполнять какое-нибудь одно-единственное движение.

Госпожа д'Отсэр сделала три больших, порывистых шага в сторону Корантена и спросила у него дрожащим, но резким голосом:

— Ради бога скажите, сударь, в чем обвиняются мои сыновья? И неужели вы предполагаете, что они здесь?

Кюре, который при виде старой дамы подумал: «Сейчас она совершит какую-нибудь глупость»,— опустил глаза.

— Моя должность и возложенное на меня поручение не позволяют мне ответить на этот вопрос,— отозвался Корантен учтиво и вместе с тем насмешливо.

Отказ этого франта, прозвучавший особенно беспощадно из-за его приторной любезности, сразил старуху мать; она опустилась в кресло возле аббата Гуже, сложила руки и стала молиться.

— Где вы задержали этого плаксу? — спросил Корантен у вахмистра, указывая на грума Лорансы.

— На дороге, которая ведет к ферме, у ограды парка; мошенник направлялся в лес Клозо.

— А девицу?

— Девицу? Ее поймал Оливье.

— А куда она шла?

— К Гондревилю.

— Значит, они направлялись в разные стороны? — спросил Корантен.

— Да,— ответил жандарм.

— Это ведь слуга и горничная гражданки Сен-Синь? — обратился Корантен к мэру.

— Да,— подтвердил Гулар.

Корантен шепотом обменялся несколькими словами с Перадом, после чего Перад сейчас же вышел, взяв с собою вахмистра.

В эту минуту в гостиную вошел арсийский вахмистр и, подойдя к Корантену, сказал ему на ухо:

— Я отлично знаю замок, я обыскал все службы. Никого нет,— молодчики как сквозь землю провалились. Сейчас мы простукиваем прикладами полы и стены.

Перад вернулся, знаком подозвал Корантена и повел его осматривать брешь у рва, причем обратил его внимание на то, что именно здесь начинается дорога, проложенная в старой канаве.

— Мы разгадали их хитрость,— сказал Перад.

— И я разгадал. Вот слушайте,— отозвался Корантен.— Подлец мальчишка и девушка провели дураков жандармов, чтобы дать дичи возможность улететь.

— Правда выяснится, только когда рассветет,— продолжал Перад.— Дорога эта сырая; я перегородил ее с обоих концов,— поставил двух жандармов; когда будет светло, мы по следам узнаем, какие тут прошли звери.

— А вот и следы копыт,— сказал Корантен.— Пойдем в конюшни.

— Сколько лошадей в замке? — спросил Перад у г-на д'Отсэра и Гулара, вернувшись с Корантеном в гостиную.

— Бросьте, господин мэр, вы же отлично знаете. Ну,

сколько? — вскричал Корантен, видя, что чиновник замялся.

— Да вот... кобыла графини, лошадь Готара и еще лошадь господина д'Отсэра.

— А на конюшне мы видели только одну,— сказал Перад.

— Барышня катается верхом,— сказал Дюрие.

— И часто ваша подопечная катается по ночам? — насмешливо спросил циник у г-на д'Отсэра.

— Очень часто,— простодушно ответил тот.— Господин мэр может подтвердить.

— Она — барышня с причудами, это всем известно,— вставила Катрина.— Перед тем как ложиться спать, она выглянула в окошко и, верно, заметила, что в отдалении блеснули ваши штыки. Когда она выходила, то сказала мне, что хочет узнать, может быть, новая революция начинается.

— Когда она уехала? — спросил Перад.

— Когда увидела ваши ружья.

— А по какой дороге?

— Не знаю.

— А другая лошадь где? — спросил Корантен.

— Жа... а... андарм... мы ее у мменя о... отня... али...— заикаясь, протянул Готар

— Куда же это ты ехал? — спросил один из жандармов.

— Я ехал с ба... барышней на фе... ерму.

Жандарм повернулся к Корантену, ожидая его распоряжений, но в словах мальчика было одновременно столько лжи и столько правды, столько истинного простодушия и вместе с тем хитрости, что парижане переглянулись, как бы напоминая друг другу замечание Перада: «Они вовсе не простачки».

Старый дворянин, видимо, настолько ограничен, что даже соленой шутки не способен понять. Мэр просто дурак. Мать, совсем поглупевшая от наплыва материнских чувств, задавала агентам нелепо-наивные вопросы. Слуги были действительно найдены спящими. Приняв во внимание все эти обстоятельства, а также характеры указанных лиц, Корантен сразу сообразил, что у него один только враг; мадемуазель де Сен-Синь. Как бы ни была ловка полиция, она всегда работает в неблагоприятных

условиях. Ей не только нужно выведать все то, что известно заговорщику, ей приходится еще строить тысячи предположений, прежде чем остановиться на том, которое соответствует истине. Заговорщик день и ночь думает о своей безопасности, в то время как полиция действует лишь в определенное время. Не будь предательства, заговоры были бы самым легким делом. У одного заговорщика больше ума, чем у всей полиции, вместе взятой, несмотря на огромные возможности действовать, которыми она располагает. Перад и Корантен чувствовали, что натолкнулись на некую нравственную преграду, как если бы это была дверь, которую они рассчитывали найти отпертой, а ее пришлось открывать отмычками, причем с другой стороны молча навалились какие-то люди. Сыщики понимали, что план их разгадан и спутан, но кем — неизвестно.

— Я могу поручиться,— зашептал им на ухо арсийский вахмистр,— что если господа Симезы и д'Отсэры и ночевали здесь, то не иначе как в кроватях отца, матери, мадемуазель де Сен-Синь, горничной, слуг, или же всю ночь гуляли в парке, потому что ни малейшего следа их пребывания здесь нет.

— Кто же мог их предупредить? — сказал Корантен Пераду.— Ведь дело это известно только первому консулу, Фуше, министрам, префекту полиции да Малену.

— Мы оставим здесь в округе «наседок»,— шепнул Перад Корантену.

— Превосходная мысль! Ведь Шампань славится курами,— заметил кюре, который при слове «наседка» не мог сдержать улыбки, ибо по одному этому, долетевшему до него слову все понял.

«Право,— подумал Корантен, также отвечая ему улыбкой,— здесь есть только один умный человек, с которым можно найти общий язык; попробую-ка я с ним поговорить».

— Господа,— обратился к агентам мэр, которому все же хотелось доказать свою преданность первому консулу.

— Говорите: «граждане»; Республика еще не отменена,— поправил его Корантен, бросив аббату насмешливый взгляд.

— Граждане,— повторил мэр,— едва я вошел в эту

гостиную и не успел еще рта раскрыть, как сюда вбежала Катрина и схватила хлыст, перчатки и шляпу своей барышни.

У всех, кроме Готара, вырвался невольный ропот отвращения и ужаса. Все присутствующие, исключая жандармов и агентов, обратили на доносчика гневные взоры, словно желая испепелить его.

— Хорошо, гражданин мэр, теперь все понятно,— сказал ему Перад.— Кто-то вовремя предупредил гражданку Сен-Синь,— добавил он, посмотрев на Корантена с притворным недоверием.

— Вахмистр, наденьте-ка на этого парнишку наручники и отведите его в отдельную комнату,— приказал Корантен жандарму.— Девчонку тоже заприте,— добавил он, указывая на Катрину.— А ты наблюдай за обыском, просмотри все документы и переписку,— продолжал он шепотом, наклонясь к Пераду.— Все перерой, ничего не упусти. Господин аббат,— доверительно обратился он к кюре,— мне надо сообщить вам кое-что важное.

И он увел его в сад.

— Послушайте, господин аббат, мне кажется, что вы умнее любого епископа и — тут нас никто не услышит — вы меня поймете; вся моя надежда на вас, только вы в состоянии помочь мне спасти две семьи, которые по собственной глупости вот-вот скатятся в пропасть, откуда нет возврата. Господ де Симезов и д'Отсэров предал какой-то подлый сыщик из числа тех, которых подсылают правительства ко всем заговорщикам, чтобы выведать их цели, планы и соучастников. Не ставьте меня на одну доску с подлецом, который сопровождает меня; он — из полиции. Я же занимаю достойный уважения пост при кабинете консула и посвящен в его намерения. Гибели господ Симезов там не желают; Мален, правда, жаждет, чтобы их расстреляли, но первый консул хотел бы, если они здесь и если у них нет дурных намерений, удержать их на краю пропасти, ибо он любит хороших солдат. Сопровождающий меня агент имеет неограниченные полномочия, я же по виду — ничто; но зато я знаю, где гнездится заговор. Агент действует по указанию Малена, который, несомненно, обещал ему покровительство, хорошее место, а быть может, и деньги, если он ухитрится

разыскать Симезов и схватить их. Первый консул — он поистине великий человек — не поощряет корыстолюбия. Я не хочу знать — здесь или нет эти молодые люди,— сказал он, заметив движение кюре,— но их можно спасти только одним-единственным путем. Вам известен закон от шестого флореаля десятого года; он предусматривает амнистию всем эмигрантам, еще находящимся за границей, при условии, что они вернутся на родину не позднее первого вандемьера одиннадцатого года, то есть к прошлому сентябрю. Но ведь господа де Симезы, как и господа д'Отсэры, занимали командные должности в армии Конде; значит, на них амнистия не распространяется; в законе имеется на этот счет особая оговорка. Следовательно, их пребывание во Франции — преступление, и, при нынешних обстоятельствах, одного этого достаточно, чтобы их сочли соучастниками ужасного заговора. Первый консул понял неудовлетворительность этой оговорки, создающей его правительству непримиримых врагов, он желал бы довести до сведения господ Симезов, что они не подвергнутся никаким преследованиям, если подадут ему просьбу, в которой будет сказано, что они возвращаются во Францию, с намерением подчиниться существующим законам, и обещают принести присягу конституции. Вы сами понимаете, что этот документ должен попасть в руки первого консула до их ареста и быть помечен задним числом; передать его могу я сам. Я не спрашиваю у вас, где молодые люди,— сказал он, заметив, что кюре снова сделал отрицающий жест,— мы, к сожалению, не сомневаемся, что разыщем их; лес оцеплен, парижские заставы, как и граница, находятся под усиленным наблюдением. Слушайте меня внимательно: если эти господа находятся между здешним лесом и Парижем, их непременно схватят; если они в Париже, их там найдут; если они вздумают возвратиться сюда, их задержат. Первый консул любит «бывших» и терпеть не может республиканцев, да это и вполне понятно: если он желает добиться престола, ему надо задушить Свободу. Но это между нами. Итак, подумайте. Я жду до завтра, я на все закрою глаза, но берегитесь агента: этот проклятый провансалец — слуга самого дьявола, он доверенный Фуше, как я — доверенный первого консула.

— Если господа де Симезы здесь,— ответил кюре,— я готов отдать собственную кровь, готов рукой пожертвовать, чтобы их спасти. Но если допустить, что мадемуазель де Сен-Синь посвящена в их тайну, то, клянусь спасением души, она не обмолвилась об этом ни словом и не удостоила меня чести со мной посоветоваться. Теперь я очень рад, что она так свято сохранила их тайну,— если тут действительно есть тайна. Вчера вечером мы по обыкновению до половины одиннадцатого играли в бостон, и все было тихо, как всегда; мы ничего не видели и ничего не слышали. В здешнем захолустье и ребенку не пройти без того, чтобы этого не заметили и не узнали, а за последние две недели тут не появлялось ни одного постороннего человека. Между тем одни только господа де Симезы и д'Отсэры уже составляют целый отряд в четыре человека. Старый господин д'Отсэр и его супруга покорны правительству, и они сделали все, что только было в их силах, чтобы убедить сыновей вернуться под родительский кров; еще третьего дня они писали им об этом. Если бы не ваше появление, ничто не могло бы поколебать во мне самой твердой уверенности, что они находятся в Германии. Между нами будь сказано, из всех обитателей замка одна только молодая графиня не отдает должного выдающимся достоинствам господина первого консула.

«Хитрец!» — подумал Корантен.— Если молодых людей расстреляют — сами на себя пеняйте,— сказал он вслух,— теперь я умываю руки.

Он вывел аббата Гуже на лужайку, ярко освещенную луной, и при этом зловещем предупреждении внезапно взглянул на него. У священника был вид человека, который искренне расстроен, но крайне удивлен всем услышанным и ничего не знает.

— Поймите же, господин аббат,— продолжал Корантен,— что их права на гондревильское поместье делают их вдвое преступнее в глазах кое-кого, и это очень опасно, хоть этот человек и занимает подчиненное положение. Словом, я хочу помочь им и содействовать тому, чтобы они имели дело только с богом, а не с его угодниками.

— Значит, действительно существует заговор? — простодушно удивился кюре.

— Подлый, отвратительный, низкий и до такой степени противный благородному духу нашего народа, что вызовет всеобщее осуждение,— ответил Корантен.

— Ну, так мадемуазель де Сен-Синь не способна на низость! — воскликнул кюре.

— Господин аббат,— возразил Корантен,— знайте: у нас (это опять-таки между нами) есть явные улики ее соучастия, но для правосудия этих улик пока что недостаточно. При нашем появлении она скрылась... А между тем я заблаговременно послал к вам мэра.

— Да, но уж если вы так хотели их спасти, зачем было являться сразу же вслед за мэром? — заметил аббат.

Тут они посмотрели друг на друга, и этим было сказано все: оба принадлежали к числу тех проникновенных анатомов мысли, для которых достаточно легчайшего изменения голоса, взгляда, достаточно одного слова, чтобы разгадать человеческую душу, подобно тому как дикарь чует врагов по каким-то признакам, ускользающим от европейца.

«Я надеялся что-нибудь у него выведать, а только себя выдал»,— подумал Корантен.

«Вот пройдоха»,— подумал кюре.

Когда Корантен и кюре вернулись в гостиную, на старинных церковных часах пробило полночь. Слышно было, как растворяются и захлопываются двери комнат и шкафов. Жандармы потрошили постели. Перад, с присущей сыщикам сообразительностью, залезал всюду и все перерывал. Этот разгром вызывал у преданных слуг, по-прежнему стоявших неподвижно, и ужас и негодование. Г-н д'Отсэр обменивался с женой и мадемуазель Гуже сочувственными взглядами. Все обитатели замка бодрствовали, их побуждало к тому какое-то жуткое любопытство. Перад спустился сверху и вошел в гостиную, держа в руках изящный ларчик из резного сандалового дерева, должно быть, привезенный некогда адмиралом де Симезом из Китая. Ларчик был плоский, размером с книгу in quarto [1].

Перад сделал знак Корантену и отвел его к окну.

— Нашел! — сказал он ему.— Этот Мишю, который предлагал Мариону восемьсот тысяч золотом за Гондре-

---

[1] В четверть листа *(лат.)*.

виль и собирался убить Малена, вероятно, холоп Симезов. Он, видимо, ради одних и тех же корыстных целей и угрожал Мариону и целился в Малена. Мне казалось, что у него могут быть какие-то убеждения, а на самом деле у него на уме было одно: он все пронюхал и, вероятно, явился сюда, чтобы предупредить их.

— Должно быть, Мален беседовал о заговоре со своим другом нотариусом, а Мишю, сидевший в засаде, услышал, что они упомянули имя Симезов,— сказал Корантен, развивая предположения своего коллеги.— Действительно, он не стал стрелять только потому, что надо было предупредить о беде, которая казалась ему страшнее, чем утрата Гондревиля.

— Он сразу разгадал, кто мы,— сказал Перад.— И тогда еще проницательность этого крестьянина показалась мне прямо-таки невероятной.

— Ну, это только доказывает, что он был настороже, вот и все,— возразил Корантен.— А впрочем, старина, не будем самообольщаться: от предательства всегда воняет, а люди простые чуют эту вонь издалека.

— Это только придает нам силы,— сказал провансалец.

— Позовите сюда арсийского вахмистра,— крикнул Корантен одному из жандармов.— Пошлем людей к Мишю,— пояснил он Пераду.

— Там Виолет, наш человек,— сказал провансалец.

— Но мы ушли, не получив от него никаких известий,— возразил Корантен.— Нам следовало бы взять с собою Сабатье, нас двоих мало. Вахмистр,— сказал он, увидев вошедшего жандарма, и остановил его, так что тот оказался между ним и Перадом,— смотрите, не дайте себя околпачить, как только что околпачили вахмистра из Труа. У нас есть основания предполагать, что в дело замешан Мишю; ступайте к нему домой, присмотритесь там ко всему хорошенько и доложите нам.

— Когда мы задержали мальчишку и служанку, один из моих ребят услышал в лесу конский топот, и я послал четырех толковых молодцов вдогонку за неизвестными,— видно, кто-то намеревался там укрыться,— ответил жандарм.

Он вышел, и топот его лошади, донесшийся с мощеной дороги перед домом, вскоре затих.

«Итак, они либо пробираются к Парижу, либо решили вернуться в Германию»,— мысленно рассуждал Корантен. Он сел, вынул из кармана куртки записную книжку, написал карандашом два распоряжения, запечатал их и знаком подозвал одного из жандармов.

— Скачите во весь опор в Труа, разбудите префекта и скажите ему, чтобы телеграф начал работать, как только рассветет.

Жандарм понесся вскачь. Смысл этого распоряжения и намерения Корантена были так очевидны, что сердца всех обитателей замка сжались. Но эта новая тревога явилась как бы лишь дополнением к терзавшим их мукам, ибо присутствующие не сводили глаз с драгоценного ларца. Переговариваясь между собой, агенты в то же время зорко следили за лихорадочными взглядами, которыми обменивались присутствующие. Какая-то ледяная злоба владела бесчувственными сердцами двух стражей, наслаждавшихся всеобщим ужасом. Человек, причастный к полиции, переживает все волнения охотника; но один напрягает свои телесные и умственные силы для того, чтобы убить зайца, куропатку или косулю, другой же делает это для того, чтобы спасти государство или монарха, чтобы получить щедрую награду. Следовательно, охота на человека настолько же превосходит своей сложностью и заманчивостью охоту на зверя, насколько человек выше животного. Кроме того, сыщику необходимо поднять свою роль до уровня тех великих и важных интересов, которым он служит. Поэтому легко понять, даже и не будучи причастным к его ремеслу, что жандарму приходится вкладывать в это дело такую же страстность, что и охотнику, преследующему дичь. Итак, чем больше приближались эти два человека к истине, тем больше в них разгорался пыл. Однако их поведение, их лица оставались все такими же спокойными и холодными, а их подозрения, мысли, намерения — все такими же непроницаемыми. Но всякий, кто наблюдал бы, как проявляется особый нюх у этих двух ищеек, пустившихся по следам неведомых, скрытых от них фактов, всякий, кто понял бы чисто собачье проворство, которое помогало им находить истину путем мгновенной оценки тех или иных возможностей, — тот признал бы, что тут есть от чего содрогнуться. Как и почему эти столь одаренные лю-

ди пали столь низко, когда они могли бы подняться так высоко? Какой изъян, какой порок, какая страсть так унизили их? Неужели человек рождается полицейским так же, как он рождается мыслителем, писателем, государственным деятелем, художником, полководцем,— с тем, чтобы всю жизнь шпионить, как те всю жизнь думают, пишут, законодательствуют, рисуют или сражаются? В сердцах обитателей замка жило только одно-единственное желание: ах, если бы громы небесные поразили этих негодяев! Все жаждали возмездия. И не будь здесь жандармов, эти люди взбунтовались бы.

— Нет ли у кого-нибудь ключа от шкатулки? — нагло обратился Перад к присутствующим; казалось, он вопрошает их в такой же мере голосом, как и движением огромного багрового носа.

Тут провансалец не без тревоги заметил, что в гостиной не осталось ни одного жандарма, только он да Корантен. Корантен вытащил из кармана маленький кинжальчик и стал всовывать его в щель ларчика. В ту же минуту с проселка, а потом и с мощеной дороги, пересекавшей лужайку, донесся зловещий топот отчаянно скачущей лошади. Но еще больший ужас охватил всех, когда они услышали ее падение и ее предсмертный хрип,— она свалилась, как подкошенная, возле средней башни,— и словно гром поразил всех присутствующих, когда до них донесся шелест амазонки и вслед за этим в комнате появилась Лоранса. Слуги поспешно расступились, давая ей дорогу. Несмотря на стремительность скачки, она, видимо, глубоко страдала от мысли, что заговор раскрыт: все ее надежды рушились! Она неслась вскачь, поглощенная мыслями об этих рухнувших надеждах, думая о том, что теперь придется покориться консульской власти. И если бы не опасность, нависшая над четырьмя молодыми людьми и послужившая тем лекарством, при помощи которого она преодолела усталость и отчаяние,— она упала бы тут же, сраженная сном. Лоранса почти загнала лошадь, спеша встать между своими братьями и смертью. Когда присутствующие увидели эту героическую девушку, бледную, осунувшуюся, со сбившейся набок вуалью, с хлыстом в руке, остановившуюся на пороге гостиной, откуда она пылающим взглядом окинула всю эту сцену и сразу проникла в ее смысл, каждому стало

ясно благодаря неуловимому выражению, скользнувшему по хитрому и злому лицу Корантена, что теперь лицом к лицу сошлись два настоящих противника. Предстоял страшный поединок. Увидев в руках Корантена шкатулку, графиня взмахнула хлыстом и так стремительно кинулась к сыщику, с такой силой ударила его по рукам, что шкатулка упала на пол; Лоранса схватила ее, бросила на пылающие угольях и в угрожающей позе встала перед камином, прежде чем агенты успели прийти в себя от изумления. Глаза Лорансы горели презрением, на бледном челе и губах блуждала пренебрежительная усмешка, и в этом было для агентов что-то еще более оскорбительное, чем тот властный жест, каким она расправилась с Корантеном, словно с какой-то ядовитой гадиной. В добродушном г-не д'Отсэре вдруг пробудился рыцарь, кровь бросилась ему в лицо, и он пожалел, что при нем нет шпаги. Слуги сначала затрепетали было от радости. Отмщение, которого они жаждали, уже постигло одного из негодяев. Но их радость сразу же вытеснило жестокое опасение: сверху все еще доносились шаги жандармов, шаривших по чердакам. «Сыщик» — энергическое слово, в котором смешиваются все оттенки, отличающие друг от друга служащих полиции, ибо народ ни за что не хочет вносить в свою речь точные названия для всех, кто причастен к этой кухне, необходимой правительствам; сыщик великолепен и необычен тем, что никогда не выходит из себя: он обладает христианским смирением пастыря, он привык встречать презрение и сам отвечает презрением; оно преграда для толпы глупцов, которые не понимают его; об его медный лоб разбиваются любые оскорбления, он идет к намеченной цели как некий зверь, панцирь которого можно только пушкой пробить; зато если сыщика ранят, он, тоже как зверь, приходит в ярость именно потому, что считал свой панцирь непроницаемым. Удар хлыстом был для Корантена,— уж не говоря о боли,— именно тем пушечным выстрелом, который сокрушил его панцирь. Этот жест благородной и гордой девушки, полный такого омерзения, унизил сыщика не только в глазах немногочисленных обитателей замка, но, главное, в его собственных. Провансалец Перад бросился к камину; Лоранса ударила его ногой, но он схватил ее ногу, приподнял и тем заста-

вил девушку из стыдливости опуститься в кресло, где она в тот вечер дремала. Это был трагикомический эпизод среди царившего ужаса — контраст, нередкий в человеческой жизни. Желая во что бы то ни стало завладеть горящей шкатулкой, Перад обжег себе руки, но шкатулку достал, поставил на пол и присел на нее. Все эти маленькие события произошли мгновенно, причем не было произнесено ни единого слова. Корантен, придя в себя от боли, вызванной ударом, схватил мадемуазель де Сен-Синь за руки, чтобы удержать ее на месте.

— Не принуждайте меня применить к вам силу, *прелестная гражданка*,— сказал он с оскорбительной любезностью.

Поступок Перада привел к тому, что шкатулка перестала тлеть, так как приток воздуха прекратился.

— Эй, люди! Сюда! — крикнул он, не меняя своей странной позы.

— Вы обещаете вести себя паинькой? — дерзко спросил Корантен, обращаясь к Лорансе и поднимая с полу свой кинжал, причем у него хватило такта не угрожать им.

— Тайны, заключенные в этой шкатулке, не имеют никакого отношения к правительству,— ответила она с какой-то грустью в голосе и глазах.— Когда вы прочтете лежащие там письма, вам, несмотря на всю вашу низость, станет стыдно, что вы их прочли. Впрочем, разве у вас еще есть стыд? — добавила она, помолчав.

Кюре бросил Лорансе красноречивый взгляд, как бы говоря: «Ради бога успокойтесь!»

Перад встал. Дно шкатулки, прожженное углями, почти все сгорело и оставило на ковре бурый отпечаток. Крышка шкатулки обуглилась, стенки треснули. Этот шутовской Сцевола, принесший в жертву богу полиции — Страху — свои абрикосовые панталоны, раскрыл боковые стенки ларчика, словно книгу, и на сукно ломберного столика выпали три письма и две пряди волос. Он уже намеревался с улыбочкой взглянуть на Корантена, как заметил, что обе пряди седые, но разных оттенков. Корантен отпустил мадемуазель де Сен-Синь и подошел, чтобы прочесть письмо, из которого выскользнула прядь волос.

Лоранса тоже встала и, приблизившись к сыщикам, сказала:

— Что ж, читайте вслух, это послужит вам наказанием.

Но так как они начали читать про себя, Лоранса сама прочла вслух следующее письмо:

«Любезная Лоранса,

Мы с мужем узнали о том, как благородно вы вели себя в горестный день нашего ареста. Мы знаем, что вы любите наших бесценных близнецов так же горячо, как и мы,— и, как мы, любите обоих одинаково; поэтому именно вам вверяем мы наш дар, пусть это будет для них дорогим и печальным воспоминанием о нас. Сейчас господин палач остриг нам волосы, потому что через несколько минут нас казнят, но он обещал передать вам два единственных предмета, которые мы можем оставить на память нашим бесконечно любимым сиротам. Сберегите же то малое, что останется от нас, чтобы передать им, когда настанут лучшие времена. Посылаем с этими прядями наш последний поцелуй и родительское благословение. Последняя наша мысль будет обращена прежде всего к нашим сыновьям, затем к вам и, наконец, к господу богу. Любите их.

Берта де Сен-Синь
Жан де Симез».

При чтении этих строк у всех на глаза навернулись слезы.

Лоранса бросила на сыщиков уничтожающий взгляд и твердым голосом сказала:

— Вы безжалостней, чем *господин палач!*

Корантен спокойно вложил волосы в письмо, а письмо оставил на столе, прижав его корзиночкой с фишками, чтобы оно не улетело. Среди всеобщего смятения эта невозмутимость казалась чудовищной. Перад развернул два других письма.

— А что касается этих,— продолжала Лоранса,— они почти одинаковы. Вы сейчас слышали завещание, а это его исполнение. Отныне у меня на сердце уже не будет тайн, вот и все.

«1794 год. Андернах, перед сражением.

Дорогая моя Лоранса, я люблю вас навеки, и мне хочется, чтобы вы знали об этом; но в случае, если мне

суждено умереть, да будет вам известно, что мой брат Поль-Мари любит вас не меньше, чем я. Единственным моим утешением перед смертью будет сознание, что со временем мой брат может стать вашим мужем и что я не буду терзаться ревностью, как это случилось бы, если бы вы предпочли его, пока мы оба живы. Впрочем, такое предпочтение было бы вполне естественно, ибо он, наверное, достойнее меня,— и т. д.

Мари-Поль»

— А вот и другое,— продолжала она, зардевшись прелестным румянцем.

«Андернах, перед сражением.

Добрая моя Лоранса, мне по обыкновению что-то взгрустнулось. А у Мари-Поля такой жизнерадостный характер, что он, конечно, должен нравиться вам гораздо больше, чем я. Настанет день, когда вам придется отдать одному из нас предпочтение, ну так что ж, хотя я и горячо люблю вас, все же...»

— Вы переписывались с эмигрантами! — сказал Перад, прерывая Лорансу, и посмотрел письма на свет, чтобы проверить, не написано ли там что-нибудь между строк симпатическими чернилами.

— Да,— ответила Лоранса, складывая драгоценные, слегка пожелтевшие листки.— Но по какому праву врываетесь вы в мой дом, посягаете на мою личную свободу и на святость домашнего очага?

— А, вот оно что! — молвил Перад.— По какому праву? Придется вам показать его, очаровательная аристократка,— продолжал он, вытаскивая из кармана ордер, выданный министром юстиции и скрепленный министром внутренних дел.— Это, гражданка, взбрело в голову самим министрам...

— А мы могли бы спросить у вас,— сказал ей Корантен шепотом,— по какому праву вы даете у себя убежище убийцам первого консула? Вы хлестнули меня по рукам, и это могло бы дать мне основание приложить руку к тому, чтобы ваших братцев отправили на тот свет,— а я ведь явился с намерением спасти их.

По движению губ наглого сыщика и по взгляду, брошенному на него Лорансой, кюре догадался о том, что́

говорит этот непризнанный великий артист, и сделал Лорансе знак не доверять ему, причем никто, кроме Гулара, этого знака не заметил. Перад постукивал по крышке шкатулки, проверяя, не состоит ли она из полых дощечек.

— Ах, боже мой, да не ломайте вы ее! Вот смотрите,— сказала девушка Пераду, выхватив у него крышку.

Она взяла булавку, нажала на головку одной из фигур, вырезанных на крышке, пружинка раздвинула дощечки, и в одной из них, с углублением, оказались две миниатюры на слоновой кости, сделанные в Германии и изображавшие господ де Симезов в форме офицеров армии Конде. Корантен, находившийся лицом к лицу с противником, которого он имел основание ненавидеть всей душой, отозвал Перада в сторону и стал с ним вполголоса совещаться.

— И вы хотели это сжечь! — сказал Лорансе аббат Гуже, указывая взглядом на письмо маркизы и на пряди волос.

Вместо ответа девушка многозначительно пожала плечами. Кюре понял, что она готова была бы пожертвовать всем, лишь бы отвлечь сыщиков и выиграть время,— и он поднял взор к небу, выражая этим свое восхищение.

— Где это поймали Готара? Кажется, он плачет? — спросила она громко, чтобы ее слышали.

— Не знаю,— ответил кюре.

— Он съездил на ферму?

— Да, ферма! — сказал Перад Корантену.— Пошлите туда людей.

— Незачем,— возразил Корантен.— Эта девушка не доверила бы спасение своих братьев простому фермеру. Она дурачит нас. Делайте, как я вам говорю. Мы уже совершили непростительную ошибку, явившись сюда; так вернемся по крайней мере хоть с какими-нибудь сведениями.

Корантен перешел к камину и поднял длинные заостренные фалды сюртука, чтобы погреться; он принял вид, тон и манеры человека, находящегося в гостях.

— Сударыни, вы можете ложиться спать, и ваши люди тоже. Господин мэр, ваши услуги теперь излишни. Строгость полученных нами предписаний не позволяет нам действовать иначе, чем мы действовали; нам остает-

ся только обследовать все стены,— а они, кажется, довольно толстые,— и тогда мы уедем.

Мэр раскланялся с присутствующими и вышел. Ни кюре, ни мадемуазель Гуже не тронулись с места. Слуги так боялись за судьбу своей молодой хозяйки, что не хотели оставлять ее. Г-жа д'Отсэр, с самого появления Лорансы следившая за ней с напряженной тревогой матери, доведенной до отчаяния, теперь встала, взяла Лорансу за руку, отошла с ней в угол и шепотом спросила:

— Вы виделись с ними?

— Неужели я допустила бы, чтобы ваши сыновья ночевали под нашим кровом, а вы об этом не знали бы? — отозвалась Лоранса.— Дюрие,— сказала она,— посмотрите, нельзя ли спасти мою бедную Стеллу, она еще дышит.

— Она проскакала порядочное расстояние,— вставил Корантен.

— Пятнадцать лье в три часа,— ответила Лоранса, обращаясь к кюре, который с изумлением и восторгом смотрел на нее.— Я выехала в половине десятого, а вернулась во втором.

Она взглянула на часы, был третий час.

— Итак,— продолжал Корантен,— вы не отрицаете, что ездили за пятнадцать лье?

— Нет, не отрицаю,— ответила она.— Я признаю, что мои братья, господа де Симезы, по простодушию своему намеревались ходатайствовать, чтобы амнистию распространили и на них, и возвращались в Сен-Синь. Поэтому, когда я узнала, что какой-то Мален намерен приплести их к некоему заговору, я поехала им навстречу, чтобы предупредить об этом и посоветовать вернуться в Германию,— они окажутся там еще прежде, чем телеграф успеет передать приказ, чтобы их задержали на границе. Если я совершила этим преступление, пусть меня накажут.

Ответ Лорансы, тщательно ею обдуманный и правдоподобный во всех мелочах, пошатнул уверенность Корантена, за которым Лоранса украдкой наблюдала. В эту столь решительную минуту, когда все сердца были как бы прикованы к этим двум лицам, когда все взоры переходили от Лорансы к Корантену и от Корантена к Лорансе,— со стороны леса донесся топот лошади, скакавшей

галопом по дороге, а затем по мощеной аллее, которая вела от ворот к дому. На всех лицах отразилась мучительная тревога.

Вошел Перад; он весь сиял от радости; подойдя к своему сотоварищу, он сказал ему нарочито громко, чтобы услышала графиня:

— Ну, Мишю у нас в руках.

Лоранса, разрумянившаяся было от волнений, усталости и напряжения всех умственных сил, вдруг вновь побледнела и, сраженная этим известием, почти без чувств опустилась в кресло. Жена Дюрие, мадемуазель Гуже и г-жа д'Отсэр бросились к графине: ей не хватало воздуха. Лоранса жестом попросила, чтобы перерезали шнуровку ее амазонки.

— Попалась! Значит, они на пути в Париж! — сказал Корантен Пераду.— Надо изменить распоряжения.

И они вышли, оставив жандарма у дверей гостиной. Своей дьявольской изворотливостью эти два сыщика в поединке с Лорансой одержали отвратительную победу: они поймали девушку в капкан с помощью одной из их обычных уловок.

В шесть часов утра, на рассвете, сыщики явились снова. Осмотрев дорогу в канаве, они убедились в том, что по ней прошли лошади, которые направлялись в сторону леса. Теперь они ждали донесений от жандармского капитана, которому было поручено произвести разведку местности. Они оставили оцепленный замок под наблюдением вахмистра и отправились в сен-синьский трактир позавтракать, предварительно распорядившись выпустить Готара, который на все вопросы неизменно отвечал потоками слез, и Катрину — все такую же молчаливую и оцепеневшую. Девушка и паренек явились в гостиную и поцеловали руку Лорансе, без сил лежавшей в кресле. Дюрие доложил, что Стелла выживет, но за нею необходим тщательный уход.

Мэр, встревоженный и снедаемый любопытством, повстречал Перада и Корантена в деревне. Он не мог допустить, чтобы такие важные чиновники завтракали в каком-то жалком трактирчике, и пригласил их к себе. До монастыря было четверть лье. По дороге Перад заметил, что от арсийского вахмистра нет вестей ни о Мишю, ни о Виолете.

— Мы имеем дело с людьми знатными, они сильнее нас,— сказал Корантен.— Я уверен, что и священник играет во всем этом немалую роль.

В ту минуту, когда г-жа Гулар ввела чиновников в обширную столовую без камина, появился жандармский поручик, и вид у него был довольно растерянный.

— Сейчас нам в лесу попалась лошадь арсийского вахмистра, без хозяина,— сказал он Пераду.

— Поручик, бегите в дом Мишю; разузнайте, что там происходит! — вскричал Корантен.— Видно, вахмистра убили.

Это известие отравило весь завтрак. Парижане проглотили кушанья наскоро, как охотники на привале, и поспешили в замок в своем плетеном кабриолете, запряженном почтовой лошадью, чтобы иметь возможность сейчас же оказаться в любом месте, где потребуется их присутствие. Когда эти два человека опять появились в гостиной, куда они внесли такое смятение, ужас, скорбь и жесточайшую тревогу, они застали Лорансу, наконец переодевшуюся в домашнее платье, дворянина с женой, аббата Гуже и его сестру,— все сидели у камина, с виду спокойные.

«Если бы они задержали Мишю, его привели бы сюда,— рассуждала про себя Лоранса.— Как жаль, что я не совладала с собою и подтвердила некоторые подозрения этих подлецов; но все это еще можно исправить».

— Долго ли еще нас будут держать в заключении? — спросила она у агентов насмешливым и независимым тоном.

«Откуда она может знать, что мы подозреваем Мишю? Ведь никто посторонний не входил в замок. Она *измывается* над нами»,— взглядом сказали друг другу сыщики.

— Мы недолго будем стеснять вас,— ответил Корантен,— часа через три мы принесем вам свои извинения, что нарушили ваш покой.

Никто ему не ответил. Это презрительное молчание еще больше разожгло затаенное бешенство Корантена; Лоранса и кюре — единственные два человека в этом мирке, обладавшие умом и проницательностью,— вполне разобрались в Корантене. Готар и Катрина пододвинули к камину столик, накрытый для завтрака, за который се-

ли и кюре с сестрой. Ни господа, ни слуги не обращали ни малейшего внимания на сыщиков, которые прогуливались по саду, по двору, по дороге и время от времени заходили в гостиную.

В половине третьего вернулся поручик.

— Я нашел бригадира — он лежал на дороге, которая ведет от так называемой сен-синьской сторожки к белашской ферме,— доложил он Корантену.— Никаких ран у него нет, только голова сильно расшиблена, вероятно, при падении. Он говорит, что его так быстро сорвало с коня и так сильно отбросило назад, что он даже не понимает, как это произошло. Ноги его выскочили из стремян, а иначе бы конец, потому что лошадь в испуге поволокла бы его полями. Мы его поручили заботам Мишю и Виолета...

— Как? Мишю у себя дома? — спросил Корантен, уставившись на Лорансу.

Графиня лукаво улыбалась одним глазком, как женщина, взявшая реванш.

— Я застал его с Виолетом, они заканчивают какой-то торг, который начался еще вчера вечером,— продолжал поручик.— Оба, как мне показалось, под хмельком; да и удивляться нечему — они пили всю ночь напролет и все еще не сговорились.

— Это вам Виолет сказал? — воскликнул Корантен.

— Да,— ответил поручик.

— Ах, все надо бы делать самому!—воскликнул Перад, глядя на Корантена, который не меньше самого Перада сомневался в толковости поручика.

Вместо ответа молодой человек утвердительно кивнул старику.

— В котором часу вы приехали к Мишю? — спросил Корантен, заметив, что мадемуазель де Сен-Синь посмотрела на часы, стоявшие на камине.

— Около двух,— отозвался поручик.

Лоранса окинула быстрым взглядом г-на д'Отсэра, его жену и аббата Гуже с сестрой, и всем им показалось, будто перед ними отверзлись небеса: взор Лорансы светился радостью и торжеством, щеки порозовели, на глазах выступили слезы. Невозмутимая перед лицом любых несчастий, эта девушка могла заплакать только от радости. В это мгновение она казалась каким-то неземным

существом, особенно аббату, ибо он с тайным огорчением наблюдал ее мужественный характер, теперь же в ней открылась бесконечно-нежная женственность. Но эта чувствительность таилась в Лорансе как сокровище, скрытое в безмерной глубине, под гранитной глыбой. В это время вошел жандарм и спросил, можно ли впустить маленького Мишю, которого отец послал что-то передать господам из Парижа. Корантен кивнул головой. Яблочко от яблоньки недалеко падает: смышленый Франсуа Мишю стоял во дворе и несколько минут, на глазах у жандарма, болтал с Готаром, которого к тому времени уже выпустили на свободу. Исполняя отцовское поручение, Франсуа, незаметно для жандарма, что-то сунул Готару в руку. Готар скользнул за спиной Франсуа, добрался до мадемуазель де Сен-Синь и с невинным видом вручил ей обе половинки обручального кольца; Лоранса прильнула к ним горячим поцелуем, так как поняла, что, возвращая кольцо, Мишю тем самым дает ей знать, что четверо молодых дворян находятся в безопасности.

— Папенька спрашивает, куда девать жандарма; ему неможется.

— А что с ним? — спросил Перад.

— Голову, говорит, ломит. Он здорово грохнулся наземь, что ни говори. Чудное дело — ведь жандармы так ловко верхом ездят. Споткнулся, видно. У него на башке здоровенная дыра — прямо с кулак. Верно, угодил, бедняга, на камень. Хоть он и жандарм, а мается,— прямо жалость смотреть.

Жандармский капитан из Труа въехал во двор, спешился и махнул рукою Корантену, который, узнав капитана, бросился к окну и распахнул его, чтобы не терять ни минуты.

— Что нового?

— Нас провели как олухов. В лесу на большой дороге мы нашли пять лошадей, взмокших от пота, загнанных до смерти, и я приказал сторожить их, чтобы выяснить, откуда они и у кого куплены. Лес оцеплен, никто из него не ускользнет.

— В котором часу, по-вашему, эти люди въехали в лес?

— В половине первого пополудни.

— Чтоб ни один заяц не проскочил! — шепнул ему Корантен.— Я оставляю вам здесь Перада, а сам пойду навещу беднягу вахмистра.— Оставайся у мэра, я пришлю толкового парня, чтобы тебя сменить,— сказал он на ухо провансальцу.— Нам придется привлечь себе на помощь местных жителей,— присмотрись к ним получше.

Он обернулся к присутствующим и сказал с угрозой:

— До скорого свиданья!

Никто не ответил агентам на их поклон, и они удалились.

— А что скажет Фуше насчет обыска, который ничего не дал? — воскликнул Перад, подсадив Корантена в плетеный кабриолет.

— Ну, еще не все кончено,— ответил ему на ухо Корантен,— дворяне, вероятно, в лесу.— Он указал на Лорансу, которая наблюдала за ними из большого окна гостиной.— Я уже расправился с одной, почище этой; та тоже довела меня до белого каления. Если барышня мне еще подвернется, я с ней расплачусь за хлыст!

— То была девка, а эта занимает совсем иное положение,— возразил Перад.

— А мне что? По-моему, что ни женщина — то баба,— ответил Корантен, сделав жандарму знак, чтобы он подхлестнул лошадь.

Через десять минут в сен-синьском замке не оставалось уже ни одного постороннего человека.

— Как же удалось отделаться от вахмистра? — спросила Лоранса у Франсуа Мишю. Она усадила его за стол и приказала накормить.

— Папа и мама сказали мне, что дело идет о жизни и смерти, и никого к нам в дом пускать не велели. А я услышал конский топот в лесу и понял, что это собаки-жандармы,— я и решил ни за что на свете не пускать их к нам, взял крепкие веревки с чердака и привязал их к деревьям, в самом конце двух дорог, которые ведут к нашему дому. Потом натянул эту веревку так, чтобы она приходилась вровень с грудью всадника, а другой конец прикрутил к дереву напротив, по той дороге, где послышался топот. Вот и перегородил дорогу! Все вышло, как я задумал. Луна спряталась, и мой приятель вахмистр грохнулся наземь, но до смерти не убился. Из-

вестное дело, жандармы — люди крепкие. Ну, я сделал, что мог.

— Ты спас нас! — сказала Лоранса; она поцеловала мальчика и проводила его до ворот. Видя, что никого поблизости нет, она шепотом спросила его:

— А съестные припасы у них есть?

— Я только что отнес туда каравай хлеба в двенадцать фунтов и четыре бутылки вина. С недельку продержатся.

Вернувшись в гостиную, девушка увидела, что взоры г-на д'Отсэра, его жены, мадемуазель Гуже и аббата обращены к ней с немым вопросом, в их взглядах был восторг и тревога.

— Значит, вы опять с ними виделись? — воскликнула г-жа д'Отсэр.

Графиня улыбнулась, приложив палец к губам, и ушла к себе наверх, чтобы лечь спать; после одержанной победы она почувствовала полное изнеможение.

От Сен-Синя до флигеля Мишю ближе всего по дороге, ведущей мимо фермы «Белаш» прямо к лужайке, где Мишю накануне впервые увидел сыщиков. Поэтому жандарм, провожавший Корантена, вез его именно этой дорогой, ею ехал и арсийский вахмистр. По пути агент старался представить себе, каким образом вахмистр мог быть выбит из седла. Он бранил себя за то, что с таким важным поручением послал только одного человека, и вывел из этого промаха некое непреложное правило, чтобы включить его в устав полицейской службы, который составлял для собственного употребления.

«Раз им удалось отделаться от жандарма, они, вероятно, отделались и от Виолета,— думал он.— Пять павших лошадей, как видно,— лошади заговорщиков; они доставили в лес из окрестностей Парижа четырех дворян и Мишю».

— У Мишю есть лошадь? — спросил он арсийского жандарма.

— Еще бы, да притом знатная лошадка,— ответил тот,— это охотничья лошадь из конюшен бывшего маркиза де Симеза. Хоть ей уж пятнадцать годков, она лучше молодой; Мишю гоняет на ней по двадцать миль, а шерсть у нее все равно сухая, как моя шляпа. Зато уж он и холит ее! И продать ни за какие деньги не соглашается.

— А какой она масти?

— Темно-караковая, с белыми бабками, сухая, жилистая, словно арабский жеребец.

— А ты арабских видел?

— Я только год как вернулся из Египта и ездил там на мамелюкских лошадях. В кавалерии срок службы — одиннадцать лет: я был на Рейне в армии генерала Стенжеля, оттуда попал в Италию, а потом с первым консулом — в Египет. Скоро меня произведут в вахмистры.

— Пока я буду во флигеле у Мишю, сходи на конюшню, и, раз ты одиннадцать лет имеешь дело с лошадьми, тебе легко распознать, была ли лошадь недавно под седлом.

— Смотрите-ка, вот где свалился наш бригадир! — воскликнул жандарм, указывая на то место, где дорога выходит на лужайку.

— Скажи капитану, чтобы заехал за мной сюда, к Мишю; мы вместе поедем в Труа.

Корантен слез с лошади и несколько минут изучал местность. Он осмотрел два вяза, росшие друг против друга, один у самой ограды парка, другой на лужайке, которую пересекает проселок; потом он увидел то, чего никто не заметил, а именно: форменную пуговицу, лежавшую в дорожной пыли; он подобрал ее. Войдя во флигель, он застал Виолета и Мишю сидящими за столом на кухне; они все еще препирались. Виолет встал, поклонился Корантену и предложил ему выпить.

— Благодарю вас; я хотел бы повидать вахмистра,— ответил молодой человек, который понял с первого взгляда, что Виолет пьян уже полсуток.

— Вахмистр наверху, при нем моя жена,— сказал Мишю.

— Ну, вахмистр, как вы себя чувствуете? — осведомился Корантен, взбежав по лестнице и увидев жандарма, лежавшего с обвязанной головой на кровати г-жи Мишю.

Его шапка, сабля и снаряжение были сложены на стуле. Марта, послушная женской доброте и к тому же не знавшая о проделке сына, вместе с матерью ухаживала за больным.

— Мы ждем доктора из Арси, господина Варле,— сказала г-жа Мишю.— За ним поехал Гоше.

— Оставьте нас на минутку,— сказал Корантен, который был изумлен этой картиной, говорившей о полной непричастности обеих женщин к происшествию.

— Куда вас ударило? — спросил он, разглядывая мундир бригадира.

— В грудь,— ответил тот.

— Посмотрим-ка ваши ремни,— сказал Корантен.

Недавний закон, предусматривавший малейшие детали мундиров так называемой национальной жандармерии, присвоил ей желтый пояс с белой полоской по краям и бляху, довольно похожую на бляху теперешних полевых сторожей, со странной подписью: *уважение к личности и к собственности*! Бригадир налетел на протянутую через дорогу веревку, и на ремне, конечно, остался отчетливый след. Корантен взял мундир и осмотрел то место, где недоставало пуговицы, найденной им на дороге.

— В котором часу вас подобрали? — спросил Корантен.

— Да на рассвете.

— Вас сейчас же перенесли сюда? — продолжал Корантен, заметив, что постель не открыта.

— Да.

— А кто вас переносил?

— Женщины и парнишка Мишю; он меня и нашел, я был без памяти.

«Так, значит, они не ложились,— подумал Корантен.— Бригадира не подстрелили и не ударили палкой,— ведь чтобы ударить, противник должен был бы находиться на одном уровне с ним, то есть тоже верхом; следовательно, бригадира можно было свалить только при помощи какого-нибудь препятствия, поставленного на его пути. Бревном? Это исключено. Железной цепью? Она оставила бы ссадины».

— А что вы почувствовали? — спросил он у бригадира, разглядывая его.

— Меня опрокинуло с такой силой...

— У вас ссадина на подбородке.

— Мне кажется,— ответил бригадир,— что лицо мне ободрало веревкой...

— Теперь понимаю! — промолвил Корантен.— Кто-то протянул между деревьями веревку, чтобы преградить вам путь...

— Пожалуй, что и так,— согласился бригадир.

Корантен спустился вниз и вошел в столовую.

— Ну, старый плут, давай же по рукам,— говорил Мишю, обращаясь к Виолету и глядя на сыщика.— За все — сто двадцать тысяч франков, и вы хозяин моих владений. А я стану жить на ренту.

— Клянусь Христом-богом, у меня всего-навсего шестьдесят тысяч.

— Но ведь я на остальную сумму предлагаю вам отсрочку. Что ж это мы со вчерашнего дня никак не можем сторговаться... Земля-то — первый сорт.

— Земля хорошая,— согласился Виолет.

— Марта! Подай-ка вина! — крикнул Мишю.

— Не довольно ли? — воскликнула мать Марты.— Это уж четырнадцатая бутылка!

— Вы здесь с девяти часов утра? — спросил Корантен у Виолета.

— Что вы, помилуйте. Я тут сижу как вкопанный с вечера и ничего не выторговал: чем больше он меня поит, тем больше запрашивает.

— При торге так и ведется: кто поднимает стакан, тот поднимает и цену,— заметил Корантен.

Дюжина пустых бутылок, выстроенных на конце стола, подтверждала слова старухи. Тем временем жандарм поманил Корантена, стоявшего за дверью, и, когда тот вышел, сказал ему на ухо:

— В конюшне лошади нет.

— Вы послали сынишку в город верхом, значит, он скоро должен вернуться,— сказал Корантен, возвращаясь в комнату.

— Нет, сударь, он пошел пешком,— ответила Марта.

— А куда же вы девали лошадь?

— Я ее одолжил,— сухо ответил Мишю.

— Ну-ка, подите сюда, благодетель,— сказал Корантен управляющему,— мне надо шепнуть вам кое-что на ушко.

Корантен и Мишю вышли.

— Карабин, который вы заряжали вчера в четыре часа дня, предназначался для того, чтобы убить государственного советника: нотариус Гревен видел вас. Но привлечь вас за это нельзя: намерения ясны, а свидетелей нет. Вы каким-то образом — не знаю точно каким—одур-

манили Виолета; вы сами, ваша жена и сын провели ночь вне дома, чтобы предупредить мадемуазель де Сен-Синь о нашем появлении и спасти ее братьев, которых вы же привели сюда,— еще не знаю точно, куда именно. Ваш сын либо жена, надо сказать, довольно ловко свалили вахмистра с лошади. Словом, мы оказались биты. Вы парень не промах. Но разговор еще не кончен, мы на этом не успокоимся. Хотите идти на мировую? Ваши хозяева от этого только выиграют.

— Пройдемте вон туда; там нас не услышат,— сказал Мишю и повел сыщика в глубь парка, к пруду.

Когда Корантен увидел воду, он вызывающе посмотрел на Мишю; последний, вероятно, рассчитывал, что у него хватит силы сбросить этого человека в пруд, где под тремя футами воды было еще футов семь ила. Так в Бразилии дряблое, хладнокровное боа могло бы бросить вызов хищному рыжему ягуару.

— Мне пить неохота,— заметил франт, останавливаясь на краю луга и запуская руку в боковой карман, чтобы взяться за кинжальчик.

— Нам не понять друг друга,— холодно отозвался Мишю.

— Будьте паинькой, дорогой мой; правосудие будет следить за каждым вашим шагом.

— Если оно разбирается в делах не лучше вас, то это опасно не для одного меня, а для всех,— ответил управляющий.

— Итак, вы отказываетесь? — многозначительно спросил Корантен.

— Пусть лучше мне сто раз отрубят голову,— если только можно отрубить ее человеку сто раз,— чем быть заодно с таким негодяем, как ты.

Корантен смерил взглядом Мишю, его домик и лаявшего Куро и поспешил сесть в кабриолет. Проездом он отдал в Труа кое-какие распоряжения и вернулся в Париж. Всем жандармским отрядам были даны секретные приказы и инструкции.

В течение декабря, января и февраля полиция усердно и неутомимо разыскивала заговорщиков по всем, даже самым глухим, деревням. Сыщики прислушивались к разговорам во всех кабачках. Корантен установил следующие три важных обстоятельства: в окрестностях

Ланьи была обнаружена павшая лошадь, похожая на лошадь Мишю. Пять лошадей, зарытых в Нодемском лесу, были проданы фермерами и мельниками по пятьсот франков каждая некоему человеку, который, судя по приметам, был не кто иной, как Мишю. После издания закона относительно укрывателей и сообщников Жоржа Корантен сосредоточил слежку только на Нодемском лесе. А после того как были арестованы Моро, роялисты и Пишегрю, в этой местности уже никто не замечал посторонних лиц. Тем временем Мишю лишился места: арсийский нотариус предъявил ему письмо, в котором государственный советник, ставший теперь сенатором, просил Гревена принять от управляющего дела и рассчитать его. Мишю в три дня сдал отчетность, получил соответствующую расписку и уволился. К великому изумлению всей округи, он переселился в Сен-Синь, где Лоранса сдала ему в аренду землю. День его водворения в Сен-Сине роковым образом совпал с казнью герцога Энгиенского. Почти одновременно по всей Франции стало известно об аресте, отдаче под суд, осуждении и смерти герцога — о тех страшных репрессиях, которые предшествовали делу Полиньяка, Ривьера и Моро.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

КОРАНТЕН ОТЫГРАЛСЯ

Пока для Мишю строилась ферма, этот лжеиуда поселился на чердаке над конюшней, неподалеку от уже известной читателю бреши. Мишю обзавелся двумя лошадьми, одной для себя, другой для сына, ибо теперь они вместе с Готаром стали сопровождать мадемуазель де Сен-Синь во всех ее прогулках, которые предпринимались, как легко догадаться, с целью доставлять четырем дворянам пропитание и все необходимое для жизни. Франсуа и Готар, с помощью Куро и гончих графини, предварительно производили разведку окрестностей и проверяли, нет ли кого поблизости от подземелья. Лоранса и Мишю привозили сюда пищу, которую Марта, ее мать и Катрина, во избежание огласки, приготовляли тайком от остальной прислуги, так как среди жителей

деревни, без сомнения, нашлись бы доносчики. Из осмотрительности, эти поездки совершались только дважды в неделю, притом всегда в разное время, то днем, то ночью, и эта предосторожность соблюдалась в течение всего времени, пока слушалось дело Ривьера, Полиньяка и Моро. Когда решение сената, возводившее семью Бонапарта на престол и объявлявшее императором Наполеона, было передано на утверждение французского народа, господин д'Отсэр также высказался за это решение и подписался на опросном листе, принесенном ему Гуларом. Кроме того, стало известно, что для коронования Наполеона во Францию прибудет папа. Тогда мадемуазель де Сен-Синь перестала противиться тому, чтобы молодые д'Отсэры и ее кузены подали просьбу об исключении их из списка эмигрантов и о восстановлении в гражданских правах. Старик д'Отсэр, не теряя ни минуты, помчался в Париж, к бывшему маркизу де Шаржбефу, который был знаком с Талейраном. Министр был тогда в милости; он направил просьбу Жозефине, а Жозефина передала ее своему мужу, которого, не дожидаясь результатов плебисцита, уже стали называть Императором, Вашим Величеством, Государем. Г-н де Шаржбеф, г-н д'Отсэр и аббат Гуже, также приехавший в Париж, были приняты Талейраном, и министр обещал им поддержку. Наполеон уже помиловал главных участников направленного против него крупного роялистского заговора, однако, хотя четыре дворянина, о которых идет речь, были только на подозрении, император, после одного из заседаний государственного совета, вызвал к себе в кабинет сенатора Малена, Фуше, Талейрана, Камбасереса, Лебрена и начальника полиции Дюбуа.

— Господа,— сказал будущий император, еще носивший мундир первого консула,— мы получили от некиих Симезов и д'Отсэров, офицеров армии принца Конде, ходатайство о разрешении вернуться во Францию.

— Они уже во Франции,— сказал Фуше.

— Как и тысячи других, которых я встречаю в Париже,— вставил Талейран.

— Полагаю, что этих-то вы здесь не встречали, ибо они скрываются в Нодемском лесу, где чувствуют себя как дома,— возразил Мален.

Он, разумеется, не передал первому консулу и Фуше

слова, которым был обязан жизнью; но, опираясь на донесения Корантена, он убедил совет в том, что упомянутые четыре дворянина причастны к заговору господ де Ривьера и Полиньяка, заодно назвав в качестве их сообщника и Мишю. Начальник полиции подтвердил слова сенатора.

— Но каким же образом этот управляющий мог узнать о том, что заговор раскрыт, раз это было известно лишь императору, его совету и мне? — удивился начальник полиции.

На это замечание Дюбуа никто не обратил внимания.

— Если им удалось скрываться в лесу в течение целых семи месяцев и вы их не нашли, они тем самым уже искупили свою вину,— сказал император, обращаясь к Фуше.

— Они мои враги,— сказал Мален, встревоженный прозорливостью начальника полиции,— и этого достаточно, чтобы я последовал примеру вашего величества: прошу об исключении их из списков и выступаю перед вашим величеством как их заступник.

— После восстановления в правах они станут для вас не так опасны, как в эмиграции,— ведь им придется присягнуть на верность установлениям и законам Империи,— сказал Фуше, пристально глядя на Малена.

— А чем они опасны для господина сенатора? — спросил Наполеон.

Талейран в течение нескольких минут беседовал вполголоса с императором. Казалось, исключение господ де Симезов и д'Отсэров из списков решено.

— Государь,— сказал Фуше,— быть может, вам еще придется услышать об этих людях.

Талейран, по просьбе герцога де Гранлье, только что заверил Наполеона от имени этих господ, что они дают «честное слово дворянина» — выражение, имевшее для Наполеона особую притягательную силу,— что не предпримут против императора никаких враждебных действий и подчиняются ему вполне чистосердечно.

— Господа д'Отсэры и де Симезы не хотят, после недавних событий, поднимать оружие против Франции. Правда, они не питают особых симпатий к императорскому правительству; это люди, которых Вашему величеству придется завоевывать; но они будут рады жить

на французской земле и готовы признать все ее законы,— сказал министр.

Затем он представил императору полученное им письмо, где выражались чувства, о которых он говорил.

— Это высказано так откровенно, что должно быть искренне,— сказал император, взглянув на Лебрена и Камбасереса.— Вы все еще возражаете? — обратился он к Фуше.

— Заботясь о благе Вашего величества, я прошу, чтобы мне было поручено сообщить этим господам об их восстановлении в правах, *лишь после того как это решение будет принято окончательно!*— громко сказал будущий министр полиции.

— Согласен,— сказал Наполеон, заметивший на лице Фуше озабоченное выражение.

Маленькое совещание кончилось, а вопрос так и не был решен; но в душу Наполеона запало какое-то сомнение относительно этих четырех дворян. А г-н д'Отсэр, вообразивший, что дело идет успешно, поторопился написать в Сен-Синь и сообщить радостную весть. Поэтому обитатели замка ничуть не удивились, когда несколько дней спустя явился Гулар и предложил г-же д'Отсэр и Лорансе передать четырем дворянам, чтобы они съездили в Труа, где префект вручит им указ о восстановлении в правах, после того как они примут присягу и объявят готовность подчиняться всем законам Империи. Лоранса ответила мэру, что она известит своих кузенов и господ д'Отсэров.

— Разве они не здесь? — спросил Гулар.

Госпожа д'Отсэр с тревогой посмотрела на девушку, а та, оставив мэра в гостиной, пошла посоветоваться с Мишю. Мишю согласился с тем, что можно немедленно освободить эмигрантов из их лесного заточения. Итак, Лоранса, Мишю с сыном и Готар отправились верхами в лес; они захватили с собою также лишнюю лошадь: графиня собиралась сопровождать четырех дворян в Труа и вернуться вместе с ними. Вся челядь, узнав радостную весть, высыпала на лужайку, чтобы присутствовать при отъезде веселой кавалькады. Четверо молодых людей вышли из своего убежища никем не замеченные, вскочили на коней и, в сопровождении мадемуазель де Сен-Синь, отправились по дороге в Труа. А Мишю с помощью сына и

Готара заложил вход в подземелье, потом все трое пешком вернулись домой. По пути Мишю вспомнил, что оставил в тайнике серебряный стаканчик и столовые приборы, которыми пользовались его господа, и вернулся за ними один. Дойдя до болотца, он услышал голоса, доносившиеся из подземелья, и направился к входу напрямик, сквозь кустарник.

— Вы, верно, за своим серебром? — спросил с улыбкой Перад, высунув из листвы свой красный носище.

Сам не зная почему,— ведь молодые люди были спасены,— Мишю почувствовал даже ломоту во всех суставах, так сильно ощутил он смутную, необъяснимую тревогу, предвестницу надвигающейся беды; все же он вышел из кустов и на лесенке увидел Корантена с крученой восковой свечечкой в руке.

— Мы ребята не злые,— сказал Корантен Мишю,— мы еще неделю назад могли накрыть ваших «бывших», но нам стало известно, что их восстановили... А вы ловкий малый и нам от вас слишком солоно пришлось,— так не мешайте нам хоть свое любопытство удовлетворить.

— Я дорого дал бы, чтобы узнать, каким образом и кто именно нас продал! — воскликнул Мишю.

— Если вам уж так не терпится,— ответил, улыбаясь, Перад,— взгляните на подковы ваших лошадей, и вы увидите, что сами себя выдали.

— Ну, стоит ли вспоминать старое,— сказал Корантен и знаком велел жандармскому капитану подвести лошадей.

— Значит, тот негодяй-рабочий, тот парижанин, который так хорошо ковал лошадей на английский манер, а затем уехал из Сен-Синя, был ихним! — воскликнул Мишю.— Им стоило только осмотреть в сырую погоду следы наших лошадей с особыми подковами, а это мог сделать любой агент, переодетый дровосеком или браконьером! Итак, мы в расчете.

Мишю скоро утешился, решив, что хотя тайна подземелья и раскрыта, но это теперь уже не опасно, раз господа снова стали французами и получили свободу. Однако предчувствия его были обоснованны. Полиция, как и иезуиты, никогда не забывает ни друзей своих, ни врагов.

Когда старик д'Отсэр вернулся из Парижа, он был очень удивлен, что радостная весть опередила его. Дюрие стряпал праздничный обед. Слуги принарядились и с нетерпением ждали изгнанников; молодые люди приехали около четырех часов, радостные, но слегка смущенные тем, что им в течение двух лет предстояло быть под наблюдением тайной полиции, не выезжать за пределы сен-синьской общины, ежемесячно являться к префекту.

— Я буду присылать вам явочный лист,— сказал им префект,— а через несколько месяцев вы подадите ходатайство о снятии всех этих ограничений, которые, впрочем, применяются ко всем единомышленникам Пишегрю. Я поддержу ваше ходатайство.

Эти меры предосторожности, хоть и были ими заслужены, несколько огорчали молодых людей. Лоранса рассмеялась.

— Император французов человек не так уж хорошо воспитанный,— сказала она.— Для него помилование — дело еще непривычное.

Молодых дворян встречали у ворот все обитатели замка, а на дорогу вышли целой толпой крестьяне, которым хотелось посмотреть на молодых людей, прославившихся своими приключениями на всю округу. Г-жа д'Отсэр долго обнимала сыновей и заливалась слезами; она не могла выговорить ни слова и бóльшую часть вечера находилась в каком-то радостном оцепенении. Когда близнецы де Симезы появились и соскочили с лошадей, у всех вырвался крик удивления — так поразительно они были похожи друг на друга: тот же взгляд, тот же голос, те же жесты. Оба совершенно одинаковым движением приподнялись в седле, перекинули ногу через круп лошади и бросили поводья. Они были одинаково одеты, и это еще более делало их настоящими Менехмами. На них были суворовские сапоги, облегавшие ногу в подъеме, белые лосины, зеленые охотничьи куртки с металлическими пуговицами, черные галстуки и замшевые перчатки. Им недавно исполнился тридцать один год, и это были, как тогда говорилось, *обворожительные кавалеры:* среднего роста, но хорошо сложенные, глаза живые, с длинными ресницами, и блестящие, как у детей; волосы черные, лбы высокие, цвет лица смугловато-бледный. Их речь была женственно-мягкой, и красиво очерченные алые губы

изящно выговаривали слова. Их обхождение, более любезное и изысканное, нежели обхождение провинциального дворянства, свидетельствовало о том, что они получили благодаря знакомству с жизнью и людьми как бы вторичное воспитание, еще более ценное, чем первое, ибо оно придает человеку законченность. Мишю позаботился о том, чтобы в годы изгнания они не нуждались; они имели возможность путешествовать и были хорошо приняты при иностранных дворах. Старый дворянин и аббат нашли, что они несколько высокомерны, но в их положении это являлось, пожалуй, следствием благородного характера. Их отличное воспитание сказывалось даже в пустяках, а в любом физическом упражнении они обнаруживали безупречную ловкость. Некоторое различие между ними замечалось только в образе мыслей. Младший пленял своей веселостью, старший же — меланхолической задумчивостью; но этот чисто внутренний контраст открывался лишь после долгого и близкого знакомства.

— Ну как, дорогая, не быть всей душой преданным таким молодцам? — шепнул Мишю Марте.

Марта, любовавшаяся близнецами и как женщина и как мать, ласково кивнула мужу и пожала ему руку. Слугам было разрешено поцеловать своих господ.

За время семимесячного отшельничества, на которое обрекли себя четверо молодых заговорщиков, они несколько раз вопреки осторожности выходили на прогулку — это было необходимо; впрочем, Мишю, его сын и Готар охраняли их. Когда Лоранса гуляла с ними в ясные ночи, настоящее сплеталось в ее душе с воспоминаниями о прошлой совместной жизни, и она поняла, что не в силах сделать выбор между двумя братьями. Ее сердце, пылавшее чистой и одинаковой любовью к обоим близнецам, раздваивалось. Ей казалось, что у нее целых два сердца. А два Поля не решались заговорить друг с другом о неизбежном соперничестве. Быть может, они все трое уже положились на волю случая? Это душевное состояние, несомненно, сказалось и в том, что она, после мимолетного, но явного колебания, взяла под руку обоих братьев, чтобы вести их в гостиную; рядом шли старики д'Отсэры, обнимая и расспрашивая своих сыновей. В это время слуги закричали: «Да здравствуют Сен-Сини и

Симезы!» Лоранса, не покидая братьев, обернулась и обворожительным жестом поблагодарила за приветствие.

Когда эти девять человек стали присматриваться друг к другу,— а ведь во всяком собрании, даже в семье, всегда наступает такая минута, и люди после долгой разлуки, друг к другу присматриваются,— г-же д'Отсэр и аббату Гуже, по первому же взгляду, брошенному Адриеном д'Отсэром на Лорансу, показалось, что он влюблен в графиню. Адриен, младший из д'Отсэров, обладал душою ласковой и нежной. В его груди до сих пор билось сердце юноши, несмотря на все невзгоды, сделавшие его мужчиной. Похожий в этом отношении на многих военных, у которых беспрерывные опасности охраняют душу от растления и она остается нетронутой, Адриен, казалось, был скован пленительной застенчивостью юности. Он очень отличался от своего брата, человека с грубоватой внешностью, заядлого охотника, бесстрашного и решительного вояки, но человека, приверженного ко всему материальному, лишенного и живости ума и тонкости чувствований. Один был как бы весь — душа, другой весь — действие; однако оба в равной мере отличались тем внутренним благородством, которого для дворянина вполне достаточно. Черноволосый, маленький, худой и тонкий, Адриен д'Отсэр отнюдь не казался хилым, тогда как в его брате, рослом, бледном и белокуром, чувствовалось что-то женственное. Адриен, с его нервным темпераментом, отличался большой силой души; Робер же, хоть и был лимфатического склада, любил щегольнуть силою чисто физической. Во многих семьях видим мы такого рода странности, и причины их могли бы представить интерес; но здесь мы касаемся этого лишь с тем, чтобы объяснить, почему брат Адриена не мог оказаться его соперником. Робер питал к Лорансе чисто родственную симпатию, а также уважение, какое питает всякий дворянин к девушке из своего сословия. В вопросе чувств старший д'Отсэр принадлежал к тем мужчинам, которые считают женщину каким-то придатком, ограничивают ее права правом чисто физического материнства, требуют от нее всяческих совершенств и в то же время не ценят их. По их мнению, допустить, чтобы женщина играла роль в обществе, в политике, в семье, значило бы произвести прямо-таки социальный переворот. Теперь мы

так далеки от этого устаревшего взгляда первобытных народов, что он, пожалуй, вызовет возмущение почти у всех женщин — даже у тех, которые не желают пагубной свободы, предлагаемой им некоторыми новейшими сектами,— однако Робер д'Отсэр, к сожалению, придерживался именно такой точки зрения. Робер был человеком средневековым, а младший — человеком наших дней. Эти различия не только не мешали дружбе братьев, а, наоборот, делали ее еще крепче. Оттенки эти были в первый же вечер замечены и оценены кюре, его сестрой и г-жой д'Отсэр, которые, хоть и казались занятыми бостоном, но уже предвидели грядущие осложнения.

Лоранса, много размышлявшая в одиночестве и пережившая глубокие волнения, связанные с обширным, но не удавшимся заговором, теперь, в двадцать три года, вновь стала женщиной и испытывала огромную потребность в любви; она выказывала все изящество своего ума, она была пленительна. С простодушием пятнадцатилетней девочки раскрывала она все обаяние своей нежности. Последние тринадцать лет она чувствовала себя женщиной, только когда страдала, теперь ей захотелось вознаградить себя; и она стала столь же ласковой и кокетливой, сколь мужественной и сильной была прежде. Поэтому старики, оставшиеся в гостиной последними, были несколько встревожены ее новой манерой держать себя. До какой силы может дойти страсть у этой благородной и пылкой натуры? Два брата одинаково горячо и самозабвенно любят одну и ту же девушку; кого из них предпочтет Лоранса? А предпочесть одного значило убить другого. Лорансе, как последней в роду, предстояло передать мужу свой графский титул, права и имя, овеянное давнею славой; быть может, ради этих преимуществ маркиз де Симез решится пожертвовать собою, чтобы на Лорансе мог жениться его брат, который в силу старинных законов не получает ни состояния, ни титула? Но согласится ли младший лишить брата столь великого счастья, как брак с Лорансой? Со стороны эта борьба великодушия не казалась такой сложной; к тому же, пока братья подвергались опасности, какая-нибудь случайность на поле боя могла положить конец этим затруднениям; но что будет теперь? Ведь они все трое вместе! Мари-Поль и Поль-Мари достигли того возраста,

когда страсти бушуют с особою силою, и если братьям придется делиться ласковыми взглядами кузины, ее словами, улыбками, знаками внимания, не вспыхнет ли между ними соперничество, последствия которого могут быть ужасны? Во что превратится счастливое, безмятежное и согласное их существование? В ответ на все эти предположения, которыми обменивались старики за последней партией бостона, г-жа д'Отсэр возразила, что, на ее взгляд, Лоранса вряд ли выйдет за одного из своих кузенов. В этот вечер старую даму охватило какое-то необъяснимое предчувствие,— их источник остается тайною между матерями и богом. Лоранса и сама в глубине души была испугана тем, что оказалась лицом к лицу с обоими кузенами. После бурных перипетий заговора, после угрожавших близнецам опасностей, после всех невзгод эмиграции последовала новая драма, о возможности которой она никогда и не помышляла. Эта достойная девушка не могла прибегнуть к крайнему средству, а именно: не выходить ни за того, ни за другого брата; она была слишком честна, чтобы отдать кому-то свою руку, затаив в сердце непреодолимую страсть к другому. Не выходить пока замуж, извести кузенов своею нерешительностью и, наконец, выйти за того, кто останется ей верен, невзирая на все ее прихоти,— такой выход напрашивался сам собою, помимо ее воли. Засыпая, она решила, что наиболее разумное — отдаться на волю случая. В делах любви случай — это провидение женщины.

На другой день Мишю отправился в Париж, откуда через несколько дней вернулся с четырьмя превосходными лошадьми, купленными для его новых хозяев. Полтора месяца спустя должна была открыться охота, и благоразумие подсказало графине, что буйные охотничьи забавы послужат отвлечением от трудностей, связанных с совместной жизнью молодежи в замке. Но тут случилось одно непредвиденное обстоятельство, удивившее и вместе с тем восхитившее свидетелей этих необычных любовных отношений. Сами того не ведая, братья состязались в проявлениях нежности и внимания к кузине и находили в этом столько духовной радости, что казались вполне довольными. Между ними и Лорансой установились такие же братские отношения, какие существовали между ними двумя. И это было вполне естественно. По-

сле столь долгого отсутствия им хотелось присмотреться к кузине, узнать ее поближе, дать ей возможность узнать их, предоставить ей право выбора, причем в этом испытании поддерживала братьев взаимная привязанность, благодаря которой их жизни сливались в одну. Любовь, как и материнское чувство, не делала различия между одним братом и другим. Чтобы их не путать, Лорансе пришлось подарить им разные галстуки: белый старшему, черный младшему. Если бы не полное их сходство, если бы не тождество их жизней, вводившие всех в заблуждение, подобная привязанность могла бы показаться невероятной. Единственным объяснением тут служит непреложность самого факта; он относится к разряду тех, которым начинаешь верить, лишь увидев их собственными глазами, зато, когда увидишь такое явление воочию, оказывается, что легче ему поверить, чем объяснить его разумно. Стоило Лорансе заговорить — и ее слова одинаково отзывались в двух любящих с равной силой и одинаково преданных сердцах. Стоило ей высказать остроумную, забавную или возвышенную мысль — и девушка встречала счастливые взгляды двух мужчин, двое следили за каждым ее движением, двое старались угадать малейшие ее желания и улыбались ей со всегда новым оттенком веселости у одного и нежной грусти у другого. Когда дело касалось их кумира, братья становились такими пленительно-непосредственными, их поступки были в таком согласии с их чувствами, что, по словам аббата Гуже, все это производило впечатление чего-то идеального. Часто, когда надо было, например, что-нибудь принести, когда речь шла об одной из тех мелких услуг, которые с такой радостью мужчина оказывает любимой женщине,— старший уступал это удовольствие младшему, а сам обращал на кузину взгляд и трогательный и гордый. Младший считал своим долгом платить тем же. Эта борьба великодуший в области чувства, которое нередко доводит человека до дикой, чисто звериной ревности, вызывала у наблюдавших за ними стариков глубокое недоумение.

Такие мелочи нередко доводили графиню до слез. То, что испытывала Лоранса, можно сравнить только с одним ощущением, правда, достигающим у избранных натур огромной силы: оно станет понятным, если предста-

вить себе два прекрасных голоса, вроде голосов Зонтаг и Малибран, слившихся в гармоническом дуэте, или совершенное согласие двух инструментов в руках гениальных исполнителей, когда мелодические звуки проникают в душу, как вздохи одной взволнованной души. Иной раз маркиз де Симез, расположившись в кресле, бросал такой задумчивый и грустный взгляд на брата, в то время как тот шутил и смеялся с Лорансой, что аббат начинал допускать возможность безмерной жертвы со стороны маркиза; но тут же замечал в его глазах вспышку неодолимой страсти, и каждый раз, когда один из братьев находился наедине с Лорансой, он мог считать, что именно он любим.

— Мне кажется тогда, что их уже не двое, а только один,— говорила графиня аббату Гуже, когда он ее расспрашивал о ее чувствах. И аббат понял, что в ней нет и тени кокетства. Лоранса действительно не думала о том, что в нее влюблены двое.

— Но, дорогая моя девочка, вам все же придется сделать выбор,— сказала ей как-то вечером г-жа д'Отсэр, младший сын которой втайне тоже страдал от любви к Лорансе.

— Не омрачайте наше счастье,— ответила она.— Господь убережет нас от нас самих!

Адриена д'Отсэра втайне снедала ревность, но он скрывал свои муки, понимая, как мало у него надежды. Он довольствовался счастьем видеть эту девушку, которая в продолжение нескольких месяцев, пока шла борьба, сверкала полным блеском. Действительно, Лоранса, став кокетливой, старалась, как всякая женщина, которая любима, быть еще привлекательней. Она следовала моде и не раз ездила в Париж, чтобы при помощи нарядов или модной новинки подчеркнуть свою красоту. Наконец, желая предоставить кузенам все преимущества домашнего уюта, которого они так долго были лишены, она сделала из своего замка, невзирая на сетования опекуна, самое благоустроенное жилище во всей Шампани.

Робер д'Отсэр ничего не понимал в этой тайной драме. Он и не подозревал о любви своего брата. Что же касается собственного отношения к Лорансе, то он нередко подтрунивал над ее кокетством, ибо смешивал этот

отвратительный недостаток с желанием нравиться; но ему было свойственно ошибаться во всем, что касалось чувств, образованности и вкуса. И как только он выступал в роли человека средневековья, Лоранса сразу же, сама того не ведая, превращала ее в роль «простака»; она смешила кузенов, затевая с Робером споры и шаг за шагом завлекая его на ту зыбкую почву, где, словно в трясине, неизбежно должны завязнуть глупость и невежество. Она была мастерицей по части остроумных мистификаций, которые только тогда и хороши, когда жертва о них не догадывается. Однако, как ни была груба его натура, Робер в те немногие безоблачные дни, которые были суждены этим трем прекрасным созданиям, ни разу не сказал ни Симезам, ни Лорансе того мужественного слова, которое, быть может, помогло бы решить вопрос. Он был поражен искренностью братьев. Робер, конечно, понимал, как страшно женщине дать одному доказательства своей привязанности, отказав в них другому, который будет этим безмерно огорчен; он догадывался, как радовало каждого из братьев все то хорошее, что получал другой, и какой болью это все же отзывалось в глубине их сердец. И по бережности Робера можно судить о полной безвыходности создавшихся отношений, которые, несомненно, удостоились бы особого внимания во времена горячей веры, когда наместник Христа мог вмешаться и, имея перед собою столь редкий феномен, граничащий с самыми непостижимыми тайнами, разрубить гордиев узел. Революция вновь утвердила их сердца в католической вере, и религия придала этому кризису еще большую остроту, ибо величие положений усугубляется величием характеров. Поэтому и супруги д'Отсэры и кюре с сестрой были уверены, что ни от обоих братьев, ни от Лорансы нельзя ждать чего-либо банального при разрешении этой задачи.

Драма, ревностно охранявшаяся в семейном кругу, где каждый наблюдал ее молча, развивалась так стремительно и в то же время так медленно, она сопровождалась столькими нежданными радостями, маленькими битвами, мнимыми предпочтениями, обманутыми надеждами, мучительными ожиданиями, отложенными на завтра разговорами, молчаливыми признаниями, что обитатели замка словно и не заметили коронования императора

Наполеона. Да и сами молодые люди иногда старались забыть о своей страсти и предавались волнующим радостям охоты, которые, утомляя тело, лишают душу возможности странствовать по столь опасным просторам мечты. Ни Лоранса, ни ее кузены и не помышляли о делах, так как каждый день был полон для них животрепещущего интереса.

— Право же, я не решилась бы сказать, кто из наших влюбленных любит сильнее,— заметила однажды вечером мадемуазель Гуже.

В это время в гостиной, кроме четырех игроков, находился один Адриен; он взглянул на них и побледнел. За последние дни лишь одно привязывало его к жизни — радость видеть Лорансу и слышать ее голос.

— Я полагаю,— возразил кюре,— что графиня, как женщина, гораздо непосредственней в своем чувстве.

Несколько минут спустя в гостиную вошли близнецы и Лоранса. Только что были получены свежие газеты. Убедившись в бесплодности заговоров внутри Франции, Англия вооружала Европу против французов. Разгром при Трафальгаре свел на нет один из самых удивительных замыслов, созданных человеческим гением. Наполеон же с помощью этого замысла рассчитывал сокрушить могущество Англии и тем самым отблагодарить Францию за свое избрание на престол. В те дни лагерь в Булони был свернут. Наполеон, численность армии которого была, по обыкновению, меньше, чем у противника, собирался дать бой Европе на тех полях, где он еще никогда не появлялся. Весь мир с нетерпением ожидал развязки этой кампании.

— Ну, на этот раз он потерпит крах,— сказал Робер, откладывая газету.

— Против него все силы Австрии и России,— подтвердил Мари-Поль.

— Он еще никогда не воевал в Германии,— добавил Поль-Мари.

— О ком это вы? — спросила Лоранса.

— Об императоре,— ответили все трое.

Лоранса бросила на двух своих поклонников такой презрительный взгляд, что они смутились, Адриена же он привел в восторг. У отвергнутого поклонника вырвался жест радости, а горделивый взор его ясно говорил,

что он-то уж ни о чем другом, кроме Лорансы, не помышляет.

— Посмотрите на него,— понизив голос, сказал аббат Гуже,— любовь заглушила в его сердце ненависть.

Это был первый и последний укор, полученный братьями. В ту минуту они оказались в своей любви ниже кузины, которая даже о блестящей победе при Аустерлице, два месяца спустя, узнала лишь из разговора старика д'Отсэра с сыновьями. Верный своему плану, отец хотел, чтобы его дети просили о восстановлении их в армии; им, конечно, присвоят прежние чины, и они еще могут сделать военную карьеру. Однако в Сен-Сине партия непримиримых роялистов решительно брала верх. Четверо молодых дворян и Лоранса подняли на смех осторожного старика, который словно чуял грядущие беды. Осторожность, пожалуй, не столько добродетель, сколько особое *чувствование*, присущее нашему уму, если только дозволено сочетать эти два понятия; но несомненно, настанет день, когда физиологи и философы согласятся, что наши пять чувств являются своего рода оболочкой для быстрой и всепроникающей силы, исходящей от ума.

В конце февраля 1806 года, вскоре после заключения мира между Францией и Австрией, один из родственников Симезов, ходатайствовавший в свое время об исключении молодых людей из списков эмигрантов, а именно бывший маркиз де Шаржбеф, владения которого простираются от департамента Сены-и-Марны до департамента Об, человек, которому в дальнейшем предстояло дать им неоспоримые доказательства преданности, приехал в Сен-Синь из своего имения в своеобразной коляске, которую в то время в насмешку называли *рыдваном*. Когда этот жалкий экипаж появился у крыльца, обитатели замка, сидевшие в то время за завтраком, не могли удержаться от смеха; но, узнав лысую голову старика, высунувшуюся из-за кожаных занавесок рыдвана, г-н д'Отсэр назвал его имя, и все сразу встали, чтобы встретить главу рода Шаржбефов.

— Нехорошо, что он нас опередил; это нам следовало съездить к нему и поблагодарить,— сказал маркиз де Симез брату и молодым д'Отсэрам.

Одетый по-крестьянски слуга, правивший коляской,

воткнул в грубый кожаный чехол простой извозчичий кнут, слез с высоких козел, кое-как прилаженных к кузову кареты, и хотел помочь маркизу выйти из экипажа; но Адриен и младший де Симез предупредили его, отстегнули полог фартука, державшийся на медной застежке, и извлекли старика, невзирая на его возражения. Маркиз уверял, что его желтый рыдван с кожаными дверцами — превосходный, удобнейший экипаж. Слуга с помощью Готара уже отпрягал пару крепких, упитанных лошадей с лоснящимися крупами; эти лошади, видимо, не только ходили в упряжке, но служили и для полевых работ.

— И вы не побоялись холода? Но вы прямо-таки рыцарь былых времен! — сказала Лоранса своему престарелому родственнику, беря его под руку, чтобы проводить в гостиную.

— Не вам же навещать такого старикашку! — не без лукавства ответил он, желая упрекнуть своих молодых родственников.

«Зачем он приехал?» — думал г-н д'Отсэр.

Господин де Шаржбеф, любезный шестидесятисеми-летний старичок на тощих ножках, в светлых коротких панталонах и узорчатых чулках, пудрил волосы, носил сетку для косички и длинные букли. На нем был суконный охотничий костюм зеленого цвета с золотыми пуговицами и таким же галуном. Этот наряд, тогда еще бывший в обиходе у старых людей, очень шел ему, ибо лицом он слегка напоминал Фридриха Великого. Он никогда не надевал треуголки, чтобы не стереть полукруга, выведенного на его лысине слоем пудры. Правой рукой он опирался на трость с ручкой в виде клюва, причем держал в той же руке и шляпу,— манера, достойная Людовика XIV. Почтенный старец снял с себя шелковую душегрейку и погрузился в кресло, держа между коленями треуголку и трость, и принял позу, секретом которой владели только щеголи двора Людовика XV; она давала возможность играть табакеркой, а у таких людей табакерка — всегда драгоценная безделушка. И действительно, маркиз извлек из жилетного кармашка, прикрытого клапаном с вышитыми золотыми арабесками, роскошную табакерку. Взяв таким же очаровательным жестом понюшку и предлагая табаку всем желающим,

он окинул общество ласковым взглядом и заметил, какое удовольствие доставляет его приезд. Тут он, по-видимому, понял, почему молодые эмигранты пренебрегли долгом вежливости по отношению к нему. Он, вероятно, подумал: когда люди поглощены любовью, им не до визитов.

— Мы вас так не отпустим, вы должны погостить у нас несколько дней,— сказала Лоранса.

— Никак нельзя,— ответил он.— Если бы события так не отдалили нас друг от друга,— ибо вы ведь преодолевали гораздо большие расстояния, чем то, которое разделяет нас,— вы знали бы, милая деточка, что у меня есть дочери, невестки, внучки, внуки. Все они встревожатся, если я сегодня же вечером не вернусь, а ведь мне ехать восемнадцать лье.

— Лошади у вас прекрасные,— заметил маркиз де Симез.

— Да, но я еду из Труа, у меня вчера было там дело.

После положенных расспросов о семье, о супруге маркиза и о разных мелочах, которые в действительности никого не занимают, но к которым принято проявлять живейший интерес, г-ну д'Отсэру показалось, что маркиз де Шаржбеф приехал с намерением предостеречь молодых родственников от какой-либо неосторожности. По мнению маркиза, времена сильно изменились и никак нельзя предвидеть, кем станет император.

— Что ж, он станет богом,— сказала Лоранса.

Добрый старик заговорил о том, что нужно идти на уступки. Слушая его рассуждения о необходимости покориться, которые произносились с той силой убеждения и авторитетностью, какие сам он никогда не вкладывал в эти доктрины, г-н д'Отсэр чуть ли не с мольбой смотрел на сыновей.

— А вы стали бы служить этому человеку? — спросил маркиз де Симез маркиза де Шаржбефа.

— Разумеется, если бы этого требовали интересы семьи.

Наконец, старик в туманных выражениях намекнул на опасности, которыми чревато будущее; когда же Лоранса попросила его объясниться, он посоветовал молодым людям прекратить охоту, сидеть дома и вести себя тише воды, ниже травы.

— Вы все еще считаете гондревильские земли своей вотчиной,— сказал он де Симезам,— и тем самым вновь раздуваете страшную ненависть к себе. По вашему удивлению я вижу, что вы и не подозреваете о том, какие у вас есть в Труа недоброжелатели,— там ведь не забыли о вашем мужественном поведении. В городе без стеснения толкуют о том, как вы ускользнули от тайной имперской полиции, которая вас разыскивала,— одни вас за это хвалят, зато другие считают врагами императора. Иные прихвостни удивляются, что Наполеон так милостив к вам. Но все это пустяки. Главное — вы провели тех, кто считал себя хитрее вас, а люди низкого происхождения никогда этого не прощают. Правосудие в вашем департаменте находится в руках вашего врага Малена, у которого всюду свои ставленники,— даже среди правительственных чиновников; и его правосудие будет очень довольно, обнаружив ваше участие в какой-нибудь скверной истории. Любой крестьянин может затеять с вами ссору из-за своего поля, на котором вы случайно появитесь, ружья у вас будут заряжены, вы люди горячие, долго ли до греха. В вашем положении, чтобы не оказаться виноватым, надо быть тысячу раз правым. Я говорю это не без оснований. Полиция непрестанно наблюдает за округой, где вы живете, и держит в такой глухой дыре, как Арси, специального агента, чтобы охранять сенатора Империи от ваших козней. Сенатор боится вас и не скрывает этого.

— Но ведь это клевета! — воскликнул младший де Симез.

— Клевета! Я-то отлично понимаю, что клевета. Но понимают ли это все,— вот что важно. Мишю задел сенатора, и тот этого не забыл. После вашего возвращения графиня взяла Мишю к себе на службу. Значит, Мален прав,— решают многие; так думает и большинство людей из общества. Вы не представляете себе, насколько сложны взаимоотношения между эмигрантами и теми, в чьих руках оказалось их имущество. Префект, человек очень неглупый, вчера вскользь сказал мне несколько слов о вас и очень меня встревожил. Словом, я предпочел бы, чтобы вы отсюда уехали...

Это рассуждение было встречено глубоким недоумением. Мари-Поль громко позвонил.

— Сходите за Мишю, Готар,— сказал он мальчику, когда тот явился.

Бывший гондревильский управляющий не замедлил явиться.

— Мишю, друг мой, это правда, что ты намеревался убить Малена? — спросил маркиз де Симез.

— Да, ваша светлость. И когда он снова появится здесь, я его подстерегу.

— А знаешь ли ты, что нас подозревают, будто мы подстрекаем тебя к этому? А нашу кузину, взявшую тебя на службу, обвиняют в том, будто она твоя соучастница.

— Боже праведный,— вскричал Мишю,— на мне, видно, лежит проклятие! Значит, мне так и не удастся освободить вас от Малена?

— Нет, нет, друг мой,— возразил Поль-Мари.— Тебе даже придется оставить службу у нас и уехать отсюда; мы о тебе позаботимся; мы поможем тебе еще разбогатеть. Распродай все, чем тут владеешь, продай землю, мы направим тебя в Триест, к нашему другу, человеку с большими связями, и он воспользуется твоими услугами в ожидании того дня, когда всем нам здесь станет легче.

Мишю стоял как вкопанный, и на глазах его показались слезы.

— Видел тебя кто-нибудь, когда ты прятался, чтобы выстрелить в Малена? — спросил маркиз де Шаржбеф.

— С ним тогда разговаривал нотариус Гревен,— это и помешало мне убить его,— к счастью! Графиня знает, что я имею в виду,— ответил управляющий, взглянув на свою госпожу.

— И Гревен — не единственный свидетель? — спросил г-н де Шаржбеф, видимо, недовольный ходом этого допроса, хоть он и велся в семейном кругу.

— Об этом знает еще тот сыщик, который в свое время приезжал, чтобы запутать моих господ,— ответил Мишю.

Маркиз де Шаржбеф поднялся, словно для того, чтобы поглядеть в окно, и сказал:

— Вероятно, вы получаете немалый доход от Сен-Синя!

Затем он вышел, а братья и Лоранса, отлично поняв-шие смысл этого восклицания, последовали за ним.

— Вы благородны и чистосердечны, но по обыкновению неосторожны,— сказал им старик.— Вполне естественно, что я предупредил вас о слухах, которые во что бы то ни стало *должны считаться клеветой*, а вы ведете себя так, что превращаете их в достоверность в глазах столь слабых людей, как господин д'Отсэр и его супруга, в глазах их сыновей. О молодежь, молодежь! Вам следовало бы оставить Мишю здесь, а самим уехать. Во всяком случае, если вы решаете остаться тут, напишите сенатору несколько слов относительно Мишю, сообщите ему, что узнали от меня о разговорах, которые идут насчет вашего управляющего, и что вы уволили его.

— Нам? Писать Малену? — вскричали оба брата.— Писать убийце наших родителей, писать тому, кто бессовестно присвоил себе нашу вотчину?

— Все это так; но он — влиятельнейшее лицо при дворе, а в нашем департаменте он прямо король.

— Он голосовал за казнь Людовика Шестнадцатого,— в том случае, если армия Конде войдет во Францию, или по меньшей мере за его пожизненное заключение,— сказала графиня де Сен-Синь.

— Вероятно, это он и подал мысль убить герцога Энгиенского! — воскликнул Поль-Мари.

— Уж если вы хотите перечислить все его благородные деяния,— воскликнул маркиз,— так скажите, что это он потянул Робеспьера за фалду, чтобы свалить его, когда выяснилось, что против Робеспьера большинство; скажите, что он высказался бы за расстрел Бонапарта, если бы восемнадцатое брюмера не удалось, что он вернул бы Бурбонов на престол, если бы Наполеон пошатнулся, что он всегда окажется возле сильнейшего и поспешит подать ему шпагу или пистолет, чтобы прикончить соперника, который внушает опасения. Но в таком случае, тем более...

— Как низко мы пали,— сказала Лоранса.

— Дети,— продолжал старый маркиз де Шаржбеф, взяв всех троих за руки и отводя их в сторону — к лужайке, слегка запорошенной снегом,— вы возмутитесь, услышав мнение благоразумного человека, но я обязан высказать его! На вашем месте я обратился бы к какому-нибудь старичку, ну хоть бы вроде меня, и в качестве посредника уполномочил бы его потребовать от Малена

миллион франков за признание законности продажи Гондревиля. Он, конечно, согласится — при условии, что все останется в тайне. По нынешним процентам это дало бы вам сто тысяч ренты,— купите хорошее поместье в каком-нибудь другом уголке Франции, управление Сен-Синем поручите господину д'Отсэру, а сами разыграйте на узелки, кому из двух быть мужем этой прекрасной наследницы. Но ведь слова старика — для слуха молодежи то же самое, что слова молодежи для стариков: лишь звук пустой.

Маркиз знàком дал понять, что ответа не требуется, и вернулся в гостиную, где в его отсутствие появились аббат Гуже с сестрою. Предложение разыграть на узелки руку двоюродной сестры глубоко возмутило братьев, а Лоранса пришла в ужас от горечи лекарства, которое предлагал старик. Поэтому они все трое были уже не так любезны с маркизом, хоть и не переступали границ учтивости. Расположение к нему было подорвано. Ощутив холодок, г-н де Шаржбеф несколько раз бросал на эту милую молодежь взгляды, полные глубокого сострадания. Хоть беседа и перешла на общие темы, маркиз опять заговорил о том, что нужно покоряться событиям, и похвалил г-на д'Отсэра за его настойчивое желание снова видеть своих сыновей на военной службе.

— Бонапарт,— говорил он,— создает герцогов. Он учредил лены, он создает графов. Малену хотелось бы стать графом де Гондревиль. Такое намерение,— добавил он, взглянув на Симезов,— может быть для вас очень выгодно.

— Или пагубно,— заметила Лоранса.

Как только подали экипаж, маркиз уехал; все семейство провожало его. Уже сидя в карете, старик знаком подозвал к себе Лорансу, и она, как птичка, вспорхнула на подножку.

— Вы женщина незаурядная и должны бы меня понять,— шепнул он ей на ухо.— У Малена слишком много грехов на совести, и он вас в покое не оставит. Будьте по крайней мере как можно осторожнее во всем, даже в самых незначительных делах; словом, идите на уступки — вот мое последнее слово.

Братья стояли возле кузины, посреди лужайки, и в глубоком оцепенении следили взором за рыдваном, ко-

торый огибал ограду, а затем стал удаляться по дороге в Труа; Лоранса передала им последний совет старика. Но житейской опытности никогда не следует появляться в рыдване, в узорчатых чулках и с волосяной сеткой на затылке. Ни один из этих молодых людей не был в состоянии понять перемен, происходивших во Франции, вся их душа была охвачена негодованием, и благородная кровь кипела от возмущенного чувства чести.

— И это глава Шаржбефов!—сказал маркиз де Симез.— Человек, род которого носит девиз: «*Да грядет за мною сильнейший!*» (*Adsit fortior!*) — прекрасный боевой клич!

— Теперь остался только слабейший,— с горечью улыбнулась Лоранса.

— Времена Людовика Святого миновали,— заметил младший де Симез.

— «*Умереть с песнею на устах!*» — воскликнула графиня.— Этот девиз пяти девушек, родоначальниц нашей семьи, пусть станет и моим девизом.

— А наш: «*Умри, не отступив*». Итак, никаких уступок! — сказал старший де Симез.— А то мы, пожалуй, поразмыслив, придем к убеждению, что жвачка, с которой явился сюда наш родственник Бёф [1],— результат глубочайшей мудрости. Подумать только! Гондревиль станет фамилией какого-то Малена!

— И его логовом! — добавил младший.

— Мансар создал его для дворянства, а плодиться в нем будет чернь! — сказал старший.

— Если бы это случилось, я предпочла бы, чтобы Гондревиль сгорел! — воскликнула мадемуазель де Сен-Синь.

Ее слова услышал крестьянин, который в это время выходил из хлева, где смотрел теленка, предназначенного стариком д'Отсэром к продаже.

— Пойдемте домой,— сказала, улыбаясь, Лоранса,— а то мы чуть было не совершили оплошности и не подтвердили с помощью теленка правоту старого быка.

— Бедняга Мишю,— сказала она, вернувшись в гостиную,— я уж совсем забыла о твоей проказе, но мы

---

[1] Boeuf (беф) — по-французски — бык.

здесь и так на плохом счету,— смотри же, не подводи нас. Есть у тебя на совести еще какой-нибудь грешок?

— У меня на совести только один грех,— что я не уничтожил убийцу моих старых господ, прежде чем поступить на службу к молодым!

— Мишю! — воскликнул кюре.

— Но я не уеду отсюда,—продолжал Мишю, не обращая внимания на возглас священника,— пока не буду уверен, что вы тут в безопасности. Кругом бродят какие-то парни; они мне не по душе. Когда мы последний раз охотились в лесу, ко мне подошел тот, с позволения сказать, сторож, который заменил меня в Гондревиле; он спросил, считаем ли мы себя здесь в своих владениях. А я ему в ответ: «Трудновато, приятель, за два месяца отвыкнуть от того, к чему привыкали целых два столетия».

— Напрасно, Мишю! — сказал маркиз де Симез, но лицо его озарилось довольной улыбкой.

— А он что ответил? — спросил г-н д'Отсэр

— Он сказал, что доложит сенатору о наших притязаниях,— ответил Мишю.

— Графу де Гондревилю! — продолжал старший д'Отсэр.— Вот потеха! Да что ж, ведь говорят же Бонапарту «ваше величество».

— Или «ваше высочество» — его светлости великому герцогу Бергскому,— поддакнул кюре.

— А это еще кто такой? — спросил г-н де Симез.

— Мюрат, зять Наполеона,— пояснил старик д'Отсэр.

— Вот как,— сказала мадемуазель де Сен-Синь.— А вдове маркиза де Богарне тоже говорят «ваше величество»?

— Разумеется, мадемуазель,— ответил кюре.

— Нам следовало бы побывать в Париже, поглядеть на все это! — воскликнула Лоранса.

— Увы, барышня,— сказал Мишю,— я ездил в Париж, чтобы поместить сына в лицей, и могу уверить вас, что с так называемой императорской гвардией шутить не приходится. Если вся армия такова, то нынешние порядки переживут и нас с вами.

— Называют немало знатных семейств, которые идут к нему на службу,— заметил г-н д'Отсэр.

— И все равно по новым законам ваши дети обязаны

будут служить,— сказал кюре.— Закон больше не признает ни титулов, ни рангов.

— Этот человек причиняет нам своим двором бо́льший вред, чем Революция причинила гильотиной! — воскликнула Лоранса.

— Церковь молится за него,— заметил кюре.

Каждая из этих фраз, сказанных одна за другой, звучала словно комментарий к мудрым словам старого маркиза де Шаржбефа; но в молодых людях жила слишком горячая вера в свою правоту, у них были слишком высокие понятия о чести, чтобы согласиться на сделку. Кроме того, они говорили себе, как всегда говорили все побежденные партии,— что процветанию партии-победительницы скоро настанет конец, что императора поддерживает одна лишь армия, что сила факта рано или поздно уступит праву и т. д. Несмотря на предупреждение, они попались в расставленную им западню, которую обошли бы люди осторожные и смиренные, вроде старика д'Отсэра. Будь мы вполне чистосердечны, мы, пожалуй, признали бы, что никогда несчастье не обрушивалось на нас без того, чтобы мы не получили о нем явного или тайного предупреждения. Сокровенный смысл такого предупреждения многим становится ясен лишь после того, как катастрофа уже разразилась.

— Согласитесь все же, ваше сиятельство, что не могу я уехать, не представив вам отчета,— шепотом сказал Мишю мадемуазель де Сен-Синь.

Вместо ответа она утвердительно кивнула головой, и управляющий вышел. Он тотчас же продал свою землю белашскому арендатору Бовизажу, который, однако, обещал расплатиться с ним не раньше как недели через три. Между тем приблизительно месяц спустя после приезда маркиза Лоранса, рассказав кузенам о том, что их состояние уцелело, предложила откопать миллион, зарытый в лесу, и наметить для этого день преполовения поста. До сего времени Мишю не мог извлечь клад потому, что в лесу лежал глубокий снег; но ему очень хотелось принять в этом участие вместе с хозяевами. Мишю стремился уехать во что бы то ни стало, он боялся самого себя.

— Мален нежданно прибыл в Гондревиль, никто не знает зачем,— сказал он своей госпоже,— и мне трудно

будет удержаться, чтобы не пустить Гондревиль с торгов за смертью владельца. Я раскаиваюсь, что не исполнил своего намерения!

— Что могло побудить его покинуть зимой Париж?

— Весь Арси судачит об этом,— ответил Мишю.— Семью он оставил там, и его сопровождает всего-навсего один камердинер. У него бывают только нотариус Гревен и госпожа Марион, жена сборщика налогов нашего департамента, невестка того Мариона, который служил Малену подставным лицом при покупке Гондревиля.

Лоранса считала, что праздник преполовения поста — самый подходящий день, так как по случаю праздника можно отослать всех слуг. Вечеринки с ряжеными привлекали крестьян в город, и в полях было безлюдно. Однако выбор этого дня оказался роковым, и, как часто бывает в уголовных делах, он помог свершиться судьбе. Случай взвесил все возможности с не меньшей тщательностью, чем мадемуазель де Сен-Синь. Мысль, что в их замке, стоящем на краю леса, хранится миллион сто тысяч золотом, могла бы слишком взволновать стариков д'Отсэров; поэтому, с согласия их сыновей, было решено ничего им об этом не говорить. Тайна этого предприятия была известна только Готару, Мишю, четверым молодым дворянам и Лорансе. После обстоятельных подсчетов пришли к выводу, что длинный мешок, который можно положить на круп каждой лошади, вместит сорок восемь тысяч франков. Следовательно, достаточно будет трех поездок. Ради осторожности было решено отпустить на праздничное гулянье в Труа всех слуг, которые могли бы проявить опасное любопытство. Катрину, Марту и Дюрие,— на них можно было положиться,— предполагалось оставить для охраны замка. Слуги с большой охотой воспользовались предоставленной им свободой и чуть свет уехали в город. Рано утром Готар с помощью Мишю почистил и оседлал лошадей. Кавалькада проехала через сен-синьские сады, а оттуда все — господа и слуги — направились в лес. Ворота парка были очень низкие, поэтому всадники здесь спешились и повели лошадей под уздцы; когда они, выйдя в лес, снова вскочили на лошадей, в чаще промелькнула фигура белашского арендатора, старика Бовизажа.

— Ну вот,— воскликнул Готар,— кто-то идет.

— Да это я,— сказал честный арендатор, выходя на дорогу.— Доброго здоровья, господа. Что же это вы — на охоту едете, невзирая на все запреты префектуры? Я-то не пойду доносить, но смотрите, будьте осторожны! У вас есть друзья, но немало и врагов.

— Ну, бог даст, охота будет удачной,— ответил, улыбаясь, рослый д'Отсэр,— и у тебя опять будут прежние хозяева.

В ответ на эти слова, которым последующие события придали совсем иной смысл, Лоранса бросила Роберу строгий взгляд. Старший Симез надеялся, что Мален, получив отступного, вернет Гондревиль. Эти дети собирались сделать как раз обратное тому, что советовал им маркиз де Шаржбеф, и Робер, разделявший их надежды, именно это имел в виду, когда произнес роковые слова.

— Во всяком случае, держите язык за зубами, старина,— сказал Бовизажу Мишю; он запер ворота парка и поэтому уезжал последним.

Стоял один из тех погожих дней конца марта, когда воздух сух, земля очистилась от снега, небо безоблачно, а температура воздуха находится в странном противоречии с видом деревьев, еще не одевшихся листвой. Было так тепло, что кое-где в полях зазеленели озими.

— Мы едем за каким-то кладом, а ведь настоящий клад в нашей семье — это вы, кузина,— пошутил старший де Симез.

Лоранса ехала впереди между двоюродными братьями, за ними следовали двое д'Отсэров; кавалькаду замыкал Мишю. Готар в качестве разведчика ехал первым.

— Раз наше состояние будет восстановлено,— по крайней мере частично,— выходите замуж за брата,— тихо сказал младший.—Он боготворит вас, а для дворян нашего времени вы будете достаточно богаты.

— Нет. Оставьте ему все это состояние, и я выйду за вас; моих денег хватит на нас обоих,— ответила она.

— Пусть будет по-вашему! — воскликнул маркиз де Симез.— Я откажусь от вас и буду искать женщину, которая была бы достойна называться вашей сестрой.

— Видно, вы любите меня меньше, чем я ожидала,— возразила Лоранса, кинув на него ревнивый взгляд.

— Нет. Просто я люблю вас обоих больше, чем вы меня,— ответил маркиз.

— Значит, вы жертвуете собою? — спросила Лоранса старшего Симеза и бросила ему взгляд, в котором на миг сказалось предпочтение.

Маркиз промолчал.

— Тогда я начну думать только о вас, и это будет невыносимо для моего мужа,— продолжала Лоранса, у которой молчание маркиза вызвало жест досады.

— А как мне жить без тебя? — воскликнул младший, взглянув на брата.

— Однако не можете же вы выйти за нас обоих,— сказал маркиз.— И надо, наконец, принять решение,— добавил он резковато, как человек, задетый за живое.

Он пришпорил коня, чтобы д'Отсэры не слышали их разговора. Лошади младшего брата и Лорансы тоже прибавили ходу. Когда трое всадников значительно опередили остальных, Лоранса хотела было заговорить, но слезы помешали ей.

— Я уйду в монастырь,— сказала она наконец.

— И вы допустите, чтобы род Сен-Синей угас?—возразил младший де Симез.— А вместо одного несчастного, который на все согласен, вы сделаете несчастными двоих? Нет, тот из нас, кто останется лишь вашим братом, примирится со своей участью. Когда мы узнали, что не так бедны, как думали, мы с ним объяснились,— сказал он, глядя на маркиза.— Если избранником окажусь я,— все наше состояние отойдет к брату. Если же счастье мне не суждено,— он уступает мне все состояние вместе с титулом, потому что сам примет имя Сен-Синей. В любом случае у того, кто будет лишен счастья, останется хоть возможность устроить свою жизнь. Наконец, если отвергнутый почувствует, что не в силах жить, он отправится на войну, чтобы там погибнуть и не омрачать счастья супругов.

— Мы как средневековые рыцари, мы достойны наших предков! — воскликнул старший.— Слово за вами, Лоранса.

— Мы хотим положить конец этой неясности,— сказал младший.

— Не думай, Лоранса, что в самоотречении нет услады,— заметил старший.

— Дорогие мои, любимые,—ответила она,—я не могу выбрать. Я люблю вас обоих, словно вы одно существо,— так любила вас ваша мать. Господь нам поможет. Я отказываюсь от выбора. Положимся на волю судьбы,— но тут я ставлю одно условие.

— Какое?

— Тот из вас, кто будет мне братом, останется подле меня до тех пор, пока я сама не отпущу его. Я хочу быть единственным судьей в вопросе о том, когда ему удалиться.

— Хорошо,— ответили оба брата, не задумываясь над этим пожеланием, высказанным кузиной.

— Тот, к кому первому обратится госпожа д'Отсэр сегодня вечером за столом после молитвы,— тот и будет мне мужем. Только не прибегайте к уловкам и сами не вызывайте ее на разговор.

— Игра будет честной,— сказал младший.

Оба поцеловали руку Лорансы. Уверенность в близкой развязке,— причем каждый еще мог надеяться, что она будет благоприятной именно для него,— привела близнецов в самое веселое настроение.

— Как бы то ни было, милая Лоранса, ты подаришь миру нового графа де Сен-Синя,— сказал старший.

— И мы бросаем жребий,— кому больше не быть Симезом,— сказал младший.

— Видно, хозяйке уж недолго оставаться в девушках,— заметил Мишю, ехавший позади д'Отсэров,— что-то господа мои больно повеселели. Если хозяйка объявит о своем выборе,— я подожду уезжать, мне хочется быть на этой свадьбе.

Д'Отсэры промолчали. Вдруг между братьями и Мишю пролетела сорока, и преданному Мишю, который, как все малоразвитые люди, был суеверен, почудилось, будто он слышит погребальный звон. Итак, для влюбленных день начался весело,— ведь когда они вместе гуляют по лесу, они вряд ли замечают сорок. Мишю при помощи плана отыскал место, где были зарыты деньги; молодые люди вооружились кирками, и клад был извлечен из земли; та часть леса, где его зарыли, безлюдна, поблизости ни дорог, ни жилья; таким образом, караван с золотом ни с кем не повстречался. И это обернулось бедой. Возвращаясь из Сен-Синя за последней частью

клада, всадники, ободренные успехом, решили ехать не прежним, окольным путем, а напрямик. Дорога теперь шла верхом холма, откуда был виден Гондревильский парк.

— Огонь! — воскликнула Лоранса, заметив столб голубоватого дыма.

— Вероятно, иллюминация,— ответил Мишю.

Лоранса, знавшая в лесу каждую тропку, отделилась от каравана и поскакала к сен-синьскому домику, бывшему обиталищу Мишю. Хотя флигель был пуст и заперт, калитка оказалась отворенной, и девушку поразили следы копыт: здесь, видимо, проехало несколько всадников. Столб дыма подымался над одной из лужаек английского парка, и Лоранса решила, что там, вероятно, жгут сорные травы.

— Ах, и вы в этом участвуете! — воскликнул Виолет; он галопом выскочил из парка на своей кляче и остановился перед Лорансой.—Но ведь это только карнавальная шутка, не правда ли? Его не убьют?

— Кого?

— Ваши братья не хотят его смерти?

— Чьей смерти?

— Сенатора.

— Ты рехнулся, Виолет!

— Тогда что же вы тут делаете? — спросил он.

При мысли об опасности, которая грозит ее кузенам, бесстрашная всадница пришпорила коня и вернулась на место раскопок в ту минуту, когда на лошадей навьючивали последние мешки.

— В лесу неспокойно! Не знаю, что происходит, но вернемся поскорее в Сен-Синь.

В то время как молодые дворяне были заняты перевозкой ценностей, спасенных старым маркизом, в замке Гондревиль разыгрывалась странная сцена.

В два часа пополудни сенатор и его друг Гревен играли в шахматы у камина в большой гостиной первого этажа. Жена сенатора и г-жа Марион беседовали, сидя неподалеку на диване. Вся прислуга замка отправилась на веселый маскарад, давно уже объявленный в арсийском округе. Семейство лесничего, жившее теперь вместо Мишю в сен-синьском домике, тоже отправилось на праздник. В замке оставались лишь камердинер сенато-

ра да Виолет. Привратник и два садовника с женами никуда не пошли; но их домик стоял у въезда во двор, где расположены службы, в самом конце аллеи, ведущей в Арси, а расстояние, отделяющее этот двор от замка, было столь велико, что не услышишь даже ружейного выстрела, да и все эти люди стояли на крыльце своего домика и смотрели в сторону Арси, до которого было полмили, надеясь увидеть отсюда шествие ряженых. Виолет ожидал в большой приемной, когда его примет сенатор, чтобы втроем с Гревеном обсудить вопрос о продлении аренды. В это время пятеро мужчин в масках и перчатках, схожие ростом, походкой и манерами с господами д'Отсэрами, де Симезами и Мишю, бросились на камердинера и Виолета, заткнули им рты платками и привязали их к стульям в лакейской. Несмотря на проворство напавших, камердинер и Виолет все же успели вскрикнуть. Их крик донесся до гостиной. Женщины решили, что кто-то зовет на помощь.

— Слышите! — сказала г-жа Гревен.— Это воры.

— Да что ты! Это кричат ряженые,— возразил Гревен,— сейчас они явятся в замок.

Пока они пререкались, пятеро незнакомцев успели запереть входные двери со стороны парадного двора, а также дверь в комнату, где находились связанные камердинер и Виолет. Однако г-жа Гревен, женщина довольно упрямая, решила во что бы то ни стало выяснить, что это за шум; она вышла из гостиной и попала прямо в руки пяти масок, которые обошлись с нею совершенно так же, как с Виолетом и камердинером; затем они ворвались в гостиную, и двое самых сильных схватили графа Гондревиля, заткнули ему рот и потащили в парк, в то время как трое остальных связывали и затыкали рты г-же Марион и нотариусу, не успевшим даже вскочить с места. Все это нападение заняло не более получаса. Трое незнакомцев, к которым вскоре присоединились и те двое, что унесли сенатора, обыскали весь замок, от подвалов до чердака. Они отперли все шкафы, не взломав при этом ни одного замка, они выстукали все стены — словом, до пяти часов вечера вели себя здесь полными хозяевами. К этому времени камердинеру удалось мало-помалу перегрызть веревки, которыми были связаны руки Виолета. Виолет, освободившись от кляпа,

стал звать на помощь. Услышав его крики, пятеро незнакомцев вышли в парк, вскочили на лошадей, очень похожих на сен-синьских, и скрылись, но Виолет все же успел их увидеть. Развязав камердинера, который поспешил освободить женщин и нотариуса, Виолет сел на свою шуструю лошадку и погнался за злоумышленниками. Доехав до охотничьего домика, он с удивлением увидел и настежь распахнутые ворота и стоящую на страже мадемуазель де Сен-Синь.

Едва молодая графиня скрылась, как Виолета нагнали Гревен и полевой объездчик гондревильской общины, которому привратник дал лошадь из графских конюшен. Жена привратника отправилась в Арси — уведомить о случившемся жандармерию. Виолет тотчас же рассказал Гревену о своей встрече с Лорансой и о бегстве этой смелой девушки, энергия и решительность которой были им давно известны.

— Она стояла на страже! — заключил Виолет.

— Неужели это дело рук сен-синьских дворян?—воскликнул Гревен.

— Как? — удивился Виолет.— Разве вы не узнали толстяка Мишю? Это он на меня набросился. У него особая хватка, я сразу узнал его. Да и лошади были сен-синьские.

Обнаружив следы копыт на песке возле подъезда и в парке, нотариус поручил полевому объездчику не отходить от ограды и позаботиться о сохранности этих следов, а Виолета послал в Арси за судьей, чтобы установить их наличие. Затем он поспешно вернулся в гостиную Гондревильского замка, куда только что прибыли офицер имперской жандармерии с унтер-офицером и четырьмя жандармами. Этот офицер, по фамилии Жиге, как легко догадаться, был тем самым вахмистром, которому два года назад Франсуа проломил голову, а Корантен объяснил, кто именно его коварный противник. Брат офицера служил в артиллерии и стал впоследствии одним из лучших командиров, а сам Жиге показал себя весьма способным жандармом. Позднее он командовал эскадроном департамента Об. Помощник его, по имени Вельф, некогда сопровождал Корантена из Сен-Синя до флигеля, а от флигеля — в Труа. Дорогою парижанин в достаточной мере просветил фараона насчет того, что он назы-

вал наглостью Лорансы и Мишю. Поэтому оба офицера должны были проявить и действительно проявили особое рвение в преследовании обитателей Сен-Синя. И Мален и Гревен недавно рука об руку принимали участие в составлении так называемого Брюмерского Кодекса IV года — юридического творения так называемого Национального Конвента, которое было официально обнародовано Директорией. Поэтому Гревен досконально знал этот Кодекс, что давало ему возможность действовать в данном случае с угрожающей быстротой, ибо он руководствовался предвзятым мнением, превратившимся теперь в уверенность, что Мишю, господа д'Отсэры и де Симезы виновны. В наше время никто уже, кроме нескольких старых чиновников, не помнит этой системы судопроизводства, отменой которой именно в те годы был занят Наполеон, вводя в действие свои Кодексы и учреждая тот административный аппарат, который и поныне управляет Францией.

Брюмерский Кодекс IV года обязывал председателя департаментского совета присяжных лично заняться правонарушением, совершенным в Гондревиле. Заметим кстати, что Конвент исключил из юридического языка слово «преступление». Он допускал лишь нарушения закона, караемые штрафом, лишением свободы, наказаниями нравственными и телесными. Смертная казнь относилась к наказаниям телесным. Однако после заключения мира предполагалось упразднить смертную казнь, заменив ее двадцатью четырьмя годами каторжных работ. Следовательно, Конвент полагал, что двадцать четыре года каторги равносильны смертной казни. Что же сказать об уложении о наказаниях, предусматривающем пожизненную каторгу? Новое уложение, подготовлявшееся тогда наполеоновским государственным советом, отменяло административные функции председателей советов присяжных; в их руках действительно сосредоточивалась огромная власть. В отношении преследования правонарушений и привлечения к суду председатель совета присяжных одновременно являлся своего рода агентом судебной полиции, королевским прокурором, судебным следователем и королевским судом. Но мероприятия председателя и составленное им обвинительное заключение должны были визироваться комиссаром испол-

нительной власти и утверждаться вердиктом восьми присяжных, которым он излагал данные, добытые следствием; присяжные выслушивали показания свидетелей, обвиняемых и выносили первый вердикт, называвшийся вердиктом обвинения. Председатель неизбежно оказывал на присяжных, собиравшихся в его кабинете, столь большое влияние, что они были просто-напросто его подголосками. Эти люди представляли собой совет присяжных обвинения. Были и другие присяжные, составлявшие жюри при уголовном суде, где разбирались дела обвиняемых. В отличие от присяжных обвинения эти назывались присяжными суда. Уголовный трибунал, который Наполеон только что переименовал в уголовный суд, состоял из председателя, четырех судей, общественного обвинителя и правительственного чиновника. Однако между 1799 и 1806 годами в некоторых департаментах существовали еще так называемые чрезвычайные суды, где рассматривались без участия присяжных дела о покушениях особого рода; эти дела слушались судьями из гражданского трибунала, который в таких случаях преобразовался в чрезвычайный суд. При столкновениях чрезвычайного суда с уголовным возникали вопросы о компетенции суда в том или ином деле; эти вопросы разрешались кассационным трибуналом. Если бы в департаменте Об был свой чрезвычайный суд, то покушение на сенатора Империи, конечно, подлежало бы такому суду; но в этом мирном департаменте чрезвычайного суда не было. Потому Гревен и послал унтер-офицера к председателю совета присяжных в Труа. Фараон помчался туда во весь опор и вернулся в Гондревиль на почтовых, везя с собою этого почти всесильного чиновника.

Председатель совета присяжных города Труа был до революции судейским чиновником, потом платным секретарем одной из комиссий Конвента и был другом Малена, который и устроил его на теперешнее место. Этот чиновник, по имени Лешено, оказался подлинным знатоком старого уголовного судопроизводства и, как и Гревен, немало помог Малену в его судебно-законодательной работе в Конвенте. Поэтому-то Мален рекомендовал его Камбасересу, который назначил Лешено главным прокурором в Италию. Но Лешено повредил своей

карьере тем, что вступил в связь со знатной туринской дамой, и Наполеону пришлось его сместить, дабы избавить от привлечения к исправительному суду, куда обратился муж этой дамы, требуя признания одного из ее детей незаконным. Лешено, столь многим обязанный Малену и понимавший всю серьезность такого покушения, привез с собой жандармского капитана и отряд жандармов в двенадцать человек.

Перед отъездом он, конечно, повидался с префектом, но последний, из-за ночного времени, не мог воспользоваться телеграфом. Поэтому в Париж была послана эстафета, чтобы уведомить министра полиции, верховного судью и самого императора о неслыханном преступлении. Лешено застал в гондревильской гостиной г-жу Марион, г-жу Гревен, Виолета, сенаторского камердинера и местного судью с писарем. В замке уже произвели обыск. Судья с помощью Гревена тщательно собирал первые данные расследования. Его прежде всего поразила обдуманность преступления, о чем свидетельствовал выбор дня и часа. Было уже около шести часов вечера, и это не позволяло тотчас приняться за поиски следов и улик. В это время года в половине шестого,— когда Виолет получил возможность броситься вслед за преступниками,— становится уже почти темно; а для злоумышленников темнота нередко— спасение. Выбрать праздничный день, когда все уходили на маскарад в Арси и сенатор должен был остаться у себя в доме один,— разве это не значило ловко избавиться от свидетелей?

— Отдадим должное проницательности полицейских агентов,— сказал Лешено.— Они беспрестанно предостерегали нас от сен-синьских дворян и предупреждали, что рано или поздно, но они непременно совершат какую-нибудь подлость.

Вполне полагаясь на распорядительность префекта департамента Об, который разослал во все префектуры, находившиеся вокруг Труа, эстафеты с просьбой о розыске сенатора и пяти неизвестных в масках, Лешено приступил к следствию. С такими ловкими законниками, какими были Гревен и судья, дело пошло быстро. Судью по имени Пигу, бывшего старшего клерка в парижской конторе, где Мален и Гревен изучали судопроизводство, три месяца спустя назначили председателем арсийского су-

да. Что касается Мишю, то Лешено был осведомлен об угрозах этого человека по адресу г-на Мариона и о западне, которой сенатор случайно избежал в своем парке. Эти два факта, один из которых был следствием другого, надлежало рассматривать как первые провозвестники позднейшего покушения, и предположение, что бывший лесничий является главарем злоумышленников, казалось тем убедительнее, что Гревен, его жена, Виолет и г-жа Марион заявили, будто в числе пяти человек в масках один был очень похож на Мишю. Цвет волос, цвет бакенбард, коренастая фигура изобличали его. Да и кто другой, кроме Мишю, мог бы открыть ворота Сен-Синя своим ключом? Сторож и его жена были по возвращении из Арси допрошены и показали, что ворота находились на запоре. При осмотре зàмка, произведенном судьей в присутствии полевого сторожа и писаря, не было обнаружено никаких признаков взлома.

— Когда Мишю выгнали, он, вероятно, оставил у себя запасные ключи от зàмка,— сказал Гревен.— Видимо, он задумал какой-нибудь совсем отчаянный фортель, потому что в три недели распродал все свое достояние и вчера в моей конторе получил за него деньги.

— Они взвалили все это на его плечи! — воскликнул Лешено, пораженный таким совпадением.— Видно, он готов за них душу отдать.

Кто мог лучше господ де Симезов и д'Отсэров знать внутреннее устройство замка? Нападавшие не сделали ни малейшей ошибки при своих поисках, они всюду шли уверенно, и это говорило о том, что шайка прекрасно знала, чтò ей нужно и, в особенности, где это нужное найти. Ни один из отпертых шкафов не был взломан. Следовательно, у злоумышленников имелись ключи от всего, и, как это ни странно, они не позволили себе ни малейшей кражи. Следовательно, дело не в ограблении. Наконец, Виолет, опознавший сен-синьских лошадей, застал графиню на страже у флигеля. Таким образом, вся совокупность фактов и свидетельских показаний давала даже самому беспристрастному правосудию столь веские основания заподозрить де Симезов, д'Отсэров и Мишю, что в глазах любого председателя совета присяжных эти подозрения должны были стать достоверностью. Но что же

намеревались сделать с будущим графом де Гондревилем? Заставить его отступиться от имения, купить которое еще с 1799 года собирался Мишю, заявлявший, что у него денег хватит?

Ученый криминалист задавался вопросом: какую цель мог преследовать тщательный обыск, произведенный в замке? Если бы имелась в виду месть, преступники могли бы прикончить Малена. Быть может, сенатор убит и похоронен? Похищение его, однако, говорило о намерении только лишить его общения с окружающими. А зачем это нужно было после того, как злоумышленники перерыли весь замок? Разумеется, было бы безумием предполагать, что похищение видного сановника Империи может долго оставаться тайной. Быстрая и неминуемая огласка такой неслыханной дерзости сводила на нет ее результаты.

На это Пигу возразил, что правосудие лишено возможности проникать решительно во все побуждения преступников. Во всяком уголовном деле и для судей и для подсудимых всегда остается нечто неясное; в человеческой совести есть такие бездны, которые могут быть освещены лишь в случае признания самих виновных.

Гревен и Лешено одобрительно кивнули головой, но все их внимание было по-прежнему приковано к тайне, в которую они стремились проникнуть.

— А ведь император помиловал их,—заметил Пигу, обращаясь к Гревену и к г-же Марион,— он исключил их из списков эмигрантов, хотя они и принимали участие в недавнем заговоре против него!

Лешено немедля отправил весь отряд жандармов в сен-синьский лес и в долину; жандармского офицера Жиге должен был сопровождать судья, который, при таких обстоятельствах, становился, согласно Кодексу, чиновником вспомогательной судебной полиции: Лешено поручил ему собрать в сен-синьской общине все данные для следствия, при надобности подвергнуть людей допросу и, для скорости, тут же продиктовал и подписал ордер на арест Мишю, улики против которого казались неоспоримыми. После отъезда жандармов и судьи Лешено вновь занялся важным делом, а именно составлением ордеров на арест Симезов и д'Отсэров. Согласно Кодексу, эти документы должны были содержать в себе все

обвинения, предъявляемые преступнику. Жиге и судья ехали в Сен-Синь так быстро, что по дороге встретили сен-синьских слуг, возвращавшихся из Труа. Люди эти были задержаны и отведены к мэру, где их подвергли допросу, и все они, не подозревая важности своих ответов, простодушно заявили, что да, накануне им разрешили отлучиться на весь день в город. На вопрос судьи все они ответили, что мадемуазель сама предложила им это развлечение, о котором они и не помышляли. Эти данные показались судье настолько важными, что он отправил фараона в Гондревиль с просьбой, чтобы г-н Лешено лично занялся арестом сен-синьских дворян, дабы действовать одновременно; сам же судья решил отправиться на ферму Мишю и захватить там предполагаемого главаря злоумышленников. Эти новые данные представлялись столь убедительными, что Лешено тотчас же поехал в Сен-Синь, поручив Гревену тщательно охранять следы, оставленные лошадьми в парке. Председатель присяжных знал, какое удовольствие он доставит жителям Труа, возбудив дело против бывших дворян, против врагов народа, ставших теперь врагами императора. В подобном настроении чиновник легко принимает простые предположения за неопровержимые доказательства. Едучи из Гондревиля в Сен-Синь в карете сенатора, Лешено, несомненно занявший бы высокий пост, если бы не связь, из-за которой он попал в немилость (ибо император стал рьяным блюстителем добродетели), все же думал о том, что слишком уж безрассудна дерзость молодых дворян и Мишю и что она плохо вяжется с незаурядным умом девицы де Сен-Синь. В глубине души он подозревал, что тут действовали какие-то другие причины, а не простое желание принудить сенатора уступить им Гондревиль. Всюду, даже в судейском сословии, существует нечто, что̀ можно назвать профессиональной совестью. Именно такого рода совесть и вызвала колебания Лешено, ибо каждый стремится согласовать с ней свою любимую деятельность: ученые — науку, художники — искусство, судьи — правосудие. Поэтому в отношении подсудимых судьи, пожалуй, щепетильнее присяжных. Судья доверяет лишь законам разума, в то время как присяжный позволяет увлечь себя порывам чувств. Старшина присяжных задал самому себе несколь-

ко вопросов, правильныи ответ на которые он надеялся получить при самом аресте преступников. Хотя весть о похищении Малена уже взбудоражила весь город Труа, в Арси еще в восемь часов вечера об этом никто не знал; обыватели мирно сидели за ужином, в то время как из города уже были вызваны жандармерия и судья; не знал об этом никто и в Сен-Сине, ибо замок и вся долина были снова оцеплены, но на этот раз уже не полицией, а представителями правосудия: если соглашение еще возможно с первою, то с последним оно зачастую уже немыслимо.

Лорансе достаточно было приказать Марте, Катрине и чете Дюрие никуда не отлучаться из замка и не выглядывать наружу, чтобы они в точности исполнили ее распоряжение. После каждой поездки в лес лошадей оставляли на дороге в старой канаве, возле пролома в стене, а отсюда Робер и Мишю, самые сильные из всего отряда, незаметно переносили мешки через брешь в подвал, расположенный под лестницей так называемой «Барышниной башни». Вернувшись в замок в шестом часу вечера, четверо дворян и Мишю тотчас же принялись зарывать золото. Лоранса и д'Отсэры считали, что вход в подвал надо замуровать. За эту работу взялся Мишю, а помогать ему должен был Готар, который тут же побежал на ферму взять несколько мешков извести, оставшиеся после постройки дома. Марта же вернулась к себе, чтобы тайком выдать их Готару. Ферма, построенная для Мишю, стояла на холме, с которого он некогда увидел жандармов, а дорога туда шла оврагом. Мишю сильно проголодался и так спешил, что к половине восьмого все уже было кончено. Он быстрым шагом пошел домой, намереваясь предупредить Готара, чтобы тот не приносил последнего мешка извести, который, как сначала казалось, еще понадобится. Ферма была уже оцеплена; сен-синьский полевой сторож, судья, писарь и три жандарма, услышав шаги Мишю, попрятались, чтобы дать ему войти в дом.

Мишю встретил Готара, шедшего с мешком на плече, и издалека крикнул ему:

— Кончено, малыш! Тащи его назад и пообедай с нами.

Мишю, весь в поту, перепачканный известью, грязью

и песком, весело вошел к себе в кухню, где Марта с матерью поджидала его, чтобы подать суп.

В ту минуту, когда Мишю открывал водопроводный кран, собираясь вымыть руки, вошел судья, а вслед за ним писарь и полевой сторож.

— Чем можем служить, господин Пигу? — спросил Мишю.

— Именем императора и закона, я арестую вас! — провозгласил судья.

Тут появились три жандарма; они ввели Готара. При виде треуголок с галуном Марта и ее мать в ужасе переглянулись.

— Вот как? А за что? — спросил Мишю и, сев к столу, обратился к жене: — Подай мне, до смерти есть хочется.

— Сами знаете, за что,— сказал судья и, предварительно показав Мишю ордер на арест, дал знак писарю, чтобы тот приступил к составлению протокола.

— Что ты разинул рот, Готар? Будешь обедать или нет? — спросил Мишю.— Пусть себе пишут на здоровье, что им вздумается.

— Вы признаете, что платье на вас испачкано и порвано? — спросил судья.— Вы не отрицаете также тех слов, которые сказали Готару сейчас во дворе?

Марта, пораженная хладнокровием мужа, подавала ему обед, а Мишю ел жадно, как очень проголодавшийся человек, и не отвечал судье; рот у него был набит, а совесть чиста. Зато у Готара от ужаса кусок не шел в горло.

— Послушайте,— шепнул полевой сторож на ухо Мишю,— куда вы девали сенатора? Ведь вам, как говорят судейские, грозит смертная казнь.

— О боже мой! — воскликнула Марта, расслышавшая последние слова сторожа, и упала, точно сраженная молнией.

— Наверно, Виолет сыграл с нами какую-нибудь скверную штуку! — воскликнул Мишю, вспомнив рассказ Лорансы.

— А, так вам известно, что Виолет вас видел?—подхватил мировой судья.

Мишю прикусил язык и решил, что больше не произнесет ни слова. Готар благоразумно последовал его при-

меру. Убедившись, что все попытки заставить Мишю говорить бесполезны, зная к тому же, что он слывет в округе человеком коварным, судья распорядился связать ему и Готару руки и увести их в сен-синьский замок, куда направился и сам, рассчитывая застать там старшину присяжных.

Молодые дворяне и Лоранса так проголодались и им так хотелось поскорее сесть за стол, что они предпочли не тратить времени на переодевание. В столовую, где их уже с некоторой тревогой поджидали супруги д'Отсэры, Лоранса явилась в амазонке, а молодые люди в лосинах, ботфортах и зеленых суконных куртках. Старичок перед тем заметил, что они то уезжают куда-то, то возвращаются, а главное, что они относятся к нему с недоверием; но ведь не могла же Лоранса услать его из дому, как своих слуг. И после того как один из сыновей уклонился от ответа на его вопрос и убежал, старик признался жене:

— Боюсь, как бы Лоранса опять какой-нибудь штуки не выкинула!

— На что же вы сегодня охотились? — спросила г-жа д'Отсэр у Лорансы.

— Погодите, в свое время узнаете, в каком ужасном деле приняли участие ваши сыновья,— ответила та, смеясь.

Хотя это было сказано шутя, тем не менее ответ Лорансы страшно испугал пожилую даму. Катрина доложила, что кушать подано. Графиня взяла под руку старика д'Отсэра и лукаво улыбнулась при мысли о том, какую каверзу она подстроила кузенам; теперь одному из них придется предложить руку г-же д'Отсэр, которой благодаря их сговору предстоит сыграть роль прорицательницы.

Госпожу д'Отсэр повел к столу маркиз де Симез. После прочтения молитвы настала столь торжественная минута, что сердца Лорансы и ее кузенов бурно забились. Г-жа д'Отсэр, разливавшая суп, была поражена внезапным волнением близнецов и непривычно покорным видом Лорансы.

— Видимо, произошло что-то из ряда вон выходящее? — воскликнула она, глядя поочередно на всех троих.

«З. Маркас».

«Темное дело».

— К кому вы обращаетесь? — спросила Лоранса.

— Да ко всем вам,— ответила г-жа д'Отсэр.

— Что касается меня, матушка, то я голоден как волк,— ответил Робер.

Взволнованная г-жа д'Отсэр протянула маркизу де Симезу тарелку, которая предназначалась младшему брату.

— Я, как в свое время ваша мать, постоянно путаю вас, несмотря на галстуки. Я думала, что предлагаю суп вашему брату,— сказала она, обращаясь к маркизу.

— Вы предложили ему гораздо большее, чем думаете,— сказал младший, бледнея.— Отныне он — граф де Сен-Синь.

Бедный юноша, обычно такой веселый, навсегда утратил жизнерадостность; но он нашел в себе силу взглянуть на Лорансу с улыбкой и подавить безграничное сожаление. В один краткий миг влюбленность растворилась в братской любви.

— Как? Разве графиня решила, кого ей выбрать? — воскликнула г-жа д'Отсэр.

— Нет,— отозвалась Лоранса,— мы предоставили решить этот вопрос судьбе, а вы стали ее орудием.

И Лоранса рассказала о соглашении, заключенном ими в то утро. Старший де Симез, видя, как внезапная бледность покрыла лицо его брата, еле сдерживался, чтобы не воскликнуть: «Женись ты на ней, а я удалюсь и умру». Когда стали подавать сладкое, обитатели Сен-Синя услышали стук в окно столовой со стороны сада. Старший д'Отсэр пошел к двери и впустил кюре; брюки священника были разорваны о колючки ограды, через которую он перелез.

— Бегите скорее! Вас собираются арестовать.

— Почему?

— Я еще не знаю, но за вами идут.

Эти слова были встречены дружным смехом.

— Да мы ни в чем не повинны!—воскликнули молодые люди.

— Повинны или неповинны,— ответил кюре,— а скорее садитесь на лошадей и мчитесь к границе. Потом докажете свою невиновность. Заочное осуждение можно обжаловать, но нельзя обжаловать приговор, порожденный народными страстями и подготовленный предрас-

судками. Вспомните слова президента де Арлэ: «Если бы меня обвинили в том, что я украл башни собора Парижской богоматери,— я прежде всего сбежал бы».

— Но ведь бежать — значит признать себя виновным,— возразил маркиз де Симез.

— Не бегите!.. — сказала Лоранса.

— Опять эти возвышенные глупости!—воскликнул в отчаянии кюре.— Будь я всемогущим богом, я вас унес бы. Но если меня здесь застанут, особенно в таком виде, мой необычный визит обратят и против вас и против меня, поэтому я бегу той же дорогой. Подумайте же о том, что я сказал. Еще есть время. Чиновники забыли, что стена вашего сада выходит в мой сад,— а со всех других сторон вы окружены.

Советы бедного кюре имели не больше успеха, чем советы маркиза де Шаржбефа, но едва кюре успел уйти, как во дворе раздался шум приближавшейся толпы и лязг жандармских сабель. Эти звуки донеслись до гостиной.

— Такая общность наших жизней чудовищна,— с грустью сказал младший Симез Лорансе,— и любовь наша — чудовищная любовь. Она тронула ваше сердце. Быть может, все близнецы, история которых нам известна, были так несчастны именно потому, что их появление на свет противоречит законам природы. А что касается нас — смотрите, как беспощадно нас преследует судьба. Рок самым жестоким образом откладывает осуществление принятого вами решения.

Лоранса была ошеломлена. В ушах у нее стоял какой-то шум, и сквозь него она услышала зловещие слова председателя совета присяжных:

— Именем императора и закона, я арестую господ Поля-Мари и Мари-Поля Симезов, Адриена и Робера д'Отсэров. Эти господа,— добавил он, указывая сопровождающим его лицам на грязь, приставшую к платью арестованных,— вероятно, не станут отрицать, что часть нынешнего дня они провели верхом?

— В чем же вы их обвиняете? — гордо спросила мадемуазель де Сен-Синь.

— А барышню вы не задерживаете? — спросил Жиге.

— Я оставляю ее на свободе, на поруки, впредь до рассмотрения имеющихся против нее улик.

Гулар предложил свое поручительство и попросил ее только дать слово, что она не скроется. Лоранса смерила бывшего доезжачего Симезов таким уничтожающим взглядом, который сделал этого человека ее смертельным врагом; по щеке ее скатилась слеза — одна из тех слез ярости, что́ говорят об адских муках. Четверо дворян угрюмо переглянулись и застыли на месте. Душевное состояние супругов д'Отсэров, решивших, что молодые люди и Лоранса что-то от них скрыли, было неописуемо,— казалось, стариков пригвоздили к их креслам; у них отнимали детей, за жизнь которых они так долго дрожали и которых только что обрели,— и вот они слушали, не слыша, смотрели, не видя.

— Могу я просить вас быть моим поручителем, господин д'Отсэр? — воскликнула Лоранса, обращаясь к своему бывшему опекуну; старик встрепенулся от этого возгласа, который показался ему пронзительным и душераздирающим, как звук трубы, призывающей на Страшный суд.

Он вытер набежавшие слезы, все понял и слабым голосом ответил питомице:

— Простите, графиня, ведь вы знаете, что я предан вам душой и телом.

Лешено, сначала пораженный спокойствием этих преступников, застигнутых за мирной трапезой, вновь укрепился в убеждении, что они виновны, когда увидел изумление родителей и озабоченность Лорансы, которая старалась отгадать, где кроется расставленная ей западня.

— Господа,— вежливо сказал он,— вы слишком благовоспитанные люди, чтобы оказывать бесполезное сопротивление; следуйте все четверо за мною на конюшню, нам необходимо в вашем присутствии расковать лошадей, ибо эти подковы явятся важным вещественным доказательством на суде и, быть может, подтвердят вашу невиновность или же, наоборот, вашу вину. Вы тоже идите с нами, мадемуазель...

Сен-синьский кузнец и его помощник были вызваны старшиной присяжных в качестве сведущих лиц. Пока в конюшне занимались этим делом, судья привел Готара и

Мишю. Расковка лошадей и обмер подков с целью сличения их оттисков со следами, оставленными в парке лошадьми преступников, заняли довольно много времени. Все же, когда Лешено доложили о приезде Пигу, он поручил арестованных жандармам и вернулся в столовую, чтобы продиктовать протокол, а судья обратил его внимание на испачканную одежду Мишю и рассказал ему об обстоятельствах, при которых последний был арестован.

— Сенатора они, по-видимому, убили и где-нибудь замуровали,— сказал в заключение Пигу.

— Теперь и я этого опасаюсь,— ответил судья.— Куда ты носил известку? — спросил он Готара.

Готар расплакался.

— Он боится судейских,— вмешался Мишю, глаза которого метали пламя, как глаза льва, попавшегося в сеть.

Тем временем вернулись все слуги, задержанные в доме мэра; они столпились в передней, где нашли плачущих супругов Дюрие и Катрину, и от них узнали, насколько важны данные ими показания. Готар на все вопросы старшины присяжных и судьи отвечал рыданиями; под конец он довел себя до какого-то припадка с судорогами, и это так напугало чиновников, что они решили оставить его в покое. Когда за ним перестали наблюдать, плутишка взглянул на Мишю и улыбнулся, а Мишю дал ему понять, что одобряет его поведение. Лешено оставил судью в гостиной, а сам пошел поторопить экспертов.

— Сударь, можете вы нам сказать, почему их арестовали? — спросила наконец г-жа д'Отсэр, обращаясь к Пигу.

— Их обвиняют в том, что они совершили вооруженное нападение на сенатора, похитили его и где-то спрятали, ибо мы все-таки не допускаем, чтобы они его убили, хотя многое и говорит за это.

— А какое наказание полагается человеку, который виновен в таком преступлении? — спросил старичок.

— Согласно прежним законам, не отмененным новым Кодексом и, следовательно, оставшимся в силе, это карается смертной казнью,— ответил судья.

— Смертной казнью! — воскликнула г-жа д'Отсэр и лишилась чувств.

Тут вошел кюре с сестрой; мадемуазель Гуже позвала Катрину и жену Дюрие.

— Да мы и в глаза не видали его, вашего проклятого сенатора! — воскликнул Мишю.

— Этого не скажут ни господин Марион, ни господин Гревен, ни его супруга, ни сенаторский камердинер, ни Виолет,— возразил Пигу с ехидной улыбочкой крючкотвора, уверенного в своей правоте.

— Ничего не понимаю,— промолвил Мишю, ошеломленный этим ответом; у него возникло опасение, не попался ли он вместе с хозяевами в какую-то западню, расставленную врагами.

Тем временем все вернулись из конюшни. Лоранса бросилась к г-же д'Отсэр, которая, едва очнувшись, проговорила:

— Им грозит смертная казнь!

— Смертная казнь! — повторила Лоранса, взглянув на четверых юношей.

Эти слова повергли всех в ужас, и Жиге — человек, прошедший школу Корантена — поспешил воспользоваться минутным замешательством.

— Все еще может уладиться,— сказал он, уводя маркиза де Симеза в уголок.— Может быть, это только шутка? Черт побери, вы ведь служили в армии. Солдаты всегда поймут друг друга. Куда вы девали сенатора? Если вы его убили — этим все сказано. Но если вы его только запрятали — так освободите. Ведь сами видите,— затея не удалась Я уверен, что председатель совета присяжных, с согласия сенатора, замнет это дело.

— Мы решительно ничего не понимаем в ваших расспросах,— ответил маркиз де Симез.

— Если вы намерены отвечать в таком тоне,— ничего хорошего не выйдет,— заметил офицер.

— Милая кузина,— сказал маркиз де Симез,— нас отправляют в тюрьму, но вы не тревожьтесь, через несколько часов мы вернемся. Тут какое-то недоразумение, оно быстро разъяснится.

— От души вам этого желаю, господа,— сказал судья и подал Жиге знак увести четырех дворян, Готара и Мишю.— Не отправляйте их в Труа,— обратился он к офицеру,— а возьмите их в Арси и держите у себя в ка-

раулке; завтра днем они должны присутствовать при сличении подков их лошадей со следами в парке.

Лешено и Пигу уехали только после того, как сняли допрос с Катрины, супругов д'Отсэров и Лорансы. Оба Дюрие, Катрин и Марта показали, что видели своих господ лишь во время завтрака; г-н д'Отсэр заявил, что видел их в три часа дня. Когда в полночь Лоранса оказалась одна со стариками д'Отсэрами, аббатом Гуже и его сестрой, без четырех молодых людей, которые в течение полутора лет были жизнью этого замка, предметом любви и радости,— она глубоко задумалась, и никто не решился нарушить ее молчания. Скорбь ее была безгранична, бездонна. Наконец кто-то вздохнул, присутствующие оглянулись.

Марта, забившаяся в уголок, поднялась и сказала:

— Казнь!.. Барышня, а ведь их убьют, хоть они и не виноваты.

— Что вы наделали! — прошептал кюре.

Лоранса вышла, не ответив. Ей необходимо было уединение, чтобы собраться с силами перед лицом этого неожиданно обрушившегося бедствия.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

ПОЛИТИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС ВРЕМЕН ИМПЕРИИ

По прошествии тридцати четырех лет, во время которых произошли три большие революции, вероятно, одни лишь старики помнят невероятный шум, вызванный во всей Европе похищением одного из сенаторов Французской империи. Пожалуй, только дело Трюмо, лавочника с площади Сен-Мишель, и дело вдовы Морен—при Империи, дела Фюальдеса и де Кастена—при Реставрации, да дела г-жи Лафарж и Фиески — при нынешнем правительстве, могут сравниться, по вызванному к ним интересу и вниманию общества, с делом молодых дворян, обвиненных в похищении Малена. Столь дерзкое покушение на члена сената страшно разгневало императора, которому было доложено об аресте преступников почти одновременно с докладом о совершенном преступлении и о тщетности всех поисков. Лес обшарили вдоль и поперек, весь департамент Об и прилегающие к нему де-

партаменты были тщательно обследованы,— но нигде не удалось обнаружить ни малейших признаков того, что здесь проехал или содержится граф де Гондревиль. К Наполеону был вызван верховный судья; получив предварительно нужные справки у министра полиции, он объяснил императору взаимоотношения Малена и Симезов. Император, в то время всецело поглощенный важными делами, решил, что разгадка этого происшествия кроется в предшествующих событиях.

— Эти молодые люди — безумцы,— сказал он.— Такой юрист, как Мален, сумеет доказать недействительность документа, если он будет вырван у него насилием. Следите за этими дворянами, посмотрим, каким образом они освободят графа де Гондревиля.

Он приказал вести расследование как можно быстрее, ибо усматривал в этом преступлении посягательство на основанные им государственные институты, крамольный пример борьбы против завоеваний Революции, покушение на важнейший принцип национализации земель и препятствие к тому слиянию партий, к которому он неизменно стремился в своей внутренней политике. Наконец, он чувствовал себя обманутым этими молодыми людьми, обещавшими ему жить мирно.

— Предсказание Фуше исполнилось! — воскликнул он, припомнив фразу, вырвавшуюся два года тому назад у нынешнего министра полиции, на основании одного лишь доклада Корантена о деятельности Лорансы.

При конституционном правительстве, когда никто не интересуется государственной властью, слепой и бессловесной, неблагодарной и равнодушной, трудно даже представить себе, какое служебное рвение вызывало малейшее слово императора у чиновников его политического или административного механизма. Могучая воля Наполеона, казалось, сообщалась не только людям, но и вещам. Бросив вышеприведенную фразу, император вскоре позабыл о покушении,— его внимание было всецело занято коалицией 1806 года. Он обдумывал новые походы и был занят сосредоточением своих войск, чтобы нанести решающий удар в самое сердце Прусской монархии. Но его требование — вершить правосудие быстро — нашло благоприятную почву, ибо положение всех судейских чиновников Империи было тогда весьма неоп-

ределенное. Это был момент, когда Камбасерес в качестве канцлера и главный судья Ренье подготовляли учреждение трибуналов первой инстанции, имперских судов и кассационного суда; они обсуждали вопрос о мундирах, которым Наполеон придавал столь большое значение и притом с основанием; они пересматривали личный состав судебного ведомства и разыскивали чиновников, ранее служивших в упраздненных высших окружных судах. И, конечно, чиновники департамента Об решили, что рвение, проявленное в деле графа де Гондревиля, послужит им превосходной рекомендацией. Поэтому высказанное Наполеоном предположение превратилось у придворных и у народа в твердую уверенность.

В Европе еще царил мир; вся Франция единодушно восхищалась Императором: он льстил тщеславию, корыстным надеждам, людям, событиям, словом, всему — вплоть до воспоминаний. Поэтому покушение на сенатора все приняли и за покушение на всеобщее счастье; поэтому на ни в чем не повинных несчастных дворян обрушилось всеобщее негодование. Немногочисленные, рассеянные по своим поместьям аристократы в тесном кругу скорбели об этом, но никто из них не решился бы высказаться вслух. Да и как в самом деле противодействовать разбушевавшемуся общественному мнению? Весь округ снова как бы извлекал из могил трупы одиннадцати патриотов, убитых в 1792 году через ставни сен-синьского особняка,— и винил арестованных за гибель этих людей. Высказывались опасения, как бы осмелевшие эмигранты не последовали их примеру и не начали совершать насилия над новыми владельцами их поместий, в знак протеста против несправедливого изъятия имущества и с тем, чтобы подготовить его возвращение законным владельцам. Поэтому этих благородных людей почли за разбойников, воров и убийц, а соучастие Мишю бросало на них еще более зловещую тень. Ведь на счету у этого человека — или его тестя—числились все головы, которые были отрублены в департаменте Об во время террора,— и теперь о Мишю ходили самые нелепые россказни. Озлобление принимало еще более острый характер оттого, что почти все чиновники департамента были ставленниками Малена. Не прозвучал ни один честный голос, чтобы опровергнуть общественное мнение.

Наконец, у несчастных не было и никаких законных средств для борьбы с предубеждением против них, так как Кодекс брюмера IV года, отдавая в руки присяжных и само следствие и вынесение приговора, лишал обвиняемых одного огромного преимущества, а именно права кассации за недоказанностью преступления. На третий день после ареста владельцы сен-синьского замка и их слуги были вызваны для дачи показаний обвинительному совету присяжных. Охрану Сен-Синя поручили фермеру, а общее наблюдение за порядком—аббату Гуже и его сестре, которые и поселились в замке. Мадемуазель де Сен-Синь и супруги д'Отсэры перебрались в домик Дюрие, на одной из длинных и широких улиц предместья Труа. Тяжело стало на сердце у Лорансы, когда она почувствовала ярость простонародья, враждебность буржуазии и недоброжелательство властей, сказывавшиеся в ряде мелких неприятностей, которые обычно суждены родственникам людей, обвиняемых в тяжких преступлениях и живущих в тех провинциальных городках, где слушаются их дела. Вместо слов, полных сочувствия и ободрения, им приходится слышать разговоры, в которых звучит отвратительная жажда мести; видеть проявления ненависти в тех случаях, когда следовало бы ожидать простой учтивости или сдержанности, предписываемых правилами приличия, а главное — им приходится чувствовать отчужденность, которую особенно подчеркивают заурядные люди, и эта отчужденность ощущается тем острее, что несчастные всегда становятся недоверчивыми. Лоранса, к которой вернулась вся ее духовная сила, надеялась на то, что невиновность ее родственников станет очевидной сама по себе, и слишком презирала толпу, чтобы пугаться неодобрительного молчания, которым ее повсюду встречали. Она старалась поддержать мужество в сердцах супругов д'Отсэров и в то же время обдумывала предстоящее юридическое сражение, которое, судя по той поспешности, с какою велось следствие, должно было вскоре разыграться в уголовном суде. Но ей суждено было испытать еще один неожиданный удар, и он поколебал ее мужество. Среди обрушившихся на нее бедствий, среди всеобщего неистовства, в то время как удрученное горем семейство чувствовало себя словно в пустыне, один человек внезапно

вырос в глазах Лорансы и предстал во всей своей нравственной красоте и силе. Председатель совета присяжных утвердил обвинительное заключение, написав на протоколе установленную формулу — «считать обвинение обоснованным», материалы следствия были переданы общественному обвинителю, а ордер на задержание заменен ордером на арест. И вот на другой же день маркиз де Шаржбеф, пренебрегая всем этим, явился в своей древней коляске на помощь юной родственнице. Предвидя поспешность, которую проявит правосудие, глава этого обширного семейства незамедлительно направился в Париж и привез оттуда одного из самых умных и честных адвокатов старого времени — Бордена, который в течение десяти лет являлся поверенным парижских дворянских кругов и чье место впоследствии занял прославленный поверенный Дервиль. А почтенный адвокат тотчас же пригласил в качестве защитника внука бывшего председателя Нормандского высшего окружного суда — молодого человека, который готовился к судебной деятельности и занимался под руководством Бордена. И действительно, молодой адвокат — это наименование было тогда упразднено, однако император предполагал восстановить его — после процесса, о котором идет речь, действительно был назначен товарищем главного прокурора в Париже и стал одним из самых известных судебных деятелей. Господин де Гранвиль согласился взяться за эту защиту, так как она сулила ему возможность выступить с блеском. В те времена адвокаты были заменены неофициальными защитниками. Следовательно, право выступать в качестве защитника не было ограничено: любой гражданин мог доказывать невиновность подсудимого; тем не менее подсудимые обычно брали себе в защитники бывших адвокатов. Старый маркиз был поражен теми переменами, которые произошли в Лорансе под влиянием горя, и держал себя с безупречным тактом и чуткостью. Он не напомнил о советах, которые тщетно давал молодым людям; он представил Бордена как оракула, указаниям которого надо следовать точно, а молодого де Гранвиля — как защитника, которому можно вполне довериться.

Лоранса взяла руку маркиза и так сердечно пожала ее, что старик был тронут.

— Вы были правы,— сказала она.

— Теперь будете меня слушаться? — спросил он.

Молодая графиня и супруги д'Отсэры утвердительно кивнули головой.

— Ну, так перебирайтесь в мой дом, он в самом центре города, неподалеку от суда. И вам и вашим адвокатам будет там гораздо удобнее, здесь и тесно и слишком далеко от поля битвы. Вам пришлось бы каждый день ездить через весь город.

Лоранса согласилась; старик отвез ее и г-жу д'Отсэр в свой особняк, и в этом доме адвокаты и обитатели Сен-Синя прожили все то время, пока длился процесс. После обеда Борден попросил Лорансу в точности рассказать ему без свидетелей все обстоятельства дела, не опуская ни малейшей подробности, хотя о некоторых предшествующих событиях он и молодой адвокат уже узнали со слов маркиза во время переезда из Парижа в Труа. Грея ноги у огня, Борден слушал девушку, без всякой напускной важности. А внимание молодого адвоката поневоле раздваивалось между мадемуазель де Сен-Синь, вызывавшей его восхищение, и обстоятельствами дела, в которые необходимо было вникнуть.

— И это действительно все? — спросил Борден, когда Лоранса изложила все подробности драмы так, как они рассказаны в этой повести.

— Все,— ответила она.

На несколько минут в гостиной дома Шаржбефа воцарилось глубокое молчание; здесь разыгрывалась одна из наиболее тяжелых и притом необычных сцен, какие изредка выпадают на долю человека. О всяком деле, еще до решения суда, адвокаты уже имеют свое суждение, подобно тому как врачи предвидят смерть больного еще до начала той борьбы, которую они поведут с природой. Глаза Лорансы, супругов д'Отсэров и маркиза были прикованы к пергаментному, рябоватому лицу престарелого юриста, который сейчас решит вопрос: жизнь или смерть. Г-н д'Отсэр отер капли пота, выступившие у него на лбу. Лоранса взглянула на молодого адвоката и заметила, что лицо его омрачилось.

— Ну как, дорогой Борден? — молвил маркиз, про-

тягивая табакерку, из которой юрист рассеянно взял щепотку.

Борден потер себе ногу, обтянутую толстым черным чулком из грубого шелка,— он был в коротких суконных черных панталонах и во фраке так называемого французского покроя — и обвел своих клиентов многозначительным взглядом, придав ему опасливое выражение; но этот взгляд обдал их холодом.

— Вы хотите, чтобы я проанализировал все это и откровенно высказал свое мнение? — спросил он.

— Ну, конечно, господин Борден,— ответила Лоранса.

— Все хорошее, что вы сделали, превращается в улики против вас,— сказал тогда старый юрист.— Спасти ваших родственников нельзя, можно только добиться смягчения наказания. Вы велели Мишю распродать всю его недвижимость — и это будет принято за неоспоримое доказательство ваших преступных планов в отношении сенатора. Вы отослали в Труа своих слуг нарочно, чтобы не иметь свидетелей, и это покажется тем правдоподобнее, что соответствует действительности. Старший д'Отсэр сказал Бовизажу роковые слова, которые погубят всех вас. Столь же опасное замечание вы сделали у себя во дворе, и оно еще задолго свидетельствовало о ваших дурных намерениях в отношении Гондревиля. Что касается вас самой, графиня, то в ту минуту, когда было совершено нападение, вы стояли на страже, и если вас не привлекают к ответственности, то лишь потому, что не хотят вмешивать в дело лицо, которое может вызвать сочувствие.

— Тут защита невозможна,— сказал господин де Гранвиль.

— Тем более,— продолжал Борден,— что нельзя сказать правду. Мишю, господа де Симезы и д'Отсэры должны просто утверждать, что они вместе с вами провели часть дня в лесу, а потом приехали завтракать в Сен-Синь. Но где свидетели, что в три часа дня, когда было совершено нападение, все вы находились в лесу? Только Марта, жена одного из обвиняемых, двое Дюрие и Катрин, ваши слуги, да господин д'Отсэр с супругой, а они — родители двух обвиняемых. Такие свидетели не представляют ценности; закон не допускает их в качест-

ве свидетелей обвинения, здравый смысл отвергнет их показания, данные в вашу пользу. Если, упаси бог, вы скажете, что ездили в лес, чтобы откопать миллион сто тысяч франков золотом, вы отправите всех обвиняемых на каторгу как воров. Общественный обвинитель, присяжные, судьи, публика и вся Франция решат, что золото вы вывезли из Гондревиля и похитили сенатора для того, чтобы осуществить это преступление. Сейчас для обвинения еще многое представляется туманным; если же сказать чистую правду, все станет ясно; все темные стороны дела присяжные объяснят грабежом, ибо по нынешним временам всякий роялист—разбойник. В теперешнем виде преступление представляется местью, вызванной данным политическим положением. Виновным грозит смертная казнь, но никто не назовет ее позорной; если же сюда примешается похищение денег, которое никак не может считаться законным, вы лишаетесь преимуществ, связанных с сочувствием, которое вызывают к себе осужденные на смерть, если мотивы преступления понятны. В первую минуту, когда вы могли показать тайник, план леса, жестяные трубки, золото, объяснить, где именно вы провели день, можно бы еще кое-как оправдаться перед беспристрастными судьями; но при том, как все сложилось сейчас, приходится молчать. Дай бог, чтобы ни один из шести обвиняемых не проговорился; во всяком случае, мы постараемся извлечь все возможное из их показаний.

Лоранса в отчаянии ломала руки, обратив к небесам скорбный взгляд, ибо теперь она увидела всю глубину пропасти, в которую были ввергнуты ее братья. Маркиз и молодой защитник не могли не признать правоту зловещих рассуждений Бордена. Старик д'Отсэр плакал.

— Как было не послушаться аббата Гуже, когда он советовал им бежать? — сказала обезумевшая от горя г-жа д'Отсэр.

— О, если вы могли помочь им бежать и не сделали этого, значит, вы сами их погубили! — воскликнул старый юрист.— Неявка обвиняемого всегда влечет за собою отсрочку. Располагая временем, люди невинные получают возможность внести ясность в свое дело. А это дело представляется мне самым темным за всю мою жизнь, хоть я на своем веку распутал их немало.

— Оно для всех необъяснимо, даже для нас самих,— сказал г-н де Гранвиль.— Если обвиняемые непричастны к преступлению, значит, оно совершено кем-то другим. Однако нельзя допустить, что пять человек прибыли откуда-то как по волшебству, добыли себе лошадей, подкованных совершенно так же, как лошади обвиняемых, воспользовались сходством с пятью дворянами и куда-то упрятали Малена и все это только для того, чтобы погубить Мишю, господ д'Отсэров и де Симезов. Видимо, незнакомцы, действительные преступники, решив принять облик пятерых невинных, руководствовались какою-то определенной корыстью; чтобы отыскать этих людей, чтобы напасть на их след, нам потребовалось бы, как и правительству, столько же агентов и столько же глаз, сколько имеется сел и деревень на двадцать лье в окружности.

— Это неосуществимо,— сказал Борден,— об этом и думать нечего. С тех пор как общество изобрело Правосудие, ему никогда не удавалось предоставить несправедливо обвиняемому такие же возможности, какими располагает чиновник в борьбе с преступлением. Правосудие не двусторонне. У защиты нет ни шпионов, ни полиции, она не располагает никакой общественной силой, действующей в интересах ее клиентов. Единственное, чем располагает невинность,—это здравым смыслом; но здравый смысл, если и может повлиять на судей, часто оказывается бессильным в отношении предубежденных присяжных. Против вас вся страна. Восемь присяжных, утвердивших обвинительное заключение,— владельцы национализированных земель. Среди присяжных в суде мы опять-таки встретим людей, которые купили национальное имущество или торгуют им, или же чиновников. Словом, присяжные будут маленовские. Поэтому надо выработать строгий план защиты,— и не уклоняйтесь от него, хотя бы вам и суждено было погибнуть, при всей вашей правоте. Вас осудят. Мы кассируем приговор и постараемся задержать дело в кассационном трибунале как можно дольше. Если мне тем временем удастся добыть какие-нибудь доказательства в вашу пользу,— вы сможете просить о помиловании. Вот вам анатомическое вскрытие этого дела и мое суждение о нем. Если мы восторжествуем (а в суде все возможно) — это бу-

дет чудо. Но ваш адвокат, больше чем кто-либо из всех мне известных, способен совершить это чудо. И я ему в этом помогу.

— У сенатора, вероятно, есть ключ к этой загадке,— сказал г-н де Гранвиль,— ибо мы всегда знаем, кто таит на нас злобу, и знаем, за что именно. Подумайте только: в конце зимы он уезжает из Парижа, появляется в Гондревиле один, без свиты, сидит там целые дни с глазу на глаз со своим нотариусом и, так сказать, сам отдается в руки пятерых неизвестных, которые похищают его.

— Разумеется,— согласился Борден,— его поведение не менее странно, чем наше; но как перед лицом целой страны, настроенной против нас, стать из обвиняемых обвинителями? Для этого нужна благожелательность правительства, его содействие и в тысячу раз больше улик, чем в обычном судебном деле. Я вижу здесь несомненную преднамеренность ваших неизвестных врагов и притом самую изощренную, ибо они знали об отношении Мишю и господ де Симезов к Малену. Не произнести ни слова, ничего не украсть — в этом сказывается высшая осторожность. Тут под масками скрываются вовсе не простые грабители, тут что-то совсем другое. Но попробуйте сказать все это присяжным, которые будут вас судить!

Подобная проницательность в делах частных лиц,— благодаря которой прославилось немало адвокатов и судей,— изумляла и приводила Лорансу в смятение. Сердце ее сжалось от этой страшной логики.

— На сто уголовных дел,— продолжал Борден,— не найдется и десятка, которые правосудие распутало бы до конца, и, пожалуй, окажется добрая треть таких, тайна которых остается нераскрытой. А ваше дело — из числа тех, что неразрешимы ни для обвиняемых, ни для обвинителей, ни для суда, ни для публики. Что же касается императора — у него много других, более важных забот, чем спасение господ де Симезов, даже если они и не собирались его свергнуть! Но кто же все-таки так зол на Малена? И чего, собственно, от него хотят добиться?

Борден и г-н де Гранвиль переглянулись; казалось, они не верят в правдивость Лорансы. И среди тысячи мук, выпавших на долю девушки, это недоверие причи-

нило ей особенно жгучую боль: она бросила на защитников такой взгляд, что они устыдились своих сомнений.

На другой день защитникам был вручен обвинительный акт, и они получили возможность сноситься с арестованными. Борден сообщил родственникам, что шестеро обвиняемых, говоря профессиональным языком, *держатся очень хорошо*,— как и подобает порядочным людям.

— Господин де Гранвиль будет защищать Мишю,— сказал Борден.

— Мишю? — воскликнул г-н де Шаржбеф, удивленный этой переменой.

— В нем — самый узел дела, и именно здесь кроется главная опасность,— пояснил старый юрист.

— Если наибольшая опасность грозит ему, такое решение мне кажется вполне правильным,— согласилась Лоранса.

— Мы еще все взвесим, еще тщательно изучим все шансы на спасение,— сказал г-н де Гранвиль.— И если оно нам удастся, то лишь благодаря тому обстоятельству, что господин д'Отсэр приказал Мишю заменить один из столбов ограды вдоль нижней дороги и что в лесу был замечен волк, ибо в уголовном суде все зависит от прений, а прения будут развертываться вокруг мелочей, которые, как вы увидите, приобретут непомерное значение.

Лоранса впала в состояние глубокой душевной подавленности, которое всегда охватывает деятельных и мыслящих людей, когда они убеждаются в бесполезности действия и мысли. Теперь речь шла уже не о том, чтобы свергнуть человека или правительство при помощи преданных людей, фанатических единомышленников, объединившихся под покровом тайны: теперь все общество вооружилось против нее и ее кузенов. Нельзя в одиночку взять приступом тюрьму, нельзя освободить узников, которые окружены враждебным населением и находятся под надзором полиции, особенно бдительной из-за мнимой дерзости преступников. Поэтому, когда молодой защитник, испуганный подавленностью этой благородной и отважной девушки, лицо которой говорило о полном душевном оцепенении, попробовал ее приободрить, она ответила ему:

— Я молчу, я страдаю и жду.

Ее голос, жест и взгляд придали этим словам такое величие, которому недоставало только более широкой арены, чтобы прославиться в веках. Несколько мгновений спустя старик д'Отсэр говорил маркизу де Шаржбефу:

— Я ли не старался для моих несчастных сыновей! Ведь я уже скопил около восьми тысяч ливров государственной ренты. Если бы они согласились служить, они уже достигли бы высоких чинов и могли бы удачно жениться. А теперь все мои планы рушатся.

— Как можете вы думать об их материальных интересах, когда речь идет об их чести и жизни?! — возразила его жена.

— Господин д'Отсэр заботится обо всем,— заметил маркиз.

Пока обитатели Сен-Синя ждали разбора дела в уголовном суде и тщетно добивались свидания с заключенными, в замке, под покровом глубочайшей тайны, произошло событие огромной важности. Сразу же, после того как присяжные обвинения допросили Марту, она вернулась в замок; показания эти дали так мало, что общественный обвинитель не вызвал ее в суд. Как все крайне чувствительные люди, бедная женщина находилась в столь угнетенном состоянии, что вызывала жалость; она сидела в гостиной с мадемуазель Гуже. Ей, как, впрочем, и самому кюре, да и всем, кому было неизвестно, как провели тот роковой день обвиняемые, невиновность их представлялась сомнительной. Временами Марте казалось, что Мишю, его хозяева и Лоранса совершили что-то над сенатором, чтобы отомстить ему. Несчастная женщина отлично знала, сколь предан Мишю своим господам и что из всех обвиняемых именно ему грозит наибольшая опасность как в силу предшествующих событий, так и вследствие той роли, которую он, несомненно, сыграл при нападении. Аббат Гуже, его сестра и Марта терялись в догадках; но они так много размышляли об этом, что в конце концов готовы были принять первое попавшееся, совершенно необоснованное предположение. Состояние абсолютного сомнения, провозглашенное Декартом, так же невозможно для человеческого ума, как пустота — для природы, и умственная работа, которая при-

вела бы к такому сомнению, была бы, подобно действию пневматического насоса, явлением исключительным и уродливым. Какой бы области мы ни коснулись, мы всегда чему-нибудь да верим. Кроме того, Марта так боялась, что обвиняемые действительно виноваты, что ее страх был равносилен вере,— и это умонастроение оказалось для нее роковым. Пять дней спустя после ареста молодых дворян, часов в десять вечера, когда она уже ложилась спать, ее мать, пришедшая сюда пешком с фермы, кликнула ее со двора.

— Там ждет тебя какой-то рабочий из Труа; говорит, у него поручение от Мишю. Он на нижней дороге,— сказала она дочери.

Они вместе направились кратчайшим путем, через брешь. В ночной темноте, да еще в ложбине, Марта лишь смутно различала очертания человека, выступавшие на фоне мрака.

— Скажите что-нибудь, сударыня, чтобы я убедился, что вы действительно госпожа Мишю,— сказал неизвестный довольно тревожным голосом.

— Пожалуйста,— ответила Марта.— А что вам от меня нужно?

— Хорошо,— ответил незнакомец.— Дайте мне руку, не бойтесь меня. Я пришел,—добавил он, наклонившись к ее уху,— по поручению Мишю, чтобы передать вам от него записку. Я надзиратель тюрьмы, и если начальство спохватится, что меня нет,— всем нам крышка. Доверьтесь мне. В свое время ваш почтенный отец помог мне получить эту должность,— поэтому-то Мишю и положился на меня.

Он сунул Марте в руку записку и, не дожидаясь ответа, исчез в направлении леса. Марта содрогнулась при мысли, что сейчас, вероятно, узнает тайну всего этого дела. Они с матерью побежали на ферму; Марта заперлась в своей комнате и прочитала следующее:

«Моя дорогая Марта, ты можешь положиться на человека, который доставит тебе эту записку. Он не умеет ни читать, ни писать. Это один из самых стойких республиканцев, участник заговора Бабефа. Твой отец не раз пользовался его услугами, и он считает сенатора предателем. Знай, милая женушка, что мы запрятали сенатора в тот самый подвал, где раньше скрывали наших

господ. У этого негодяя хватит продовольствия только на пять дней, а так как нам важно, чтобы он остался жив, то отнеси ему еды по крайней мере еще дней на пять. За лесом, конечно, наблюдают; поэтому прими все меры предосторожности, какие мы принимали, когда ходили к нашим молодым господам. Малену не говори ни слова, вообще с ним не разговаривай, а надень одну из наших масок; они лежат на ступеньке лестницы, которая ведет в подвал. Если тебе дороги наши жизни, храни в самой глубочайшей тайне то, что мне приходится тебе доверить. Ни слова об этом барышне де Сен-Синь, а то она может струсить. За меня не беспокойся. Мы уверены в благополучном исходе дела. Когда придет время, Мален выручит нас. Разумеется, как только ты прочтешь эту записку, ее надо сжечь, потому что, если хоть одна строчка попадется кому-нибудь,— мне не сносить головы. Целую тебя крепко-крепко. Мишю».

О существовании подземелья, скрытого под холмом в чаще леса, знали только Марта, ее сын, Мишю, четверо дворян и Лоранса; по крайней мере так думала Марта, потому что о своей встрече с Перадом и Корантеном муж ей не рассказал. Следовательно, письмо могло быть написано только им, да и почерк и подпись, как показалось Марте, были его. Конечно, если бы она немедленно рассказала о письме своей хозяйке и ее двум советчикам, знавшим, что обвиняемые не виновны, это дало бы проницательному юристу кое-какие данные относительно коварных интриг, в сеть которых попали его подзащитные; но Марта, всецело поддавшись, как большинство женщин, первому впечатлению и поверив мнимой убедительности доводов, приведенных в письме, сразу же бросила его в огонь. Однако под влиянием какой-то странной интуиции она, на всякий случай, выхватила из огня еще не сгоревший краешек записки с первыми пятью строчками, которые сами по себе не могли никого скомпрометировать, и зашила этот обрывок в подол своей юбки. С тревогой думая о том, что узник уже целые сутки голодает, она решила отнести ему в ту же ночь вина, хлеба и говядины. И любопытство и человеколюбие побудили ее не откладывать этого дела хотя бы на сутки. Она затопила печь и с помощью матери испекла паштет с зайцем и уткой, сладкий пирог с рисом, зажарила двух

цыплят, взяла в погребе три бутылки вина и сама замесила и испекла два каравая. Уложив все это в корзину, она около трех часов утра отправилась в лес, взяв с собою Куро, который в подобных походах обычно служил разведчиком, проявляя поразительный ум: он чуял постороннего на огромном расстоянии, подбегал к хозяйке и тихонько рычал, то поглядывая на нее, то поворачивая голову в ту сторону, откуда грозила опасность.

В начале четвертого Марта добралась до болотца и оставила здесь Куро в качестве часового. С полчаса она потратила на расчистку входа и наконец подошла с потайным фонарем в руках к двери подземелья; лицо ее было закрыто маской, которую она действительно нашла на одной из ступенек. Заключение сенатора, казалось, было заранее обдумано. В верхней части железной двери подземелья оказалось кое-как пробитое квадратное отверстие в фут шириною, которого Марта прежде не замечала; но чтобы Мален, с помощью досуга и терпения, которые являются уделом всех узников, не мог приподнять болта, замыкающего дверь, болт был заперт на висячий замок. Сенатор встал со своего соломенного ложа и при виде человеческой фигуры в маске тяжко вздохнул, ибо понял, что это еще не освобождение. Разглядывая Марту при колеблющемся свете потайного фонаря, он узнал ее по одежде, по фигуре и движениям; когда она протянула ему через отверстие пирог, он выронил его, чтобы схватить ее за руки, и с крайней поспешностью попытался сорвать с ее пальца два кольца — обручальное и другое, подаренное ей мадемуазель де Сен-Синь.

— Не отрицайте, что это вы, любезнейшая госпожа Мишю,— сказал он.

Но, едва почувствовав прикосновение сенатора, Марта сжала руку в кулак и изо всех сил толкнула его в грудь. Затем, не проронив ни слова, она срезала толстую ветку и при помощи ее передала сенатору остальную снедь.

— Чего от меня хотят? — спросил он.

Марта побежала прочь, не ответив. На обратном пути, часов в пять, когда она уже дошла до опушки леса, Куро предупредил ее, что поблизости чужой. Она повер-

нула назад и направилась к флигелю, где прожила так долго; но едва она вошла в аллею, как ее издали заметил гондревильский полевой сторож; тогда она решила идти прямо на него.

— Какая вы ранняя птичка, госпожа Мишю! — сказал он, приблизившись.

— Мы так бедствуем, что мне приходится все делать самой,— ответила она.— Я иду в Белаш за семенами.

— Неужели у вас в Сен-Сине нет семян? — спросил он.

Марта промолчала. Она пошла дальше, а придя на ферму, попросила Бовизажа дать ей разных семян для посева и добавила, что г-н д'Отсэр посоветовал ей взять их у арендатора, чтобы обновить породу. По уходе Марты на ферму явился гондревильский сторож: ему хотелось выведать, зачем приходила Марта. Через шесть дней Марта, уже ставшая осторожной, отправилась в лес с провизией пораньше — в полночь, чтобы не попасться на глаза сторожам, которые, очевидно, следят за лесом. После того как она в третий раз отнесла сенатору пищу, она с ужасом услышала отчет о допросе обвиняемых, который читал аббат: разбор дела уже начался. Она отвела аббата Гуже в сторону и, взяв с него клятву, что он сохранит ее слова в тайне, как если бы это была исповедь, показала ему клочок записки, полученной от Мишю, и сообщила ее содержание, а также раскрыла аббату и секрет подземелья, где был заключен сенатор. Кюре тут же спросил ее, есть ли у нее другие письма мужа, чтобы сравнить почерк. Марта отправилась к себе на ферму и там нашла повестку, которою ее вызывали в суд в качестве свидетельницы. Вернувшись в замок, она узнала, что аббата Гуже и его сестру тоже вызывают,— по требованию обвиняемых. Поэтому всем троим пришлось тотчас же отправиться в Труа. Таким образом, все действующие лица этой драмы, даже те, которые были в некотором роде лишь ее бессловесными свидетелями, оказались на сцене, где тогда решалась судьба двух семейств.

Во Франции найдется очень немного мест, где правосудие совершалось бы в той торжественной обстановке, которая всегда должна была бы ему сопутствовать. Ведь после религии и монархии правосудие — самая важ-

ная пружина общественной жизни. И вот оказывается, что у наиболее тщеславной из всех ныне существующих наций и наиболее склонной к театральной пышности в отношении зданий и памятников, всюду, даже в Париже, судебные помещения убоги, расположены неудобно и лишены внешнего убранства, что только ослабляет действие этой могущественной силы. Внутреннее устройство суда одинаково почти во всех городах; в конце длинного зала на возвышении стоит стол, покрытый зеленой саржей; безобразные кресла, расставленные позади стола, предназначены для судей. Слева — место общественного обвинителя, а рядом с ним, вдоль стены, тянется длинный помост со стульями для присяжных. Напротив — другой помост со скамьями для подсудимых и для конвоя. Место секретаря — около возвышения, за столом для вещественных доказательств. До учреждения императорского суда правительственный комиссар и председатель совета присяжных сидели за отдельными столиками, один по правую, другой по левую сторону от судейского стола. По небольшому пространству перед судейским столом, предназначенному для свидетелей, обычно снуют два судебных пристава. Защитники помещаются ниже, перед помостом для подсудимых. От обеих трибун вдоль всего зала тянутся деревянные перила, образуя барьер, за которым стоят скамьи для свидетелей, уже давших показания, а также для привилегированной публики. Наконец, против судей, над входной дверью, находятся убогие хоры для должностных лиц и для избранных дам; места эти раздает председатель суда, который вообще ведает всем распорядком. Простая публика слушает дело, стоя между входной дверью и барьером. Такова обстановка, обычная для французских трибуналов и нынешних судов; такою она была в труаском уголовном суде.

В апреле 1806 года ни четверо судей и председатель, составлявшие суд, ни общественный обвинитель, ни старшина присяжных, ни правительственный комиссар, ни пристава, ни защитники — словом, никто, кроме жандармов, не носил форменных мундиров и не имел каких-либо иных знаков различия, которые хоть немного скрашивали бы убожество окружающей обстановки и невзрачность лиц. Распятия в зале не было, и, следовательно,

оно не могло воодушевлять своим примером ни правосудие, ни подсудимых. Все было уныло и пошло. Торжественность обстановки, столь необходимая для интересов общества, быть может, служит утешением и для преступника. Наплыв публики был огромный, как всегда было и будет при подобных процессах — до тех пор, пока нравы не изменятся, пока Франция не призна́ет, что присутствие публики в зале суда вовсе не означает гласности суда, а гласность прений представляет собою столь тяжкое наказание, что если бы об этом подозревал законодатель, он бы его не ввел. Нравы нередко более жестоки, чем законы. Ибо нравы — это люди, в то время как закон — это разум страны. Нравы, часто неразумные, берут верх над законом. Вокруг здания суда собрались целые толпы народа; как и при всех громких делах, председателю пришлось распорядиться, чтобы у дверей выставили военные пикеты. Публика, находившаяся за барьером, так теснилась, что можно было задохнуться. Г-н де Гранвиль, защищавший Мишю, Борден, защитник господ де Симезов, и адвокат из Труа, взявший на себя защиту господ д'Отсэров и Готара, наименее скомпрометированных из шести подсудимых, были на своих местах еще до начала заседания, и на их лицах читалась уверенность в успехе. Подобно тому как врач не обнаруживает своих опасений при больном, так и адвокат притворяется перед подзащитным, будто полон самых радужных надежд. Это один из редких случаев, где ложь становится добродетелью. Ввели подсудимых, и когда публика увидела четверых молодых людей, слегка побледневших от трехнедельного заключения и тревоги, по залу прошел благожелательный шепот. Поразительное сходство близнецов привлекало всеобщее внимание. Быть может, у каждого из присутствующих возникла мысль, что природа, вероятно, окажет особое покровительство этому столь необычному явлению, и каждому хотелось исправить небрежность судьбы в отношении близнецов; они держались просто, с достоинством, в них не чувствовалось и тени стыда, а в то же время не было и ничего вызывающего, и это тронуло многих женщин. Четверо дворян и Готар предстали в тех самых платьях, которые были на них в день ареста; зато Мишю, одежда которого была приобщена к вещественным доказательствам, обла-

чился в лучшее свое платье — синий сюртук, коричневый бархатный жилет а ля Робеспьер и белый галстук. Бедняга и тут поплатился за свою непривлекательную наружность. Когда он бросил на собравшихся угрюмый взгляд своих желтых, прозрачных и зорких глаз, все невольно содрогнулись и ответили ему ропотом, в котором чувствовался ужас и отвращение. В том, что он сидит на скамье подсудимых, куда его тесть посадил столько жертв, люди увидели перст божий. Этот человек, поистине великий, посмотрел на своих господ, сдерживая ироническую улыбку. Он как бы говорил: «Я врежу вам». Пятеро подсудимых обменялись с защитниками сердечными приветствиями. Готар по-прежнему прикидывался дурачком.

После отвода некоторых присяжных,— на чем, умно обосновав свое требование, настояла защита по совету маркиза де Шаржбефа, который мужественно занял место рядом с Борденом и г-ном де Гранвилем,— состав присяжных был утвержден и было оглашено обвинительное заключение; затем подсудимых разлучили, чтобы приступить к их допросу. Все они дали удивительно единодушные показания. После утренней прогулки верхом в лесу они к часу дня вернулись в Сен-Синь завтракать; часа в три они опять уехали в лес и пробыли там до половины шестого. Такова была общая основа показаний всех обвиняемых: отклонения в мелочах зависели только от индивидуальных особенностей каждого из них. Когда председатель предложил господам де Симезам объяснить, почему они так рано отправились на прогулку, оба ответили, что со времени возвращения на родину обдумывали, как бы выкупить Гондревиль, и что, предполагая вступить в переговоры с Маленом, прибывшим в замок накануне, они отправились вместе с кузиной и Мишю осмотреть лес и прикинуть, сколько можно предложить за поместье. Тем временем господа д'Отсэры, мадемуазель де Сен-Синь и Готар травили волка, замеченного в лесу крестьянами. Если бы председатель присяжных обвинения так же тщательно исследовал отпечатки копыт в лесу, как в гондревильском парке, легко было бы убедиться, что они ездили по весьма отдаленным от замка местам.

Ответы господ д'Отсэров подтвердили показания

Симезов и вполне соответствовали их собственным показаниям на предварительном следствии. Необходимость как-либо оправдать поездку натолкнула каждого из обвиняемых на мысль объяснить ее охотой. За несколько дней до того крестьяне действительно обнаружили в лесу волка,— и каждый воспользовался этим предлогом.

Однако общественный обвинитель усмотрел противоречия между предварительными показаниями господ д'Отсэров, которые заявили, что они охотились все вместе, и теперешней версией, согласно которой охотились господа д'Отсэры и Лоранса, а господа де Симезы тем временем занимались оценкой леса.

Господин де Гранвиль заметил, что, поскольку преступление было совершено между двумя часами и половиной шестого пополудни, показания подсудимых о том, как они провели утро, должны быть приняты на веру.

На это обвинитель возразил, что обвиняемые заинтересованы в том, чтобы скрыть принятые ими подготовительные меры к похищению сенатора.

Высокое искусство защитников стало тогда очевидным для всех. Судьи, присяжные, все присутствующие поняли, что победа достанется той или другой стороне лишь после жаркого боя. Борден и г-н де Гранвиль, казалось, все предусмотрели. Тот, за кем нет вины, должен отдать ясный и убедительный отчет в своих поступках. Следовательно, задача защиты состоит в том, чтобы неправдоподобной версии обвинения противопоставить другую, правдоподобную. Для адвоката, считающего своего подзащитного невиновным, обвинение становится вымыслом. Публичный допрос четверых дворян давал возможность полного и удовлетворительного объяснения всех их действий. До сих пор все шло хорошо. Но допрос Мишю прошел не так гладко, и тут-то началось сражение. Теперь всем стало понятно, почему г-н де Гранвиль предпочел защищать слугу, а не господ.

Мишю подтвердил, что действительно угрожал Марионе, но угрозы эти не сопровождались каким бы то ни было насилием. Относительно засады, якобы устроенной для нападения на Малена, он заявил, что гулял в парке совершенно один; вполне возможно, что сенатор и г-н Гревен испугались, увидев ствол его ружья, и за-

подозрили, что у него дурные намерения, в то время как он вел себя вполне безобидно. Он обратил внимание суда на то, что человеку, непривычному к охоте, может в темноте почудиться, будто ружье направлено на него, хотя в действительности оно спокойно висит на плече. Желая пояснить, почему в момент ареста одежда на нем оказалась в беспорядке, Мишю сказал, что, возвращаясь домой, упал возле бреши.

— Когда я стал выбираться на дорогу, было уже темно,— сказал он,—и я ободрался, цепляясь за осыпавшиеся камни.

Что же касается извести, которую ему носил Готар, то Мишю, как и на всех предварительных допросах, показал, что известь была нужна ему для укрепления одного из столбов ограды, тянувшейся вдоль нижней дороги.

Общественный обвинитель и председатель предложили ему объяснить, каким образом он мог одновременно находиться и у бреши возле замка и укреплять столб у дороги, пролегающей в ложбине, особенно если принять во внимание, что судья, жандармы и полевой сторож, по их словам, слышали, как он поднимался снизу. Мишю ответил, что г-н д'Отсэр сделал ему выговор за то, что он до сих пор не произвел этой маленькой починки, ибо г-н д'Отсэр придавал ей большое значение, опасаясь, как бы из-за этой дороги у него не возник спор с общиной; поэтому, укрепив ограду, Мишю хотел поскорее доложить хозяину, что приказание его выполнено.

Господин д'Отсэр действительно велел поставить ограду наверху откоса, вдоль дороги, пролегающей в ложбине, чтобы дорогой не завладела община; увидев, какое значение приобретает состояние его одежды и наличие извести, которых он не мог отрицать, Мишю и придумал эту уловку.

Если в судебных делах истина часто похожа на вымысел, то и вымысел бывает очень похож на истину. И защитник и обвинитель придали этому обстоятельству огромное значение,— благодаря усилиям защитника и подозрению обвинителя, что здесь что-то кроется, оно становилось решающим.

На суде Готар, несомненно по наущению г-на де Гран-

виля, подтвердил, что Мишю велел ему принести несколько мешков извести,— хотя до того мальчишка сразу же принимался плакать, как только его начинали допрашивать.

— Почему же ни вы, ни Готар тотчас же не повели судью и полевого сторожа к этой ограде? — спросил общественный обвинитель.

— Я никак не думал, что нас могут заподозрить в таком тяжком преступлении,— ответил Мишю.

Затем всех подсудимых, кроме Готара, вывели. Когда Готар остался один, председатель сделал ему внушение: пусть в своих же собственных интересах говорит одну только правду, и обратил внимание Готара на то, что его мнимое слабоумие прошло. Да никто из присяжных и не считает его дурачком. Если он не будет отвечать на вопросы суда, он может подвергнуть себя тяжкому наказанию: если же скажет всю правду, то дело о нем, вероятно, будет прекращено. Готар заплакал и после минутного колебания признался, что Мишю просил его принести несколько мешков извести, но что каждый раз Мишю сам встречал его возле фермы. Его спросили, сколько же мешков он принес.

— Три,— ответил Готар.

Тут между Готаром и Мишю возник спор — входит ли в этот счет мешок, который Готар нес в момент его ареста, и было их всего-навсего три или этот был четвертый. Спор закончился в пользу Мишю. Присяжные утвердились во мнении, что было только два мешка, но они, по-видимому, и раньше уже были убеждены в этом; Борден и г-н де Гранвиль постарались так запутать их этой известью и так утомить, что они уже перестали что-либо соображать.

Господин де Гранвиль потребовал, чтобы для осмотра ограды была назначена комиссия экспертов.

— Председатель совета присяжных обвинения,— сказал защитник,— посетил место, где работал Мишю, не столько, чтобы произвести строгую экспертизу, сколько для того, чтобы изобличить обвиняемого в какой-то уловке; на наш взгляд, он не выполнил своего долга, и нам нужно его ошибкой воспользоваться.

Суд выделил экспертов для выяснения, действительно ли один из столбов ограды был недавно укреплен.

Но общественному обвинителю хотелось одержать верх в этом вопросе еще до заключения экспертизы.

— Значит,— обратился он к Мишю,— для того чтобы укрепить столб, да еще без посторонней помощи, вы выбрали время от половины шестого до половины седьмого, когда уже смеркается?

— Но ведь господин д'Отсэр разбранил меня!

— Однако,— продолжал общественный обвинитель,— если допустить, что известь истрачена на этот столб, значит, вы пользовались лопаточкой и творилом? А если вы поспешили доложить господину д'Отсэру, что выполнили его приказание,— как же объяснить, что Готар нес вам еще мешок извести? Путь ваш лежал мимо вашей фермы — значит, вы должны были бы оставить там инструмент и предупредить Готара, что извести больше не требуется.

После этих ошеломляющих доводов в зале наступило зловещее молчание.

— Признайтесь же, что вы закапывали не столб,— настаивал обвинитель.

— Что же, вы думаете, я закопал сенатора? — возразил Мишю с язвительной иронией.

Господин де Гранвиль тут же потребовал от обвинителя объяснения, что̀ именно он имеет в виду. Ведь Мишю обвиняется в похищении и задержании сенатора, а не в его убийстве. Это требование защитника имело чрезвычайное значение. Брюмерский кодекс IV года запрещал общественному обвинителю вводить в прения какие бы то ни было новые пункты обвинения; он обязан был точно придерживаться обвинительного акта, в противном случае приговор мог быть кассирован.

Общественный обвинитель ответил, что Мишю, главный виновник покушения, принявший в интересах своих хозяев всю ответственность на себя, мог замуровать вход в тайник, до сих пор еще не обнаруженный, где томится сенатор.

Затравленный обвинителем, измученный перекрестным допросом с Готаром, уличенный в противоречии с собственными показаниями, Мишю стукнул кулаком по перилам барьера, отделявшего подсудимых от публики. и заявил:

— Я ни в какой мере не причастен к похищению сенатора; я надеюсь, что враги Малена просто-напросто держат его где-то взаперти, и, если он появится, вы убедитесь, что известь была тут совершенно ни при чем.

— Видите,— воскликнул адвокат, обращаясь к общественному обвинителю,— вы больше сделали для защиты моего клиента, чем я,— вы сказали все, что я мог бы сказать в его пользу.

На этом смелом утверждении, поразившем присяжных и давшем преимущество защите, первое заседание было прервано. И местные адвокаты и Борден горячо приветствовали молодого защитника. Общественный обвинитель, встревоженный последним заявлением адвоката, испугался, не допустил ли он промаха. А он и в самом деле попался в ловушку, очень ловко расставленную ему защитниками,— причем Готар великолепно сыграл свою роль. Городские остряки шутили, что теперь все дело подштукатурено, прокурор сам попал в известь, а Симезы совсем обелены. Во Франции шутят надо всем; шутка царит здесь как королева: шутят на плахе, на Березине, на баррикадах, и, вероятно, найдется француз, который будет шутить и во время Страшного суда.

На другой день были допрошены свидетели обвинения: г-жа Марион, г-жа Гревен, сам Гревен, камердинер сенатора и Виолет,— о том, какие он давал показания, можно легко себе представить на основе предшествующих событий. Все эти свидетели с бо́льшими или меньшими оговорками опознали четырех дворян и с полной уверенностью — Мишю. Бовизаж повторил слова, вырвавшиеся у Робера д'Отсэра. Крестьянин, покупавший теленка, привел фразу мадемуазель де Сен-Синь. Эксперты подтвердили свое заключение относительно полного сходства между оттисками, снятыми с копыт лошадей, принадлежавших четырем дворянам, и следами на песке; обвинение считало их совершенно тождественными. Этот вопрос, конечно, явился предметом ожесточенной схватки между г-ном де Гранвилем и общественным обвинителем. Защитник потребовал вызова сенсиньского кузнеца и в ходе прений установил, что точно такие же подковы были им проданы за несколько дней до похищения каким-то неизвестным людям. К тому же кузнец заявил, что такими подковами он ковал не только

сен-синьских, но и многих других лошадей в округе. Наконец, лошадь, на которой обычно ездил Мишю, была подкована в Труа и оттиска ее подков не нашлось среди тех, которые были обнаружены в парке.

— Двойник подсудимого Мишю не знал этого обстоятельства,— сказал г-н де Гранвиль, глядя на присяжных,— а обвинению не удалось установить, что мой подзащитный воспользовался одною из сен-синьских лошадей.

Защитник опорочил и показание Виолета относительно сходства лошадей, ибо тот видел их издали и притом сзади! Несмотря на героические усилия защитника, обилие улик подтверждало виновность Мишю. Обвинитель, публика, суд, присяжные — все понимали, что, как и предвидела защита, виновность слуги повлечет за собою и признание виновности господ. Дальновидный Борден предугадал, в чем именно будет заключаться узел процесса, а потому и предоставил г-ну де Гранвилю защиту Мишю; но тем самым защита выдавала свои тайны. Поэтому все, что касалось бывшего гондревильского управляющего, приобретало животрепещущий интерес. Впрочем, Мишю держался превосходно. В развернувшихся прениях он показал весь тот ум, каким его наделила природа; и, наблюдая его, публика не могла не признать в нем человека незаурядного; но — странное дело! — это еще укрепило ее уверенность в том, что именно он совершил преступление. Свидетели защиты, которым и присяжные и закон придают меньше значения, чем свидетелям обвинения, казалось, выполняли лишь свой долг и были выслушаны только для очистки совести. Прежде всего ни Марту, ни супругов д'Отсэров не привели к присяге; Катрин и чета Дюрие в качестве слуг обвиняемых также давали показания без присяги. Г-н д'Отсэр подтвердил, что он действительно велел Мишю укрепить повалившийся столб. После этого было оглашено заключение экспертов, подтверждавшее показание старого дворянина. Однако эксперты сыграли на руку и председателю совета присяжных обвинения, заявив, что не представляется возможности установить, когда именно была выполнена эта работа: с тех пор могло пройти и несколько месяцев и недели две. Появление мадемуазель де Сен-Синь вызвало живейший интерес, однако следует

сказать, что, увидев кузенов на скамье подсудимых после двадцатитрехдневной разлуки, она пришла в такое смятение, что сама казалась виновной. Она почувствовала неодолимое желание быть рядом с близнецами, и ей пришлось, как она позже призналась, собрать все свои силы, чтобы сдержать обуревавший ее гнев; она, кажется, готова была убить общественного обвинителя, только чтобы сделаться в глазах людей такой же преступницей, как и они. Она с простодушным видом рассказала, что, возвращаясь домой, заметила в парке дым и подумала: не пожар ли это? Долгое время она предполагала, что дым идет оттого, что где-то жгут сорняки.

— Однако,— сказала она,— мне вспомнилось потом одно обстоятельство, которое я и предлагаю вниманию суда. Я нашла между шнурками моей амазонки и в складках воротничка кусочки, похожие на остатки сожженной бумаги, развеянной ветром.

— А дым был густой? — спросил Борден.

— Да, я думала, это пожар,— ответила мадемуазель де Сен-Синь.

— Это может совершенно изменить ход дела,— сказал Борден.— Я прошу суд немедленно обследовать место, где произошел пожар.

Председатель распорядился произвести соответствующее обследование.

По требованию защиты, Гревен был снова вызван и допрошен относительно этого факта; он заявил, что ему ничего не известно. Но тут Борден и Гревен обменялись взглядами, и каждый из них понял противника.

«Вот в этом-то вся и соль»,— сказал себе старый юрист.

«Пронюхали!» — подумал нотариус.

Однако оба хитреца решили, что обследование бесполезно. Борден не сомневался, что нотариус будет нем как рыба, а нотариус в душе радовался, что уничтожил малейшие следы пожара. Чтобы выяснить этот вопрос,— второстепенный в прениях и казавшийся ребяческим, но решающий в глазах истории, которая должна оправдать этих молодых людей,— были назначены эксперты, и среди них находился Пигу; они осмотрели парк и сообщили, что нигде не обнаружили никаких следов пожара. Борден потребовал вызова еще двух рабочих, и те

показали, что по распоряжению сторожа перепахали часть луга, где выгорела трава; но по золе трудно сказать, что именно горело. Сторож, снова вызванный по настоянию защитников, показал, что, когда он проходил мимо замка по пути в Арси, куда отправился поглядеть ряженых, сенатор велел ему вспахать участок луга, на который обратил внимание еще утром, во время прогулки.

— А что там жгли — траву или бумагу?

— Насчет этого ничего не могу сказать, никаких остатков бумаги не было,— ответил сторож.

— Однако,— возражали защитники,— если бы жгли траву, так кто-то должен был собрать ее в одно место и поджечь.

Показания сен-синьского кюре и мадемуазель Гуже произвели благоприятное впечатление. После вечерни они пошли прогуляться по дороге в лес и видели молодых людей и Мишю, которые выехали верхом из ворот замка и тоже направились к лесу. Духовный сан и нравственные качества аббата Гуже придали вес его словам.

Речь общественного обвинителя, уверенного в том, что он добьется осуждения, ничем не отличалась от всех речей такого рода. Обвиняемые, мол, непримиримые враги Франции, ее установлений и законов. Они жаждут смуты. Хотя они были причастны к заговору на жизнь императора и служили в армии Конде — великодушный монарх вычеркнул их из списка эмигрантов. И вот вам благодарность за милосердие! Словом, были произнесены все те пышные фразы, к которым прибегали сторонники Бурбонов, ратуя против бонапартистов, и которыми пользуются политики ныне, выступая против республиканцев и легитимистов в защиту младшей ветви. Эти общие места еще могли иметь какой-то смысл при твердом правительстве, но они покажутся по меньшей мере смешными в устах представителя судебной власти, когда история установит, что в самые различные эпохи говорилось одно и то же. Здесь можно применить остроту, сказанную по поводу более давних народных волнений: «Вывеска другая, а вино все то же». Общественный обвинитель, ставший, впрочем, одним из выдающихся прокуроров эпохи Империи, связал это преступление с намерением вернувшихся эмигрантов бороться против за-

«Темное дело».

«Темное дело».

хвата их поместий. Он довольно удачно вызвал у присутствующих страх за жизнь сенатора. Затем он не без таланта собрал воедино все улики, полуулики и предположения в надежде, что его усердие будет должным образом вознаграждено, и спокойно занял свое место в ожидании атаки защитников.

Господин де Гранвиль никогда не выступал на уголовном процессе, но это единственное выступление создало ему славу. Во-первых, он защищал своего клиента с тем вдохновенным красноречием, которым мы восторгаемся теперь у Берье. Во-вторых, он был искренне убежден в невиновности подсудимых, а убежденность — самый могущественный рычаг красноречия. Вот главные пункты его защитительной речи, полностью опубликованной в газетах того времени: прежде всего он восстановил историю жизни Мишю в ее истинном свете. Это была прекрасная повесть, в которой прозвучали благороднейшие чувства, и они нашли отклики у многих присутствующих. Слушая выразительный голос этого человека, красноречиво выступавшего в его оправдание, Мишю был не в силах сдержаться — слезы брызнули из его желтых глаз и скатились по страшному его лицу. Он предстал тогда таким, каким был в действительности: человеком хитрым и простым, как ребенок, и вместе с тем человеком, в жизни которого существует только одна цель. Сущность его внезапно раскрылась, особенно благодаря слезам, которые произвели на присяжных сильное впечатление. Искусный адвокат уловил этот порыв сочувствия и воспользовался им, чтобы приступить к обсуждению улик.

— Где доказательство, что преступление имело место? Где сенатор? — вопрошал он.— Вы обвиняете подсудимого в том, что он похитил и даже замуровал сенатора при помощи камней и извести. Но в таком случае один только подсудимый может знать, где находится его жертва, а так как вы держите подсудимого в заключении уже двадцать три дня, сенатор, разумеется, успел умереть от голода. Подсудимый — убийца, однако вы не предъявили ему обвинения в убийстве. Если же сенатор жив, значит, у подсудимого есть сообщники; а если у него есть сообщники и сенатор жив, то разве они его не выпустили бы? Раз уж намерения, которые вы нам приписываете, не

осуществились, разве мы стали бы зря ухудшать свое положение? И если месть не удалась, виновные могли бы своим раскаянием заслужить прощение, так неужели мы стали бы упорствовать, задерживая в плену человека, от которого нам ничего не добиться? Не абсурд ли это? Уберите вашу известку, она ничего нам не дала,— обратился он к общественному обвинителю,— либо мы слабоумные преступники, чего вы сами не допускаете, либо мы не виновны и являемся жертвой каких-то обстоятельств, необъяснимых в равной степени и для нас и для вас. Вы бы лучше обратили внимание на пачки документов, сожженные у сенатора и свидетельствующие о каких-то куда более важных интересах, нежели наши; может быть, это помогло бы вам разобраться в его похищении.

Защитник развил это предположение с поразительным искусством. Он подчеркнул высокие нравственные качества свидетелей защиты, людей глубоко набожных, верящих в будущую жизнь, в вечные муки. Тут он высказал поистине возвышенные мысли и глубоко взволновал присутствующих.

— Как же так? — говорил он.— Обвиняемые преспокойно обедают, узнав от кузины о похищении сенатора! Когда жандармский офицер подсказывает им, каким образом положить всему этому конец, они не желают освобождать сенатора, они не понимают, чего от них хотят.

Тут он намекнул на таинственность этого дела, ключ от которого находится в руках времени, а время, несомненно, разоблачит несправедливость данного обвинения. Став на эту почву, адвокат сделал ловкий и смелый ход, поставив себя на место одного из присяжных; он привел свой воображаемый разговор с коллегами и описал, как был бы он удручен, если бы вынес жестокий приговор, а потом выяснилось бы, что это судебная ошибка; он живо описал предстоящие ему муки совести, а потом, вернувшись к тем сомнениям, которые зародились бы в его душе от речей защитников, подчеркнул эти сомнения с такой убедительностью, что присяжных охватила мучительная тревога.

Присяжные тогда еще не пресытились подобными речами, все это еще имело для них прелесть новизны и по-

вергло их в страшное смятение. После горячей речи г-на де Гранвиля присяжным предстояло выслушать хитроумного и искусного Бордена, который развил доводы молодого адвоката, подчеркнул все темные стороны дела и представил его совершенно загадочным. Он старался поразить разум и рассудок, в то время как г-н де Гранвиль обращался к сердцу и воображению. Словом, ему удалось сбить с толку присяжных столь убедительными доводами, что все сложное построение общественного обвинителя разлеталось вдребезги. Это было настолько очевидно, что адвокат господ д'Отсэров и Готара положился на осторожность присяжных, решив, что в отношении его подзащитных обвинение отпало. Обвинитель возбудил ходатайство о перенесении его ответной речи на следующий день. Напрасно Борден, понимавший, что если присяжные начнут совещание тотчас же после защитительных речей, они оправдают подсудимых, привел, основываясь на праве и на существе дела, возражения против того, чтобы его ни в чем не повинные подзащитные провели еще целую ночь в тревоге; но он ничего не достиг, и суд удалился на совещание.

— На мой взгляд, интересы общества должны соблюдаться не меньше, чем интересы подсудимых,— заявил председатель.— Суд допустил бы явную несправедливость, если бы отказал в такой просьбе защите; следовательно, он должен удовлетворить и просьбу обвинения.

— Никогда не знаешь, где найдешь, где потеряешь,— сказал Борден, обращаясь к своим подзащитным.— Сегодня вас могли бы оправдать, завтра могут осудить.

— Как бы то ни было,— ответил старший Симез,— мы можем только восхищаться вами.

Глаза мадемуазель де Сен-Синь были полны слез. После сомнений, высказанных защитниками, она уже не надеялась на такой успех. Ее принялись поздравлять, и все уверяли в бесспорном оправдании ее кузенов. Но в этом процессе предстояло еще одно событие — самое ошеломляющее, самое зловещее и непредвиденное, какое когда-либо опрокидывало весь ход уголовного разбирательства.

В пять часов утра, на другой день после речи г-на де Гранвиля, сенатора увидели по дороге близ Труа; он был освобожден во время сна каким-то неизвестным и

направлялся в Труа, ничего не зная о процессе, не ведая о том, как его имя гремит по всей Европе, и просто был счастлив тем, что вновь дышит вольным воздухом. И человек этот, послуживший осью для всей вышеописанной трагедии, был так же ошеломлен тем, что́ ему рассказали, как и встретившие его тем, что он перед ними предстал. Ему дали коляску некоего фермера, и он поспешил в Труа, к префекту. Последний немедленно сообщил новость председателю совета присяжных обвинения, правительственному комиссару и общественному обвинителю; выслушав рассказ графа де Гондревиля, они приказали доставить Марту, которая ночевала у Дюрие, а тем временем председатель совета присяжных занялся обоснованием и составлением ордера на ее арест. Мадемуазель де Сен-Синь, находившаяся на свободе под поручительство, также была схвачена в один из тех редких часов, когда ей, среди беспрерывных волнений, удалось ненадолго забыться сном; ее заключили под стражу в префектуре, где ей предстояло подвергнуться допросу. Начальнику тюрьмы было отдано распоряжение не допускать общения подсудимых не только друг с другом, но и с их защитниками. В десять часов утра толпа, собравшаяся перед зданием суда, узнала, что заседание переносится на час дня.

Эта перемена, совпавшая с известием о появлении сенатора, с арестом Марты и мадемуазель де Сен-Синь и с прекращением допуска к подсудимым, вселила ужас в сердца обитателей особняка Шаржбефов. Весь город и все любопытные, приехавшие из Труа, чтобы присутствовать на процессе, стенографы, присланные газетами, и даже простой народ были в смятении, которое легко понять. Около десяти часов утра аббат Гуже пришел повидаться с супругами д'Отсэрами и защитниками. В это время в доме завтракали — если можно завтракать при таких обстоятельствах; кюре отвел Бордена и г-на де Гранвиля в сторону и передал им признание Марты, а также обрывок полученного ею письма. Защитники переглянулись, затем Борден сказал аббату:

— Об этом ни звука! Видимо, все погибло, но сохраним по крайней мере свое достоинство.

Марта не могла устоять перед объединенными силами председателя совета присяжных и общественного об-

винителя. К тому же против нее было множество улик. По указанию сенатора, Лешено послал за нижней коркой последнего каравая, принесенного Мартой; эта корка, а также несколько порожних бутылок и других предметов были оставлены сенатором в подземелье. В долгие часы заключения сенатор строил всевозможные догадки относительно случившегося и упорно доискивался каких-либо признаков, которые могли бы навести на след его врагов; все эти соображения он, конечно, изложил представителям правосудия. Дом Мишю был построен недавно; следовательно, печь в доме новая и швы пода, на котором выпекался хлеб, должны иметь определенный рисунок; сравнив его с узором на нижней корке хлеба, можно установить, что хлеб испечен именно здесь. Затем, бутылки, запечатанные зеленым сургучом, вероятно, сходны с бутылками из погреба Мишю. Сенатор поделился этими тонкими соображениями с судьей, который производил обыск в присутствии Марты, и это дало те результаты, которых и ожидал сенатор. Марта, поверив в притворное добродушие, с которым Лешено, общественный обвинитель и правительственный комиссар убеждали ее, что лишь чистосердечное признание может спасти жизнь ее мужа, и совершенно сраженная неоспоримостью улик, подтвердила, что о тайнике, в котором содержался сенатор, знали только Мишю да господа де Симезы и д'Отсэры и что она три раза по ночам относила туда продовольствие узнику. Лоранса, допрошенная насчет тайника, вынуждена была признать, что подземелье это было обнаружено Мишю и что он указал на него еще до процесса как на подходящее место, где можно спрятать молодых дворян от разыскивающей их полиции.

Как только допрос обеих женщин был кончен, присяжных и адвокатов уведомили о возобновлении судебного разбирательства. В три часа дня председатель открыл заседание и объявил, что прения будут возобновлены на основе новых данных. Председатель показал Мишю три бутылки и спросил, признает ли он их своими, при этом обратив внимание подсудимого на тождественность сургуча на двух пустых бутылках и одной полной, взятой в то утро судьей в присутствии Марты из погреба. Бывший лесничий признал бутылки своими; когда же председатель объяснил, что пустые бутылки только

что обнаружены в подземелье, где содержался сенатор, эти новые вещественные доказательства произвели огромное впечатление на присяжных. Затем каждого из подсудимых допросили относительно тайника, скрытого под развалинами монастыря. В прениях, развернувшихся после повторного допроса всех свидетелей и защиты и обвинения, было установлено, что о тайнике, обнаруженном Мишю, знали, кроме него, только Лоранса и четверо дворян. Можно представить себе, как подействовало на публику и на присяжных сообщение общественного обвинителя о том, что именно этот подвал, известный лишь подсудимым и двум свидетельницам, и послужил темницей для сенатора. В зал суда ввели Марту. Ее появление вызвало заметное волнение и у публики и у обвиняемых. Г-н де Гранвиль поднялся с места и заявил протест против того, чтобы жена давала показания, порочащие мужа. Общественный обвинитель возразил, что Марта, по ее собственному признанию, является соучастницей преступления и что поэтому ей не придется ни приносить присягу, ни выступать в качестве свидетельницы, а ее необходимо выслушать лишь в интересах истины.

— Впрочем, достаточно будет просто огласить показания, данные ею председателю совета присяжных,— заметил председатель и велел секретарю прочесть составленный утром протокол.

— Подтверждаете вы эти показания? — спросил председатель.

Мишю взглянул на жену, и Марта, поняв свою ошибку, упала без чувств. Можно сказать, не преувеличивая, что эта сцена как громом потрясла подсудимых и их защитников.

— Я ни строчки не написал жене из тюрьмы и не знаком ни с одним из тюремных служащих,— заявил Мишю.

Борден передал ему клочок письма, и подсудимому достаточно было взглянуть на него, чтобы воскликнуть:

— Мой почерк подделали!

— Вам ничего другого и не остается, как все отрицать,— заметил общественный обвинитель.

После этого ввели сенатора—с соблюдением всех церемоний, обычных при встрече столь высокопоставлен-

ного лица. Появление его произвело ошеломляющий эффект. Мален, которого судейские без всякой жалости к прежним владельцам прекрасного поместья величали графом де Гондревилем, по предложению председателя весьма внимательно и долго всматривался в подсудимых. Он признал, что его похитители были одеты точно так же, как эти молодые люди, однако добавил, что в ту минуту, когда на него напали, он был слишком потрясен и поэтому не решается положительно утверждать, что обвиняемые и есть преступники.

— Более того,— продолжал он,— я уверен, что эти молодые господа тут ни при чем. Глаза мне завязали в лесу огрубелые руки. Поэтому,— продолжал Мален, глядя на Мишю,— я скорее готов допустить, что об этом позаботился мой бывший управляющий. Однако прошу господ присяжных тщательно взвесить мои показания.

На этот счет у меня только легкое подозрение, но уверенности нет никакой — и вот почему. Два человека подняли меня и посадили на круп лошади, позади того, кто завязал мне глаза, и у него волосы были рыжие, как у обвиняемого Мишю. Каким бы ни показалось странным еще одно мое наблюдение, я должен сказать о нем, ибо оно благоприятно для обвиняемого, и я прошу его не обижаться на меня. Будучи привязан к спине неизвестного, я, естественно, должен был, несмотря на скорость езды, чувствовать исходящий от него запах. А запах этот не был похож на тот, который присущ Мишю. Что же касается женщины, которая три раза приносила мне пищу, то я уверен, что это была жена Мишю, Марта. В первый раз я узнал ее по кольцу, подаренному ей мадемуазель де Сен-Синь,— она не догадалась его снять. Прошу суд и господ присяжных принять во внимание противоречивость этих обстоятельств, которых я еще и сам не могу себе объяснить.

Показания Малена были единодушно встречены одобрительным шепотом. Борден попросил у суда разрешения задать этому ценному свидетелю несколько вопросов.

— Значит, господин сенатор считает, что его похищение было совершено с другими целями, чем те, которые приписывает подсудимым общественный обвинитель?

— Конечно,— ответил сенатор.— Но об этих целях я ничего не знаю, ибо за двадцать дней своего заключения я ни с кем не виделся.

— Допускаете ли вы,— спросил тогда общественный обвинитель,— что в вашем замке могли находиться какие-либо документы, грамоты, ценности, которые явились бы предметом розысков со стороны господ де Симезов?

— Не думаю,— ответил Мален.— Если бы даже и так, то я не допускаю, чтобы эти господа решились завладеть ими путем насилия. Достаточно было бы попросить меня, и я бы их отдал.

— А не жег ли господин сенатор каких-нибудь бумаг в своем парке? — неожиданно спросил г-н де Гранвиль.

Сенатор взглянул на Гревена. Обменявшись с нотариусом многозначительным взглядом, который не ускользнул от Бордена, Мален ответил, что никаких бумаг не жег. Когда общественный обвинитель спросил сенатора о засаде в парке, жертвой которой он чуть было не стал, а также не ошибается ли он относительно направленного на него ружья, Мален ответил, что Мишю в то время сидел на дереве. Этот ответ, совпавший с показанием Гревена, произвел огромное впечатление. Молодые дворяне с полным хладнокровием выслушали показания врага, подавлявшего их своим великодушием. Лоранса страдала ужасно, и временами маркизу де Шаржбефу приходилось удерживать ее за руку. Наконец граф де Гондревиль удалился, поклонившись также и четырем молодым людям, но они не ответили ему. Эта мелочь возмутила присяжных.

— Они погибли,— шепнул Борден маркизу.

— Увы! И все из-за гордости,— ответил тот.

— Теперь наша задача стала гораздо легче, господа,— сказал общественный обвинитель, поднявшись с места и обращаясь к присяжным.

По его мнению, два мешка извести пошли на укрепление железной скобы для замка́, запирающего болт на двери подземелья; этот болт подробно описан в протоколе, составленном Пигу. Обвинителю нетрудно было доказать, что только подсудимые знали о существовании подземелья. Он изобличил лживость версии защиты, он перебрал все доводы адвокатов в свете новых, столь не-

ожиданно полученных улик. В 1806 году еще слишком живо было воспоминание о Верховном Существе 1793 года, чтобы ссылаться на божье правосудие,— поэтому он избавил присяжных от разговоров о деснице божьей. Наконец, он заявил, что судебные власти будут неусыпно следить за неизвестными сообщниками, которые освободили сенатора, и сел, уверенно ожидая вердикта.

Присяжные понимали, что во всем этом есть какая-то тайна; но они были убеждены, что тайна эта создана самими подсудимыми, которые чего-то не договаривают в силу личных и в высшей степени важных соображений.

Господин де Гранвиль, которому становилось ясно, что тут кроются какие-то махинации, поднялся со своего места; он был явно удручен — и не столько новыми данными, сколько тем, что, как видно, у присяжных уже сложилось определенное убеждение. Адвокат, пожалуй, даже превзошел свою речь, произнесенную им накануне: вторая его речь была еще более логичной и сжатой, чем первая. Но он чувствовал, что его пыл наталкивается на холод и неприязнь присяжных: слова его не достигали цели — и он это понимал. Положение страшное, леденящее! Он обратил внимание суда на то, что освобождение сенатора, совершившееся как по волшебству и уж, конечно, без участия кого-либо из подсудимых или Марты, лишь подтверждает его первоначальные предположения. Нет никакого сомнения в том, что вчера подсудимые могли рассчитывать на оправдание, и если, как предполагает обвинение, от них зависело держать взаперти или выпустить сенатора, то они освободили бы его лишь после приговора. Он старался доказать, что нанести им этот удар могли только какие-то скрытые враги.

Странное дело! Г-н де Гранвиль заронил сомнение в душу общественного обвинителя да судей, а присяжные слушали его только по обязанности. Даже публика, обычно расположенная к подсудимым, была убеждена в их виновности. Мысли создают особую действенную атмосферу. В зале суда мысли толпы тяготеют над судьями и присяжными — и наоборот. Убеждаясь в настроении умов, которое всегда легко осознать или почувствовать, защитник закончил свою речь с какой-то прямо лихорадочной восторженностью, вызванной силою глубокого убеждения.

— От имени подсудимых я заранее прощаю вам роковое заблуждение, которое уже нельзя будет рассеять!— воскликнул он.— Все мы являемся здесь игрушкой в руках каких-то неведомых и коварных сил. Марта Мишю стала жертвою гнусного вероломства, и общество убедится в этом, но будет уже поздно.

Борден избрал своим орудием показания сенатора и потребовал оправдания подсудимых.

Председатель сделал резюме прений с тем бóльшим беспристрастием, что присяжные и без того уже были явно убеждены. Он даже склонил чашу весов в сторону обвиняемых, упирая на показания сенатора. Это благожелательство отнюдь не могло поколебать успех обвинения. В одиннадцать часов вечера, на основании ответов, данных присяжными на поставленные им вопросы, суд приговорил Мишю к смертной казни, господ де Симезов к двадцати четырем годам, а двух д'Отсэров к десяти годам каторжных работ. Готар был оправдан. Все присутствующие остались в зале суда, чтобы видеть, как будут держать себя пятеро осужденных в ту роковую минуту, когда, явившись в суд свободными, они узнают о своем осуждении. Четверо молодых людей взглянули на Лорансу, которая обратила к ним сухой, горящий взор, подобный взору мученицы.

— Она плакала бы, если б нас оправдали,— сказал брату младший Симез.

Никогда еще осужденные не встречали несправедливого приговора с таким спокойствием и достоинством, как эти пять жертв чудовищной интриги.

— Наш защитник простил вас! — проговорил старший Симез, обращаясь к судьям.

Госпожа д'Отсэр заболела и три месяца пролежала в особняке де Шаржбефа. Г-н д'Отсэр мирно возвратился в Сен-Синь, но его точило горе, от которого стариков, в отличие от молодежи, ничто не может отвлечь; он часто задумывался, и это доказывало аббату, что несчастный отец не в силах примириться с роковым приговором. Марту судить не пришлось: через три недели после осуждения мужа она умерла в тюрьме на руках у Лорансы, заботам которой и поручила своего сына. Вскоре после того как распространилась весть о приговоре, произошли политические события чрезвычайной важности; они

изгладили из памяти людей этот процесс, и о нем перестали говорить. Общество подобно океану: после бури оно снова становится тихим, возвращается в свои берега, стирая следы бедствия беспрестанным движением всепоглощающих интересов.

Не обладай Лоранса исключительной твердостью духа и не будь она убеждена в невиновности кузенов, она не снесла бы этого горя; но она вновь показала все величие своего характера, она поразила г-на де Гранвиля и Бордена той внешней невозмутимостью, которую придают благородным натурам великие несчастья. Она заботилась о г-же д'Отсэр, ухаживала за ней, притом каждый день проводила два часа в тюрьме. Она заявила, что когда кузенов сошлют на каторгу, один из них станет ее мужем.

— На каторгу! — воскликнул Борден.—Но, мадемуазель, теперь надо думать о том, как испросить у императора помилование.

— Помилование? У какого-то Бонапарта? — с негодованием воскликнула Лоранса.

Старый прокурор был так ошеломлен словами Лорансы, что очки соскочили у него с носа; он подхватил их на лету и уставился на молодую девушку, которая в тот миг казалась ему зрелой женщиной; тут он до конца понял этот характер, понял, на что она способна, и, взяв маркиза де Шаржбефа под руку, сказал:

— Маркиз, едемте скорей в Париж и спасем их без ее участия!

Кассационная жалоба господ де Симезов, д'Отсэров и Мишю была первым делом, которое предстояло рассмотреть кассационному суду. Торжества по случаю учреждения этого суда, к счастью, задерживали его решение.

В конце сентября, после трех заседаний, когда были выслушаны речи защитника и главного прокурора Мерлена, который сам выступил по этому делу, кассационная жалоба была отклонена. В Париже тогда был только что учрежден имперский суд и г-н де Гранвиль назначен помощником главного прокурора, а так как департамент Об входил в юрисдикцию этого суда, то г-н де Гранвиль мог в недрах своего министерства похлопотать за осужденных; он настойчиво просил за них своего покровителя Камбасереса. На другой день после ре-

шения кассационного суда Борден и г-н де Шаржбеф приехали к г-ну де Гранвилю в его особняк в квартале Марэ, где он вкушал радости медового месяца, ибо тем временем успел жениться. Несмотря на все перемены, произошедшие в жизни бывшего адвоката, он был глубоко огорчен отказом кассационного суда, и г-н де Шаржбеф понял, что молодой помощник прокурора по-прежнему верен интересам своих бывших подзащитных. Иные адвокаты — так сказать, мастера своего дела — относятся к процессам, которые они ведут, словно к возлюбленным. Но случаи такие редки, не полагайтесь на них! Оставшись в кабинете наедине со своими бывшими клиентами, г-н де Гранвиль сказал маркизу:

— Не дожидаясь вашего посещения, я уже пустил в ход все свое влияние. Не думайте спасти Мишю, иначе вы не добьетесь помилования господ де Симезов. Нужна жертва.

— Боже мой! — воскликнул Борден, показывая молодому прокурору три прошения о помиловании.— Как же я могу изъять прошение вашего бывшего подзащитного? Разорвать эту бумагу — значит снять с него голову.

Он протянул ему лист с подписью Мишю; г-н де Гранвиль взял бумагу и посмотрел на нее.

— Уничтожить ее мы не можем, но знайте: если вы будете просить все, то не получите ничего.

— А успеем мы переговорить с Мишю? — сказал Борден.

— Успеете. Распоряжение о казни дается главной прокуратурой, и мы можем предоставить вам несколько дней отсрочки. Людей убивают,— добивал он с какой-то особой горечью,— но при этом строго соблюдаются все формальности, особенно в Париже.

Маркиз де Шаржбеф уже справился у верховного судьи, и полученные им разъяснения придавали еще больший вес мрачным словам г-на де Гранвиля.

— Мишю не виновен, я знаю это, я это утверждаю,— продолжал прокурор,— но что я могу сделать один против всех? К тому же примите в соображение, что теперь я вынужден молчать. Моя обязанность — воздвигнуть эшафот, чтобы на нем обезглавили моего бывшего подзащитного.

Господин де Шаржбеф слишком хорошо знал Лоран-

су и был уверен, что она ни за что не согласится спасти своих кузенов за счет Мишю. Поэтому маркиз предпринял еще одну попытку. Он решил добиться приема у министра иностранных дел и узнать, нельзя ли что-либо сделать при помощи высших дипломатических кругов. Он взял с собою Бордена,— тот был знаком с министром и даже оказал ему несколько услуг. Старики застали Талейрана погруженным в созерцание пылающего камина; он сидел, вытянув ноги, поддерживая рукою голову и облокотившись на стол; на полу лежала газета. Министр только что прочел о решении кассационного суда.

— Садитесь, пожалуйста, маркиз,— сказал министр.— А вы, Борден,— добавил он, указывая ему место за столом, против себя,— пишите:

«Государь,

Мы, нижеподписавшиеся четыре дворянина, осужденные, но не виновные, только что узнали, что вынесенный нам приговор утвержден кассационным судом Вашего Величества.

Теперь только вы, Ваше Императорское Величество, можете помиловать нас. Мы просим о Вашем Августейшем милосердии лишь ради того, чтобы получить возможность пожертвовать своею жизнью, сражаясь под знаменами Вашего Величества, и имеем честь уверить Ваше Величество в нашем глубочайшем благоговении...» и так далее.

— Только князья и могут так благодетельствовать!— сказал маркиз де Шаржбеф, принимая из рук Бордена драгоценный черновик прошения, которое должны были подписать четверо осужденных; маркиз надеялся, что ему удастся еще получить письменную поддержку некоторых высокопоставленных лиц.

— Жизнь ваших родственников, маркиз, зависит от случайностей войны,— сказал министр,— постарайтесь подать прошение на другой день после победы, и они будут спасены!

Он взял перо и собственноручно написал конфиденциальное письмо императору, а также несколько строк маршалу Дюроку, потом позвонил, отдал секретарю распоряжение заготовить дипломатический паспорт и спокойно спросил старого юриста:

— Каково ваше откровенное мнение об этом деле?

— Но вы ведь знаете, ваша светлость, кто именно нас так опутал?

— Подозреваю. Однако, по некоторым соображениям, я хочу получить полную уверенность в этом,— ответил князь.— Возвращайтесь в Труа, привезите ко мне графиню де Сен-Синь завтра сюда, в это же время, но тайно. Пройдите к княгине, я ее предупрежу о вашем посещении. Мы посадим мадемуазель де Сен-Синь так, что ей будет виден человек, стоящий передо мной; если она узнает в нем незнакомца, который приходил к ней в дни заговора господ де Полиньяка и де Ривьера, то пусть — что бы я ни говорил, что бы он ни отвечал,— пусть она не промолвит ни единого слова, не сделает ни единого жеста. Во всяком случае, сосредоточьте все усилия на спасении господ де Симезов, не вздумайте заботиться об этом негодяе управляющем.

— Это достойнейший человек, ваша светлость! — воскликнул Борден.

— Какое воодушевление! Да еще у вас, Борден! Видимо, это человек незаурядный... Наш монарх крайне самолюбив, маркиз,— сказал он, меняя разговор.— Он уволит меня, если я стану противиться его безрассудным прихотям. Император — великий полководец, которому дано изменять законы времени и пространства, но изменить людей ему не удается, а он хотел бы отлить их всех по тому образцу, который ему нужен. Итак, не забывайте, что помилования ваших родственников может добиться одно-единственное лицо, и это — мадемуазель де Сен-Синь.

Маркиз один уехал в Труа и рассказал Лорансе положение вещей. Лоранса выхлопотала у имперского прокурора разрешение на свидание с Мишю; маркиз проводил ее до ворот тюрьмы и стал ее тут дожидаться. Она вышла вся в слезах.

— Несчастный хотел стать на колени, умоляя меня больше не думать о нем, и забыл, что на ногах у него кандалы. Маркиз, я буду просить за него! Да, теперь я готова поцеловать сапог у их императора! Если же я потерплю неудачу, то моими заботами память об этом человеке будет вечно жить в нашей семье. Подайте его

прошение о помиловании, чтобы выгадать время: я хочу заказать его портрет. Поедемте.

На следующий день, когда министр по условному знаку понял, что Лоранса заняла предназначенное ей место, он позвонил и приказал явившемуся камердинеру ввести г-на Корантена.

— Любезный, вы оказались настолько ловким, что я намерен воспользоваться вами,— сказал ему Талейран.

— Ваша светлость...

— Подождите! Служа Фуше, вы получите большие деньги, но никогда не добьетесь ни почестей, ни видного положения в обществе; если же вы будете служить мне, как только что сделали это в Берлине, вы приобретете вес.

— Вы бесконечно милостивы, ваша светлость...

— Ваше недавнее предприятие в Гондревиле показало, что у вас настоящий талант...

— Что вы имеете в виду, ваша светлость? — спросил Корантен без особой холодности и особого удивления.

— Нет, сударь, вы ничего не достигнете: вы боитесь...— сухо отозвался министр.

— Чего, ваша светлость?

— Смерти,— ответил министр своим красивым, глубоким голосом.— Прощайте, любезный.

— Это он! — сказал, входя, маркиз де Шаржбеф.— Но мы чуть не убили графиню: ей дурно!

— Только он и способен на такие проделки,— ответил министр.— Боюсь, маркиз, что вы потерпите неудачу,— продолжал князь.— Отправляйтесь якобы в Страсбург, я пришлю вам незаполненные паспортные бланки. Возьмите с собою людей, похожих на вас как двойники, искусно меняйте направление и особенно экипажи. Двойников оставьте вместо себя в Страсбурге, а сами спешите через Швейцарию и Баварию в Пруссию. Молчание и осторожность! Против вас полиция, а вы еще не знаете, что такое полиция!

Мадемуазель де Сен-Синь предложила Роберу Лефевру достаточную сумму за то, чтобы он приехал в Труа и написал портрет Мишю, а г-н де Гранвиль обещал художнику, пользовавшемуся тогда громкой славой, что ему будут предоставлены наилучшие условия для работы. Г-н де Шаржбеф отправился в путь в своем старом рыд-

ване с Лорансой и лакеем, говорившим по-немецки. Около Нанси они нагнали Готара и мадемуазель Гуже, которые выехали раньше них в превосходной коляске; маркиз пересел в эту коляску, а им отдал рыдван. Министр оказался прав. В Страсбурге главный полицейский комиссар отказался завизировать паспорта путешественников, ссылаясь на полученный им строжайший приказ. А в это время маркиз с Лорансой выезжали из Франции через Безансон по дипломатическим паспортам. Лоранса проехала Швейцарию в первые дни октября, но не обратила ни малейшего внимания на эту восхитительную страну. Она сидела в уголке коляски, погруженная в то глубокое оцепенение, которое охватывает преступника, уже знающего час своей казни. Вся природа кажется тогда окутанною в какую-то жгучую мглу и самые обыденные предметы приобретают фантастические очертания. «Если я потерплю неудачу, они умрут»,— эта мысль все вновь и и вновь обрушивалась на нее, как некогда палица палача обрушивалась на приговоренного к колесованию. Она чувствовала себя все более разбитой и все больше теряла энергию в ожидании страшной, быстротечной и решающей минуты, когда она окажется лицом к лицу с человеком, от которого зависит судьба четырех молодых людей. Лоранса решила не противиться этому изнеможению, чтобы зря не тратить своих сил. Однако маркиз не мог понять подобных расчетов, на которые способны только люди сильные и которые сказываются по-разному, причем в минуты напряженного ожидания некоторые возвышенные умы даже предаются неожиданной веселости; поэтому маркиз опасался, что не довезет Лорансу живою и что не состоится встреча, имеющая столь важное значение только для них, но все же выходящая за обычные рамки частной жизни. Необходимость унизиться перед человеком, которого она презирает и ненавидит, была сопряжена для Лорансы с гибелью всех ее благородных чувств.

— После этого,— говорила она,— на свете будет жить уже не та Лоранса.

Однако едва путники достигли Пруссии, они не могли не заметить огромного движения людей и повозок. Начиналась иенская кампания. Лоранса и маркиз видели блестящие полки французской армии, которые выстра-

ивались и маршировали словно на параде в Тюильри. И благодаря этой развернувшейся перед нею картине военного величия, которое можно описать только с помощью библейских образов и сравнений, человек, воодушевлявший все это множество людей, вырос вдруг для Лорансы до гигантских размеров. Вскоре она услышала и вести о победе. Императорские войска только что одержали верх в двух больших сражениях. Накануне приезда путников в Заальфельд, где они надеялись нагнать Наполеона, который двигался с молниеносной быстротой, был убит принц Прусский. Наконец, тринадцатого октября (число это почитается несчастливым) мадемуазель де Сен-Синь оказалась у реки; она ехала вдоль берега, среди войск великой армии, и видела вокруг себя страшную сумятицу; их посылали от одной деревни к другой, от одного подразделения к другому, и Лоранса с ужасом думала о том, что ведь она здесь одна со стариком, среди моря солдат,— их было полтораста тысяч, и они преследовали полтораста тысяч солдат противника. Грязная дорога вела по холмам, а за оградой, тянувшейся вдоль нее, все время виднелась река; устав от этого однообразного пейзажа, Лоранса спросила у встречного солдата, как называется река.

— Это Заала,— ответил он и указал на прусскую армию, расположившуюся крупными соединениями на другом берегу.

Сгущались сумерки; Лоранса видела, как вспыхивают костры и поблескивает оружие. Старый маркиз, усевшись с рыцарской неустрашимостью на козлы рядом с новым слугою, правил сам парой отличных лошадей, купленных накануне. Старик предвидел, что, приехав на поле боя, он не найдет ни ямщиков, ни лошадей. Вдруг отважный экипаж, вызывавший удивление у всех солдат, был остановлен жандармом армейской жандармерии, который налетел на маркиза с криком:

— Кто вы такой? Куда вы едете? Кого вам надо?

— Императора,— ответил маркиз.— Я везу важное донесение министров маршалу Дюроку.

— Ну, здесь вам оставаться нельзя,— сказал жандарм.

Однако мадемуазель де Сен-Синь и маркизу все же пришлось остаться, так как совсем стемнело.

— Где мы? — спросила мадемуазель де Сен-Синь, остановив двух проезжавших мимо нее офицеров, мундиры которых были скрыты суконными сюртуками.

— Вы находитесь впереди авангарда французской армии, сударыня,— ответил один из них.— Но вам никак нельзя здесь быть, ведь если только неприятель двинется с места и начнется артиллерийская перестрелка, вы окажетесь меж двух огней.

— Вот как! — промолвила она равнодушно.

Услышав это «Вот как!», другой офицер заметил:

— Каким образом эта женщина очутилась здесь?

— Мы ожидаем жандарма, который взялся доложить о нас господину Дюроку, а господин Дюрок поможет нам повидаться с императором,— ответила она.

— Повидаться с императором? — переспросил первый офицер.— Накануне решающего сражения! Да вы шутите!

— Пожалуй, вы правы,— сказала она,— лучше обратиться к нему завтра, после победы он будет добрее.

Офицеры отъехали шагов на двадцать и остановились. Тут коляску окружил целый отряд генералов, маршалов, офицеров в блестящих мундирах; и все они объезжали карету — просто потому, что она стояла у них на пути.

— Знаете,— сказал маркиз Лорансе,— я боюсь, не разговаривали ли мы с самим императором.

— Император? Да вот он! — сказал один из генералов.

Тогда Лоранса увидела в нескольких шагах от себя офицера,—того самого, который воскликнул: «Каким образом эта женщина очутилась здесь?» Он выехал немного вперед и был теперь один. Офицер этот,— короче говоря, император,— был в своем знаменитом сером сюртуке, надетом поверх зеленого мундира; он сидел на белой лошади, покрытой роскошной попоной, и разглядывал в подзорную трубу прусскую армию, расположившуюся на том берегу реки. Тут Лоранса поняла, почему, экипаж ее стоит на дороге, а свита императора почтительно объезжает его. Сердце девушки судорожно сжалось: час настал. Она услышала глухой гул огромного множества людей, которые поспешно размещались на возвышенности, и шум передвигаемых орудий. Казалось, бата-

реи говорят особым языком; зарядные ящики грохотали, сверкала медь.

— Маршалу Ланну занять со своим корпусом передние позиции, маршалу Лефевру и гвардии расположиться на вершине холма,— сказал другой офицер, оказавшийся начальником главного штаба Бертье.

Император спешился. При первом же движении Наполеона его знаменитый мамелюк Рустан бросился к нему, чтобы принять лошадь. Изумленная Лоранса растерялась, она никак не ожидала такой простоты.

— Я проведу ночь здесь,— сказал император.

В это время великий маршал Дюрок, которого жандарм, наконец, разыскал, подошел к маркизу де Шаржбефу и спросил, зачем он приехал; маркиз ответил, что из письма министра иностранных дел маршал узнает, как важно для него, маркиза, и для Лорансы получить аудиенцию у императора.

— Его величество, вероятно, будет обедать на бивуаке,— ответил Дюрок, беря письмо.— Я узна́ю, о чем идет речь, и если окажется возможным удовлетворить вашу просьбу, уведомлю вас. Вахмистр,— обратился он к жандарму,— проводите экипаж и поставьте его позади вон того домика.

Господин де Шаржбеф поехал вслед за жандармом и остановился подле убогой хижины, построенной из глины и досок и окруженной несколькими фруктовыми деревьями; хижину охраняли конные и пешие пикеты.

Можно сказать, что величие войны развертывалось здесь во всем своем блистательном великолепии. С холма видны были линии обеих армий, озаренные луной. После часового ожидания, во время которого непрерывно сновали туда и сюда адъютанты, Дюрок пришел за мадемуазель де Сен-Синь и маркизом де Шаржбефом и ввел их в хижину с земляным полом, вроде того, какой бывает на гумнах. За пустым столом, с которого, видимо, только что убрали посуду, возле печки, где, чадя, тлело несколько сырых поленьев, на простом деревенском стуле сидел Наполеон. Его покрытые грязью сапоги свидетельствовали о долгих разъездах по полям. Он был без своего знаменитого серого сюртука, и его всем известный зеленый мундир с пересекавшей его широкой красной лентой ордена Почетного легиона, которая еще

более выделялась благодаря белым казимировым штанам и белому жилету, особенно подчеркивал его лицо, бледное и грозное, как у цезаря. Рука императора лежала на карте, развернутой у него на коленях. Бертье стоял, блистая мундиром вице-коннетабля Империи. Камердинер Констан подавал императору на подносе кофе.

— Что вам угодно? — спросил Наполеон с напускной грубостью, пронизывая Лорансу взглядом, точно лучом.— Вы уже не боитесь разговаривать со мной перед сражением? О чем идет речь?

— Государь, я мадемуазель де Сен-Синь,— ответила она, вперив в него не менее пристальный взор.

— И что же? — отозвался он раздраженно, так как взгляд девушки показался ему дерзким.

— Разве вам не ясно? Я графиня де Сен-Синь и прошу вас о милости,— сказала она, бросаясь на колени и протягивая ему ходатайство, составленное Талейраном и с приписками императрицы, Камбасереса и Малена.

Император любезно поднял просительницу и, бросив на нее лукавый взгляд, сказал:

— Станете вы наконец умницей? Понимаете ли вы, чем должна стать Французская империя?

— Ах, в эту минуту я понимаю только императора,— сказала она, побежденная добродушием, с каким этот человек, отмеченный роком, произнес слова, сулившие помилование.

— Они не виновны? — спросил император.

— Все не виновны,— ответила она восторженно.

— Все? Нет, лесничий — человек опасный, он намеревался убить моего сенатора, не спросясь вашего мнения...

— Государь! Будь у вас друг, бесконечно вам преданный, разве вы отреклись бы от него? — воскликнула она.— Разве вы...

— Вы — женщина,— сказал он чуть насмешливо.

— А вы — железный человек,— ответила она с пылкой твердостью, которая понравилась ему.

— Этого преступника признал виновным суд, действующий в нашей стране,— продолжал он.

— Но он не виновен!

— Дитя! — сказал император.

Он вышел и, взяв мадемуазель де Сен-Синь под руку, повел ее на холм.

— Вот,— продолжал он с тем особым, присущим ему красноречием, которое преображало трусов в героев,— вот триста тысяч человек, они тоже не виновны. И что же, тридцать тысяч из них завтра умрут, умрут за родину! Среди пруссаков, быть может, есть великий механик, философ, гений — и он погибнет. Мы, конечно, тоже лишимся каких-то неведомых нам великих людей. Наконец, может быть, и мне суждено стать свидетелем смерти моего лучшего друга. Но разве я стану роптать на бога? Нет. Я промолчу. Знайте же, мадемуазель, что надо умирать во имя законов своей страны так же, как здесь умирают во имя ее славы,— добавил он, ведя Лорансу назад к хижине.

— Поезжайте, вернитесь во Францию,— сказал он, глядя на маркиза,— мои распоряжения будут посланы вам вслед.

Лоранса решила, что наказание Мишю будет смягчено, и в порыве признательности преклонила колено и поцеловала руку императора.

— Вы господин де Шаржбеф? — спросил тогда Наполеон, вглядываясь в маркиза.

— Да, государь.

— У вас есть дети?

— Несколько человек.

— Почему бы вам не прислать ко мне одного из ваших внуков? Я принял бы его в число своих пажей.

«А вот сказался и подпоручик,— подумала Лоранса.— Хочет получить плату за оказанную милость».

Маркиз молча поклонился. К счастью, в хижину поспешно вошел генерал Рапп.

— Государь, конная гвардия и кавалерия великого герцога Бергского не поспеют сюда раньше, чем завтра после полудня.

— Ну что ж,— сказал Наполеон, оборачиваясь к Бертье,— и нам иной раз выпадают часы отдыха. Этой милостью надо воспользоваться.

По знаку императора маркиз и Лоранса вышли и сели в экипаж; вахмистр вывел их на дорогу и проводил до деревни, где они переночевали. На другой день они покинули поле боя под грохот восьмисот пушек, которые

палили в течение целых десяти часов, и уже в пути узнали об удивительной победе под Иеной. Неделю спустя они въезжали в предместье Труа. Верховный судья дал приказ имперскому прокурору при труаском суде первой инстанции освободить четырех дворян на поруки впредь до решения императора и короля, но в то же время прокуратура отдала распоряжение о казни Мишю. Оба приказа были получены в то утро, когда возвратилась Лоранса. Во втором часу графиня, в дорожном платье, отправилась в тюрьму. Лорансе позволили остаться при Мишю, пока над ним совершалась печальная церемония, именуемая одеванием; добрый аббат Гуже, выхлопотавший разрешение проводить его до эшафота, только что дал осужденному отпущение грехов. Мишю очень горевал, что умрет, так и не узнав об участи своих господ; поэтому появление Лорансы вызвало у него радостный возглас.

— Теперь я могу умереть,— сказал он.

— Их помиловали,— ответила она,— я не знаю еще, на каких условиях, но во всяком случае помиловали. Для тебя я сделала все, что могла, мой друг, несмотря на все предостережения. Я уж думала, что спасла тебя, однако император, по своей монаршей милости, обманул меня.

— Так было суждено! Пусть же сторожевого пса убьют на том самом месте, где были убиты его старые господа! — сказал Мишю.

Последний час пронесся быстро. Мишю перед отъездом не решился попросить иной милости, кроме разрешения поцеловать руку мадемуазель де Сен-Синь, но она подставила ему щеку, к которой эта благородная жертва благоговейно и приложилась. Мишю отказался ехать в повозке.

— Невинные должны идти пешком,— сказал он.

Он не захотел, чтобы аббат Гуже поддерживал его под руку, и решительно, с достоинством один дошел до эшафота. Кладя голову на плаху, он попросил палача отогнуть ворот его сюртука и сказал:

— Мое платье достанется вам, постарайтесь не повредить его.

Четверо дворян едва успели повидаться с мадемуазель де Сен-Синь: вестовой командира дивизии доставил

им грамоты о присвоении им чинов подпоручика и назначение в один и тот же полк с предписанием немедленно присоединиться к резерву их корпуса, расквартированного в Байонне. После раздирающего душу прощания — ибо все они предчувствовали печальное будущее — мадемуазель де Сен-Синь вернулась в свой опустевший замок.

Оба близнеца погибли на глазах у императора при Соммо-Сьера, защищая друг друга; оба они уже стали командирами эскадронов. Последними их словами были:

— Лоранса! *Умрем, не отступив!*

Старший д'Отсэр, уже в чине полковника, был убит при взятии редута под Москвой, и брат заступил его место.

Адриен, получив чин бригадного генерала после сражения под Дрезденом, где он был тяжело ранен, вернулся для лечения в Сен-Синь. Стремясь спасти последнего из четырех дворян, которые столь недолгое время окружали ее, графиня вышла за него замуж; ей было тогда тридцать два года. Но она могла предложить ему лишь раненое сердце, и он принял его; люди любящие или вовсе не знают сомнений, или сомневаются во всем.

Реставрацию Лоранса встретила без особого восторга; для нее Бурбоны вернулись слишком поздно. Однако у нее не было поводов жаловаться: ее муж, возведенный в пэры Франции, получил титул маркиза де Сен-Синь, а в 1816 году — чин генерал-лейтенанта и в воздаяние важных услуг, оказанных им в то время, был пожалован синей лентой ордена св. Духа.

Сына Мишю, о котором Лоранса заботилась как о собственном ребенке, в 1817 году приняли в сословие адвокатов. После двухлетней практики он был назначен сверхштатным судьей в Алансонский суд, а оттуда в 1827 году переведен на должность королевского прокурора в суд города Арси. Лоранса, взявшая на себя заботы о состоянии Мишю, вручила юноше в день его совершеннолетия документы на получение двенадцати тысяч франков ренты; позже она женила его на богатой невесте, мадемуазель Жирель из Труа. Маркиз де Сен-Синь скончался в 1829 году на руках у Лорансы и своих родителей, окруженный обожавшими его детьми. К тому

времени еще никому не удалось проникнуть в тайну похищения сенатора. Людовик XVIII был готов загладить горести, причиненные этими событиями; но в разговорах с маркизой де Сен-Синь он всегда избегал касаться причин похищения Малена, и маркиза стала считать его соучастником этого темного дела.

ЭПИЛОГ

Покойный маркиз де Сен-Синь истратил все свои сбережения, а также сбережения родителей на покупку роскошного особняка на улице Фобур-дю-Руль, который был им присоединен к большому майорату, служившему основою для его пэрства. Тогда стала понятна причина несносной скаредности маркиза и его родителей, которая часто так огорчала Лорансу. После приобретения особняка молодая маркиза, жившая в своем имении и копившая там деньги для детей, предпочитала проводить зимы в Париже, тем более что ее дочь Берта и сын Поль достигли того возраста, когда надо было позаботиться об их образовании. Маркиза де Сен-Синь мало выезжала в свет. Муж не мог не понимать, как глубока печаль, живущая в ее сердце, но он выказывал по отношению к жене самую чуткую деликатность и до конца жизни остался верен своей единственной любви. Этот достойный человек, одно время недостаточно ею оцененный, в последние годы встречал со стороны благородной дочери Сен-Синей такую же любовь, какую сам питал к ней,— словом, муж Лорансы был вполне счастлив. Лоранса жила главным образом интересами семьи. И в Париже не найдется другой женщины, которую так любили бы ее друзья и так уважали все окружающие. Бывать в ее доме почитается за честь. Кроткая, снисходительная, умная, а главное — простая, она нравится всем избранным натурам, она притягивает их, несмотря на свою затаенную скорбь; но каждый словно оберегает эту столь сильную женщину, а сознание тайного покровительства и придает, быть может, дружбе с ней особую привлекательность. Ее жизнь, полная страданий в юности, на склоне лет стала ясной и безмятежной. Горести ее всем известны. Никто не спрашивает у нее, чей портрет работы Робера Лефевра, с тех пор как погиб Мишю, висит в гостиной,

являясь ее главным и траурным украшением. Лицо Лорансы приобрело зрелость с трудом взращенного плода. Какая-то сосредоточенная гордость украшает ныне это страдальческое чело. К тому времени, когда маркиза стала принимать в Париже, ее состояние, приумноженное благодаря закону о возмещении убытков, давало ей до двухсот тысяч франков ренты, не считая жалованья, получаемого мужем. К Лорансе перешли миллион сто франков, оставленные Симезами. С тех пор она тратила по сто тысяч франков в год, а остальное откладывала на приданое Берте.

Берта — живой портрет матери, но без ее отваги и смелости; дочь унаследовала утонченность и остроумие матери, но она «больше женщина», как с грустью говорит Лоранса. Маркиза не хотела выдавать дочь замуж раньше, чем ей исполнится двадцать лет. Семейные сбережения, которыми осмотрительно распоряжался старик д'Отсэр, были при падении ренты в 1830 году помещены в фондовые бумаги и составили приданое Берты; они приносили в 1833 году, когда девушке исполнилось двадцать лет, около восьмидесяти тысяч франков дохода.

В это время княгиня Кадиньян, решившая женить своего сына, герцога де Мофриньеза, познакомила его с маркизой де Сен-Синь. Уже несколько месяцев, как Жорж де Мофриньез три раза в неделю обедал у маркизы, сопровождал ее с дочерью в Итальянскую оперу, гарцевал около их коляски во время прогулок в Булонском лесу. Для обитателей Сен-Жерменского предместья было ясно, что Жорж влюблен в Берту. Но никто не мог решить: маркизе ли де Сен-Синь хочется сделать свою дочь герцогиней, а потом и княгиней или же это княгиня зарится на богатое приданое для своего сынка; знаменитая ли Диана противится намерениям провинциального дворянства или же провинциальное дворянство страшится дурной славы г-жи де Кадиньян, ее склонностей и расточительного образа жизни. Боясь повредить сыну, княгиня сделалась набожной, стала скрывать свою интимную жизнь и проводила летние месяцы в Женеве, где арендовала виллу.

Однажды у княгини де Кадиньян сидели председатель совета министров де Марсе, ее прежний любовник, и маркиза д'Эспар. В тот вечер княгиня видела де Марсе в последний раз: он вскоре умер. Здесь находились так-

же помощник статс-секретаря кабинета министров, два посланника, два знаменитых оратора из палаты пэров, старики герцоги де Ленонкур и де Наваррен, граф де Ванденес с молодой супругой и д'Артез; они представляли собою довольно странное общество, однако состав его объяснялся очень просто: надо было исхлопотать у премьер-министра пропуск для князя де Кадиньяна. Де Марсе, не желавший брать ответственность на себя, приехал сообщить княгине, что он передал это дело в верные руки. В тот же вечер окончательный ответ им должен был привезти некий многоопытный политический деятель. Доложили о приезде маркизы де Сен-Синь с дочерью. Лоранса, политические убеждения которой оставались непоколебимыми, не только удивилась, но была возмущена, застав самых выдающихся представителей легитимизма из обеих палат за шумной беседой с премьер-министром короля, которого она называла не иначе, как герцогом Орлеанским. Де Марсе горел особенно ярко, как светильник, готовый угаснуть. Здесь он с удовольствием забывал обо всех треволнениях политики. Маркиза де Сен-Синь мирилась с присутствием де Марсе так же, как австрийский двор, говорят, мирился тогда с Сент-Олером: за светским человеком она старалась не видеть министра. Однако, когда лакей доложил о графе де Гондревиле, она вдруг вскочила с места словно ужаленная.

— Прощайте, сударыня,— сухо сказала она хозяйке.

Лоранса вышла вместе с дочерью, соображая, через какие комнаты пройти, чтобы не встретиться с этим человеком, сыгравшим столь роковую роль в ее жизни.

— Вы, кажется, сейчас расстроили женитьбу Жоржа,— шепнула княгиня своему давнему возлюбленному.

Бывший арсийский чиновник, бывший представитель народа, бывший термидорианец, бывший трибун, бывший государственный советник, бывший сенатор Империи и граф, бывший пэр Людовика XVIII и нынешний пэр раболепно склонился перед хозяйкой дома.

— Не бойтесь, сударыня, с князьями мы не воюем,— пошутил он, садясь подле нее.

В свое время Мален пользовался благоволением Людовика XVIII, которому весьма пригодилась опытность

бывшего сенатора. Мален помог свергнуть Деказа и усиленно поддерживал правительство Виллеля. Холодно встреченный Карлом X, он, как и Талейран, перешел в ряды недовольных. Начиная с 1789 года он имел счастье служить одиннадцати правительствам и теперь был в великой милости у двенадцатого, которому, конечно, изменит, как изменял предыдущим. Но вот уже больше года, как он порвал узы дружбы, связывавшие его с самым знаменитым нашим дипломатом. Именно в этот вечер, говоря о великом дипломате, он сострил:

— Знаете, почему он настроен столь враждебно к герцогу Бордоскому? Потому что этот претендент слишком молод...

— Вы тем самым даете молодежи довольно странный совет,— возразил ему Растиньяк.

Де Марсе, помрачневший после слов княгини, не отзывался на эти шутки; он недружелюбно поглядывал на Гондревиля и, видимо, не желал вступать в разговор, дожидаясь, чтобы старик, имевший привычку ложиться рано, уехал. Все гости, бывшие свидетелями ухода г-жи де Сен-Синь и догадывавшиеся, почему именно она ушла, молчали, как и де Марсе. Гондревиль не узнал маркизы и удивлялся, почему все так сдержанны; но и житейский опыт и политические нравы развили в нем такт, к тому же он был человек умный; он решил, что его присутствие стеснительно, и вскоре уехал. Де Марсе стал у камина и, погруженный в глубокую задумчивость, смотрел вслед медленно удалявшемуся семидесятилетнему старику.

— Я сделал оплошность, княгиня, что заранее не назвал вам своего доверенного,— сказал наконец премьер-министр, когда донесся стук отъезжавшего экипажа.— Но я искуплю эту ошибку и дам вам возможность примириться с Сен-Синями. Дело происходило больше тридцати лет тому назад, следовательно, оно старо, как смерть Генриха Четвертого, подробности которой, впрочем, говоря между нами, вопреки поговорке мало известны, как и подробности многих других исторических катастроф. К тому же, уверяю вас, дело это очень любопытное, даже если бы оно не касалось маркизы. Оно бросает свет на один из самых прославленных эпизодов нашей современной истории, а именно на эпизод, связанный с Мон-Сен-Бернаром. Это даст господам посланни-

кам возможность убедиться, что в смысле проницательности нашим современным политическим деятелям далеко до тех Макиавелли, которых в тысяча семьсот девяносто третьем году народные волны подняли над всеми бурями, причем некоторым из них удалось, как говорится в романсе, «обрести себе тихую пристань». Только тот, кого тогда трепали ураганы, и может занимать нынче во Франции более или менее выдающееся положение.

— Однако мне кажется, что вам в этом смысле лучшего и желать нельзя,— заметила с улыбкой княгиня.

Все присутствующие засмеялись весело, но сдержанно, как того требует свет, и сам де Марсе не мог не улыбнуться. Посланникам, видимо, хотелось поскорее узнать, о чем именно идет речь; де Марсе откашлялся, и все замолчали.

— Июльской ночью тысяча восьмисотого года,— начал премьер-министр,— часов около трех, когда уже занималась заря и тускнели свечи, два человека, уставшие от игры в буйот,— быть может, они и играли-то только для того, чтобы занять других,— вышли из зала министерства иностранных дел, которое находилось тогда на улице Бак, и направились в одну из гостиных. Эти два человека, из коих один уже умер, а другой стоит одной ногой в могиле, каждый по-своему — люди незаурядные. Оба были священниками, и оба сняли с себя сан; оба женились. Один был простым ораторианцем, другой носил епископскую митру. Первого звали Фуше, имени второго я вам не назову; но оба они были тогда простыми французскими гражданами, простыми, да не вполне. Когда они направились в будуар, оставшиеся гости были этим несколько удивлены. За ними последовал третий. Что касается этого третьего — а он воображал себя гораздо умнее двух первых,— то его имя было Сийес, и, как всем вам известно, до революции он тоже был духовным лицом. Тот из них, что прихрамывал, был тогда министром иностранных дел, а Фуше — министром полиции. Сийес недавно отказался от звания консула. Еще один человек, маленького роста, бесстрастный и строгий, встал со своего места и пошел вслед за теми тремя, сказав громко в присутствии того, кто и передал мне эти слова: «Боюсь поповского заговора!» Это был военный министр. Восклицание

Карно ничуть не встревожило двух консулов, сидевших тут же за игрой. Камбасерес и Лебрен находились тогда во власти своих министров, гораздо более могущественных, чем сами консулы. Почти все эти государственные деятели умерли, с ними уже можно не считаться: они принадлежат истории, а исторические события той ночи были страшны. Я рассказываю вам о них потому, что только я один и знаю об этом, и потому, что Людовик Восемнадцатый не рассказал о них несчастной госпоже де Сен-Синь, а нынешнему правительству безразлично, знает она о них или нет. Все четверо сели. Прежде чем было произнесено хотя бы слово, хромой затворил дверь и даже, говорят, запер ее на ключ. Только очень благовоспитанные люди могут быть так аккуратны! У троих священников были бледные, бесстрастные лица, которые вы, вероятно, еще помните. Один только Карно выделялся своим румянцем. И военный заговорил первый:

— О чем идет речь?

— О Франции,— вероятно, ответил князь, которым я восторгаюсь, как одним из самых необыкновенных людей нашего времени.

— О Республике,— несомненно, ответил Фуше.

— О власти,— по-видимому, ответил Сийес.

Присутствующие переглянулись. Интонацией, взглядом, жестами Марсе превосходно изобразил всех троих.

— Три священника отлично понимали друг друга,— продолжал он.— Карно, вероятно, свысока взглянул на своих коллег и на бывшего консула. В глубине души, думается мне, он был ошеломлен.

— Вы верите в успех? — спросил его Сийес.

— От Бонапарта можно всего ожидать,— ответил военный министр.— Альпы он перешел благополучно.

— В настоящее время,— заметил дипломат, нарочно растягивая слова,— он поставил на карту все.

— Ну, давайте без обиняков: что нам делать, если первый консул будет разбит? — сказал Фуше.— Можно ли заново собрать армию? Останемся ли мы по-прежнему его покорными слугами?

— Теперь Республики уже не существует,— заметил Сийес.— Он консул на десять лет.

— У него больше власти, чем было у Кромвеля,—

добавил епископ,— притом он не голосовал за жизнь короля.

— Сейчас у нас есть повелитель. Сохраним мы его, если он проиграет сражение, или вернемся к Республике в чистом виде? — спросил Фуше.

— Франция сможет противостоять врагам, только если будет восстановлена сильная власть, как при Конвенте,— многозначительно заявил Карно.

— Я согласен с Карно,— сказал Сийес.— Если Бонапарт вернется побежденным, надо его прикончить; уж немало он нам насолил за эти семь месяцев!

— На его стороне армия! — задумчиво отозвался Карно.

— А на нашей будет народ! — воскликнул Фуше.

— Вы очень торопитесь, сударь,— возразил вельможа густым басом, который сохранился у него до сих пор, и оратор сразу умолк.

— Будьте откровенны,— сказал, внезапно появившись, бывший член Конвента,— все зависит от того, как обернутся события: победитель — всегда прав, побежденный — всегда прах.

— Раз уж вы находитесь здесь, Мален,— заметил хозяин дома, ничуть не растерявшись,— будьте нашим союзником.

И он знаком предложил ему сесть. Благодаря этому происшествию Мален, дотоле мало приметный член Конвента, и занял то положение, которое, как мы видели, сохраняет до сих пор. Он сумел молчать, и оба министра остались ему верны; в то время он оказался рычагом целого механизма и душою всей интриги.

— Этого человека никому еще не удавалось победить,— горячо воскликнул Карно.— Теперь же он превзошел Ганнибала.

— В случае несчастья — вот и Директория,— лукаво заметил Сийес, обращая внимание собравшихся на то, что их пятеро.— И все мы заинтересованы в том, чтобы сберечь плоды французской революции, ведь мы трое сняли с себя рясы, а генерал подал голос за казнь короля. Что же касается вас,— обратился он к Малену,— вы владеете поместьями эмигрантов.

— Интересы у нас общие,— категорически заявил Сийес,— и они вполне совпадают с интересами родины.

— Редкий случай,— заметил дипломат, улыбнувшись.

— Надо действовать,— добавил Фуше,— сражение идет, а Мелас располагает превосходящими силами. Генуя уже сдана, и Массена сделал большую ошибку, отправив свою армию морем в Антибы; следовательно, у нас нет никакой уверенности в том, что ему удастся соединиться с Бонапартом, а в таком случае консул останется без подкреплений.

— Откуда у вас такие сведения? — спросил Карно.

— Они вполне достоверны,— ответил Фуше.— Донесение об этом вы получите утром, к открытию биржи.

— Приятели не очень-то стеснялись,— заметил де Марсе, улыбнувшись, и помолчал.

— А когда придет известие о разгроме, будет уже поздно основывать клубы, разжигать патриотические чувства и менять конституцию,— опять заговорил Фуше,— наше восемнадцатое брюмера должно быть подготовлено заранее.

— Предоставим совершить его министру полиции,— сказал дипломат.— Но нам следует остерегаться Люсьена. (Люсьен Бонапарт был тогда министром внутренних дел.)

— В свое время я его арестую,— сказал Фуше.

— Господа,— воскликнул Сийес,— наша Директория уже не будет подвергаться анархическим переменам. Мы установим олигархическую власть, учредим сенат с пожизненными членами и парламент, который будет в наших руках; мы должны учесть ошибки прошлого.

— При такой системе я буду жить беззаботно,— сказал епископ.

— Найдите мне надежного человека для сношений с Моро, ибо армия, стоящая в Германии, станет нашей единственной опорой! — воскликнул Карно, долгое время сидевший в глубоком раздумье.

— И действительно, господа, эти люди были правы,— продолжал де Марсе после небольшой паузы.— В тот переломный момент они проявили истинное величие; на их месте я поступил бы точно так же.

— Господа! — с торжественной серьезностью воскликнул Сийес,— продолжал де Марсе свой рассказ.— Этот возглас «господа» был отлично понят присутствую-

щими: все выражали взглядом одну и ту же решимость, как бы произносили один и тот же обет, а именно: непоколебимо хранить тайну и поддерживать полную солидарность друг с другом, в случае если Бонапарт вернется победителем.

— Мы все хорошо знаем, что́ нам надлежит делать,— добавил Фуше.

Сийес бесшумно отодвинул задвижку; тонкий слух, обычный у духовников, сослужил ему в данном случае хорошую службу: вошел Люсьен.

— Добрые вести, господа! Ординарец привез госпоже Бонапарт письмо от консула: он начал кампанию с победы при Монтебелло.

Три министра переглянулись.

— Это решающее сражение? — спросил Карно.

— Нет, но бой был кровопролитный, и Ланн покрыл себя славой. Его армию в десять тысяч человек атаковала армия в восемнадцать тысяч, но Ланна спасла дивизия, посланная ему на помощь. Отт обращен в бегство. Словом, фронт Меласа прорван.

— Когда произошло сражение? — спросил Карно.

— Восьмого,— ответил Люсьен.

— А сегодня тринадцатое,— возразил проницательный министр,— следовательно, судьбы Франции решаются, вероятно, именно сейчас, когда мы разговариваем. (Действительно, сражение при Маренго началось четырнадцатого июня, на рассвете.)

— Целых четыре дня невыносимого ожиданья! — заметил Люсьен.

— Невыносимого? — повторил министр внешних сношений с холодным недоумением.

— Четыре дня,— сказал Фуше.

— Очевидец уверял меня, что оба консула узнали эти подробности, только когда шестеро собеседников вернулись в гостиную. Было четыре часа утра. Фуше уехал первый. Вот что сделал с затаенным, дьявольским упорством этот сумрачный, проникновенный и своеобразный гений, малоизученный, но безусловно равный Филиппу Второму, Тиберию и Борджа. Во время Вальхернского сражения он проявил себя подлинным военачальником, мудрым политиком и дальновидным государственным деятелем. Это единственный настоящий министр, кото-

рый был у Наполеона. Вы знаете, что он тогда поверг Наполеона в ужас; Фуше, Массена и князь Талейран — самые великие люди из известных мне, самые сильные умы в том, что касается дипломатии, войны и управления государством; если бы Наполеон чистосердечно привлек их к осуществлению своих замыслов, Европы уже не существовало бы, а была бы одна только огромная французская держава. Фуше отошел от Наполеона лишь после того, как увидел, что Сийес и князь де Талейран отстранены. В три дня Фуше, тщательно скрывая, чья рука разворошила угли в этом очаге, вызвал то всеобщее смятение, ту тревогу, которые тяжким гнетом нависли над всей Францией и пробудили республиканскую активность в духе тысяча семьсот девяносто третьего года. Так как необходимо осветить этот темный уголок нашей истории, скажу вам, что именно агитация Фуше, державшего в руках все нити старой Горы, породила республиканские заговоры, угрожавшие жизни Наполеона после его победы при Маренго. Сознание причиненного зла и дало Фуше силу указать Наполеону на то, что, вопреки мнению последнего, в этих заговорах республиканцы замешаны гораздо больше, чем роялисты. Фуше превосходно знал людей; он был уверен в Сийесе, зная его ущемленное самолюбие, в Талейране — потому, что это был большой барин, в Карно — ввиду его безупречной честности; но сегодняшнего нашего приятеля Фуше опасался,— и вот каким образом он связал его по рукам и ногам. В те времена это был просто Мален — Мален, тайно переписывающийся с Людовиком Восемнадцатым. Министр полиции заставил его сочинять прокламации революционного правительства, декреты, постановления, указ об объявлении вне закона участников переворота восемнадцатого брюмера; больше того, этому невольному заговорщику пришлось позаботиться о том, чтобы эти материалы были отпечатаны в нужном количестве экземпляров, а затем хранить их наготове у себя в доме. Типографщика арестовали как заговорщика,— ибо нарочно был выбран типографщик-революционер,— и полиция выпустила его лишь два месяца спустя. Этот человек умер в тысяча восемьсот шестнадцатом году, продолжая верить в монтаньярский заговор. Одна из любопытнейших сцен, разыгранных полицией Фуше, произошла,

без сомнений, тогда, когда крупнейший банкир того времени узнал от прибывшего к нему курьера о якобы неудачном исходе битвы при Маренго. Как вы помните, счастье склонилось в сторону Наполеона только часов в семь вечера. А в полдень агент, посланный на поле сражения финансовым королем, уже счел французскую армию разгромленной и поспешил отправить нарочного с этой вестью. Министр полиции послал за расклейщиками афиш и глашатаями, а один из его доверенных уже выехал с подводой, полной прокламаций, когда вечерний курьер, домчавшийся необыкновенно быстро, распространил весть о победе, от которой вся Франция поистине обезумела. На бирже произошло несколько крахов. А толпа расклейщиков и глашатаев, которым надлежало объявить Бонапарта вне закона и возвестить о его политической смерти, была задержана в ожидании, пока не будет отпечатана прокламация и афиша, возвещающая победу первого консула. Гондревиль, на которого могла пасть вся ответственность за этот заговор, был так перепуган, что погрузил связки напечатанных листовок на телеги, ночью отправил их в Гондревиль и, видимо, похоронил эти злополучные бумажки в подвалах замка, который приобрел на имя подставного лица... Он исхлопотал этому лицу место председателя имперского суда в том департаменте. Фамилия его... Марион! Затем Мален поспешил в Париж и успел своевременно приветствовать первого консула. Как вам известно, после сражения при Маренго Наполеон вернулся из Италии во Францию с невероятной быстротой; но каждому, кто досконально знает тайную историю того времени, ясно, что поспешность эта была вызвана сообщением Люсьена. Министр внутренних дел заметил что-то странное в поведении монтаньяров и, хоть и не знал, откуда дует ветер, все же опасался грозы. Заподозрить трех министров он не мог и поэтому объяснял начавшееся брожение давнишней неприязнью, вызванной его братом восемнадцатого брюмера, а также твердой уверенностью, которую питали уцелевшие деятели тысяча семьсот девяносто третьего года, что в Италии Наполеону будет нанесен непоправимый удар. Возгласы «Смерть тирану», прозвучавшие в Сен-Клу, все еще стояли в ушах Люсьена. Сражение при Маренго задержало Наполеона на полях Лом-

бардии до двадцать пятого июня; второго июля он возвратился во Францию. Итак, представьте себе лица пяти заговорщиков, когда они в Тюильри поздравляли первого консула с победой. Фуше тут же, в дворцовой гостиной, сказал трибуну (ибо Мален, которого вы только что видели, был недолго даже трибуном), что надо немного подождать и что не все еще кончено. Действительно, в глазах господина де Талейрана и Фуше Бонапарт не был еще так крепко связан с Революцией, как они сами, и они решили ради собственной безопасности усилить эту связь посредством дела герцога Энгиенского. Совершенно явная нить ведет от казни этого принца к заговору, составленному в здании министерства иностранных дел во время итальянского похода. Конечно, теперь всякому, кто беседовал с хорошо осведомленными людьми, очевидно, что Бонапарт был обманут, как ребенок, господином де Талейраном и Фуше, которым хотелось бесповоротно поссорить его с Бурбонами, в то самое время как посланцы последних пытались сговориться с первым консулом.

— Талейран играл в вист у господина де Люин,— вставил тут один из гостей, слушавших рассказ де Марсе,— и вдруг, в три часа ночи, он вынимает часы, прерывает игру и неожиданно, без всякой связи, спрашивает своих партнеров, есть ли у принца де Конде другие дети, кроме герцога Энгиенского. Этот вопрос в устах господина де Талейрана показался чрезвычайно странным и всех крайне удивил.

— Почему вы спрашиваете о том, что сами отлично знаете? — возразил кто-то.

— Для того, чтобы сообщить вам: в эту минуту род Конде угас.

А между тем господин де Талейран находился в особняке Люин с самого начала вечера, но он, конечно, знал, что Бонапарт не может помиловать герцога.

— Однако,— обратился Растиньяк к де Марсе,— я все-таки не вижу, при чем тут госпожа де Сен-Синь?

— Ах, я и забыл, дорогой мой, что вы были тогда так молоды и вам нужно разъяснение. Но ведь вам известно дело о похищении графа де Гондревиля, следствием которого была смерть двух Симезов и старшего из братьев д'Отсэров, тогда как младший, женившись на ма-

демуазель де Сен-Синь, стал графом, а потом и маркизом де Сен-Синь?

По просьбе кой-кого из гостей, не знавших этой истории, де Марсе рассказал о процессе, пояснив, что пятеро незнакомцев были просто молодцами из имперской полиции, которым поручили уничтожить кипы листовок, а граф де Гондревиль, решив, что власть императора окрепла, для того и приехал в имение, чтобы их сжечь.

— Я подозреваю,— добавил де Марсе,— что Фуше одновременно искал и доказательств переписки Гондревиля с Людовиком Восемнадцатым, а связь между ними не прекращалась даже во время террора. Но в этой страшной истории сказались, кроме того, и пристрастия главного полицейского агента,— он жив и посейчас; это один из тех великих прислужников власти, которых никем не заменишь; он выдвинулся благодаря ряду поразительно ловких махинаций. Говорят, будто мадемуазель де Сен-Синь оскорбила его, когда он приехал арестовать Симезов. Итак, сударыня, теперь вам известна вся подноготная этого дела; объясните все это маркизе де Сен-Синь и дайте ей понять, почему Людовик Восемнадцатый упорно молчал, когда заходила речь об этом темном деле.

Париж, январь 1841 г.

3. МАРКАС

Я ни разу не встречал, даже среди наиболее замечательных людей нашего времени, человека столь поразительной наружности; изучение этого лица внушало чувство грусти, переходившее под конец в ощущение, сходное с болью. Существовало какое-то соответствие между этим человеком и его именем. Буква «Z», стоявшая перед фамилией Маркас,— буква, которую можно было видеть на всех адресованных ему письмах, которую он никогда не забывал проставить в своей подписи,— эта последняя буква алфавита заключала в себе нечто неуловимо роковое.

Маркас! Повторите про себя это имя, состоящее из двух слогов: не чувствуете ли вы в нем какое-то зловещее значение? Не кажется ли вам, что человека, который носит это имя, ждет удел мученика? Хоть это имя странно и дико, у него все права на то, чтобы сохраниться в памяти потомства; оно звучит стройно, оно легко произносится, ему присуща та краткость, которая подобает прославленным именам. Не ощущается ли в нем нежность, равная его необычности? Но не кажется ли оно вам также незаконченным? Я не взялся бы утверждать, что имена не оказывают никакого влияния на судьбу. Существует тайная и необъяснимая гармония или, наоборот, явный разлад между именем человека и событиями его жизни; здесь нередко вскрывались отдаленные, но действенные соответствия. На земном шаре все находится в связи со всем. Быть может, когда-нибудь люди вернутся к тайным наукам.

Не видится ли вам в форме буквы «Z» нечто изломанное внешними силами? Не отображают ли очертания этой буквы неверный и причудливый зигзаг бурной жизни? Что за ветер дохнул на эту букву, которая во всех тех языках, где она существует, стоит во главе каких-нибудь пятидесяти слов, не более! Маркаса звали Зефиреном. Святой Зефирен — один из наиболее почитаемых бретонских святых. Маркас был бретонец.

Вдумайтесь еще раз в это имя: З. Маркас! В фантастическом сочетании этих семи букв — целая человеческая жизнь. Семь! Наиболее многозначительное из кабалистических чисел. Носитель этого имени умер тридцати пяти лет; таким образом, его жизнь слагается из семи пятилетий. Маркас! Как будто что-то драгоценное падает и разбивается то ли с шумом, то ли беззвучно.

Я кончал в 1836 году юридический факультет Парижского университета. Жил я в ту пору на улице Корнеля, в гостинице, все номера которой сдавались студентам. Это было одно из тех зданий, в глубине которых вьется лестница, освещаемая сначала светом с улицы, затем подслеповатыми окошками и, наконец, чердачным окном. В этой гостинице было сорок номеров, обставленных так, как обставляются комнаты, предназначенные для студентов. В каждом из них имелась кровать, несколько стульев, комод, зеркало и стол,— а что еще нужно в молодости! Как только небо прояснится, студент открывает окно. Но на этой улице он не найдет соседки, за которой можно поволочиться. По ту сторону улицы взоры его встречают давно закрытый Одеон, с его уже потемневшими стенами, оконцами актерских уборных и широкой черепичной крышей. Я был не настолько богат, чтобы снять красивую и удобную комнату и даже вообще снять комнату. Мы с Жюстом занимали вдвоем номер с двумя кроватями на шестом этаже.

По эту сторону лестницы находились только две комнаты: наша и другая, маленькая,— ее занимал З. Маркас. Полгода ни я, ни Жюст ничего не знали о нашем соседе. Правда, старуха, ведавшая гостиницей, сказала нам, что маленькая комната занята, но добавила, что сосед беспокоить нас не будет, так как он на редкость тихого нрава. И действительно, в течение шести месяцев мы ни разу не встретились с нашим соседом и не слышали в

его комнате никакого шума, хотя нас разделяла только переборка — дощатая оштукатуренная переборка, столь обычная для парижских квартир.

Наша комната имела семь футов в вышину, ее стены были оклеены грошовыми бумажными обоями с букетами по голубому полю. Пол был крашеный, без того лоска, который умеют наводить полотеры. Перед нашими кроватями лежало по тощему коврику. Труба камина выходила почти тут же на крышу и дымила так сильно, что нам пришлось оборудовать над нею колпак за свой счет. Узкие крашеные деревянные кровати напоминали кровати школьных дортуаров. На камине виднелись только два медных подсвечника, то со свечами, то без свечей, две наши трубки, табак, рассыпанный или в кисете, да кучки пепла, оставленные посетителями или нами самими, когда нам случалось курить сигары. На окне висели миткалевые занавески, скользившие по железному пруту. Справа и слева от окна были прибиты к стене две небольшие книжные полки из дерева дикой вишни, знакомые всем, кто бывал в Латинском квартале; мы держали на них те немногие книги, которые были необходимы для занятий. Чернила в чернильнице неизменно напоминали лаву, застывшую в кратере вулкана (разве любая чернильница не может в наше время стать Везувием?). Затупившимися перьями мы прочищали свои трубки. Вопреки законам денежного обращения, бумага была у нас еще более редким гостем, чем звонкая монета.

Можно ли удержать молодых людей в подобных комнатах? Понятно, что студенты работают в кафе, в театре, в аллеях Люксембургского сада, у гризеток, даже в университете — всюду, только не в ужасной своей комнате: ужасной — если дело идет о работе, прелестной — когда в ней болтают и курят. Накройте стол скатертью, вообразите, что перед вашими глазами обед, доставленный лучшим ресторатором квартала, четыре прибора, две девушки, закажите литографский снимок с этой картинки домашней жизни,— завзятая святоша, и та улыбнется, взглянув на нее.

Мы думали только о развлечениях. Доводы в пользу такой беспорядочной жизни мы почерпнули из наблюдений над одной весьма серьезной стороной современной общественной жизни. Ни Жюст, ни я не видели ни ма-

лейшей возможности завоевать себе положение на тех двух поприщах, которые мы избрали по настоянию родителей. Вместо одного адвоката, одного врача — их сотня. Толпа осаждает эти два поприща. Ей кажется, что это — два пути к успеху, а в действительности это две арены: на них соперники убивают друг друга, борются друг с другом — не огнестрельным или холодным оружием, но интригами и клеветой, напряженнейшим сверхчеловеческим трудом, интеллектуальными походами, такими же кровопролитными, какими были итальянские походы республиканских солдат. Теперь, когда всюду идет состязание умов, нужно научиться проводить по сорок восемь часов подряд в кресле за письменным столом, как полководец некогда оставался по двое суток в седле. Избыток состязающихся заставил медиков разбиться на категории: есть врач пишущий, врач лечащий, врач политиканствующий и врач воинствующий; четыре разных способа быть врачом, четыре раздела, уже заполненных до отказа. В пятой группе — группе врачей, торгующих лечебными снадобьями,— свирепствует конкуренция; там бьются оружием гнуснейших реклам, расклеиваемых по стенам парижских домов. Во всех судах почти столько же адвокатов, сколько дел. Адвокат бросился в журналистику, политику, литературу. Добавьте к этому, что и государство, осаждаемое бесчисленными претендентами на все, даже самые ничтожные, судебные и административные должности, в конце концов стало требовать от кандидатов наличия определенного состояния. Грушевидный череп тупоумного сынка богатого бакалейщика предпочтут квадратной голове дельного молодого человека, одаренного талантом, но без гроша в кармане. Юноша, у которого ничего нет, даже если он усердно трудится и напрягает все свои силы, все-таки рискует через десять лет оказаться ниже той точки, с которой он начал. В наши дни талант может пробиться только при том же условии, что и бездарность,— если ему повезет. Более того, вздумай он отказаться от тех низменных средств, при помощи которых добивается успеха пресмыкающаяся посредственность, он никогда не достигнет цели.

Мы в совершенстве знали нашу эпоху, знали и самих себя и потому избрали праздность мыслителей, а не бесцельную деятельность; ленивую беспечность и веселье, а

не тщетный труд, который только ослабил бы нашу отвагу и притупил бы остроту ума. Жизнь современного общества была нами проанализирована во время веселой беседы, за трубкой, на прогулке, но это отнюдь не умалило ни трезвости, ни глубины наших суждений и наших речей.

Мы видели, что молодежь обречена на бесправие илотов, и все же нас поражало грубое равнодушие власти ко всему, что принадлежит к области ума, мысли, поэзии. Какими взорами нередко обменивались мы с Жюстом, читая газеты и узнавая о политических событиях, пробегая отчеты о прениях в палатах, обсуждая поведение королевского двора, упрямое невежество которого сравнимо лишь с пошлостью его придворных, с бездарностью тех людей, которые окружают стеною новый престол,— людей, лишенных ума и способностей, ничем не прославившихся и ничего не изучивших, людей без общественного веса и без душевного величия. Поистине нельзя представить себе лучшей похвалы двору Карла X, чем теперешний двор, если только его можно считать королевским двором! Какая ненависть к стране сказывается в том, что заурядных, бездарных иностранцев принимают во французское подданство, торжественно вводят в палату пэров! Какое беззаконие! Какое этим наносится оскорбление молодым знаменитостям и честолюбивым отечественным деятелям! Мы смотрели на все это со стороны и горько сетовали, не принимая, однако, никакого решения относительно нашей личной судьбы.

Жюст, которого не разыскивал в его мансарде ни один покровитель и который сам не стал бы себе искать покровителя, был, в двадцать пять лет, проницательнейшим политиком, он обладал изумительным даром улавливать самые отдаленные связи между событиями настоящего и будущего. Еще в 1831 году он предсказал мне то, что, по его мнению, должно было произойти и действительно произошло: убийства, заговоры, владычество евреев, затруднительное положение, в котором оказалась Франция, духовное оскудение высших классов и обилие талантов в низах, где, однако, самое пылкое мужество зачастую угасает под пеплом сигары. Чем мог сделаться Жюст? Его семья хотела, чтобы он стал врачом. А стать врачом — не значило ли это двадцать лет дожидаться

пациентов? Вы знаете, чем сделался Жюст? Нет? Ну, так знайте: он врач; но он покинул Францию, он в Азии. В эту минуту он, быть может, гибнет, обессилев, в пустыне, или умирает под ударами дикой орды, или, быть может, состоит первым министром какого-нибудь индийского раджи. Что касается меня, то мое призвание — действие. Я окончил коллеж в двадцать лет, следовательно, мог поступить на военную службу лишь простым солдатом. Обескураженный теми печальными перспективами, которые сулила мне профессия адвоката, я изучил мореходство. И, следуя примеру Жюста, я бегу из Франции, где, чтобы заставить других потесниться и дать тебе место, нужно затрачивать столько же времени и энергии, как и для подлинного созидания. Следуйте моему примеру, друзья мои: мой путь ведет туда, где человек — хозяин своей судьбы.

Эти важные решения были приняты с холодной трезвостью в нашей комнатке на улице Корнеля, что не мешало нам посещать Мюзаровские балы, волочиться за веселыми девушками и вести безрассудный, с виду беспечный образ жизни. Наши решения и размышления долго не могли вылиться ни во что определенное. Маркас, наш сосед, послужил нам здесь как бы проводником: он привел нас к самому краю той пропасти или той пучины, какою является жизнь современного общества; он дал нам возможность измерить ее глубину и заранее показать, что нас ждет, если она нас поглотит. Он открыл нам глаза на всю бесплодность тех надежд и тех отсрочек, каких неудачники добиваются от своего кредитора — нищеты, когда они соглашаются занять самое ничтожное место, только бы продолжать борьбу, только бы не расстаться с бурной стихией Парижа, этого города, где неудача живет на средства случая, этой великой куртизанки, которая с одинаковой легкостью берет и вновь бросает вас, улыбается вам и повертывается к вам спиной, истощая тщетным ожиданием самую могучую волю.

Первая встреча с Маркасом произвела на нас ошеломляющее впечатление. Вернувшись из университета, перед обедом, каждый из нас подымался в комнату, где мы и поджидали друг друга, чтобы узнать, не изменилось ли что-нибудь в наших планах на вечер. Однажды, в четыре часа, Жюст увидел Маркаса на лестнице; я же встре-

тился с ним на улице. Стоял ноябрь, но Маркас был без плаща. На нем были башмаки с толстой подошвой, панталоны из грубого сукна, со штрипками, и синий, застегнутый доверху сюртук с прямым воротником, который придавал Маркасу военный вид, тем более что на шее у него был повязан черный галстук. В таком костюме нет ничего необычного, но он гармонировал с лицом и осанкой этого человека. Первым моим чувством при виде Маркаса было ощущение чего-то неожиданного, не изумление, не грусть, не интерес и не сострадание, но — любопытство, в котором заключалось нечто от всех этих чувств. Маркас шел медленно; в походке его сказывалась глубокая меланхолия: голова была слегка опущена, однако не потуплена, как обычно у людей, чувствующих себя в чем-то виновными. Эта крупная, могучая голова, казалось, хранившая в себе сокровища, необходимые для величайшего честолюбца, была словно обременена мыслями; она изнемогала под тяжестью какой-то душевной муки, хотя в чертах его лица нельзя было уловить ни малейшего намека на угрызения совести. Это лицо можно определить одним словом. Согласно довольно распространенному воззрению, каждое человеческое лицо являет сходство с каким-либо животным: Маркас походил на льва. Его волосы напоминали гриву, нос был короткий, тупой, широкий, раздвоенный на конце, как у льва, лоб, подобно львиному, делился глубокой бороздой надвое — на два мощных выступа. Крайняя исхудалость щек подчеркивала волосатые, резко выступающие скулы; по бокам огромного рта и вдоль впалых щек тянулись гордо очерченные подвижные морщины, оттеняемые желтоватым тоном лица. Лицо это, почти грозное, было озарено двумя светочами — двумя черными глазами, бесконечно нежными, спокойными, глубокими, исполненными мысли. Эти глаза, если можно так выразиться, были принижены. Маркас словно боялся взглянуть на кого-нибудь, боялся не столько за себя, сколько за тех, на кого упал бы его завораживающий взгляд; он обладал некоей силой, но не хотел ею пользоваться; он щадил прохожих, он трепетал при мысли, что на него могут обратить внимание. То была не скромность, а смирение, не христианское смирение, неотделимое от милосердия, но смирение, подсказанное разумом, сознанием того, что та-

ланты в наши дни бесполезны, что ты не можешь проникнуть в среду, отвечающую твоим склонностям, и жить в ней. В иные минуты этот взгляд мог метать молнии. Из этих уст должен был исходить громовой голос, очень напоминавший голос Мирабо.

— Я только что встретил на улице замечательного человека,— сказал я Жюсту, входя.

— Это, видимо, наш сосед,— ответил Жюст. И действительно, он описал наружность встреченного мною человека.— Таким и должен быть тот, кто живет, как мокрица,— сказал он в заключение.

— Какая приниженность и какое величие!

— Одно соответствует другому.

— Сколько разбитых надежд! Сколько замыслов, потерпевших крушение!

— Семь миль развалин! Обелиски, дворцы, башни: развалины Пальмиры среди пустыни,— сказал, смеясь, Жюст.

Мы прозвали нашего соседа «развалины Пальмиры». Уходя обедать в унылый ресторан на улице Лагарп, где мы были абонированы, мы осведомились об имени постояльца, проживающего в номере тридцать седьмом, и тогда-то мы услышали необычное имя, поразившее наше воображение,— З. Маркас. Как истые дети, мы повторили свыше ста раз с самыми различными интонациями — то шуточными, то меланхолическими — это имя, звуки которого делали его вполне пригодным для подобной игры. Жюст ухитрялся так выговаривать звук «З», что создавалось впечатление взвивающейся ракеты; затем, пышно развернув первый слог фамилии, произносил второй глухо и отрывисто, как бы рисуя картину низвержения этой ракеты.

— Да все-таки чем же, как же он живет?

Между этим вопросом и тем невинным подсматриванием, к которому нас побуждало любопытство, прошло ровно столько времени, сколько потребовалось для осуществления возникшего у нас проекта. Вместо того чтобы бродить по улицам, мы вернулись домой. Каждый из нас запасся романом — и мы стали читать да прислушиваться. Среди глубокой тишины, царившей в обеих мансардах, мы услышали ровное, тихое дыхание спящего человека. Я первый обратил на это внимание.

— Он спит,— сказал я Жюсту.

— В семь часов! — ответил «доктор».

Таково было прозвище, которое я дал Жюсту. Меня он прозвал «министром юстиции».

— Нужно быть очень несчастным, чтобы столько спать,— сказал я и вскочил на комод, вооружившись огромным ножом, в рукоятку которого был вделан штопор. Я провернул им в переборке круглое отверстие величиной с мелкую монету. Приложив глаз к дырке, я увидел перед собой только мрак: я не подумал о том, что было уже темно. Когда, около часу ночи, мы закрыли наши романы и уже хотели раздеваться, в комнате соседа послышался шорох; он встал, чиркнул спичку и зажег свечу. Я снова взобрался на комод и увидел, что Маркас сидит у стола и переписывает какие-то деловые бумаги. Его комната была вдвое меньше нашей, кровать стояла в углублении стены, рядом с дверью. Правда, коридор, кончавшийся у его каморки, не отнял у нее часть площади, как в нашей комнате. Но участок земли, на котором стоял наш дом, был, видимо, срезан с углов: наружная стена дома, примыкавшая к соседнему владению, имела вид трапеции, а как раз в этом конце дома и находилась мансарда Маркаса. В этой комнате не было камина — а только небольшая белая изразцовая печка, вся в зеленых пятнах; труба ее выходила на крышу. На прорезанном в трапеции окне висели дрянные рыжие занавески. Кресло, рабочий стол и нищенский ночной столик — вот и вся мебель. Свое белье Маркас держал в стенном шкафу. Обои на стенах были ужасающие. Очевидно, до Маркаса здесь жил кто-то из прислуги. Я слез с комода.

— Что ты видел? — спросил «доктор».

— Взгляни сам,— ответил я.

На следующее утро, в девять часов, Маркас лежал в постели. Он успел позавтракать дешевой колбасой: мы увидели на тарелке, среди крошек, остатки этого хорошо известного нам продукта питания. Маркас спал. Он проснулся лишь около одиннадцати часов, встал и вновь принялся за переписку бумаг; снятые им за ночь копии лежали на столе. Уходя, мы осведомились внизу о цене занимаемой им комнаты и узнали, что она стоит пятнадцать франков в месяц. За несколько дней мы до мельчайших подробностей изучили образ жизни Э. Маркаса.

Он переписывал различные бумаги, видимо, по столько-то за лист, и сдавал свою работу посреднику, который жил во дворе Судебной палаты и брал заказы на переписку. Полночи Маркас работал, с шести до десяти спал, затем снова занимался перепиской до трех, потом относил снятые им копии, обедал за девять су у Мизере на улице Мишель-ле-Конт, наконец возвращался к шести часам домой и тут же ложился спать. Мы убедились в том, что Маркас не произносит за месяц и пятнадцати фраз: он ни с кем не разговаривал, не разговаривал даже сам с собой в своей нищенской мансарде.

— Решительно, «развалины Пальмиры» безмолвствуют! — воскликнул Жюст.

Это молчание человека, наружность которого была столь внушительна, таило в себе что-то глубоко знаменательное. Взгляды, которыми мы с ним порой обменивались при встрече, говорили о том, что и ему случалось думать о нас, как мы думали о нем, но на том дело и кончалось. Незаметно этот человек стал для нас предметом горячего восхищения. Что было тому причиной? Мы и сами затруднились бы сказать! Скрытые ли от всех простота и монашеское однообразие его жизни, отшельническая ли его воздержанность, или этот унылый труд, который давал его уму возможность бездействовать или работать, по желанию, и свидетельствовал об ожидании какого-то счастливого события, о каком-то твердо установившемся взгляде на жизнь? Долгое время наши мысли были заняты «развалинами Пальмиры», потом мы забыли о них: ведь мы были так молоды! А там наступил карнавал, тот парижский карнавал, который отныне затмит старинный карнавал в Венеции и через несколько лет будет привлекать в Париж всю Европу, если только не помешают этому злополучные префекты полиции. На время карнавала следовало бы допускать азартные игры; но тупые моралисты, добившиеся запрещения этих игр, просчитались, как дураки; видно, они согласятся терпеть это неизбежное зло лишь тогда, когда им будет доказано, что миллионы франков, которые могли бы остаться во Франции, уходят в Германию.

Вслед за веселым карнавалом для нас, как и для всех студентов, наступили дни крайней нужды. Все предметы роскоши были проданы; каждый из нас спустил свой

второй сюртук, свою вторую пару сапог, свой второй жилет — словом, все, что имелось у него в двух экземплярах, кроме своего друга. Мы питались хлебом и колбасой, мы ступали с осторожностью, мы засели за работу; мы два месяца не платили за комнату и знали наверняка, что каждого из нас ждет у привратника объемистый счет, строк в шестьдесят — восемьдесят, на сумму от сорока до пятидесяти франков. Достигнув нижней квадратной площадки лестницы, мы уже не держались развязно и весело, а нередко перепрыгивали через нее одним прыжком, прямо с последней ступеньки на улицу. В тот день, когда у нас кончился табак для наших трубок, мы вспомнили, что уже несколько дней перестали намазывать хлеб маслом. Грусть наша не поддавалась описанию.

— Табаку нет,— сказал «доктор».

— Плаща нет,— сказал «министр юстиции».

— А, бездельники! — воскликнул я, повысив голос,— вы вздумали рядиться опереточными почтарями, переодеваться маскарадными грузчиками, ужинать по утрам и завтракать по вечерам у Вери, а порой и в ресторане. А ну-ка, на хлеб всухомятку, господа! Вам следовало бы спать под вашими кроватями, вы не достойны лежать на них...

— Так-то так, «господин министр», но табаку-то ведь нет,— сказал Жюст.

— Пора писать нашим теткам, нашим матерям, нашим сестрам, что у нас нет больше белья, что при парижских расстояниях износилось бы за это время и белье, связанное из проволоки. Разве это не интереснейшая химическая проблема — превратить белье в деньги?

— Нужно еще прожить до получения ответа.

— Пойду возьму взаймы у кого-нибудь из наших друзей, кто еще не исчерпал своих капиталов.

— А много ты добудешь?

— Что ж! Десять франков,— ответил я гордо.

Разговор наш происходил в полдень. Маркас слышал его. Он постучался к нам и сказал:

— Господа, вот табак. Вы мне его отдадите при первой возможности.

Нас поразило не предложение — мы его приняли,— но густота, мощь, полнозвучность этого голоса. Единственное, с чем можно его сравнить,— это четвертая стру-

на на скрипке Паганини. Маркас скрылся, не дожидаясь нашей благодарности. Мы с Жюстом переглянулись в глубоком молчании. Найти помощь у человека, который был явно беднее нас! Жюст сел писать всем своим родственникам, я же отправился вести переговоры о займе. Мне удалось раздобыть у земляка двадцать франков. В то печально-веселое время еще существовали игорные дома, и в их недрах, твердых, как горные породы бразильских рудников, молодые люди имели возможность, рискуя немногим, добыть несколько луидоров. У земляка был турецкий табак, привезенный из Константинополя каким-то моряком. Он уделил мне столько же, сколько мы получили от З. Маркаса. Я вернулся с этим богатым грузом, мы отправились к нашему соседу и торжественно преподнесли ему пачку соблазнительного золотистого турецкого табака взамен его грошового курева.

— Вы не захотели остаться моими должниками,— сказал он.— Вы отдаете мне золото за медь, вы дети... Славные дети...

Он произнес каждую из этих трех фраз другим тоном, в каждую вложил иное выражение. Обыкновенные слова, но выражение... О! Выражение превращало нас в друзей, как будто связанных с ним десятилетним общением. Заслышав наши шаги, Маркас спрятал свою работу; мы поняли, что было бы нескромностью спрашивать его, каким путем добывает он средства к жизни, и устыдились своего соглядатайства. Стенной шкаф был открыт, там лежали только две рубашки, белый галстук и бритва. Вид бритвы заставил меня содрогнуться. Неподалеку от окна висело зеркало ценою не больше пяти франков. Спокойные и скупые жесты этого человека носили на себе отпечаток какого-то сурового величия. Мы с «доктором» переглянулись, как бы советуясь, что́ именно ответить нашему соседу. Видя мое замешательство, Жюст шутливым тоном спросил:

— Вы служитель муз, сударь?

— Сохрани меня бог,— ответил Маркас.— Я не был был бы тогда так богат.

— Мне думалось, что только поэзия может в наши дни довести человека до жизни в такой каморке, как наши,— сказал я.

Эти слова вызвали улыбку на желтом лице Маркаса, оно вдруг стало обаятельным.

— Столь же строго к неудачникам и честолюбие,— сказал он.— Вы только еще вступаете в жизнь: идите же по проторенным путям. Не стремитесь возвыситься, вы погубите себя.

— Вы советуете нам остаться тем, чем мы являемся сейчас? — спросил, улыбаясь, «доктор».

В шутках молодежи есть такое детское, такое заразительное обаяние, что, услышав слова Жюста, Маркас опять улыбнулся.

— Какие события привели вас к такой жуткой философии? — спросил я его.

— Я опять забыл, что случай представляет собой результат гигантского уравнения, не все корни которого нам известны. Когда отправляешься от нуля, чтобы попытаться достигнуть единицы, шансы с трудом поддаются исчислению. Париж представляется честолюбцам огромной рулеткой, и каждый молодой человек воображает, что если он будет удваивать ставки, то в конце концов непременно выиграет.

Он протянул нам полученный от нас табак и предложил выкурить с ним трубку. «Доктор» сходил за нашими трубками, Маркас набил свою и перешел в нашу комнату, захватив табак с собою: в его каморке был только один стул и одно кресло. Жюст, проворный, как белка, спустился вниз и вернулся с трактирным слугой; на подносе у слуги оказались три бутылки бордо, сыр бри и хлеб.

«Так,— определил я про себя,— пятнадцать франков».

Я угадал с точностью до одного су: Жюст важно выложил на камин пять франков сдачи.

Существует неизмеримое различие между человеком, который является членом культурного общества, и человеком, живущим в непосредственной близости к природе. Туссен-Лувертюр, попав в плен, умер, не проронив ни слова. Наполеон, очутившись на скале, затрещал, как сорока: ему захотелось объяснить свои поступки. З. Маркас совершил ту же ошибку — правда, только в отношении Жюста и меня. Молчание, во всем его величии, можно найти лишь у дикаря. Нет такого преступника, ко-

торый не испытывал бы порожденной жизнью в обществе потребности поведать кому-нибудь свои тайны, хотя мог бы молча предоставить им скатиться вместе с его головой в красную корзину, стоящую возле гильотины. Я ошибаюсь. Мы видели, как один из ирокезов предместья Сен-Марсо поднял натуру парижанина до высоты натуры дикаря. Нашелся человек — республиканец, заговорщик, француз, старик,— превзошедший все, что мы знали до сих пор о твердости негров, все то презрительное спокойствие, которое присуще побежденным краснокожим в изображении Купера: Морэ, этот Гватимозин монтаньяров, сохранил самообладание, неслыханное в летописях европейского правосудия.

Вот что рассказал нам в то утро Маркас, прерывая свое повествование для того, чтобы съесть тартинку с сыром и запить ее вином. Мы выкурили весь табак. Только фиакры, пересекавшие площадь Одеона, да омнибусы, бороздившие ее, порой напоминали нам своим глухим рокотом о том, что за окном — Париж.

Маркас был родом из Витре, его родители жили на ренту в полторы тысячи франков. Он бесплатно учился в семинарии, но по окончании курса отказался стать священником; ощутив в себе пламень неукротимого честолюбия, он двадцати лет пришел в Париж пешком, с двумя сотнями франков в кармане. Маркас окончил юридический факультет, одновременно работая в конторе стряпчего, где дослужился до должности старшего клерка. Он имел диплом доктора прав, был знатоком законодательств древнего и нового времени и разбирался в них лучше самых знаменитых адвокатов. Он знал международное право, все европейские договоры, практику международных отношений. Он изучал людей и жизнь в пяти столицах: в Лондоне, Берлине, Вене, Петербурге и Константинополе. Никто не мог указать вернее его все прецеденты к любому случаю из практики палаты депутатов. Он в течение пяти лет писал отчеты о заседаниях обеих палат для одной из ежедневных газет. У него был дар импровизации, он говорил превосходно и мог говорить долгое время — тем обаятельным, глубоким голосом, который так запал нам в душу. Повествуя о своей жизни, Маркас доказал нам, что он великий оратор, его речь отличалась сжатостью, серьезностью и в то же время за-

хватывающей страстностью. Внутренний жар его слов, одушевлявшие их движения чувств, столь любезные широким массам, роднили его с Беррье; тонкостью ума, искусством убеждать он напоминал господина Тьера, но он не был так расплывчат, так нерешителен в выводах. Маркас рассчитывал сразу шагнуть к власти, не связав себя доктринами, которые необходимы для деятеля оппозиционной партии, но в дальнейшем для государственного деятеля становятся стеснительными.

Маркас изучил все, что должен знать истинный государственный деятель; поэтому он чрезвычайно удивился, убедившись в глубоком невежестве тех лиц, которые во Франции захватили в свои руки управление государством. Если призвание Маркаса побудило его к занятию науками, то природа, со своей стороны, щедро наделила его дарами, которые приобрести невозможно: острой проницательностью, самообладанием, гибкостью ума, быстротой суждения, решительностью и — что составляет особую силу людей подобного склада — неистощимой изобретательностью в выборе средств.

Наступил день, когда Маркас счел себя достаточно вооруженным. Францию раздирали тогда внутренние распри, порожденные победой Орлеанской ветви Бурбонов над старшей. Поле политических битв явно изменилось. Гражданская война теперь не может тянуться долгое время, в провинциях она уже не возникнет. Произойдет непродолжительная борьба в столице, местопребывании правительства, и эта борьба явится завершением той борьбы идей, которая перед тем разыграется между избранными умами. Такое положение вещей продлится до тех пор, пока во главе французского народа будет то своеобразное правительство, которое правит им ныне,— власть, не похожая ни на какую другую: ведь английское правительство имеет столь же мало общего с французским, как и территория Англии с территорией Франции. Областью, наиболее подходящей для Маркаса, явилась поэтому политическая пресса. Он был беден и не мог добиться избрания в палату; это ставило его в необходимость сразу проявить себя. Он решился на самую тяжелую жертву, какую может принести выдающийся человек, отдав свое перо на службу интересам одного богатого и честолюбивого депутата. Новый Бона-

парт, он подыскивал себе Барраса; новый Кольбер надеялся найти Мазарини. Маркас оказал своему покровителю огромные услуги. При этом он не становился в позу, не превозносил себя, не жаловался на людскую неблагодарность; он оказал своему покровителю эти услуги в надежде, что тот поможет ему стать депутатом. Маркас желал лишь одного: получить взаймы такую сумму денег, которая дала бы ему возможность купить дом в Париже и тем приобрести требуемый избирательным законом имущественный ценз. Ричард III хотел только коня!

В три года Маркас создал одного из тех многочисленных мнимо одаренных политических деятелей, которые являются как бы ракетками в руках хитреца, исподтишка перебрасывающего из одной руки в другую министерские портфели,— так хозяин уличного театра марионеток сталкивает на сцене полицейского комиссара с Полишинелем в надежде на хороший сбор. Этот человек держался Маркасом, но был достаточно умен, чтобы правильно оценить того, кто сумел выкрасить его в подобающие цвета, и понять, что если Маркас выдвинется, то окажется человеком, необходимым для правительства, тогда как он, его бывший покровитель, будет сдан в архив — в палату пэров. Поэтому покровитель решил ни в коем случае не дать Маркасу стать на виду, но скрыл это намерение под маской беззаветной преданности, причем, как все мелкие люди, умел притворяться необычайно искусно. Постепенно он начал обнаруживать свою неблагодарность,— ведь ему надо было убить Маркаса, чтобы тот не убил его. Эти два человека, казавшиеся столь тесными союзниками, возненавидели друг друга, как только один из них решился обмануть другого. Государственный муж вошел в состав министерства, Маркас остался в оппозиции, чтобы обезопасить своего министра от возможных нападений; и, чудом ловкости, он даже добился для него похвал со стороны оппозиции. Чтобы избавиться от необходимости вознаградить своего помощника, государственный муж сослался на невозможность сразу же, без достаточной подготовки, предоставить видное место оппозиционеру. Маркас же рассчитывал на такое место, чтобы потом приобрести путем женитьбы желанный избирательный ценз. Ему было тридцать два года, он

предвидел роспуск палаты. Уличив своего министра в явной недобросовестности, он сверг его — или, во всяком случае, немало способствовал его падению — и вывалял сановника в грязи.

Всякий низвергнутый министр должен, чтобы вернуться к власти, показать, что он опасен; этот человек, опьяненный ласковыми речами короля и вообразивший себя министром надолго, понял теперь свою ошибку. Он признал ее, одновременно оказав Маркасу небольшую денежную услугу,— ибо тот вошел в долги за время этой борьбы. Он поддержал газету, где работал Маркас, и добился, что Маркаса назначили редактором. Маркас хоть и презирал его, но, получив от него таким образом как бы задаток, согласился сделать вид, что переходит на сторону низвергнутого министра. Еще не обнаруживая всей мощи своих дарований, Маркас ввел в бой несколько бо́льшие силы, показал половину того, на что он был способен; новое министерство просуществовало всего сто восемьдесят дней — его растерзали. Маркасу пришлось иметь дело кое с кем из депутатов, он вертел ими, как ему хотелось, и внушил им высокое мнение о своих талантах. Его манекен снова получил портфель министра, и газета Маркаса стала органом министерства. Министр слил эту газету с другой — единственно для того, чтобы таким способом уничтожить Маркаса: при слиянии обеих газет тому пришлось уступить место конкуренту, богатому и наглому человеку с именем, уже крепко сидевшему в седле.

Маркас впал снова в крайнюю нужду, надменный министр хорошо знал, в какую пропасть он столкнул своего помощника. Куда идти? Газеты, поддерживавшие министерство, негласно предупрежденные, отказались от его сотрудничества. Оппозиционные газеты также не склонны были открыть ему двери своих редакций. Маркас не мог перейти ни к республиканцам, ни к легитимистам: ведь торжество этих партий означало бы крушение нынешнего государственного строя.

— Честолюбцы любят современность,— сказал он нам с улыбкой.

Чтобы заработать себе на хлеб, он написал несколько статей, касавшихся некоторых коммерческих предприятий, и принял участие в составлении одного из тех энци-

клопедических словарей, которые обязаны были своим появлением не науке, а спекуляции. Наконец, была основана газета, но ей суждено было просуществовать всего два года; редактировать ее пригласили Маркаса. Тогда он возобновил связи с врагами министра и примкнул к той партии, которая стремилась его свергнуть; как только он получил возможность действовать, министерство пало.

Газета Маркаса прекратила свое существование полгода назад; ему нигде не удалось найти себе места, он слыл человеком опасным, на него клеветали: совсем недавно он несколькими статьями и одним памфлетом подорвал некую необычайно крупную финансовую и коммерческую операцию. Уверяли, что за его спиной стоит банкир, который будто бы дорого заплатил ему и от которого он якобы ждет ответной услуги за свою верную службу. Устав от пятилетней борьбы, почувствовав отвращение к людям и к жизни, удрученный необходимостью зарабатывать себе на пропитание, что мешало ему успешно действовать, Маркас, которого считали скорее кондотьером, чем великим полководцем, пришел в отчаяние, видя, как золото развращает мысль, и, задыхаясь в тисках самой страшной нужды, уединился в своей мансарде. Он зарабатывал тридцать су в день — ровно столько, сколько ему требовалось, чтобы поддерживать свое существование. Он жил, погруженный в свои мысли,— и словно пустыня раскинулась вокруг него. Он читал газеты, чтобы быть в курсе политических событий. Так жил некоторое время Поццо ди Борго. По-видимому, Маркас обдумывал план какой-то серьезной атаки; его отшельническое молчание объяснялось, быть может, тем, что он хотел таким путем приучить себя скрывать свои мысли и наказать себя за допущенные ошибки. Причин своего поведения он нам не открыл.

Невозможно описать вам те сцены из области высокой комедии, которые скрывались под этим математическим синтезом его жизни: долгие часы томительного ожидания удачи, которая кажется вероятной и не наступает; длительная погоня за ней сквозь чащу парижских джунглей; беготня задыхающегося просителя; попытки чего-то добиться от дураков; возвышенные проекты, разрушаемые влиянием тупой женщины; совещания с лавочниками, требующими, чтобы их капиталы дали им и ло-

жу в театре, и звание пэра, и большие проценты; надежды, которые достигают наивысшей точки, а затем, обрываясь, падают и разбиваются о подводные скалы; чудеса ловкости, совершенные для того, чтобы сблизить между собой противоположные интересы, которые, после недельного союза, вновь разъединяются; досада при виде того неизменного предпочтения, которым тысячи глупцов, невежественных, как приказчики, но украшенных ленточкой Почетного легиона, пользуются перед талантливыми людьми; наконец, то явление, которое Маркас называл ухищрениями глупости: вы наседаете на человека, вам как будто удалось его убедить, он кивает головой, все почти улажено; а на следующий день вы видите, что эта упругая резина, которую вы на миг сжали, за ночь снова приняла прежнюю форму, даже раздулась, и нужно начинать сначала; вы трудитесь снова — до тех пор, пока не поймете, что имеете дело не с человеком, а с резинообразной массой, высыхающей на солнце.

Эти неисчислимые неудачи, эта огромная и бесплодная трата сил, все те трудности, на которые наталкиваешься, когда хочешь сделать благое дело, вся та невероятная легкость, с какой можно причинять зло; две решающие партии — обе выигранные, обе проигранные; ненависть государственного деятеля, который хоть и представляет собой деревянное чучело с размалеванным лицом и наклеенными волосами, однако пользуется авторитетом,— все это, большое и малое, если не сломило мужество Маркаса, то временно как бы придавило его. Когда у него водились деньги, он не тратил их на себя, а доставлял себе божественное удовольствие отсылать их семье — сестрам, братьям, старику отцу. Сам же он, уподобившись низложенному Наполеону, довольствовался тридцатью су в день, а в Париже энергичный человек всегда может заработать такую сумму.

Когда он закончил этот рассказ о своей жизни, рассказ, пересыпанный рассуждениями, афоризмами и замечаниями, в которых сказывался выдающийся политический деятель, нам достаточно было перекинуться с ним несколькими вопросами и ответами насчет положения вещей во Франции и в Европе, чтобы убедиться в том, что перед нами — настоящий государственный деятель, ибо можно быстро и легко оценить человека, как

только он начинает обсуждать сложные вопросы; для людей незаурядных существуют *шибболеты*, и мы принадлежали к числу современных левитов, хотя еще и не были допущены в храм. Как я уже сказал, под видимостью рассеянного образа жизни скрывались замыслы, которые Жюст уже осуществил и которые собираюсь осуществить и я.

Обменявшись мыслями, мы вышли втроем на улицу и, невзирая на холод, отправились в Люксембургский сад погулять до обеда. Мы продолжали беседовать и во время прогулки. Разговор наш, по-прежнему носивший серьезный характер, коснулся всех больных мест политического положения тех дней. Каждый из нас внес в него свою лепту: результаты своих наблюдений, остроту, шутку, афоризм. Речь шла уже не только о той, огромного масштаба. жизни, которую перед тем нарисовал нам Маркас, этот солдат политических сражений. То не был и страшный монолог потерпевшего крушение мореплавателя, заброшенного бурей в мансарду гостиницы на улице Корнеля. То был диалог, в котором двое образованных молодых людей, составивших себе суждение о современной им эпохе, старались, под руководством одаренного человека, выяснить свое собственное будущее.

— Почему вы не захотели терпеливо выждать удобного случая? — спросил Жюст у Маркаса.— Почему не взяли пример с единственного человека, который со времени Июльской революции сумел неизменно держаться на гребне волны и благодаря этому выдвинулся?

— Разве я уже не сказал вам, что всевозможные случайности создают уравнение, не все корни которого нам известны? В таком же положении, как этот оратор, находился Каррель. Этот угрюмый молодой человек, этот ум, проникнутый горечью, вмещал в себе целое правительство; тот же, о ком вы говорите, просто умел сыграть на любом событии, он подобен тому, кто вскакивает на круп лошади едущего мимо всадника. Значительнее был не он, а Каррель. И что же? Он становится министром, Каррель остается журналистом; неполноценный, но ловкий человек живет, Каррель умирает. Заметьте, что этот человек идет по пути к своей цели уже пятнадцать лет, и он все еще в пути; стоит ему попасть между двух повозок, полных интригами, на большой дороге к

власти, и он будет раздавлен. Он не знатного рода, его не укроет, как Меттерниха, королевское покровительство или, как Виллеля, спасительная крыша сплоченного большинства. Я не думаю, что теперешнему строю удастся продержаться еще десять лет. Таким образом, даже если предположить, что на мою долю выпадет это безрадостное счастье, все равно окажется, что я опоздал; ведь чтобы не быть сметенным вихрем того движения, которое я предвижу, я должен был бы уже теперь занимать высокий пост.

— Какое движение вы разумеете? — спросил Жюст.

— Революцию тысяча восемьсот тридцатого года сделала молодежь — она вязала снопы; ее сделали те, кто мыслит,— они вырастили урожай,— ответил Маркас торжественно, указывая рукой на Париж.— И что же! Строй, созданный этой революцией, ничего не дал ни молодежи, ни тем, кто мыслит. Молодежь взорвется, как котел паровой машины. Во Франции у молодежи нет выхода, и в ее среде растет лавина непризнанных талантов, растут беспокойные стремления законного честолюбия; молодежь неохотно вступает в брак, семьи не знают, что им делать со своими детьми; какой призыв потрясет эти толпы — не знаю; но они ринутся на современный строй и опрокинут его. Существуют законы прилива и отлива, властвующие над поколениями; эти законы упустила из виду Римская империя в пору нашествия варваров. Сегодня эти варвары — те, кто мыслит. Законы переполнения медленно, неуловимо действуют опять среди нас. Правительство — вот на ком лежит великая вина: оно не умеет оценить те две силы, которым оно всем обязано, оно дало нелепой букве закона связать ему руки, оно похоже на жертву, уже приготовленную к закланию. Людовик Четырнадцатый, Наполеон, Англия всегда искали и ищут молодых людей с головой. Во Франции над молодежью произнесен приговор — новыми законами, неблагоприятным избирательным цензом, недочетами положения о министрах. Возьмите состав выборной палаты — вы не найдете там ни одного тридцатилетнего депутата: молодость Ришелье и Мазарини, молодость Тюренна и Кольбера, Питта и Сен-Жюста, молодость Наполеона, князя Меттерниха не нашли бы в ней места. Борк, Шеридан, Фокс не могли бы быть ее членами. Даже если

бы политическое совершеннолетие было снижено до двадцати одного года и уничтожены все условия, ограничивающие право быть избранным в палату, департаменты все равно выбрали бы нынешних представителей, людей политически бездарных, неспособных говорить, не уродуя грамматику, людей, среди которых за десять лет с трудом нашелся один государственный деятель. Можно угадать причины, которые приведут к тому или другому событию: само событие предвидеть нельзя. Сейчас всю молодежь толкают к республиканским идеям: она видит в Республике свое освобождение. Она вспомнит о молодых депутатах и молодых генералах! Неосторожность правительства сравнима только с его скупостью.

Этот день имел для нас большое значение: слова Маркаса укрепили нас в решении покинуть Францию, где молодые люди, полные дарований и энергии, не могут выбиться из-под гнета завистливых и ненасытных посредственностей, добившихся успеха. Маркас стал обедать вместе с нами на улице Лагарп. Мы испытывали к нему чувство почтительной привязанности, а он оказывал нам деятельную помощь в сфере идей. Этот человек все знал, все изучил. Сочувствуя нашим замыслам, он подверг рассмотрению весь социально-политический мир, стараясь выяснить, в каких государствах мы могли бы рассчитывать найти наибольшие шансы на успех. Он указывал нам те отрасли знаний, в которых нам следовало совершенствоваться; он торопил нас, разъясняя нам, как важно не терять времени: начнется эмиграция, она отнимет у Франции сливки ее энергии, ее молодых умов, и эти умы — а это будут, несомненно, умы проницательные — займут все лучшие места, почему нам и необходимо опередить их. С тех пор мы просидели немало вечеров у лампы, за книгой. Наш великодушный наставник написал для нас несколько памятных записок — две для Жюста и три для меня; это были изумительные руководства, сокровищница сведений, которые может дать лишь опыт, те вехи, которые умеет расставить лишь гений. На этих страницах, пропахших табаком, исписанных неразборчивым почерком, почти иероглифами, рассыпаны ценнейшие указания, безошибочные предвидения. Некоторые из прогнозов Маркаса, касавшихся Америки и Азии, оправдались еще до нашего с Жюстом отъезда.

Маркас — как, впрочем, и мы — дошел до предела нужды: он зарабатывал себе на пропитание, но у него не осталось ни белья, ни платья, ни обуви. Он не изображал себя лучшим, чем был на деле; мечтая о власти, он мечтал и о роскоши. Того, кто прозябал тогда в его обличье, он не признавал за подлинного Маркаса. Он предал свою телесную оболочку случайностям реальной жизни. Он жил духом своего честолюбия, он и мечтал о мести и корил себя за то, что отдается столь суетному чувству. Истинный государственный деятель должен быть прежде всего равнодушен к мелким страстишкам, у него, так же как у ученого, должна быть лишь одна страсть: его наука. В эти дни нужды Маркас казался нам великим, даже грозным; было что-то страшное в его взгляде: он как будто созерцал еще другой мир, сверх того, который открыт глазам посредственных людей. Он был для нас предметом изучения и восторга, ибо в молодости (кто из нас не испытал этого?) человек живо чувствует потребность восхищаться, юноша легко привязывается; он от природы склонен подчиняться людям, которые кажутся ему стоящими выше его, точно так же как он готов самоотверженно служить великим целям. Особенно мы удивлялись равнодушию Маркаса к любви: женщина ни разу не потревожила его жизнь. Когда однажды была затронута эта тема — вечная тема разговоров между французами,— он сказал нам просто:

— Они обходятся слишком дорого!

Заметив взгляд, которым мы обменялись с Жюстом, он продолжал:

— Да, слишком дорого. Женщина, которую вы покупаете — а это еще самая дешевая,— требует у вас больших денег; та же, которая отдается вам, отнимает все ваше время! Женщина угашает всякую деятельность, всякое честолюбие. Наполеон низвел ее до подобающей ей роли. В этом отношении он был велик, он не знал разорительных причуд Людовика Четырнадцатого и Людовика Пятнадцатого, но втайне и он любил.

Мы открыли, что, подобно Питту, которому Англия заменяла жену, Маркас носил в своем сердце Францию: она была его кумиром; все его мысли принадлежали родине. Его печалило зрелище тех язв, которые все больше разъедали ее общественную жизнь, и грызло бешенство

при мысли, что у него в руках средство исцеления от этих язв, но что он не может его применить. Бешенство его усугублялось сознанием, что на международной арене Франция стоит ниже Англии и России. Франция — на третьем месте! Этот возглас повторялся все вновь и вновь во время наших бесед. Недуг отечества стал его собственным недугом. Борьбу королевского двора с парламентом, изобиловавшую переменами и непрестанными превратностями, столь вредными для благосостояния страны, он сравнивал с мелочной грызней привратников.

— Если с нами живут в мире, то лишь за счет будущего,— говорил он.

Однажды вечером мы с Жюстом работали; в комнате царила глубокая тишина, Маркас ушел к себе переписывать бумаги; несмотря на наши живейшие уговоры, он отказался от нашей помощи. Мы предложили было по очереди сменять его, чтобы освободить от двух третей этого притупляющего труда; он рассердился, и мы не настаивали. Вдруг в нашем коридоре раздались шаги,— по звуку можно было заключить, что кто-то идет в дорогой обуви. Мы подняли головы и переглянулись. Пришелец постучался к Маркасу; тот никогда не запирал свою дверь. Мы услышали, как наш великий человек произнес сначала:

— Войдите!

А потом:

— Как? Это вы, сударь?

— Я самый,— отвечал бывший министр.

Это был Диоклетиан нашего безвестного мученика. Между нашим соседом и гостем завязался разговор вполголоса. Маркас лишь изредка вставлял слово-другое, как это бывает на заседаниях, когда докладчик начинает с изложения фактов. И вдруг, при каком-то предложении, сущность которого осталась нам неизвестной, его взорвало.

— Вы сами стали бы потешаться надо мной, вздумай я вам поверить,— сказал он.— Время иезуитов прошло, но иезуитизм вечен. Вы неискренни и в вашем макиавеллизме и в вашей щедрости. Вы-то умеете рассчитывать; но на вас рассчитывать нельзя. Ваш двор состоит из сов, которые боятся яркого света, из стариков, которые трепещут перед молодежью или о ней не заботятся. Пра-

вительство равняется по двору. Вы откопали последышей Империи, так же как Реставрация зачислила на службу вольтижеров Людовика Четырнадцатого. Пятиться назад из боязни и трусости доныне считается искусным маневром; но наступят дни опасности, и снова, как в тысяча семьсот девяностом году, на сцену выступит молодежь. Она совершит то великое, чем прославились те годы. Сейчас вы меняете министров, как больной меняет положение в своей постели. Эти колебания вашего правительства говорят о том, что оно уже одряхлело. Вы ввели систему политического мошенничества, которая обратится против вас же самих, ибо Франция устанет от вашего лицемерия. Она не скажет вам, что устала; никто не знает, от чего именно суждено ему погибнуть,— на этот вопрос отвечает история. Но вы наверняка погибнете, в отмщение за то, что не обратились к молодежи с призывом отдать отечеству свои силы и свою энергию, свое самоотвержение и свой пыл; за то, что вы ненавидите людей одаренных, за то, что вы не захотели любовно выискивать их среди даровитого поколения, за то, что вы всегда и везде выбирали только посредственность. Вы пришли просить моей поддержки; но вы принадлежите к тому одряхлевшему большинству, своекорыстному до отвращения, дрожащему, сморщенному,— к этим людям, которые хотят умалить Францию на том основании, что они умаляют самих себя. Мои душевные силы, мои идеи были бы ядом для вас. Вы дважды провели меня, и я дважды сверг вас, вы это знаете. В третий раз заключить с вами союз — это уже дело серьезное. Я покончил бы с собой, если бы позволил еще раз меня обмануть, ибо тогда я потерял бы веру в себя. Вина была бы моя, а не ваша.

Бывший министр настаивал на своем. Он унижался, он горячо заклинал собеседника не лишать страну его высоких талантов, упомянул об отчизне. Маркас ответил многозначительным «ну, ну!» — он издевался над своим лжепокровителем. Государственный муж заговорил яснее. Он признал превосходство своего бывшего советника, он обязался дать ему возможность занять место в правительственном аппарате, стать депутатом; затем он предложил ему весьма высокий пост, уверяя, что отныне готов подчиняться Маркасу, ибо не может работать ина-

че, как под его руководством. Сейчас он, по его словам, включен в состав намеченного нового министерства, но не хочет возвращаться к власти, если Маркасу не будет предоставлен пост, соответствующий его дарованиям; он заявил об этом своем условии, и было признано, что Маркас — человек, без которого нельзя обойтись.

Маркас отказался.

— У меня еще ни разу не было возможности сдержать свои обещания, а теперь, когда эта возможность налицо, вы отказываетесь!

На эту последнюю фразу Маркас ничего не ответил. Изящные башмаки едва слышно прошли по коридору и направились к лестнице.

— Маркас! Маркас! — воскликнули мы, кинувшись к нему в комнату.— Зачем отказываться! Он говорил правду. Он предложил вам почетные условия. К тому же вы сговоритесь с министрами.

В одну минуту мы привели ему сотню доводов. Ведь в голосе будущего министра звучала искренность; хоть мы и не видели его, но чувствовали, что он не лжет.

— У меня нет приличной одежды.

— Положитесь на нас,— сказал, взглянув на меня, Жюст.

У Маркаса хватило мужества довериться нам, в его глазах сверкнула молния, он провел рукой по волосам и откинул их одним из тех жестов, которые говорят о том, что человек поверил в счастье; и когда он, если можно так выразиться, открыл нам свое лицо, мы увидели перед собой человека, совершенно нам неведомого: то был Маркас в каком-то божественном озарении, Маркас у власти, то был разум в своей родной стихии, птица, возвращенная воздуху, рыба, вернувшаяся в воду, лошадь, несущаяся вскачь по родной степи. Но через миг лицо Маркаса вновь потемнело, казалось, он провидел свою судьбу. За белокрылой надеждой следовало по пятам хромое сомнение. Мы оставили Маркаса одного.

— Черт возьми! — сказал я «доктору».— Обещание-то мы дали, а как его выполнить?

— Подумаем об этом на сон грядущий,— ответил Жюст,— а завтра утром поговорим.

На следующее утро мы отправились прогуляться в Люксембургский сад.

У нас было достаточно времени, чтобы поразмыслить обо всем том, что случилось накануне. И Жюст и я дивились тому, как плохо Маркас, столь умело разбирающийся в сложнейших теоретических и практических вопросах политики и общественной жизни, как плохо он справляется с мелкими повседневными невзгодами. Но ведь все эти возвышенные натуры способны споткнуться о песчинку или потерпеть неудачу при выполнении самых широких замыслов из-за того, что у них не было какой-нибудь тысячи франков. Все та же история, что с Наполеоном, который не отправился в Индию из-за того, что у него не было сапог.

— Что же ты придумал? — спросил Жюст.

— Придумал, как можно сшить в кредит приличное платье.

— У кого?

— У Юмана.

— Каким образом?

— Юман, мой милый, никогда не ходит к своим заказчикам, заказчики ходят к нему. Поэтому Юман не знает, богат я или нет; он знает только, что я статен и умею эффектно носить ту одежду, которую он мне шьет. Я скажу ему, что на меня свалился, как снег на голову, дядюшка из провинции и что равнодушие этого дядюшки к вопросам туалета чрезвычайно вредит мне в том избранном обществе, в среде которого я подыскиваю себе невесту... Юман не будет Юманом, если он пришлет счет на новое платье раньше чем через три месяца.

«Доктор» нашел эту идею блестящей для водевиля, но никуда не годной для практической жизни и усомнился в успехе моей затеи. Однако, клянусь вам, Юман сшил Маркасу платье, и, будучи художником своего дела, именно такое, какое подобает государственному деятелю.

Жюст предложил Маркасу двести франков золотом — деньги, которые он выручил, купив в кредит двое часов и заложив их в ломбарде. Я, со своей стороны, преподнес ему, без особых комментариев, шесть рубашек и прочее необходимое белье. Чтобы приобрести их, мне достаточно было обратиться с соответствующей просьбой к старшей продавщице бельевого магазина, с которой я развлекался в дни карнавала. Маркас принял наши

дары с благодарностью, не доводя ее, однако, до преувеличений. Он только осведомился, каким способом мы завладели подобными богатствами, и мы в последний раз рассмешили его. Как судовладельцы, исчерпавшие весь свой кредит и все свои деньги на то, чтобы снарядить корабль, радостно смотрят, когда он поднимает паруса,— так смотрели мы на нашего Маркаса.

Тут Шарль замолчал, словно подавленный тяжелыми воспоминаниями.

— Ну же! — воскликнул кто-то из слушателей.— Что было дальше?

— Расскажу в двух словах: ведь это не роман, это история из действительной жизни. Маркас исчез с нашего горизонта. Министерство продержалось три месяца, оно пало после сессии. Маркас вернулся к нам без гроша, изнуренный работой. Он заглянул на самое дно кратера, именуемого властью, и сошел с ее высот, уже неся в себе начало нервической лихорадки. Болезнь быстро истощала его,— мы обеспечили ему надлежащий уход и лечение. Жюст в первые же дни привел главного врача той больницы, куда он поступил практикантом и где поселился. Я был теперь единственным обитателем нашей комнаты и ухаживал за Маркасом, как самая заботливая сестра милосердия. Но и заботы и наука — все оказалось тщетным. В январе тысяча восемьсот тридцать восьмого года Маркас сам почувствовал, что ему остается жить лишь несколько дней. Государственный деятель, душою которого он был в течение шести месяцев, ни разу не зашел его навестить, не прислал даже узнать о его здоровье. Маркас не скрыл от нас своего глубокого презрения к правительству. По-видимому, он усомнился в судьбах Франции, и это сомнение едва ли не явилось причиной его болезни. Ему показалось, что он обнаружил измену в самом сердце власти — не ту осязаемую, зримую измену, которая сказывается в определенных фактах, но измену, порождаемую подчинением национальных интересов эгоизму отдельных лиц. Эта мысль о том, что Францию ждет упадок, ухудшала состояние больного. Я был свидетелем тех предложений, какие сделал ему один из вожаков партии, против которой он боролся. Ненависть его к тем, кому он ранее пытался служить, была так велика, что он с радостью примкнул бы

к коалиции, намечавшейся между честолюбцами различных толков: у этих-то была по крайней мере одна объединявшая их идея — свергнуть иго двора. Но Маркас ответил явившемуся к нему парламентеру словами, некогда произнесенными в парижской ратуше: «Слишком поздно».

После Маркаса не осталось даже на что похоронить его. Жюсту и мне понадобилось немало усилий, чтобы избавить его прах от унижения погребальных дрог «для бедных». Вдвоем проводили мы катафалк с его гробом до кладбища Монпарнас, и тело З. Маркаса было опущено в общую могилу.

Мы с грустью посмотрели друг на друга, выслушав этот рассказ,— последний из тех, что поведал нам Шарль Рабурден накануне того дня, когда ему предстояло сесть в Гавре на бриг, державший путь к Малайским островам; ведь мы знали не одного Маркаса, не одну жертву самоотверженной политической деятельности, наградой за которую были измены или забвение.

Жарди, май 1840 г.

ПРИМЕЧАНИЯ

ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ КОМЕДИЯ

ЭТЮДЫ О НРАВАХ

Сцены парижской жизни

МЕЛКИЕ БУРЖУА

Над романом «Мелкие буржуа» Бальзак работал в 1843—1844 годах, но другие замыслы отвлекли его, и роман «Мелкие буржуа» так и остался незаконченным. Главы романа, написанные Бальзаком, были впервые напечатаны посмертно в газете «Ле пэи», в номерах с 26 июля по 28 октября 1854 года. По поручению вдовы Бальзака «Мелкие буржуа» закончил Шарль Рабу, и в 1856 году отдельным изданием вышла первая часть романа, состоявшая из 27 глав, из которых 22 принадлежали перу Бальзака, а в 1857 году была напечатана вторая часть, целиком написанная Рабу. В состав «Человеческой комедии» роман (обе его части) был включен в издании Полного собрания сочинений Бальзака (1864—1867, издатель — Мишель Леви). «Мелкие буржуа» вошли в чнсло «Сцен парижской жизни».

В настоящем издании текст романа дается по Полному собранию сочинений Бальзака (издание Конар, 1912—1928), в котором был напечатан лишь текст, принадлежащий Бальзаку. Часть романа, написанная Рабу, приводится в кратком изложении.

Замысел романа «Мелкие буржуа» претерпел ряд значительных изменений. Вначале это произведение должно было назы-

ваться «Зятья и тещи». Писатель хотел нарисовать борьбу мелких интересов, связанных с получением наследства в кругах мелкой буржуазии. Затем его увлекает образ карьериста — лицемера, ловко играющего на слабостях и недостатках окружающих его людей. Бальзак решает назвать роман: «Великий артист». Он пишет Ганской 17 декабря 1843 года: «Вот уже свыше четырех лет бьюсь я над книгой «Зятья и тещи», и наконец счастливая неожиданность помогла моему перу. Теперь для меня понятен и ясен весь замысел. Это будет современный Тартюф. Не имея ничего за душой, он втирается в богатую семью, выступает в различных ролях, разыгрывает всевозможные комедии, чтобы жениться на наследнице». Бальзак сообщает, что роман будет состоять из двух частей: «Великий артист» и «Драма зятя» — и что в этом произведении должны выступать персонажи, известные читателям по роману «Чиновники».

Писатель хотел показать современного Тартюфа, разыгрывающего роль демократа и филантропа. У Мольера Тартюф одурачивал одного Оргона — герой Бальзака подчиняет своему влиянию нескольких людей, весьма различных по характеру. Но по мере работы над романом Бальзак все более и более увлекается изображением той социальной среды, в которой действует его Тартюф — Теодоз. Образ Теодоза отодвигается на второй план описанием мелкой и средней буржуазии, процветающей и богатеющей во время Июльской монархии. Социальная тема становится доминирующей в романе. Бальзак писал Ганской 6 января 1844 года: «Этот роман не может быть включен в «Сцены частной жизни». Описание современной парижской буржуазии занимает в нем такое большое место, что становится главным в сюжете всего произведения. Центральный образ уже не Тартюф, а буржуазия 1830 года».

Созданный в середине 40-х годов, в пору творческой зрелости писателя, роман интересен глубиной социальных характеристик, жизненной убедительностью образов. Июльская монархия — господство ничтожных людей, самоуверенных дельцов. Всеопределяющая сила и власть денег ведут к торжеству разбогатевшей посредственности. Бальзак создает запоминающуюся галерею преуспевающих буржуа: Тюильe, Минар, Дюток, Фельон. Всех их характеризует моральная нечистоплотность и духовное убожество. Пройдоха Минар принят в Тюильри, глупый Тюильe становится депутатом. В лице Минара и Фельона Бальзак осмеивает фразерство и позерство буржуазии, стремящейся скрыть свое духовное ничтожество напыщенными словами

о прогрессе, чести, свободе и т. д. Либерализм Фельона не мешал ему расстреливать республиканцев в 1832 году, а громкие фразы Минара о прогрессе и идеалах прикрывают самое обыкновенное мошенничество. Резко говорит писатель и о сущности буржуазной филантропии, которая столь же фальшива, как и показной демократизм.

Стремление к богатству порождает разгул эгоистических страстей и карьеризма. Образ Теодоза занимает значительное место в ряду молодых честолюбцев, жадно рвущихся к деньгам и власти, готовых на любые компромиссы с честью и совестью, способных совершить любое преступление против кодекса морали. Отталкиваясь от классического образа лицемера, Бальзак создает яркий, типический образ «героя» буржуазного общества. Теодоз умело использует в своих интересах все, даже модный либерализм.

Роман «Мелкие буржуа» свидетельствует и о растущем интересе, об усиливающейся симпатии писателя к низам общества; в этом отношении очень интересны страницы, посвященные жизни парижской бедноты. Бальзак показывает существование непримиримых социальных противоречий в современном ему буржуазном обществе. «Мелкие буржуа» относятся к числу тех произведений Бальзака, где наиболее ярко проявился антибуржуазный характер его творчества.

На основании той части произведения, которую успел написать Бальзак, можно утверждать, что роман «Мелкие буржуа» должен был встать в ряд с крупнейшими социальными полотнами писателя.

Шарль Рабу, заканчивая роман, значительно отошел от основного замысла Бальзака — создать образ современного Тартюфа и показать буржуазию 1830 года. Рабу ничего не говорит о взаимоотношениях Теодоза с Серизе и даже не возвращается к этому интересному образу мелкого ростовщика. Он оставляет без внимания и ту сложную игру, которую ведет Теодоз в кругу семьи Тюилье и среди его друзей, используя их тщеславие и корыстолюбие. Рабу строит сюжет романа главным образом на интригах Корантена, бывшего приближенного министра полиции Фуше, агента тайного политического сыска. Он переводит повествование из социального в авантюрный план.

Стр. 5. *Констанс-Виктуар.*— Этими именами (Постоянство и Победа) Бальзак называет графиню Эвелину Ганскую (1800—1882), польскую помещицу. В феврале 1832 года Баль-

зак получил от Ганской письмо, подписанное: «Иностранка». С 1833 года началась регулярная переписка писателя с Ганской, которая в 1850 году стала его женой.

...некий выдающийся писатель говорил о «безразличии в вопросах веры».— Речь идет о Ламенне (1782—1854) — французском богослове и реакционном публицисте, представителе так называемого «христианского социализма». Ламенне — автор «Опыта о безразличии в вопросах религии» (1817—1823).

Стр. 6. *Old mortality* — прозвище одного из персонажей романа Вальтера Скотта «Пуритане»; здесь — старый могильщик.

Стр. 7. *Уравнивая состояния, параграф Кодекса...*— Гражданский кодекс, введенный в действие Наполеоном в 1804 году, отменил преимущественное право наследования старших детей.

Фаланстеры.— Согласно учению французского социалиста-утописта Шарля Фурье (1772 — 1837), фаланстеры — общественные дворцы, где будут жить и работать на коллективных началах члены будущего идеального социалистического общества.

Стр. 9. *Дисконтер* — человек, производящий учет векселей.

Стр. 10. *Председатель парламента.*— До революции 1789—1794 годов парламентами во Франции назывались высшие суды, на которые возлагались некоторые административные функции. В стране было 12 парламентов.

Стр. 12. *Пьер Грассу* — персонаж одноименного рассказа Бальзака.

Богиня Беллона — в древнеримской мифологии богиня войны.

Стр. 13. *Байард,* Пьер дю Террайль (ок. 1473—1524) — французский полководец. Историческое предание изображало его образцом рыцарской чести и доблести, «рыцарем без страха и упрека».

Когда пало министерство Виллеля...— В начале 1828 года министерство ультрамонархиста Виллеля потерпело поражение на выборах и должно было уйти в отставку.

Стр. 18. *...как принцесса Орлеанская верит в Луи-Филиппа.* — Имеется в виду Аделаида Орлеанская, сестра короля Луи-Филиппа.

Стр. 19. *Пилад* — в древнегреческой мифологии неразлучный друг Ореста, сына аргосского царя. Нарицательное имя верного, преданного друга.

Стр. 20. *...этого Линдора и Дон-Жуана* — то есть соблазнителя. Под именем Линдора добивается любви красавицы Розины граф Альмавива — герой комедии Бомарше «Женитьба Фигаро».

Стр. 22. *Арпан* — старинная французская мера площади (около ½ гектара).

...во Французский банк с первых дней его основания.— Французский банк был основан в 1800 году.

Стр. 23. *Г-н де ла Биллардиер... и г-н Рабурден* — персонажи романа Бальзака «Чиновники».

Стр. 29. *«Деревенский колдун»* — комическая опера Ж.-Ж. Руссо.

Стр. 33. *Вулкан* — в римской мифологии бог огня и кузнечного ремесла, изображался хромым и уродливым.

Стр. 34. *Конгрегации* — объединения католических монастырей, принадлежащих к одному и тому же ордену; во времена Реставрации, главным образом при Карле X, были важнейшими проводниками политической реакции, особенно могущественной была конгрегация иезуитов.

Пансион Сен-Дени — закрытое учебное заведение для дочерей кавалеров ордена Почетного легиона, основанное Наполеоном I.

Старшая ветвь Бурбонов.— Людовик XVIII и Карл X принадлежали к так называемой «старшей ветви» династии Бурбонов и вели свою родословную от Генриха IV (XVI век). Луи-Филипп, вступивший на престол после Июльской революции 1830 года, принадлежал к герцогам Орлеанским — «младшей ветви» Бурбонов.

Стр. 37. *Тюильри* — дворец Тюильри был резиденцией короля Луи-Филиппа Орлеанского.

Стр. 40. *«Золотая середина».*— Во время Июльской монархии (1830—1848) принцип «Золотой середины» был провозглашен королем Луи-Филиппом и стал политическим идеалом французской буржуазии.

...тем адвокатам, которые после 1830 года покинули Дворец Правосудия. — Большая группа парижских адвокатов-легитимистов после Июльской революции 1830 года не признавала законность вступившего на престол Луи-Филиппа Орлеанского и в знак протеста покинула Дворец Правосудия.

...вы походили на Бонапарта до Восемнадцатого брюмера — то есть на человека, еще не достигшего полной власти. 18 брюмера 1799 года (9 ноября) во Франции произошел государственный переворот, власть в стране была передана трем консулам. Первым консулом и фактическим правителем Франции стал Наполеон Бонапарт.

Стр. 42. *...зловещие катастрофы у стен монастыря Сен-Мерри и на улице Транснонен.*— 5—6 июля 1832 года в Париже вспыхнуло республиканское восстание. Центром героического вооруженно-

го сопротивления республиканцев стали баррикады, примыкавшие к монастырю Сен-Мерри. В 1834 году в Париже началось восстание республиканцев в знак солидарности с восставшими рабочими в Лионе. В течение двух дней (13, 14 апреля) восставшие оказывали героическое сопротивление правительственным войскам. Группа восставших, в том числе много женщин, была зверски расстреляна на улице Транснонен.

...династию, которую привел к власти Июль—то есть Орлеанскую династию.

Стр. 44. *... о пресловутом деле Рабурдена...*— См. роман Бальзака «Чиновники».

Дамы держали сторону иезуитов...— Речь идет о борьбе иезуитов против контроля Университета над частными лицеями, разгоревшейся в 40-х годах XIX века.

Стр. 45. *Олений парк* — особняк в Париже, принадлежавший Людовику XV, где по его приказанию устраивались тайные оргии.

Неккер, Жак (1732—1804) — женевский банкир, переселившийся во Францию; был министром финансов при Людовике XVI.

Максимум.— В сентябре 1793 года якобинский Конвент принял декрет о введении твердых цен на продукты питания, промышленные товары и сырье. Этот декрет был направлен против спекулянтов.

Договоры 1815 года. — Имеются в виду мирные договоры между союзниками и Францией, подписанные в 1815 году, после отречения Наполеона.

Стр. 49. *...королева Елизавета этого семейного очага...*— Здесь Бальзак сравнивает мадемуазель Бригитту с английской королевой Елизаветой (годы правления — 1558—1603), которая не была замужем.

Стр. 51. *Цивильный лист* — при конституционной монархии определяемая парламентом денежная сумма для личного пользования короля, а также на содержание королевского двора и придворных.

Стр. 57. *Ларошфуко*, Лианкур-Франсуа (1747—1827) — французский общественный деятель, ученый-естественник, основал первое во Франции сельскохозяйственное учебное заведение.

Сен-Симон, Анри-Клод (1760—1825) — французский социалист-утопист.

Стр. 59. *...в Париж он приехал, чтобы проведать дядю... но узнал, что тот умер за три дня до этого...*— См. роман Бальзака «Блеск и нищета куртизанок».

Стр. 60. *Министерство Перье.*— Казимир Перье (1777 —

1832) — крупный французский банкир, способствовал воцарению Луи-Филиппа Орлеанского; в 1831 году возглавил кабинет министров, принадлежал к партии сопротивления, считавшей, что с приходом к власти Луи-Филиппа все задачи Июльской революции 1830 года разрешены.

Стр. 66. *«Павел и Виргиния»* — роман-идиллия французского писателя Бернардена де Сен-Пьера (1737 — 1814).

Казимир Делавинь — французский поэт и драматург, стремившийся соединить в своем творчестве художественные принципы классицизма и романтизма.

Пармантье, Антуан-Огюст (1737 — 1813) — французский агроном и экономист, способствовал введению культуры картофеля во Франции.

Человек в коротком синем плаще — Эдм Шампион (1764 — 1852) — богатый ювелир, заннмавшийся благотворнтельностью с целью приобретения популярности.

Стр. 79. *Коммандитное товарищество* — особый вид промышленного или торгового предпрнятия, в котором одни пайщики принимают участие в делах предприятия и отвечают всем своим имуществом за его долги, другие же отвечают только своими взносами, пользуются прибылью на вложенный капитал без права участия в делах.

Стр. 90. *...в атаку на монастырь Сен-Мерри...*— См. примечание к стр. 42.

Стр. 91. *Король-гражданин* — прозвище короля Луи-Филиппа Орлеанского, данное ему буржуазией.

Стр. 94. *Венсан де Поль* (1576—1660) — французский священник, канонизированный католической церковью, занимался благотворительностью, стремился возродить авторитет католицизма.

Лафон, Пьер-Шери (1797 — 1873) — французский комический актер, выступавший на сцене театра «Водевиль»; имел большой успех в комедии Детуша «Гордец».

Стр. 95. *Барро*, Одилон (1791 — 1873) — французский крупный адвокат, политический деятель, один из активных участников Февральской буржуазной революции 1848 года, сбросившей с престола короля Луи-Филиппа.

Стр. 97. *...великие люди античности, такие, как Брут и прочие, забывали о том, что они отцы, когда им следовало выказать себя гражданами.*— Луций-Юний Брут (VI век до н. э.) — один из основателей Римской республики. Узнав, что его сыновья пытают-

ся восстановить власть низложенного царя, Брут, будучи консулом, приговорил их к смерти.

Стр. 101. *«Карикатура»* — еженедельная сатирическая иллюстрированная газета, основанная в ноябре 1830 года республиканцем Шарлем Филипоном, нередко помещала карикатуры на Луи-Филиппа; существовала до 1836 года. С 1831 года в «Карикатуре» сотрудничал Бальзак.

Стр. 114. *Фея Карабос* — во французских народных сказках, а также в сказке Перро «Спящая красавица» злая фея.

Вино кометы — то есть вино урожая 1811 года, когда появление крупной кометы совпало с обильным урожаем винограда.

Стр. 119. *Беррье*, Никола (1755 — 1841) — французский адвокат, пользовавшийся в 30-х годах XIX века большой известностью.

Стр. 120. *Жозефина* Богарне (1763—1814) — первая жена Наполеона I, способствовала началу его военной карьеры.

Стр. 123. *Матье*, Клод-Луи (1783—1875) — французский астроном, был известен добротой своего характера.

Стр. 124. *Иоанн Златоуст* — константинопольский патриарх, канонизированный церковью, прославился своим красноречием.

Стр. 126. *Кабилы* — одна из народностей, населяющих Алжир.

Стр. 134. *Хижина* — увеселительное заведение в Париже, где устраивались публичные балы.

Стр. 139. *Ламарк*, Максимильен (1770—1832)— французский генерал времен Наполеоновской империи. В 1807 году смелым броском овладел островом Капри, сломив сопротивление английского полководца Гудзона Лоу.

Стр. 144. *Пресловутое банкротство нотариуса Рогена.*— См. роман Бальзака «История величия и падения Цезаря Бирото».

Стр. 146. *«Министерство первого марта».*— 1 марта 1840 года кабинет министров во Франции возглавил Тьер, который пошел на обострение отношений с Англией из-за Египта, однако внешнеполитическая ситуация сложилась для Франции неблагоприятно, и Тьер вынужден был пойти в отставку.

Стр. 152. *...перспективой войны, развязать которую требовал господин Тьер.*— См. примечание к стр. 146.

Стр. 163. *«Единственный наследник»* — комедия французского драматурга Реньяра (начало XVII века).

Стр. 180. *«Подражание Христу»* — анонимная книга христианской мистики, содержащая религиозные наставления.

Стр. 181. *«Конституционель»* — умеренно-либеральная, антиклерикальная газета.

Стр. 187. *Рокселана* — жена турецкого султана Сулеймана II, отличалась необычайно длинным носом.

Стр. 194. *Шарле*, Никола-Туссен (1792 — 1845) — французский художник, известный своими рисунками и литографиями.

Стр. 208. *Корантен* — персонаж романов Бальзака «Шуаны», «Блеск и нищета куртизанок», «Темное дело».

Сцены политической жизни

ТЕМНОЕ ДЕЛО

Роман «Темное дело» впервые печатался в газете «Коммерс» с 14 января по 20 февраля 1841 года. Через год это произведение вышло отдельной книгой. Оно открывалось предисловием Бальзака и состояло, как и в газетном варианте, из двадцати глав. В 1846 году писатель включил «Темное дело» в двенадцатый том первого издания «Человеческой комедии» («Сцены политической жизни»). Теперь роман состоял из трех частей: I. «Неудачи полиции», II. «Корантен отыгрался», III. «Политический процесс времен Империи» — и эпилога.

В основу сюжета «Темного дела» положен действительный исторический факт: похищение сенатора Клемана де Ри, имевшее место осенью 1800 года.

Бальзак использует это происшествие для того, чтобы, как он сам поясняет в предисловии к роману, «изобразить политическую полицию в ее столкновении с частной жизнью, показать всю мерзость ее деяний». Интересно отметить тесную связь между этим произведением и романом «Шуаны». В «Темном деле» мы вновь встречаем персонажей, уже знакомых по роману «Шуаны» (Наполеон, его министр полиции Фуше, доверенный агент Фуше — Корантен); в обоих этих произведениях Бальзак обращается к эпизодам борьбы, которую вел в течение ряда лет ставленник французской буржуазии Наполеон Бонапарт против враждебных его диктатуре роялистских сил.

В романе «Темное дело» Бальзак не жалеет красок для создания романтически приподнятого образа графини Лорансы де Сен-Синь, смелой и гордой аристократки, толкающей своих родственников на участие в заговоре против Наполеона. Под стать графине и ее кузены-близнецы маркизы де Симез, положительно нарисованные Бальзаком.

Но, идеализируя своих героев-аристократов, наделяя их чертами личного благородства и бесстрашия, Бальзак-реалист не останавливается перед тем, чтобы вскрыть истинную корыстную по-

доплеку роялистского заговора против Наполеона, в котором они принимают участие.

Реализм Бальзака с особой силой сказался в критическом изображении представителей нового режима, установившегося во Франции после государственного переворота 18 брюмера (9 ноября 1799 года). Центральной фигурой враждебного аристократии лагеря крупной буржуазии, выдвинувшей и поддерживавшей Наполеона, является сенатор Мален, граф де Гондревиль, политический авантюрист. Бальзак указывал в предисловии к «Темному делу», что он стремился создать в образе графа де Гондревиля тип «государственного деятеля», ренегата и приспособленца, который ловко подлаживается ко всем правительствам.

В «Темном деле» действуют и реальные исторические лица: Наполеон, Фуше, Талейран и другие. Особенно большое внимание Бальзак уделяет изображению всесильного министра полиции Фуше. Писатель подчеркивает крайнюю беспринципность Фуше, его лицемерие, склонность к интригам, готовность любой ценой добиться поставленной цели.

Эпилог романа, в котором рассказано о «дворцовом заговоре» ближайших помощников Наполеона, в первую очередь Фуше и Талейрана, ярко характеризует цинизм и своекорыстие буржуазных политических деятелей.

Следует особо остановиться на созданном Бальзаком образе Наполеона. Подобно многим писателям его поколения, Бальзак отдал дань восхищению личностью Наполеона, отчасти идеализировал его. Вместе с тем Бальзак высказывает и ряд верных критических мыслей по поводу деятельности Наполеона. В романе содержится немало замечаний, рисующих безграничное честолюбие и властолюбие Наполеона, его пренебрежение к подлинным интересам широких народных масс. Бальзак отмечает, с каким равнодушным спокойствием и холодностью говорит Наполеон накануне битвы при Иене о предстоящей гибели тридцати тысяч человек, среди которых, возможно, окажутся «великий механик, философ, гений» и множество других «неведомых нам великих людей».

Стр. 211. *Господин де Маргон* — старый друг семьи Бальзака; в его замке Сашэ в Турени писатель работал над многими своими произведениями: «Отец Горио», «Утраченные иллюзии» и др.

Стр. 213. *Лафатер*, Иоганн Каспар (1741 — 1801) — швейцарский поэт и богослов, основатель лженауки физиогномики, утверждавшей якобы существующее соответствие склада и черт лица

характеру и душевным свойствам человека.— *Галль*, Франц Иосиф (1758 — 1828) — австрийский анатом, пытавшийся на основании той или иной формы черепа делать заключения о душевных свойствах и мыслительных способностях человека («френология»).

Стр. 214. *...когда Гизы соперничали с Валуа...*— Имеются в виду события так называемых религиозных войн (XVI век).

Стр. 215. *Богадельня былой славы Франции* — так саркастически называет Бальзак открытый в 1838 году в Версале королем Луи-Филиппом «Музей славных воспоминаний Франции».

Стр. 217. *Сен-Жюст*, Антуан-Луи (1767—1794) — один из виднейших политических деятелей Французской буржуазной революции конца XVIII века, якобинец, ближайший соратник и друг Робеспьера.

Бабеф, Франсуа-Ноэль, по прозвищу Гракх (1760—1797) — глава тайного «Общества Равных», разработавший проект коммунистического общественного устройства; был казнен правительством Директории.

Стр. 218. *Гора* — революционно-демократическое крыло Конвента в период Французской буржуазной революции конца XVIII века. Представителей этой политической группы называли «монтаньярами» (от французского слова «la montagne», то есть «гора»).

Стр. 219. *Первый консул* — Наполеон.

Стр. 225. *Спенсер* — длинный облегающий пиджак

Стр. 227. *Вежливость времен Карманьолы* — то есть времен якобинской диктатуры (1792—1794), когда в моде была революционная песня «Карманьола».

Стр. 230. *...был трибуном* — то есть членом так называемого Трибуната, одной из четырех палат, осуществлявших в период Консульства во Франции законодательную власть. Трибунат, учрежденный после переворота 18 брюмера (9 ноября 1799 года), был упразднен Наполеоном I в 1807 году.

Стр. 233. *Принц де ла Пэ* — прозвище Годоя Альвареца де Фариа (1767 — 1851), всесильного министра, фаворита испанской королевы. Он заключил в 1795 году мир с Францией (в Базеле).

Стр. 236. *Ленуар*, Пьер — начальник парижской полиции в 1776—1785 годах.

Стр. 237. *Тринадцатое вандемьера* — 5 октября 1795 года. В этот день Наполеон Бонапарт подавил мятеж роялистов.

Восемнадцатое фрюктидора — 4 сентября 1797 года. Дата, когда посланный Наполеоном Бонапартом, находившимся в Ита-

лии, генерал Ожеро решительными действиями устранил в Париже угрозу роялистского переворота.

Стр. 237. *...удар подготавливается теперь еще искуснее, чем на улице Сен-Никез.* — На улице Сен-Никез 24 декабря 1800 года было организовано покушение на Наполеона; оно потерпело неудачу.

Стр. 247. *...вопреки салическому закону...* — По этому древнему закону франков, наследование земель и связанных с ними титулов происходило только по мужской линии.

Стр. 248. *Шарлотта Кордэ* — убийца Марата.

Стр. 266. *Вальхернское дело.* — В 1809 году англичане высадили на острове Вальхерн, у берегов Голландии, десант в 40 тысяч человек против Франции. Фуше удалось организовать оборону, в результате которой большая часть десанта погибла и англичане вынуждены были оставить остров.

Герцог Отрантский — титул Фуше.

Стр. 282. *Телеграф.* — Речь идет об оптическом телеграфе; передача осуществлялась с высоких сигнальных башен.

Стр. 289. *Мы оставим здесь в округе «наседок»...* — Наседка — слово полицейского жаргона, означающее мнимых или действительных заключенных, которым поручается выведывать у арестованных их тайны и сообщать их следствию.

Стр. 298. *Этот шутовской Сцевола...* — Муций Гай Сцевола — римлянин, который, по преданию, попав в руки врагов и желая показать неустрашимость и презрение к смерти, сжег свою руку на огне.

Стр. 307. *Я уже расправился с одной...* — Намек на Мари де Верней, шпионку Фуше, отвергшую любовные домогательства Корантена (см. «Шуаны»).

Стр. 313. *Герцог Энгиенский* — сын вождя французских эмигрантов принца Конде, был расстрелян по приговору Наполеона.

Стр. 318. *Менехмы* — близнецы, герои одноименной комедии римского комедиографа Плавта (III—II век до н. э.).

Стр. 326. *Разгром при Трафальгаре.* — Английский адмирал Нельсон разгромил при Трафальгаре французский флот (1805).

Стр. 393. *Верховное Существо.* — Имеется в виду государственный культ так называемого Верховного Существа, введенный по предложению Робеспьера во Франции в период якобинской диктатуры. Культ Верховного Существа был направлен и против католической религии и против атеизма.

З. МАРКАС

Рассказ впервые был напечатан 25 июля 1840 года в первом номере журнала «Парижское обозрение» под названием «Смерть честолюбца». В 1846 году он вошел в двенадцатый том первого издания «Человеческой комедии» («Сцены политической жизни») под своим окончательным названием «З. Маркас»

Небольшие размеры произведения не помешали писателю дать яркую картину политического карьеризма и предпринимательства, буржуазного парламентаризма, превратившего высшие представительные учреждения страны в политическую биржу, на которой сталкиваются интересы честолюбцев.

Герой рассказа Маркас, бесспорно талантливый человек, несмотря на присущую ему силу воли, не может удержаться от двурушничества и беспринципности и гибнет, не пробившись к столь вожделенной власти.

Стр. 428. *Мирабо*, Оноре-Габриель (1749—1791) — представлял интересы крупной буржуазии и либерального дворянства Французской буржуазной революции конца XVIII века.

Стр. 432. *Паганини*, Никколо (1782—1840) — знаменитый итальянский скрипач, одним из виртуозных приемов которого было исполнение на одной четвертой струне искуснейших вариаций на мотивы оперы Россини «Моисей в Египте» и другие.

Стр. 433. *Туссен-Лувертюр* (1743—1803)—вождь восставших негров острова Гаити, был выдан французским властям в 1802 году и заключен в крепость, где и умер.

Наполеон, очутившись на своей скале, затрещал, как сорока...— Заключенный на острове св. Елены, Наполеон стал диктовать свои мемуары.

Стр. 434 *...Морэ, этот Гватимозин монтаньяров...*— *Морэ*, Пьер — участник Июльской революции, казненный в 1836 году по обвинению в подготовке крупного террористического акта, предпринятого корсиканцем Фьески против Луи-Филиппа. *Гватимозин* — последний мексиканский царь, взятый в плен испанским завоевателем Кортесом в 1521 году; подвергнутый жестоким пыткам, он не выдал испанцам местонахождения сокровищ Мексики. *Монтаньяры*.— См. примечание к стр. 218 (Гора).

Стр. 435. *Беррье*.— См. примечание к стр. 119.

Стр. 436. *Ричард III* — английский король (XV в.), герой одноименной исторической хроники Шекспира, воскликнувший во время сражения: «Коня, коня, полцарства за коня!»

Полишинель — герой старинного французского театра марионеток; он умеет ловко провести полицейского и выйти сухим из воды.

Стр. 438. *Поццо ди Борго* (1764—1842) — русский дипломат, по происхождению корсиканец; был царским послом в Париже после свержения Наполеона и представлял Россию на конгрессах Священного Союза.

Стр. 440. *Шибболет* — древнееврейское слово («колос»); по особенностям его произношения узнавали, к какому из враждовавших еврейских племен принадлежит говорящий; слово это стало синонимом понятий: «национальная особенность», «характерный признак».

Левиты — священнослужители у древних иудеев.

Единственный человек.— Имеется в виду Адольф Тьер (1797—1877) — французский реакционный политик. При Июльской монархии занимал ряд министерских постов. В 1834 году подавил рабочее восстание в Лионе и Париже. Палач Парижской коммуны.

Каррель, Арман (1800—1836) — французский публицист либерально-буржуазного направления.

Стр. 444. *Диоклетиан* — римский император (284—305), известный своими гонениями на христиан.

Стр. 445. *Вольтижеры* — отборная французская легкая пехота. Здесь (в переносном смысле) роялисты, мечтавшие о новом «золотом веке» для дворянства, как при Людовике XIV.

Стр. 449. «*Слишком поздно*» — ответ участников Июльской революции на заявление Карла X об отмене им реакционных «ордонансов», изданных за несколько дней до его низложения.

СОДЕРЖАНИЕ

ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ КОМЕДИЯ

ЭТЮДЫ О НРАВАХ

Сцены парижской жизни

Мелкие буржуа. *Перевод Я. З. Лесюка* 5

Сцены политической жизни

Темное дело. *Перевод Е. А. Гунста* 211
З. Маркас. *Перевод М. П. Столярова* 421
Примечания 450

БАЛЬЗАК.

Собрание сочинений
в 24 томах. Том XV.

Редактор тома
И. А. Лилеева.

Оформление художника
А. А. Васина.

Иллюстрации художника
А. М. Кадушкина.

Технический редактор
А. Ефимова.

Подп. к печ. 2/VIII 1960 г. Тираж 349 000 экз. Изд. № 1346.
Заказ № 1550. Форм. бум. 84×108¹/₃₂. Бум. л. 7,25. Печ. л. 23,78.
+ 4 вкл. (0,4 п. л.). Уч.-изд. л. 25,54.

Ордена Ленина типография газеты «Правда» имени И. В. Сталина.
Москва, улица «Правды», 24.